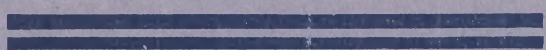


Н О В Ы Й
М И Р

12



1955

Н О В Ы Й

1955

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXI

№ 12

Декабрь, 1955 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВИТАЛИЙ КАЛИНИН, ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ — Мы — советские люди! Литературная запись Анатолия Аграновского	3
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Из новой книги, стихи	39
ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ — В Гори, стихи	42
Н. ПОГОДИН — Мы втроём поехали на целину, героическая комедия	44
МИРДЗА БЕНДРУПЕ — Из цикла «Осень у Рагацьема», стихи. Перевод с латышского Вероники Тушной	89
ПУБЛИЦИСТИКА	
Е. АНИСИМОВА — Граждане земли русской	91
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	99
Савва Кожевников, Сергей Фролкин. В борьбе с врагами.—Евг. Трущенко. Спит ли Франция?!—И. Глебова. Вместе с народом.—М. Живов. Новое о Мицкевиче.—А. Бельская. Американская почта.	
Трибуна писателя	
ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН — Колхозная жизнь и литература	116
Н. НОСОВ — О литмастерстве. Заметки сатирика	146
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. ЕРМИЛОВ — Ф. М. Достоевский	159
КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	223
Ник. Пияшев. Публицистика В. Воровского.—А. Кондратович. Сильные духом.—Анатолий Алексин. На баррикадах Пресни.—Ф. Молок. «Бур- ный 1905 год».	
<i>Политика и наука</i>	232
Александр Жаров. Величие и простота.—Кандидат исторических наук Е. Черняк. Новые работы о 1905 годе.—Л. Никулин. Горький в бурях первой русской революции.—Кандидат исторических наук Ю. Шарапов. Из истории нелегальных библиотек в России.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
РЕПЛИКИ	240
А. Адалис. Поэзия тринадцатилетних. — И. Рахтанов. Золотые руки. — Сергей Васильев. Реплика услышана.	
КОРОТКО О КНИГАХ	242
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	245
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1955 ГОД	247

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВИТАЛИЙ КАЛИНИН
капитан танкера «Туапсе»,
ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ
первый помощник капитана

★

МЫ—СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ!

Литературная запись Анатолия АГРАНОВСКОГО

ОТ АВТОРОВ. В этих записках о пережитом нам хотелось рассказать, как простые советские моряки, не думавшие о подвиге и к подвигу себя не готовившие, отстаивали своё право называться советскими людьми.

Тринадцать месяцев и три дня гоминдановские пираты держали нас в своих застенках на острове Тайвань. Многие, что тогда казалось нам таинственным и непонятным, прояснилось лишь впоследствии, когда мы — двадцать девять моряков — усилиями Советского правительства были вырваны из плена. Похудевшие, поседевшие, больные, мы ещё в самолёте начали восстанавливать в памяти пережитое, шаг за шагом, день за днём перебирая все события плена.

Поскольку авторы этих строк — капитан танкера и первый помощник — почти всё это время, больше года, были оторваны друг от друга, мы решили и о себе рассказывать в хронологическом порядке и в третьем лице, чтобы читателю легче было следить за ходом повествования.

Часть нашей команды, двадцать моряков, ещё томится в плену у чанкайшистов. То, что для нас уже прошлое, для них — настоящее. Мы не забываем их и верим, что справедливость восторжествует и они, как и мы, увидят голубое небо нашей Одессы.

Авторы не задавались целью создать художественное произведение. Это правда о том, что произошло с нами в Южно-Китайском море, и о том, что мы пережили на острове Тайвань.

1. Захват

Первые признаки надвигающейся опасности были замечены около трёх часов, в ночь на 23 июня 1954 года. В тёмном небе послышался неясный гул. Гул приближался. Но поскольку от самого Сингапура над танкером назойливо кружил какой-то самолёт американского типа, вахтенные особого значения этому не придали.

Позади был большой переход из Одессы сюда, в Южно-Китайское море; впереди, всего в нескольких днях ходу, лежал народный Китай — цель плавания; танкеры «Батуми» и «Ленинград», с которыми соревновался «Туапсе», остались позади, где-то в Индийском океане. Команда ещё спала.

Капитана разбудили лишь после того, как к танкеру приблизился военный корабль. — насколько можно было различить в темноте, эсминец. Через несколько минут был вызван наверх и старпом Борис Александрович Меркулов. Следом за ним вахтенный матрос разбудил и первого помощника:

— Товарищ помполит. Капитан просит вас на мостик.

Вокруг судна лежала душная мгла тропической ночи. Помполит глянул на часы — светящиеся стрелки показывали 3 часа 30 минут.

На неизвестном военном корабле начал мигать сигнальный прожектор, оттуда запрашивали название судна, флаг и порт назначения.

— Передайте,— приказал капитан. — Танкер «Туапсе». Союз Советских Социалистических Республик. Следует в порт Шанхай.

Прожектор замигал снова:

«Застопорить ход. Капитану с судовыми документами явиться на корабль».

Стоящие на мостике переглянулись. Что всё это могло значить? Танкер находился — это точно было известно — в нейтральных водах.

Капитан Калинин решительно отказался выполнить незаконное требование военного корабля.

Тем временем начало светать. Стали видны чёрные силуэты кораблей. С левого борта действительно шёл эсминец, с правого — корвет американского типа. Они быстро шли на сближение с танкером.

С эсминца снова передали:

«Капитану с судовыми документами немедленно явиться на корабль. В случае невыполнения открываю огонь по судну».

Пока огни «Туапсе» высвечивали категорический протест против задержки торгового судна в открытом море, капитан Калинин диктовал радиограмму на Родину.

— Срочная,— сказал он радисту.— Передашь в любой наш порт.

Приёмник был включён. Радист Миша Болтунов включил передатчик. Позвал Дальний — он был всех ближе. Дальний не откликнулся. Попробовал достать Владивосток — слышно было плохо. Он переключился на другую волну и сразу услышал Одессу; Одесса работала с Москвой. Миша позвал Москву — это самое верное — и застучал ключом:

«В широте 19 градусов 55 минут Северной и долготе 120 градусов 23 минуты Восточной военные корабли требуют остановить ход. В случае невыполнения угрожают открыть огонь. Прошу следить за мной. Капитан Калинин».

Далёкая Москва ответила, что радиограмма танкера «Туапсе» принята. Полтора года спустя Миша познакомился в Москве с радистом, принявшим эту радиограмму. Звали его Георгий Вешняков, он был ровесником Миши и тоже любил своё дело. Через несколько минут Вешняков радировал танкером «Батуми» и «Ленинград», настигавшим «Туапсе» с запада, и танкеру «Апшерон», шедшему в тот же район с востока, чтобы они немедленно возвращались обратно. Так они избегли опасной встречи... Но всё это Миша узнал лишь спустя полтора года. А пока он занёс в журнал номер радиограммы, количество слов и полученную квитанцию. В это время раздался первый залп.

С мостика «Туапсе» было отлично видно, как всплеснулась вода от взрывов. Недолёт.

Танкер шёл прежним курсом.

Быстро светало, и в бинокль уже можно было различить эскадру на горизонте: вокруг, со всех сторон, стояли военные корабли; ближе других маячила громада крейсера. Над головой, очень низко, пронеслась эскадрилья реактивных самолётов. Стало ясно, что это широко задуманная и тщательно подготовленная операция. На мачте эсминца болтался какой-то флаг, но в предрассветном тумане он казался чёрным.

— Пираты,— сказал помполит Кузнецов.— И флаги пиратские.

— Ты прав,— сказал капитан, отрываясь от бинокля.— Это чанкайшисты.

Раздался новый залп. Перелёт. Страшно подумать, что было бы с танкером, до краёв налитым керосином, если бы снаряд попал в него.

«Туапсе» всё ещё шёл прежним курсом...

Сколько раз потом, сидя в одиночке, вновь и вновь передумывая события этой ночи, капитан спрашивал себя: правильное ли решение принял

он в те короткие мгновения? Да, его вынуждали подчиниться силой оружия. Да, он не мог, безоружный, воевать со всей этой сворой эсминцев, крейсеров, бомбардировщиков. Да, судну действительно грозила гибель — они бы не задумались потопить «Туапсе». Но, быть может, на это и следовало итти? Предпочесть гибель захвату?.. От него одного зависело решение. Правильно ли он использовал свою власть капитана, приказав застопорить ход? И тысячу раз капитан отвечал себе: да, это было правильно! Сейчас ведь не война, всякое насилие над мирным торговым кораблём, идущим в нейтральных водах, — противозаконно. Капитан не имел права поддаваться на провокацию.

Раздался ещё один, последний, залп из кормовой башни эсминца. Столб воды вырос перед самым носом остановившегося танкера. И сразу — тишина, непривычная тишина молчащих машин. Только скрип шлюпбалки нарушал её: матросы спускали на воду моторный бот.

— Ты должен остаться на судне, Виталий Аркадьевич, — сказал старпом Меркулов. — Я пойду. Мало ли что...

На рукопожатие времени не оставалось. Старший помощник с папкой судовых документов сошёл в бот, где его уже ждали двое матросов. Было 4 часа 15 минут утра.

Кузнецов с переходного мостика следил за маленьким ботом. Вот бот приблизился к эсминцу. Матросы ловят концы, чётко работают, пришвартовываются к высокому борту корабля. Борис Александрович встаёт, держится с достоинством... Но что это? На эсминце распахнулись вдруг палубные люки, оттуда выбегают солдаты в полном вооружении. Один за другим они прыгают в бот, накидываются на старпома, сбивают его с ног, матросам выкручивают руки...

— Глянь, кандалы! — раздался звонкий мальчишеский голос.

Кузнецов оглянулся: рядом замер, навалившись на поручни, Коля Фёдоров — самый молодой матрос на «Туапсе». Стройный, голубоглазый, красивый мальчик, ему нет ещё полных семнадцати лет, это первое его плавание. И, конечно, полицейские наручники, которые защелкнулись сейчас на руках его товарищей, показались ему кандалами. Ведь он слышал о кандалах, в которых когда-то, в стародавние времена, люди шли в Сибирь.

Десантники взяли старшего помощника и поволокли на эсминец. Кузнецов проводил его взглядом до самого люка, словно знал, что не увидится с Меркуловым тринадцать долгих месяцев.

К танкеру возвращался бот, наполненный чанкайшистами.

На судне раздалось слова команды на чужом языке. По палубе бежали десантники — в куртках, рубашках, в гамашах, ботинках. Единственным признаком формы можно было признать синие бескозырки без ленточек, венчавшие этот разнобой. И ещё, пожалуй, спасательные пояса, висевшие у каждого на груди. Оружие тоже было самое разношёрстное — револьверы, гранаты, автоматы, карабины всех систем и образцов.

Когда сутулый офицер в фуражке с высокой тульёй, повидимому, командовавший этим сбродом, взбежал на мостик; капитан Калинин, всеми силами стараясь сохранить спокойствие, спросил у него, на каком основании чинится всё это беззаконие.

— У вас на борту скрываются китайцы, — сказал офицер на плохом английском языке.

— Это неправда, — сказал капитан, — и вы это знаете.

— Вы везёте военный груз, — выдвинул чанкайшист новую версию, — авиационный бензин.

— Снова ложь. Груз — осветительный керосин — соответствует документам, можете лично убедиться.

Офицер задумался, потом ухмыльнулся:

— Ничего, нам на Тайване пригодится и керосин.

Он не был дипломатом.

Помполит Кузнецов выбежал на палубу. Враги были со всех сторон. Их собралось на судне уже больше сотни — успели высадить второй десант. Рукоятками револьверов, штыками, прикладами они сгоняли советских моряков на корму.

Помполит бросился навстречу, к капитанскому мостику.

2. «Сопrotивление бесполезно»

Итак, в 125 милях от южной оконечности острова Тайвань, в открытом море, вдали от родных берегов, мирное судно подверглось нападению. Тяжёлые орудия усталились на моряков, над их головами гудели бомбардировщики, на самом судне орудовала сотня головорезов. Как это свойственно пиратам, общей цели у них не было — у каждого своя, и разуменно, низменная. Они рассыпались по каютам, взломали продуктовую кладовую, хватали одежду моряков, их личные вещи, тащили мешки с мукой и сахаром, ящики с консервами, папиросы, сигареты.

Постепенно орда, понукаемая офицерами, растеклась по всему судну. Там, где моряки отказывались подчиняться, их избивали, на них накидывались скопом, и в миг защёлкивались наручники; с каждым движением руки они сжимались сильнее, до боли сдавливая запястье.

Десант занял проходы, штурманскую рубку, машинное отделение. Захвачена была и радиорубка — «Туапсе» оказался отрезанным от всего цивилизованного мира.

— Сопrotивление бесполезно, — говорил капитану Калинин у сутулый главарь этой банды. — Прикажите дать ход судну и следуйте за кораблями на остров Тайвань.

— Этого никогда не будет! — отвечал ему капитан.

Моряки угадали, что вслед за старпомом чанкайшисты захотят изолировать капитана, чтобы обезглавить команду, и сошлись на мостике, окружили капитана живой стеной. Здесь были второй помощник Горобец, матрос Бабенко, токарь Сулетинский, матрос Павленко — все, как на подбор крепкие, плечистые. Был здесь и помполит.

Но сопротивление было невозможно. Высадился ещё один десант — с корвета. Раздалась гортанная команда, сутулый офицер отбежал в сторону, и четыре десятка вооружённых бандитов ринулись на группку советских моряков. Пётр Бабенко, кажется, успел своротить скулу одному или двум из них; Горобца сбили с мостика, и он скатился по трапу; Иван Павленко молча разглядывал наручники на своих руках. А капитана уже волокли, почти несли в штурманскую рубку. Двери захлопнулись. Остальных погнали на корму.

Помполит Кузнецов шёл по палубе, и горько было у него на душе. Сопrotивление бесполезно. Только толкать бандитов на новые зверства — к чему? Всё равно они добьются своего. Ну, часом позже придет танкер на Тайвань — что толку?..

Так думал он, идя по палубе, думал, оглядывался по сторонам и видел: несмотря ни на что, сопротивление охватило всё судно.

Чанкайшисты, наткнувшись на отказ капитана вести «Туапсе» своим ходом, вздумали взять танкер на буксир. Но оказалось, что кто-то из моряков успел вывести из строя брашпиль — механизм типа лебёдки, служащий для этой цели. Брашпиль был сломан со знанием дела: гоминдановцы так и не смогли его починить. Тогда сотня солдат взялась за буксирный трос и кое-как завела его вручную. Но при первой же попытке военных кораблей развернуть танкер, трос лопнул со страшным треском.

Кузнецов поймал улыбку в глазах Петра Бабенко.

После второй неудачи чанкайшисты решили пустить машины сами. Три десятка солдат кинулись в машинное отделение. Но и там, внизу, во чреве судна, они встретили сопротивление людей, даже не знавших, что делается на палубе. Второй механик Владимир Егерева застопорил машину. На него набросились с пистолетами.

— Пускай машину!

— Не буду!

— Минуту на размышление, потом стреляю!

— Не буду!

Егеревы начали бить. Тем временем мотористы Баканычев и Карпов погасили один котёл и стравили в нём пар. Пираты рассвирепели. Они в кровь избili всю машинную вахту, но так и не смогли заставить работать. Сопротивление продолжалось. Оно достигло особой, полной драматизма силы, когда чанкайшисты вспомнили о флаге.

Алый стяг развевался над палубой захваченного корабля.

Свою оплошность пираты заметили только после того, как с эсминца было передано гневное распоряжение на сей счёт. Тотчас бандиты бросились к мачте. Но моряки опередили их. Все, кто ещё оставался на палубе, все, кто мог ещё двигаться, встали на защиту флага Советской страны.

— Стреляйте, гады! — кричали моряки. — Не отдадим флага!

Раздалось щёлканье затворов, выстрелы в воздух, но красный флаг развевался на судне до тех пор, пока всех советских моряков силой не стащили на корму. Их загнали в помещение красного уголка.

Задрожала палуба, и моряки притихли. Значит, удалось всё же пустить главную машину. Помполит Кузнецов глянул на часы: стрелки показывали 3 часа дня.

Почти двенадцать часов они отстаивали свой танкер.

3. Партийное решение

Кузнецов был молодым моряком, хотя голубой якорёк украшал его руку с 1929 года. Он вытатуировал его между большим и указательным пальцами, когда бегал в первый класс. Учился Кузнецов в большом отделении от морей и океанов, в городе Барнауле, где родился и вырос. И только в 1946 году, после войны, после демобилизации, впервые увидел море: приехал в Одессу и устроился на танкер мотористом (моторы он знал). Пригодился всё же якорёк.

Он был молодым моряком, а политработником — того моложе. В партию Кузнецов вступил в 1942 году под Сталинградом. На партийную работу его выдвинули уже в торговом флоте, в 1948 году. И только в конце 1953 года он был назначен на танкер «Туапсе» первым помощником капитана — помощником по политической части.

Прошло всего полгода с того дня, и вот танкер захвачен врагами, команда заперта, а помполит сидит посреди комнаты и думает: как быть, с чего начать, какую работу вести с людьми?.. Тут не зайдёшь посоветоваться в политотдел, не позвонишь в райком, а работа предстоит сложная — в этом нет у помполита никаких сомнений.

Кузнецов оглядывает людей, окруживших его. Сидят тесно — на диванах, на стульях, на столах, на полу, — ведут негромкие разговоры:

— В Сингапуре куртку купил на молниях. Знаешь, «сингапурка»? Так он, гад, при мне её напялил...

— Ну, одному я всё-таки двинул. Будет помнить.

— Время обедать. Собираются они нас кормить?

— Груз могут выкачать...

— Пусть попробуют!

— Слушай, что я тебе скажу: нам всё-таки легче, вместе сидим. А старпом один, на эсминце. Или капитана взять...

Пётр Бабенко подходит к радисту.

— Миша, передал радиограмму?

— Сказано тебе, передал.

Вопрос этот задаётся ему, видимо, уже в сотый раз.

— В самую Москву передал?

— В Москву.

К этому разговору прислушиваются все.

— Тогда порядок! — говорит с дивана моторист Ляховский, весёлый, неунывающий одессит. — Молотов уже ноту про нас пишет. Он как утром пришёл на службу, ему сразу доложили: так, мол, и так...

Рассказывает Ляховский со вкусом, подробно, будто он всю жизнь проработал в Министерстве иностранных дел. Его не перебивают.

Помполит Кузнецов смотрит на людей, слушает их и думает о том, какие же они, в сущности, все разные. Когда сходились здесь же, в красном уголке, на общие собрания, казались схожими, почти одинаковыми. А сейчас что ни человек — то характер. Никогда ещё он не ощущал этого с такой остротой.

Есть тут совсем юнцы, вроде Коли Фёдорова, есть и старики, вроде судового повара; женщина есть одна, буфетчица Ольга Фёдоровна Панова, — притихла, смотрит на всё большими блестящими глазами. Есть тут коммунисты и беспартийные, потомственные горожане и вчерашние колхозники, отцы семейств и старые холостяки, люди с высшим образованием и с неполной семилеткой.

Помполит знал, как повели бы себя эти люди на серьёзном собрании или на весёлой вечеринке, во время прогулки за границей в порту или во время судового аврала. Он знал, во всяком случае ему казалось, что он знал, как повели бы они себя в случае шторма, пожара, аварии. Но он ни разу не задумывался над тем, какими будут эти люди, если... если враги поведут их на расстрел. Или станут пытать, морить голодом.

Теперь приходилось думать об этом. Он, коммунист, должен смотреть правде в глаза, как бы она ни была горька, эта правда. Не для того их захватили, чтобы отпустить на все четыре стороны. Сколько времени их продержат в плену — месяц, полгода, год? Моряков с «Комсомола», захваченного фашистами во время испанских событий, держали по тюрьмам больше года. А на Тайване и сейчас держат польских моряков с танкера «Праца»... Надо готовить людей к самому худшему. И надо немедленно — может быть, уже через час будет поздно — начать борьбу за них.

Рядом с помполитом сидит Закурдаев, судовой электромеханик.

— Михайл Михайлович, — говорит ему Кузнецов. — Я думаю, начать надо с партийного собрания.

Через несколько минут члены партии собираются в центре комнаты. Их немного: семь человек. Они садятся на корточки, в кружок. Остальные моряки встают, прикрывая их от конвоиров.

Закурдаеву по виду лет пятьдесят, на самом деле — сорок пять. Старят его морщины на тёмном, продубленном солёными ветрами лице. Плавает Закурдаев с тридцатых годов. И давно уже коммунисты танкера «Туапсе» избрали его секретарём своей парторганизации.

— Партийное собрание объявляю открытым, — вполголоса говорит он. — Делаем вид, что идёт обычная беседа. Регламент самый жёсткий. На повестке дня один вопрос: организация сопротивления захватчикам. У кого будут возражения? Дополнения?..

Надо бороться с врагами — это общее мнение. Нельзя сидеть сложа руки — и с этим все согласны. Но как бороться?.. Есть предложение: написать протест в адрес военных властей Тайваня. Принимается единогласно. Есть предложение: объявить в знак протеста голодовку. Кто-то сомневается:

— А поможет это? Ведь мы в руках бандитов, это все видели. Скажут: ну и голодайте на здоровье! Разве их этим проймёшь?

— Наверняка так скажут,— говорит старший механик Беспалов.— А объявлять голодовку, я считаю, всё равно нужно.

— Не для них, для нас самих нужно,— говорит Кузнецов.— Я об этом всё время думал. Когда танкер захватывали, думал: может, зря ребята лезут на рожон — всё равно ведь такую силу не переборешь. А потом понял — правильно делали... Вы представьте: вчера мы самым любезным образом сдали б им судно — сопротивляться ведь невозможно. Сегодня попросим их, чтоб накормили, и с благодарностью примем от тюремщиков суп — к чему терять силы? Завтра без борьбы, по доброй воле, сойдём с судна — всё равно ведь сведут, силой выташат. А потом что?.. Кто укажет грань, за которую нельзя отступать? Кто укажет момент, когда надо начинать борьбу?.. Я лично поддерживаю предложение о голодовке.

— Я согласна,— говорит Ольга Фёдоровна.— Поскольку другого оружия у нас нет, надо использовать это. А как же иначе?

— Кто за то, чтобы в знак протеста против захвата нашего судна объявить голодовку? — спрашивает Закурдаев.

Помполит обводит глазами комнату. Какое у них собрание — открытое или закрытое? Сразу и не разберёшь: говорят одни коммунисты, но слушают все. И голосуют все — это видно по глазам людей, по одобрительному гулу.

И это решение принято единогласно. Теперь надо писать протест. Карандаш в руках у Кузнецова.

«Мы, торговые моряки советского танкера «Туапсе», следовавшего в Китайскую Народную Республику с мирным грузом, выражаем свой решительный протест против незаконного, попирающего все международные нормы, задержания нашего судна в нейтральных водах и требуем...»

Дальше самое главное: что требовать? Кузнецову подсказывают:

— Пусть создадут нормальные условия жизни для экипажа.

— Прекратить грабёж на судне!

— Дать свидание с капитаном.

— Зачем свидание? Соединить капитана с командой!

Кузнецов медлит писать. Да, всё это хорошие, правильные требования, и их надо обязательно включить. Но этого мало...

— Земля! — закричал от иллюминатора Коля Фёдоров.

Все потянулись к нему. Над морем вставал чужой берег. Слева — гора, справа — плоскогорье, посередине — бухта. На рейде стояли военные корабли. Когда «Туапсе» проходил мимо серого крейсера, флагмана пиратов, всего в шестидесяти метрах от его борта, чанкайшисты высыпали на палубу, орали, свистели, аплодировали, потрясали оружием — торжествовали. У причала стояло американское судно, производило выгрузку. Когда танкер подошёл ближе, все увидели: выгружаются танки. Чужие руки подвели судно к причалу, чужие руки ошвартовали его. И сразу — зловещая тишина. Порт вымер, ни души на берегу. В этот момент каждый почувствовал: не случайно их затащили сюда, и всем стало страшно. И если кто и верил прежде, что поможет их протест, тут все поняли — не поможет.

Помполит Кузнецов взял карандаш и твёрдо дописал:

«...и требуем: немедленно освободить наш советский танкер, вернуть полностью весь разграбленный груз, соединить команду с капитаном В. А. Калининым и старшим помощником капитана Б. А. Меркуловым. Мы требуем, чтобы все захватчики сошли с палубы нашего корабля».

Протест был готов. Члены экипажа, уже не таясь от охранников, сгрудились вокруг стола и по очереди подписали протест. Это было сделано во-время. На берегу показалась машина. С танкера на причал сбросили трап. В дверях красного уюлка появился гоминдановец в полковничьих

погонах. Был он небольшого роста, плотный, гладко выбритый и очень вежливый. Он сказал:

— Господа, здравствуйте!

Сорок семь человек молчали.

— Я полковник военно-морского штаба Гау.

Молчание.

— От имени командования я прошу вас, господа, соблюдать спокойствие.

Всё то же молчание.

Матрос Небесный, стоявший ближе к двери, шагнул к полковнику — тот вздрогнул. — и вручил ему протест, в котором сказано было всё то, о чём молчала команда «Туапсе».

4. Первая голодовка

Капитан Калинин сидел в своей каюте. Не один — если бы один! У дверей стояли часовые, за иллюминаторами маячили штыки, в каюте тоже были охранники. Стараясь не видеть их, он сел к своему столу.

Целые сутки он не видел ни одного человека. Что с Меркуловым? Где команда? Он знал, что люди на судне: если б их сводили, было бы слышно. Но что с ними? Как они там одни, без него?

Всё это время его продержали в штурманской рубке. Посадили на диван между двумя охранниками и запретили двигаться. Когда у них лопнул трос, главарь десанта снова пристал к нему, чтобы он дал команду вахте запустить машину. Наставил револьвер: «Три минуты на размышление!» Капитан молчал. Его оставили в покое.

Когда танкер вводили в порт, капитана выпустили из штурманской рубки на мостик. Он не сдержал проклятия при виде проходившего мимо судна — эсминца, захватившего «Туапсе». Он запомнил номер эсминца — «12». Бухту и порт капитан узнал сразу, хотя ему ни разу не пришлось заходить сюда. Гаосюн — южные ворота Тайваня, этот порт значится на картах, поминается в лоциях. Он увидел французский флаг над одним из городских зданий. Значит, тут есть французский консул или посланник...

К танкеру подошёл катер, на мостик поднялся лоцман, японец.

— Господин капитан, один вопрос, — спросил он по-английски. — Ваши машины обеспечат манёвр в этой бухте? В смысле быстроты хода?

— Я с пиратами говорить не желаю! — сказал капитан.

Судно захвачено. Молодое судно, всего год назад капитан ездил принимать его на верфи. Современный красавец танкер, мощный, быстроходный, до последнего винтика знакомый, комфортабельный — у каждого члена экипажа собственная каюта. Капитану до боли в сердце жаль судно. Он вздрагивал при каждом толчке танкера, пока они неумело маневрировали в бухте, пока так нелепо, грубо швартовали его.

Потом капитана перевели под усиленным конвоем из штурманской рубки в его каюту, и он остался в окружении стражников.

— Здравствуйте, господин капитан. Я полковник военно-морского штаба Гау.

Капитан «не замечает» протянутой руки гостя:

— В чём дело? На каком основании вы творите это беззаконие?!

— Вы напрасно волнуетесь, господин капитан. Я пришёл к вам по поручению командования, чтобы сообщить вам, что в настоящее время наше правительство...

— Мне нет никакого дела до вашего правительства! Я требую немедленного прекращения издевательств над советскими моряками! Я требую, чтобы моё заявление было доведено до сведения представителя Республики Франции для передачи Правительству Советского Союза!

Гоминдановец бесстрастно вежлив.

— Я маленький человек,— объясняет он.— Я передам ваши слова моему генералу. Полагаю, он придёт на судно, чтобы выслушать вас.

• — Мне с ним не о чем разговаривать,— устало говорит капитан.

В середине дня внезапно зазвонил телефон на столе. Капитан взял трубку. Это было так неожиданно, что стражники растерялись.

— Виталий Аркадьевич! — кричала трубка, и он никак не мог узнать голос.— Звоню вам с камбуза. Команда приняла решение в знак протеста объявить голодовку. Как ваше мнение?

— Поддерживаю полностью,— сказал капитан.— Присоединяюсь...

Договорить ему не удалось. Влетел офицер, выхватил аппарат, швырнул на пол, заорал на часовых, на капитана. Но капитан уже был спокоен.

Вечером снова явился полковник Гау, как и обещал, с генералом. Это был морской генерал, пожилой, совсем не говоривший по-русски и очень слабо по-английски. Имя его было Пу, впрочем, возможно, что это была кличка. Обрюзглое, морщинистое лицо генерала сладко улыбалось.

Капитан встретил их стоя. Они тоже не селись. Когда сел капитан, сели и гости. Он уже овладел собой и держался, как хозяин, вынужденный принимать неугодных гостей,— учтиво, но холодно и твёрдо. Капитан повторил свои требования. Генерал Пу улыбнулся и сказал, что он доведёт их до сведения командования. Капитан сказал, что ему не о чем больше разговаривать с господами Пу и Гау. Генерал снова улыбнулся и пожелал передать на прощание следующее:

— Это нехорошо, что господин капитан объявил голодовку. Это тем более нехорошо, что команда уже кушает, так что голодовка сорвана. Что желает поесть господин капитан?

Капитан не сдержал усмешки...

Генерал пожелал лично осмотреть помещение, где содержалась команда советского танкера. Он попросил полковника Гау, владевшего русским языком, перевести морякам, что они напрасно отказываются от пищи: это вредно отразится на их здоровье. Он попросил также сказать, что русские моряки находятся во «Фри Чайна», в «Свободном Китае» (так генерал Пу изволил называть своё пиратское логово), и посему им не грозят никакие опасности. Кроме того, добавил генерал, мучения команды излишни, так как господин капитан голодовку прекратил и сейчас, как раз в этот момент, вместе со старшим помощником подкрепляет свои силы и пьёт вино.

Русские моряки встретили речь генерала смехом.

Двери красного уголка были снова плотно задраены. Голодовка продолжалась. В жару это оказалось особенно мучительным. Будь в этом тесном помещении достаточно воздуха — уже было бы легче. Но они находились под Тропиком Рака, в комнате сидели, лежали вповалку сорок семь человек, и воздуху не хватало.

Правда, вскоре после ухода визитёров иллюминаторы были открыты. За каждым иллюминатором появились группы чанкайшистов; они ели, с аппетитом чавкая, облизываясь, показывая, как вкусно то, что они едят. Моряки повернулись к ним спиной. Тогда чанкайшисты начали бросать в помещение связки бананов, ананасы, папайя — крупные плоды. вроде нашей дыни. Моряки собрали всё это и выбросили обратно на палубу.

Помполит Кузнецов подошёл к Ольге Фёдоровне и сказал ей, что она, единственная женщина на судне, не должна участвовать в голодовке.

— Вот ещё выдумали! — сказала Ольга Фёдоровна.— Что я, хуже всех, что ли?

На третий день голодовки она уже не могла двигаться. Её уложили на диване. Плохо переносил голод Иван Павленко. Ребята и ему уступили «лежачее место». Он лежал, уставившись в одну точку, и молчал.

Доктор Михаил Степанович Романов долго не хотел сдаваться, его силком уложили на диван. Бледный, худой, он неловко улыбался и, чуть заикаясь, говорил, что его подвёл «хилый габитус». Доктора на судне уважали, как уважали всех, кто любил и знал своё дело. Поэтому после того, как он сказал со своего дивана, что во время голодовок вообще нужно меньше двигаться и как можно меньше разговаривать, чтобы сберечь энергию, в красном уголке воцарилась печальная тишина.

Но вечером моряки удивили тюремщиков. Непоседливому одесситу Ляховскому тошно стало от всеобщего молчания: что они, помирать собрались? Светлоглазый блондин, очень подвижной, шутник и юморист, непрременный участник художественной самодеятельности на всех кораблях, куда его бросала весёлая судьба, он вышел на середину комнаты:

— Давайте, что ли, споём? Ей-богу, доктор, это не возбраняется вашей медициной. Споём, пусть знают, что не страшимся!

И он затянул: «В тумане скрылась милая Одесса...» Помполит подержал его. Припев подхватили все. У Ольги Фёдоровны текли по щекам слёзы. Спели «Широка страна моя родная». Спели «Ямщика». Спели «Варяга». Спели «Интернационал», и те, кто мог стоять, при этом встали.

В иллюминаторы тарацились изумлённые стражники, на берегу собрались толпы вояк. Офицеры разгоняли их.

Четвёртые сутки прошли без происшествий. Люди лежали, молчали, думали. Почти не было разговоров. Много курили. Они с самого начала знали, что голодовка к освобождению танкера не приведёт и привести не может. Но такого полного равнодушия тюремщиков никто не ожидал. Сегодня они даже не пытались совать пищу в иллюминатор.

5. Школа борьбы

На пятые сутки стало ясно, что чанкайшисты заканчивают выгрузку. Это видно было по осадке судна: облегчённое, оно поднялось вверх, причём корма, где было машинное отделение, оказалась ниже носа.

В красном уголке состоялось новое собрание. Кузнецов предупредил людей, что всё закончено, возможно, их захотят снять на берег. Всем помнить: враги пойдут на любые провокации. Не верить никому, только друг другу. Если его изолируют, старшим остаётся Беспалов. Если Беспалова уведут — Закурдаев. Если кому придётся попасть в одиночку, пусть помнит: он не один — Родина о нём знает. Помните всегда: вы — советские люди! Будьте советскими людьми!

К причалу подошли бронированные закрытые машины. В иллюминаторы было видно, как из них выскочили по команде гоминдановцы в мундирах цвета хаки. Их выстроили двумя квадратами напротив танкера. Только каски были разные: у одних — белые (после оказалось, это гражданская жандармерия), у других — зелёные (тайная политическая жандармерия). Перед ними появилась группа офицеров.

Жандармов было сотни три. Это сверх тех двухсот десантников, которые оставались на судне. Моряков было сорок восемь — сорок восемь человек, обессиленных голодовкой. Таково было соотношение сил.

Команда всего ждала при виде внушительных приготовлений, но то, как началась переговоры, ошеломило всех. Распахнулись двери красного уголка, и на пороге появилась — нет, картинно выросла фигура с протянутой рукой.

— Товарищи!

На нём была клетчатая рубашка и серые лёгкие брюки. Он был приветлив и несомненно красив; в лице его с правильными чертами не было ничего порочного, злобного, оно дышало радушием, расположением к пленникам. Им ещё многое предстояло узнать на острове Тайвань. И в своё время они узнали, что этот симпатичный «товарищ» — один из

самых ярых провокаторов, самый злобный, самый изобретательный, самый хитрый. Полукитаец-полуянки, он родился во Владивостоке, учился в Штатах, жил неизвестно где; одинаково свободно владел китайским, английским, русским, французским языками; на одних допросах называл себя «мистером Ли», на других именовал себя «мистером Ханом», — матёрый контрразведчик в чине капитана, явившийся к ним под личиной простого переводчика. Но в тот первый момент, когда он бросился к ним с дорогим для всех словом, у многих дрогнули сердца.

— Товарищи! — говорил человек в штатском на чистейшем русском языке. — Я переводчик Ли. Власти поручили мне вести с вами переговоры. Мы беспокоимся о вашем здоровье, подорванном голодовкой. Давайте все вместе сойдём на берег, где вам будет оказана необходимая медицинская помощь. Я гарантирую вам...

С дивана поднялся доктор Романов. Его шатало.

— Я судовой врач танкера «Туапсе», — стараясь говорить твёрдо и чуть заикаясь, сказал Романов. — Я знаю своих людей и официально заявляю, что никто из членов команды в медицинской помощи не нуждается.

Мистер Ли впился в него глазами.

— Товарищи! — снова провозгласил он. — Вас накормят, как самых дорогих гостей. Я гарантирую...

— Гусь свинье не товарищ! — громко сказал Пётр Бабенко.

И прорвалось:

— Иди, откуда пришёл!

— Капитана сюда!

— Где старпом?

— Никуда мы с судна не сойдём! Лучше вы нас убейте!

Мистер Ли ушёл. А через несколько минут в красный уголок ворвался капитан Калинин...

У капитана с утра сидели полковник Гау и ещё какие-то офицеры, притворявшиеся, что они не знают языка, и переводчики, притворявшиеся, что они не офицеры. Сперва его долго уговаривали поест. Потом полковник Гау и его подручные перешли к другой теме. Командование военноморских сил «Фри Чайна» заботится о русских моряках. Они будут на острове Тайвань дорогими гостями. К чему лишние волнения? К чему кровопролитие? Оно ведь тоже возможно... Он, капитан, несущий ответственность за вверенный ему экипаж, должен написать распоряжение своим людям, чтобы они сошли на берег.

— Команда не поверит, что это я писал.

— Вы распишитесь.

— Всё равно не поверят до тех пор, пока не увидят меня своими глазами.

— А вы прикажете им сойти на берег?

— Пустите меня к команде, и я поговорю с людьми.

Началось совещание: допускать или не допускать? Один из офицеров побежал звонить в штаб. Мнения разделились. Капитан, воспользовавшись замешательством, оттолкнул часового от двери, выскочил на переходный мостик. До кормы надо было пробежать около шестидесяти метров. За ним неслись полковник Гау и вся его свита. Капитан оттолкнул часового от двери и увидел свою команду.

— Товарищи! Держитесь! С судна мы не сойдём!

В дверях показались офицеры, жандармы, но в комнату не вошли. Стиснув зубы, молча сидели моряки на полу, они взяли за руки, крепко держались друг за друга и закрывали собой капитана.

Снова появился мистер Ли.

— Командование даёт вам одну минуту на размышление, — сказал он и выставил палец. — Одну!

Прошла минута, две, три, может быть, больше. Это были минуты прощания товарищей, впервые в жизни ощутивших с такой силой, как они нужны друг другу, минуты молчаливой клятвы на верность. Каждый понимал, что их всё равно сведут с судна, с палубы, которая во всех плаваньях, в самых далёких морях была для них кусочком родной земли. Но разве можно покидать родную землю без борьбы, по доброй воле?..

Вдруг раздались крики, в комнату ворвались жандармы, и всё смешалось, закружилось, спуталось, как в дурном сне. Началась какая-то дикая вакханалия разнузданной ярости, жестокости. Истошно орали жандармы, щёлкали затворы, звенели наручники. И моряки кричали, отбивались руками, ногами, зубами.

Дверь красного уголка была узка, к ней вёл снизу крутой высокий трап, и это мешало жандармам, длило борьбу. Первым им удалось схватить старшего матроса Бориса Ксенофонтовича Плаксина, сидевшего ближе всех к двери. Он отбивался от врагов ногами, друзья тянули его к себе за руки, но жандармы пересилили. И они швырнули его вниз по трапу — головой, лицом, затылком по металлическим ступеням. Матроса Небесного, совсем ещё молодого паренька, жандармы зацепили за ноги какими-то щипцами и расцарапали, раскровянили ему ноги. В наручниках он полетел вслед за Плаксиным. Третьим был боцман Яковенко.

— Убейте, не пойду! — кричал он и молотил перед собой огромными кулаками.

Его оглушили прикладом.

«Нет, — думал помполит Кузнецов, отбиваясь от жандармов, — мы правильно сделали. Правильно! И как это ни тяжело, именно в эти часы люди проходят коллективную школу борьбы...»

Последним остался в красном уголке моторист Николай Воронов, человек силищи необычайной. Он упёрся, как бык, и десять жандармов ничего не могли с ним сделать. Над их головами высилось его перекошенное, дышащее яростью лицо, скуластое, широколобое, с выпуклыми надбровными дугами и горящими глазами. Воронов был страшен. Жандармов он швырял, как щенят. Он оставался последним и бился за всех.

6. «Вы наши дорогие гости»

...Стол, накрытый белоснежной скатертью. На столе — вазы с фруктами, бокалы с вином. Куриный бульон в фарфоровых чашечках и поджаристые тонкие сухарики с хрустящей корочкой — после голодовки нельзя сразу есть тяжёлую пищу. Впрочем, тут учтены любые вкусы: есть чёрный кофе, и какао, и зелёный чай, и ананасовый сок. Пожилой китаец официант в белом, прикладывая руку к сердцу, приглашает к столу. Моряки отказываются. Бой в серой курточке, низко кланяясь, ходит по залу и мухобойкой уничтожает мух. Тишина.

Врачи со стетоскопами, в белых халатах ждут пациентов. Они желают выслушать тоны сердца у людей, которых только что били, связывали, волоком тащили между двумя шеренгами жандармов. «Дышите... Не дышите...» Прощупывают пульс на содранных наручниках запястьях, качают головами: «Ай-ай-ай! Пульс выше нормы». Кто это сказал, что русские моряки не нуждаются в медицинской помощи? Смотрите, сколько ссадин, кровоподтёков, выбитых зубов. «Откройте рот. Скажите: а-а-а...» Не волнуйтесь, сейчас мы промоем вам раны, смажем йодом, забинтуем — у нас гуманная страна, страна свободы! Не соблаговолит ли дорогие гости проследовать на весы: врачи желают взвесить людей, которые голодали пять суток.

«Медкомиссия» закончена. Каждого члена экипажа, уже без наручников, по одному вводят обратно на танкер: «Пожалуйста, где ваша каюта? Берите всё, что вам нужно, не стесняйтесь. Вы ничего не забыли?»

Моряки берут самое необходимое. Из принципа: не на век «в гости» собрались. Бросают в чемоданчик пару белья, полотенце, мыло, одеколон, бритвенный прибор. Миша Болтунов берёт со стола книгу — однотомник Лермонтова.

— Книгу? Это можно. Пожалуйста, — говорит жандармский офицер.

После оказалось: не было ни одного члена экипажа, который не взял бы с собой книги. Даже те, кто на судне месяцами не брал книгу в руки, тут вспомнили — взяли. Томик Пушкина, ранние рассказы Горького, вторая часть «Угрюм-реки», «Как закалялась сталь», «Два капитана»...

Снова на причале. Жандармы приглашают: пожалуйста в машины. Можете сесть со своим лучшим другом. Кого вы ищете? Капитана? Не волнуйтесь, вы увидите с ним.

Раскрываются тяжёлые ворота пакгауза, впереди — узкий мост, затем улица, узкая и извилистая, как змея, какие-то ларьки, палатки, непролазная грязь, и снова улица, такая же тесная; бегущие по ней кули и рикши вжимаются в стены, пропуская жандармскую машину. Кончается город — начинается зелень, роскошная растительность тропиков. Гудронированное шоссе ведёт вдоль зарослей кокосовых пальм. Среди бананов, в густой листве, прячутся белые роскошные виллы. Наконец автобус останавливается у серой каменной стены. Высотой она до четырёх метров, да ещё наверху метр колючей проволоки.

Миша Болтунов, Пётр Бабенко, Иван Павленко, третий помощник капитана Леонов выходят из машины, озираясь вокруг. Видимо, это тюрьма? Но и за железной с глазком калиткой, которую охраняют два жандарма, продолжается всё та же «идиллия». В центре небольшого двора — белый летний домик под черепицей. «Милости просим, входите».

Навстречу им встаёт тучный низкорослый китаец. Он приветливо смотрит на вошедших маленькими, заплавленными глазами.

— Будем знакомы. Меня зовут Борис Александрович. Чувствуйте себя как дома. Прошу прощения, одна маленькая формальность.

Он хлопает в пухлые ладошки, и в комнату входят пятеро жандармов в темнозелёной форме с целлулоидными нашивками тайной полиции на рукавах. Ни слова не говоря, они очень деловито принимают обыскивать моряков, отбирают все бритвы, перочинные ножи, пояса, галстуки, даже шнурки с ботинок. Тщательно перелистывают все книги, снимают ботинки, изучают каблуки, выворачивают носки, прощупывают швы, шарят под подкладкой. Всё это время на жирном лице «Бориса Александровича» написано самое искреннее сожаление.

Зато, когда окончилась эта неприятная, но, увы, необходимая процедура, он сразу преобразился.

— Я приготовил для вас, господа, сюрприз. Надеюсь, вы будете довольны.

Он шариком откатился к другой, закрытой двери, отпер её, распахнул, и моряки увидели капитана, спокойного, переодетшегося, чисто выбритого.

— Ну, вот вы и вместе, — сказал «Борис Александрович». — А там ещё одна ваша знакомая.

Моряки прошли в комнату. На постели лежала Ольга Фёдоровна. Она молча заплакала.

— Не надо тревожить больную, — сказал заботливый китаец и, когда все, стараясь не шуметь, вышли из комнаты, пригласил: — Теперь пожалуйста кушать.

Ребята посмотрели на капитана. Капитан посмотрел на чанкайшиста. Недолгая пауза, и тот всё понял. И вышел из комнаты.

— Голодовку прекращаем, — сказал капитан. — Свою роль эти пять суток, несомненно, сыграли. Теперь надо беречь силы. Неизвестно ещё, что нам тут придётся переносить. Так что пошли.

— А как же... — начал было Миша Болтунов.

— Остальные знают,— сказал капитан и, понизив голос, добавил: — Мы с Кузнецовым, Беспаловым и другими ещё в пакгаузе договорились.

На столе был куриный бульон с сухариками, и от невыразимого его аромата всех зашатаало. Тут только ощутили люди, до чего они голодны. Но прежде, чем садиться за стол, Болтунов и Бабенко пошли кормить Ольгу Фёдоровну.

Она смотрела на них непонимающими глазами.

— Покушайте, Ольга Фёдоровна, — сказал Миша. — Вы совсем ослабели. Надо поддержать себя.

— Не буду.

— Ольга Фёдоровна, капитан ест, все едят.

— Неправда. Обманываете меня.

— Смотри, Оля. — Бабенко поднёс чашку к своему рту. — Видишь, пью? И Миша выпьет, хочешь? Голодовку кончили. Шабаш. Ешь, Оля. И она выпила немного бульону.

Когда кончился этот первый обед, все закурили.

— Может быть, вы желаете выйти подышать свежим воздухом? — спросил «Борис Александрович».

Потом был мёртвый час. Потом всех пригласили в баню. Потом принесли шахматы, карты, какую-то национальную игру, которую ребята называли «уголками». Этой игре их обучал с помощью знаков и богатой мимики один из стражников. Потом был ужин, уже более плотный. А на следующий день — шикарный обед. Всё как полагается: ножичек справа, вилка слева, ложка столовая, ложка десертная, ложка чайная; неслышный официант с блестящим подносом; закуски, суп, второе (каждому по полкурицы с рисом), фрукты, лёгкое вино, соки. Стол был сервирован на пятнадцать персон — столько их было в группе.

— Где остальные? — спросил капитан у «Бориса Александровича». — Почему оторвали остальных? Что вы с ними сделали?

— К сожалению, господин капитан, мы не располагаем достаточным помещением, чтобы с удобствами разместить всю команду. Но вы не волнуйтесь: все ваши люди содержатся в таких же условиях.

Больше от него ничего нельзя было добиться.

Впоследствии выяснилось, что вся команда была разбита на три группы. Первая — группа капитана Калинина, — как уже сказано, насчитывала пятнадцать человек. Во второй, из шестнадцати человек, старшим оказался Беспалов; в третьей, из семнадцати, — помполит Кузнецов. Пятнадцать, шестнадцать и семнадцать в сумме составляет сорок восемь. Сорок девятым был старпом Борис Александрович Меркулов — его держали в одиночке. Отношение в тот период ко всем было самое предупредительное. Так что «Борис Александрович» имел в этом случае редкую на Тайване возможность — сказать правду.

Кстати, хватит именовать его так. С равным основанием он мог бы называться Пафнутием, Иоганном или Сысоем. Этот любезный толстяк мог избрать себе любую кличку, но зачем он назвался именем и отчеством Меркулова? Пётр Бабенко особенно негодовал: «Пропади он пропадом, чтобы я его называл, как старпома!» Выход вскоре был найден: кто-то из ребят назвал толстяка Черчиллем, и это прозвище прилипло к нему.

Итак, «Черчилль» не лгал капитану, говоря, что вся команда содержится в хороших условиях. Всем разрешали гулять во дворе, всем выдали игры, всем подавали обеды из пяти блюд. Моряков из группы Беспалова с первого дня начали усиленно приглашать в город: «Вы развлечётесь, послушаете музыку, посмотрите новые фильмы в кино». В группе Кузнецова было много молодёжи; когда ребята отдохнули и пришли в себя, переводчик «Чжа» принёс волейбольный мяч. А маленький бой с тупым лицом бросил свою мухобойку и кинулся во двор вешать сетку.

И всё же, к огорчению гостеприимных тюремщиков, пленники их оказались поистине «неблагодарными».

В группе Кузнецова в первый же день появился портрет Ленина. Его принёс Карпов, моторист. Никто не знал, как он сумел взять портрет с корабля, как пронёс его через все обыски и проверки. Но факт остаётся фактом: едва они остались одни, Карпов встал на стул и укрепил портрет на стене. Жандармы обнаружили его только утром. О, они знали это лицо! Они расшвыряли. «Мистер Чжа» звонил в штаб за инструкциями. Задача была сложная: убрать портрет, но сделать это вежливо. А семнадцать советских моряков стояли перед портретом вождя и не соглашались ни на какие уговоры. И пришлось жандармам «применить силу» — по одному оттащить Закурдаева, Карпова, Небесного, Врублевского, Кузнецова... Жандармы вырвали портрет из рук моряков, порвали в клочки, мало того — бросили в печь.

Прошло ещё два дня — и новый случай. «Мистер Чжа» решил сам позаботиться об украшении комнаты: над столом появился Чан Кай-ши. Он был изображён в рост, в мундире, надутый, напыщенный, и было очень противно смотреть на него. Но пока переводчик уговаривал моряков развлекаться в кино или ресторане, Чан Кай-ши исчез. Жандармы пядь за пядью излазили комнату, перерыли все подушки и матрацы, вскопали каждый клочок земли во дворе, но Чан Кай-ши нигде не было. После этого случая в уборную моряков начали водить под конвоем...

В группе капитана Калинина пишется новый протест, весьма резкий, в котором без всякой дипломатии вещи называются своими именами: тюрьма — тюрьмой, мародёрство — мародёрством, избиение — избиением, бандиты — бандитами. Пятнадцать моряков, чьи подписи скрепляют этот документ, требуют немедленного объединения всей команды танкера «Туапсе», свидания с представителем Франции, освобождения экипажа из плена и, конечно, возвращения корабля и груза, принадлежащих Союзу Советских Социалистических Республик.

Такой же протест написан и во второй группе и в третьей.

Нет, «дорогие гости» никак не желали на любезность отвечать любезностью, на улыбку — улыбкой.

7. Начались допросы

«Идиллия» кончилась примерно на десятый день.

Днём, вечером, на заре, среди ночи приходили жандармы, выхватывали из группы то одного, то другого моряка, куда-то увозили.

Занимался всем этим жандармский офицер связи «Лю», чином капитан, очень длинный, деревянно-прямой, с чёрными, жёсткими, остриженными ёжиком волосами. Глаза его постоянно прятались за тёмными стёклами очков, но те, на кого он обращал своё внимание, замечали вдруг острый взгляд из-под очков, в обход стёкол. От этого взгляда становилось не по себе. На лице капитана Лю была написана откровенная, ничем не скрываемая жестокая ненависть. В отличие от других гоминдановцев, он пленников не боялся и нередко сам, без сопровождения четырёх вооружённых охранников, увозил их, сидя за рулём своей машины темновышнего цвета. Он никогда не разговаривал, молча прощупывал пленников своим взглядом, потом указывал на кого-нибудь пальцем, и те, за кем являлся молчаливый Лю, уже не возвращались. У моряков капитан Лю был известен под кличкой «Палач», и это имя, неизвестно кем данное, подходило ему как нельзя лучше.

В то время никто ничего не понимал. Впоследствии, поговорив о многом и многое сопоставив, моряки разгадали смысл всех этих перемещений. С судна их вывозили без разбору: кто с кем попал в машину, так и

везли. Но, увидев, что пленники не поддаются на «ласку», контрразведчики занялись ими всерьёз.

Явился «Черчилль», более деловитый, чем обычно, и заявил капитану:

— Верховный штаб прислал анкеты, которые вы и ваши люди должны заполнить. Это облегчит вашу судьбу и ускорит решение вашего вопроса. Дайте указание вашим людям выполнить эту необходимую формальность.

И он выложил на стол пухлую стопу анкет. Капитан взял одну из них. Это был солидный документ; должно быть, немало поработали над ним жандармские специалисты. Шестьдесят восемь вопросов, тщательно подобранных и пригнанных, готовы были выпытать у моряков всю их жизнь.

Откуда ты родом? Есть ли у тебя родители? Где они? На какие средства живут? Назови твою жену, детей перечисли поимённо, в каких учреждениях работают, в каких учебных заведениях учатся, адреса, телефоны? Напиши о твоей службе в армии: в каких родах войск проходил действительную, на каких фронтах воевал, какие награды имеешь. Припомни всю твою трудовую деятельность; отдельно выдели выговоры и взыскания. Может быть, тебя увольняли с работы? Может быть, ты в тюрьме сидел при советской власти? На это особенно надеются составители анкеты. Подсчитай твои заработки и напиши, сколько у тебя сбережений «в банке», — может, ты мечтаешь разбогатеть? Не веруешь ли в бога? Поведай им о твоих склонностях: что ты больше любишь — кино, музыку, спорт (ненужное зачеркнуть). Какие блюда предпочитаешь, какие напитки? Вспомни пятерых лучших твоих друзей, самых близких, с которыми воевал бок о бок, с которыми мечтал о счастье, выпиши их имена и не забудь сообщить своим тюремщикам, где они работают, на каких заводах, стройках...

— Вы видите, господин капитан, — вкрадчиво говорит «Черчилль», — это анкета индивидуального направления. Здесь вы не обязаны раскрывать сведения о вашем государстве, только о себе лично.

— Ни один из членов моей команды, — яростно сказал капитан, — не будет заполнять вашу анкету. Слышите? Ни один!

«Черчилль» испуганно попятился. У двери он остановился и сказал — не капитану, морякам:

— Советую вам подумать, господа. У нас страна свободы. Здесь вы свободные люди. Вы не обязаны плясать под дудку большевистских комиссаров. Хорошенько подумайте, господа.

Последние слова толстяк прошипел с нескрываемой угрозой.

— Подумайте, ребята, — сказал капитан. — Почитайте...

С этого дня началась у моряков другая жизнь. Они жили в том же доме. Так же по вечерам выходили во дворик покурить. Их даже кормили с прежней щедростью. Но каждый день «Черчилль» обращался к ним с неизменным вопросом: «Вы подумали, господа?» И каждый день моряки — все вместе и каждый в отдельности — отвечали ему: «Мы подданные СССР. Если вас интересуют какие-либо сведения о нас, запросите СССР».

Так продолжалось три дня.

Потом нажим усилился. В помощь «Черчиллю» прибыл ещё один офицер в штатском, «мистер Ту», шуплый и жёлчный. По-русски он говорил хорошо, язык у него был подвешен ловко. Теперь они обрабатывали пленников вдвоём — толстый и тонкий. Обрабатывали уже более откровенно... Ну, как? Господа всё ещё не одумались? Напрасно. Лучше бы им заполнить анкеты, пока не поздно. Военные власти «Фри Чайна» могли бы стереть их в порошок, но этого не делают... пока, потому что они гуманны. Всё зависит от самих моряков, от их «лояльности». Притом военные власти, разумеется, гарантируют сохранение тайны: никто в Советской России не узнает об этих анкетах. Господа всё ещё упрямятся? Ну что ж, на Тайване есть такие тюрьмы, где и месяца не протянешь. И методы имеются, чтобы любому развязать язык... Что? Ну, зачем же такие слова? Убийц

тут нет. «Фри Чайна» — гуманная страна. Господа моряки останутся живы. Они только ответят на вопросы, которые будут им заданы...

Опытные контрразведчики выискивали малейшую щёлку, чтобы расширить её до пределов бреши и залезть в неё. Ты вспыльчив? Тебя будут всё время злить: может, сболтнёшь что-нибудь в запале. Ты застенчив? Ну что ж, значит, заговорят с тобой о проститутках. Ты вздрагиваешь, когда шёпот за спиной? Будут всё время шептаться. Ты наделён богатым воображением? Ему дадут пищу рассказами о «тайных методах» допроса...

Потом начались и допросы. Моряков прощупывали и тщательно рассортировывали. Вспыльчивых старались отделить от спокойных, нервных — от сдержанных, людей, казавшихся им недалёкими, — от людей острого ума, тех, кого они считали слабыми, — от сильных духом, — всё это не говоря уже о самой элементарной разбивке: командиров — от рядовых, коммунистов — от беспартийных, юнцов — от людей, умудрённых жизнью. Моряков бесконечно тасовали и перетасовывали, словно колоду карт.

Первой разбили группу помполита Кузнецова. Подъехал к дому брошированный автобус, ещё какие-то автомобили, «додж» с жандармами. Жандармы остановились на пороге комнаты, в комнату вошёл переводчик «Чжа» и объявил, что господам морякам предлагается возможность побеседовать о своём протесте с представителями власти. В связи с этим он просит их, соблюдая лояльность, добровольно проследовать в автобус. За его спиной маячила фигура «Палача», поблёскивали автоматы.

Поехали. Впереди автобуса всё время шёл темновишнёвый автомобиль с громкоговорителем и что-то вещал — на китайском языке. Много позже моряки узнали, что их аттестовали населению, как «русских асов», сбитых над Тайванем «доблестными» войсками Чан Кай-ши. «Они хотели сбросить бомбы на ваших жён и детей!» — вопил громкоговоритель.

Автобус остановился у трёхэтажного здания. Стены его были украшены плакатами, изображающими «коммунистические зверства»: сердца, истекающие кровью, и распоротые животы с очень натуральными кишками.

«Сейчас выпустят провокатора», — подумал помполит Кузнецов. Но оказалось другое. Из боковой, незамеченной вначале двери выскользнул офицер небольшого роста. Моряки не без труда узнали боя. Только теперь он не бежал за мухами, и лицо его не казалось тупым. На неплохом русском языке он попросил:

— Господин Кузнецов, прошу вас.

Помполита ввели в маленькую комнату. Там сидели трое: офицер в чине полковника, слева от него — офицер в штатском, справа — офицер с пером и бумагой, стенографирующий вопросы и ответы. Перед стулом, на который усадили допрашиваемого, стояла маленькая тумбочка с сигаретами «честерфильд», печеньем, чаем. За спиной его встал жандарм.

— Ваша фамилия? Закуривайте, пожалуйста...

Допрос начался.

Помполит назвал фамилию, имя, отчество, должность на судне. Закурил свою папиросу.

— Так-так, значит, вы первый помощник капитана. А чем отличается первый помощник от старшего помощника?

«Неужели они настолько тупы, что даже этого не узнали? — подумал Кузнецов. — Видимо, темнят. Ну, во всяком случае не от меня узнают».

Он понимал, что, как только здесь выяснят его роль на корабле (рано или поздно это обязательно случится), он будет изолирован, а ему как можно дольше надо быть с моряками.

— Старший помощник, — объяснил он, — ведаёт административными вопросами, а первый помощник — штурманскими делами.

— Ведёте какую-либо политическую работу?

Кузнецов «недоумевает».

— Любите ли вы кино?

— Да. У нас все любят кино.

— Музыку любите?

— Да, музыку у нас все любят.

Эти ответы об «индивидуальных склонностях» допрашиваемого явно не удовлетворяют ведущих допрос.

— А вы лично? — настаивает полковник.

— И я лично. Как все.

— Кто ваши лучшие друзья на корабле?

— Я со всеми дружу на судне, и ко мне все относятся одинаково.

— Назовите пять ваших лучших друзей в России.

— У меня их там очень много. Выбирать будет трудно.

Полковник свирепеет. Он стучит револьвером по столу.

— Вы будете отвечать?! Понимаете вы, где находитесь? Любезничать тут с вами не будут. Мы знаем, что вы командуете в своей группе. Это вы приказали матросам украсть портрет президента Чан Кай-ши. Думаете, мы не знаем? За одно это военный суд приговорит вас к расстрелу. Вы будете отвечать?!

Допрос был бесконечен. Кузнецов молчал, когда надо было молчать, и говорил то, что считал нужным говорить. Он правильно разгадал замысел жандармов. Морякам предлагались всё те же шестьдесят восемь пунктов анкеты, и дело тут было вовсе не в том, что спрашивали офицеры, а в том, как они спрашивали. Поминутно переходя от любезности к крику, от угроз к уговорам, от вкрадчивой «задушевности» к бряцанию оружием, контрразведчики всё время изучали пленников. Кто из них дрогнет? Смутится? Испугается? Разозлится?

В этой игре все средства считались уместными. С Колей Фёдоровым, едва его ввели, вся троица принялась разговаривать по-китайски. Коля старательно объяснил им, прибегая к помощи знаков, что не говорит по-китайски.

— Ложь! — крикнул полковник. — Такой молодой мальчик и уже научился обманывать. Сознайся, что знаешь китайский язык! Сейчас же сознавайся! Немедленно! — И они ещё долго кричали, грозили револьверами, стучали кулаками, топали сапогами...

Матроса Небесного и вовсе оgoroшили, заявив ему, что он сам китаец.

— Что? — удивился тот. — Сроду был русским.

— Молчать! — рявкнул полковник. — У нас есть точные сведения, что вы по национальности китаец. И ваше настоящее имя нам известно — Ван Цзин-шэн. Мы вас немедленно отправим по этапу...

— Послушайте, — испуганно сказал Небесный, — честное слово, это недоразумение. Я русский, и отец у меня русский, и мать русская.

— Докажите! Имя отца? Матери? Где живут? Где вы родились?

Небесный во-время спохватился. Он сказал:

— Доказывать я вам ничего не собираюсь. Можете считать меня китайцем.

Что это было? Расчёт на неожиданность? Видимо, так. Ведь явная нелепость скорее выбьет человека из колеи, чем логичный вопрос.

Жандармы в этот день и в последующие, несомненно, узнали кое-что о характерах моряков. Вопросы были одни и те же — ответы разные. Сколько людей — столько разных ответов.

Ляховский вошёл в комнату с улыбочкой. Сел на стул, не дожидаясь приглашения. Независимо оглянулся вокруг.

— Чему вы улыбаетесь? — поинтересовался полковник.

— Плакаты понравились, — охотно ответил Ляховский. — Такие они красивые. Особенно этот, с кишками.

— Да, — серьёзно сказал жандарм. — Красные истязают народ. А мы боремся за мир и свободу...

Ляховский иронически улыбнулся.

— Не надо, господин полковник. Я сам из Одессы, тоже немножко в курсе дела.

Миша Болтунов на все вопросы отвечал самым обстоятельным образом.

— Нет, я не могу сказать вам номер моего воинского билета.

— Нет, я не могу припомнить, на каких кораблях работал до поступления на танкер «Туапсе».

— Нет, я не могу назвать вам сумму моей зарплаты. Во-первых, вы можете узнать это и без меня: спросите у капитана, и он вам ответит, если это положено. Во-вторых, считаю этот вопрос неуместным. В-третьих, это ведь вас не касается...

Сулетинский, напротив, ни слова не сказал за весь допрос. Он сумрачно смотрел на жандармов и молчал. Тогда полковник заорал:

— Я знаю; вы Дзержинский! Да? Отвечайте: Дзержинский? Сознавайтесь, что вы Дзержинский!

Тоже, видимо, ждал реакции на неожиданность. Но Сулетинский и тут ничего не сказал.

Моториста Воронова ввели под усиленным конвоем. Четверо жандармов держали его. Полковник с первой же минуты начал провоцировать его, махать у него перед носом револьвером.

— Я знаю! Если вас отпустить, вы завтра же с винтовками пойдёте против нас!

— Мы с вами не воюем, — сказал Николай Воронов, глядя на полковника с высоты своего могучего роста.

— Да, не воюете, потому что боитесь! — кричал тот. — Вы трус! Трус! Вы все боитесь нас. Вы все русские — трусы!

И тут Воронов не выдержал. Он двинул плечами, и жандармы разлетелись в разные стороны. Он им показал, кто кого боится. Будет знать полковник, кто в этой комнате трус!

Николая Воронова прямо с допроса в наручниках увезли в одиночку. В одиночки попали и доктор Романов, и повар Николай Николаевич, и Ляховский, и Плаксин. Увезли в одиночку и Сулетинского. Там он объявил голодовку, и его через некоторое время перевели в тёмную, тесную камеру, где сидели Владимир Егерев и Борискин, четвёртый механик. Они, как и Сулетинский, вообще отказались отвечать на вопросы, и их за «нетактичное поведение» посадили в карцер. Егерев был плох — у него отбили почки. Прошло ещё несколько дней, и всех троих перевели в новое помещение, где они встретили Закурдаева, Горобца, Врублевского, Карпова, моториста Баканычева. Был там и помполит Кузнецов. Повидимому, это была группа «упрямцев». Через некоторое время пришёл «Палач» и увёл Кузнецова. Потом Закурдаева... А из другой группы, куда свезли одну молодёжь, «Палач» увёз Мишу Болтунова. Потом явился за Леоновым...

С первого же дня, как и ожидали моряки, был изолирован от команды капитан Калинин. На допросе он сказал:

— Имя, фамилию и свою должность не скрываю. Я советский капитан, рождён в СССР, подданный СССР. Всё.

Жандармы желали «уточнить» кое-какие вопросы. Где работал капитан до «Туапсе»? Какой у него стаж? Какой оклад жалованья?

— Вас это не должно интересовать, — сказал Калинин, — так как я не собираюсь поступать к вам на работу.

Новая серия вопросов касалась проблем, так сказать, внешнеполитических. Как смотрит капитан на отношения между своей страной и «Свободным Китаем», как он вообще относится к «Фри Чайна»?

— Советский Союз не состоит с вами ни в каких отношениях, — сказал капитан. — Я лично тоже не желаю иметь с вами никаких дел. Захват

моего судна расцениваю, как разбой в открытом море, поскольку моя страна не находится с вами в состоянии войны. А если бы находилась,— добавил он, повышая голос,— вас бы здесь давно не было.

— Встать! Вывести!

8. В гостях у господина Соколова

Машина темновишнёвого цвета остановилась у загородной виллы, стоящей в уединённом месте. «Палач» — Лю — знаком приказал капитану выйти. Они прошли по дорожке среди зелени и клумб, и капитан увидел красивый двухэтажный особняк, окружённый деревьями. Аромат цветов, синева неба, щебетание птиц на ветвях ошеломили капитана: его больше месяца держали в одиночке.

Капитана ввели в полутёмную комнату; жалюзи прикрывали окна от жаркого солнца. Мягкий диван, кресла, круглый полированный стол составляли меблировку комнаты. На столе были вазы с фруктами, графины, бутылки, фужеры, бокалы, рюмки. «Палач» и другие жандармы застыли у стены позади пленника. Неслышно вошла китаянка, тоненькая, изящная, с красивым личиком. Шурша шёлком, она проплыла к столу, поставила перед капитаном пепельницу и коробку с сигаретами. Улыбнулась капитану, постояла, как бы чего-то ожидая, поклонилась и выскользнула из комнаты.

С театральной внезапностью раздвинулись створки двери, и в комнату энергично вбежал человек с протянутой рукой.

— Здравствуйте, дорогой соотечественник!

Капитан руки не подал.

— Сегодня так жарко. Может быть, желаете содовой, пива, вина?

Капитан отказался.

— Я думаю, — сказал гостеприимный хозяин, обращаясь к гоминдановцам, стоявшим у стены, — что вам следовало бы оставить нас. Мы хотим побеседовать без свидетелей. Как русский с русским.

«Палач» и другие жандармы вышли.

— Господин Калинин, прежде всего разрешите представиться. Моя фамилия Соколов, я специально прилетел из Соединённых Штатов, чтобы по мере своих сил облегчить вашу участь.

Капитан слушал.

— Мы бы не хотели оставлять вас в руках этих азиатов, которые, как я успел узнать, издеваются над русскими людьми. Знаете, — доверительно прибавил Соколов, — китайцы — дикий народ, от них всего можно ожидать...

Капитан молчал.

— Я ничего не жду от нашей первой встречи, — продолжал Соколов. — Я хотел бы просто познакомиться с вами, узнать ваше мнение...

— Ближе к делу, — сказал капитан. — Какие у вас вопросы?

— Нет, нет, не надо так. Я имею неограниченное количество времени для вас. — В речи Соколова чувствовался лёгкий иностранный акцент. — Как вы расцениваете условия жизни людей на Востоке и на Западе?

— Я, как вам известно, капитан дальнего плавания. Бывал во многих странах. И своими глазами видел, где как живётся простому народу. Вам это понятно, господин Соколов?

— Да, я понимаю, — с улыбкой подтвердил тот, — я понимаю, с кем я имею дело. Будем откровенны: не то важно, что вы плавали и что-то там видели. Важно то, что вы сами богатый человек. А? Вы ведь являетесь капитаном. И притом вы ведь коммунист?

Последняя фраза прозвучала полувопросом-полуутверждением. Капитан ничего не ответил на неё. Он закурил. Когда он доставал папиросу, в комнате появилась китаянка, всё та же. Села рядом с капитаном, по-

ложив ногу на ногу и обнажая их чуть ли не до бёдер. Она зажгла спичку, с улыбкой поднесла капитану. Капитан подождал, пока спичка погасла, и зажёг свою.

— Так вот,— сказал он,— чтобы не тянуть: чего вы конкретно хотите от меня и от моей команды?

Господин Соколов встал с места, вышел на середину комнаты. Голос его неожиданно приобрёл даже некую торжественность.

— Мы предлагаем вам, господин капитан, вам и вашим людям, избрать истинную свободу и присоединиться к подлинной демократии!

— Простите, мне неясна ваша фразеология. Выразайтесь яснее.— Капитан чувствовал, что гнев захлёстывает его.

— Хорошо, господин капитан,— говорил провокатор.— Вы умный человек, и я рад быть с вами откровенным. Оставим политику, мы не на митинге. Вам незачем возвращаться в Россию. Вы меня понимаете?.. Вы скомпрометированы самым фактом вашего пребывания в плену. Как бы вы ни вели себя здесь, вам всё равно не поверят. Вас немедленно арестуют и расстреляют, как шпиона. В лучшем случае вас сошлют пожизненно на каторгу, прикуют цепями к тачке, и вы будете до конца своих дней долбить вечную мерзлоту...

Поймав усмешку на лице капитана, господин Соколов перебил себя:

— Верьте мне, господин Калинин, я забочусь о вашем же благе. Разве вы не понимаете, что доверять вам уже не будут, что карьера ваша кончена?.. А нам вы очень нужны, и это чистая правда. У нас вы сделаете любую карьеру. Я гарантирую вам въезд в Америку, а каков там образ жизни, как живут люди в Штатах, вы сами знаете.

— Отлично знаю,— сказал капитан.— Лучше, чем вам бы того хотелось.

— Ваша ирония напрасна,— быстро возразил Соколов.— Я ведь не предлагаю вам становиться к конвейеру Форда или жить в трущобах Гарлема. Оставим пропаганду. Вы будете в Америке богатым человеком. Вам это ясно? Не рабочим, а предпринимателем. За деньгами мы не останемся. Неограниченный кредит! Называйте любую сумму. Ну! Сто тысяч долларов. Триста тысяч. Пялмиллиона... Скажу вам откровенно: вы можете запросить и миллион. А? Кругленький миллиончик наличными!

Капитан встал. Он заговорил, отчеканивая каждое слово:

— Достаточно. Мне ясен смысл ваших предложений. Обо мне короткий разговор: не продавался и не продаюсь. Но могу сказать вам больше: вся ваша провокация обречена на провал. Все наши люди живут одной мечтой — вернуться на родину, и вам не запугать...

— Оставьте! — воскликнул Соколов. — Они мечтают о хорошей пище. Побольше и послаще пожрать. И о бабах — тоже побольше и послаще.

Он привлёк к себе бессловесную китаянку, грубо облапил её. Она улыбнулась всё той же фарфоровой улыбкой. Потом, отброшенная, выскользнула из комнаты.

— Вот о чём мечтают все люди на земле! — всё более распаляясь, кричал провокатор.— О деньгах! Деньги могут им дать всё! И не говорите мне об идеях, это вам не Россия. Ничего, мы сумеем убедить ваших людей в том, что в России их ждут тюрьма и бесславие, а у нас доллары. Я буду беседовать с каждым из ваших людей. И вы останетесь в одиночестве: все они добровольно изберут для себя подлинную свободу!

Так нелепо прозвучала в конце этой тирады штампованная фраза провокатора о «подлинной», даже ещё «добровольно» выбранной «свободе», что капитан рассмеялся. Он стоял посреди сумрачной комнаты, смотрел на этого человека, обнажившего здесь всю мерзость своей души, и громко смеялся. Глаза господина Соколова злобно вспыхнули. Он шагнул к столу, опрокинул бутылку над стаканом, выпил залпом стакан, круто повернулся к капитану... и сдержался.

— Я удовлетворён результатами нашей беседы,— сказал он вкрадчиво.— Что ж, я и не ждал положительных результатов от первой же встречи с вами. Но я уверен, господин капитан, что при последующих разговорах вы сами будете просить, чтобы вас отправили в Америку.

Капитана вновь вернули в одиночку. Это была цементная конура с решётчатым окном, смотревшим на какие-то грязные торговые ряды. Рядом с койкой капитана поставили вторую койку. На ней спал «Палач»— Лю. Впрочем, «спал» сказано недостаточно точно. У «Палача» было в те дни очень много работы. Он мог уехать среди ночи, или приехать под утро, или лежать на койке среди дня, или умчаться в самое жаркое время суток.

Первые дни этот неприятный сосед по обыкновению молчал. Иногда что-то негромко насвистывал. Но капитан постоянно чувствовал его настороженный взгляд. Порой он ночью просыпался от этого взгляда и видел: «Палач», вернувшийся, видимо, после своих ночных бдений, стоит у его изголовья, и глаза его, пристально, как бы гипнотизируя, устремлены на него. Потом вдруг «молчаливый Лю» заговорил на чистом русском языке. Приглашал отобедать вдвоём в ресторане: «Знаете, разнообразная тюремная пища ведёт к несварению желудка». Приглашал погулять в город: «Встретите своих людей, отвлечётесь от мрачных мыслей. Они там ходят, танцуют в дансингах»... К капитану начал захакивать «на огонёк» полковник Гау. Это был «холёный морской офицер, он ни разу не сбился с вежливого, даже изысканно-вежливого тона, взятого им ещё на танкере «Туапсе». Он, мол, человек маленький, от него, к сожалению, вся эта история не зависит, его лично возмущают жандармские излишества, и он посылно хотел бы помочь капитану, чем только сможет. Как себя чувствует господин капитан? Как его кормят?

— Да, вы знаете,— сказал как-то полковник Гау перед самым уходом.— Чуть не забыл. Ведь часть вашей команды уезжает в Америку. Вы слышали об этом? Человек семь или восемь, точно не помню и зря врать не стану. Эта бестия Соколов всё же добился своего! Такой, между нами говоря, ловкий человек.

— Я не верю ни одному вашему слову,— ответил капитан.— Не стану вам, человеку пожившему, объяснять, что лгать некрасиво. Но имейте в виду: и я не мальчик.

Полковник Гау любезно хохотал, говоря, что ему очень приятно иметь дело с умным, более того, остроумным человеком. Однако в следующий свой визит он приносил подробности: «Повар Николай Николаевич плакал, садясь в самолёт», «Врублевский — так, кажется, его фамилия? — потребовал, чтоб ему вернули все его личные вещи», «Романов, если не ошибаюсь, ваш судовой врач?.. Он уезжает на днях, со второй партией. Не верите? Ну, конечно, русский человек — как это? — глазам не верит. Идёмте хоть сейчас со мной в город, и вы увидите его в лучшем ресторане»... К ночи приезжал «Палач» и, снимая скрипучую португую, «делился» с соседом: «Этот ваш третий помощник Леонов таким оказался бабником. Вы бы видели, что он вытворял в публичном доме. Не верите? Могу вам карточки принести — пикантные моменты. Мы на всякий случай засняли. Чтобы не раздумал ехать. Так принести фотографии? Получите удовольствие...»

Это были провокации дешёвейшего свойства, но их было много.

В словах полковника Гау и прочих лишь одно было правдой: «ловкий человек» действительно развил бешеную деятельность — всех моряков до единого пропустили через вишку господина Соколова. Именно «пропустили» — это было поставлено на деловую ногу. Всё было рассчитано по минутам. Машины приходили и уходили, пленников вводили в особняк и выводили из него, господин Соколов угрожал и обласкивал, шантажировал и предлагал доллары. Он не грешил разнообразием приёмов.

Мизансцена была одна и та же: сумрачная комната, китайка с фарфоровой улыбкой, «здравствуйте, дорогой соотечественник», «вас ждёт каторга в России» и так далее.

Ляховский в ответ усмехнулся.

— А хоть каторга, всё у себя дома! Ясно?

Когда Соколов начал предлагать ему женщин, всё тем же деловитым жестом облапив китайку, Ляховский критически прищурился.

— Не подойдёт! Моя жена красивее. На неё даже в Одессе оглядываются. Ясно?

— Охотно верю вам. Но ведь вы, даже если вернётесь в Россию, всё равно жену не увидите. Каторга!

— Вы не знаете мою жену,— сказал Ляховский.— Она давно мечтала увидеть свет. Бросит всё, бросит Одессу и придет ко мне. Если надо будет, придет ко мне «на каторгу». И мы с ней будем вместе. И, между прочим, у себя дома,— с откровенной издёвкой закончил он.

Иногда «в гостях» у Соколова бывали гоминдановские офицеры. Переводчик «Ту», преобразившийся вдруг в подполковника, капитан Лю — «Палач» — и даже генерал Пу. Генерал сидел бессловесно в углу на диване, смотрел, слушал. Ему тоже была отведена определённая роль в этом спектакле. Иногда во время допроса к нему подходил один из офицеров:

— Извините, господин генерал, мне нужно уйти. Я приглашён на банкет к Кузнецову по поводу его отъезда в Америку.

Или:

— Разрешите напомнить, господин генерал: сегодня в семь ноль-ноль вы приглашены на свадьбу к Виталию Аркадьевичу Калинин.

Говорилось это великолепным театральным шёпотом, который слышен до тридцатого ряда партера. И говорилось по-русски, хотя генерал Пу не знал русского языка. Но зато он знал свою роль и благодушно кивал на все эти шепотки. А Соколов в это время старался «отвлечь» пленника, чтобы он, не дай бог, не услышал «секрета». Моряки, конечно, не верили провокаторам, держались, но впоследствии боцман Яковенко признался помполиту: «Знаешь, иногда точило. Сидишь в одиночке, будь она неладна, и грызёшь себя. И думаешь: «Ну, не может же быть!» А тут тебе мыслишка откуда-то из тёмной глубины: «А вдруг кто-нибудь в самом деле?» До того станет тошно...»

Помполита Кузнецова пропустили «через Соколова» последним.

В тот день господин Соколов был куда менее энергичен и жизнерадостен, чем в начале своей «работы». Когда он беседовал с капитаном, всё ещё было впереди. Теперь спектакль шёл к концу, а сборов, как говорится, не сделал. Скоро декорации заколотят в ящик, артисток «на выхода» вернут туда, откуда взяли, шикарную виллу, взятую напрокат, займёт её настоящий хозяин, а господин Соколов как был бездомным негодяем, так бездомным негодяем и останется. А поскольку «кругленькие миллиончики» он предлагал морякам не свои, а тоже чужие, надо полагать, неудобным было для него это возвращение в мир. Доложить хозяевам было нечего, «работа» прошла впустую.

Матрос Дурич и третий механик Врублевский пробыли на вилле Соколова минут по пяти, не больше. Один, только зашёл, сразу заявил, что с подонками разговаривать не желает. Другой молчал, рта не раскрыл. Господин Соколов долго кричал на них: «К стенке поставить! Расстрелять!» Он раскрыл перед моряками всю бездну своей ненависти. Но что с того? Подшить к отчёту всё равно было нечего.

Судовой повар, старик, даже не смотрел на господина Соколова. Он стоял по-солдатски прямо и, глядя на генерала Пу, говорил только с ним — всё-таки официальное лицо.

— Специально для вас, Николай Николаевич,— проникновенно говорил Соколов,— будет выстроен шикарный ресторан в Тайбэе, столице «Свободного Китая». Как вы на это смотрите? Знаете, старомосковский стиль — расстегаи, икорка, тройки с бубенцами, цыгане... И вы будете полным хозяином. А? Недурно для начала?

Соколов, видимо, был уверен, что повар «клюнет» на это предложение. Но старик, игнорируя «соотечественника», вразумительно объяснял генералу:

— Вы ведь тоже старый солдат, как и я. Должны понимать. Мне уже на седьмой десяток перевалило. Так какой же я буду солдат, ежели изменю присяге?..

Старший механик Беспалов поначалу порадовал господина Соколова. Этого сразу было видно: человек дела. Живой, энергичный, с внимательными глазами. Главное, он слушал всё со вниманием, ни разу не перебил. Соколов чувствовал себя в ударе. Господин Беспалов является инженером, не так ли? О! В Штатах его будущность обеспечена. Сколько ему нужно денег на обзаведение? Сто тысяч? Триста? Полмиллиона?

— А заводик можете дать? — сказал старший механик.

Соколов захлебнулся от восторга. Наконец-то!

— Да, можно! Разумеется, можно! У вас будет большой завод. Конечно! Как только вы подпишете заявление...

— Какое заявление? — спросил Беспалов.

— Ну, как же. Заявление о том, что вы отказываетесь возвращаться в Советскую Россию и просите политического убежища.

— Нет,— спокойно сказал старший механик.— Этого я никогда не подпишу. Вы что, оскорблять меня сюда привели?!

— А как же заводик? — упавшим голосом спросил Соколов.— Вы ведь просили заводик.

— Кто? Я просил? Вы, видно, нездоровы...

Русские моряки смеялись над ним!

О собственном заводе Антона Сергеевича Беспалова господин Соколов подробно сообщил Закурдаеву. И о белорамрамной вилле «мистера Беспалова» в Штатах, и о его новом «роллс-ройсе», и о банковском счёте новоявленного бизнесмена, и о его шикарных любовницах. Соколов не жалел красок. Всё, о чём мечтал этот выпотрошенный жизнью субъект, все его представления о «красивой жизни» были патетически выложены пожилому электротехнику. Но обветренное морщинистое лицо электротехника вместо восхищения выразило гнев.

— Прекратите эти гадости, подлый вы человек! — сказал он.— Обманом вы нас всё равно не возьмёте. Не на тех напали.

А когда, кончая беседу, господин Соколов подал ему руку, Закурдаев сказал, глядя прямо ему в глаза:

— После такого рукопожатия год будешь грязь отмывать!

...Однако Кузнецова Соколов встретил, как и остальных:

— Здравствуйте, дорогой соотечественник!

Помполит пристально смотрел на провокатора.

— Сегодня так жарко,— продолжал тот.— Не знаю, как у вас, а у меня горло пересохло. Может быть, желаете пива, вина, водки?

Кузнецов смотрел, не отрываясь. Этот лысеющий лоб, эти маленькие, прижатые к носу глазки, этот тонкий злой рот — где он видел его?

— Вы меня удивляете, господин Кузнецов. Как это, русский моряк и вдруг не пьёт водку?

Помполит глянул на стол. Бутылка водки с этикеткой «Товарищ» была полна. Значит, никто не пробовал — молодцы, ребята!

— Прежде всего, разрешите представиться. Моя фамилия Соколов, я специально прилетел из Соединённых Штатов, чтобы по мере своих сил...

Помполит точно знал, что лицо это знакомо ему. Только недавно он видел эти морщины, мешки под глазами. Именно вчера! Но вчера он весь день провёл в камере. И никто не заходил к нему, кроме переводчика «Чжа»...

— Я ничего не жду от нашей первой встречи. Я хотел бы просто познакомиться с вами, узнать ваше мнение по ряду вопросов.

«...Да, заходил только «Чжа», принёс свои журналы. Так это ж в журнале. Ну, конечно, в журнале!»

— Как вы расцениваете, господин Кузнецов, условия жизни на Западе и на Востоке?

— С вами иметь дело я не желаю,— сказал помполит.

— Почему?

— Я знаю вас. Вы провокатор.

— Как вы смеете! Меня, своего соотечест...

— Вы не русский, и вы не Соколов.

Глядя провокатору прямо в глаза, Кузнецов отчётливо назвал его настоящую фамилию. Тот испуганно вздрогнул.

...Жандармов подвела их же активная деятельность. С некоторых пор они начали проявлять заботу о духовной пище своих пленников. По мере того, как скудела пища телесная, всё богаче становился ассортимент газет, журналов, иллюстрированных приложений, заботливо поставляемых в камеры. Молодёжи подсовывали американские журналы с голыми дивами, людям постарше — заокеанское, с позволения сказать, «Русское слово», грязные листовки «Посев моряка» и тому подобное. Вчера помполит перелистал один из журнальчиков и между двумя страницами длинноногих «герлс» увидел фотографию господина, «избравшего истинную свободу». Вот откуда знал Кузнецов это длинное лицо. Его знания английского языка хватило на то, чтобы прочитать две строчки текста и разобрать фамилию негодяя, предавшего свою родину — одну из стран народной демократии.

Наконец «Соколов» пришёл в себя.

— Ну что ж,— сказал он.— Игра пойдёт в открытую. Нам тоже известно, кто вы такой, господин Кузнецов. Вы политический комиссар!

Видимо, он ждал такого же эффекта от своих «разоблачений».

— Мудрено было бы не узнать,— усмехнулся Кузнецов.— Роль первого помощника капитана много раз описана в советской литературе. А вы столько времени потратили, чтобы разгадать этот «секрет». Гнать вас надо за такую работу!

Провокатор с трудом сдержал себя. Нервы его явно не справлялись с нагрузкой. Спокойствие безоружных моряков, которых приводили к нему под дулами автоматов,— вот что выводило его из равновесия. А помполиту ясно было: провокатор не понимает, что даёт силу советским людям, ведь человек, согласно воззрениям таких провокаторов, должен действовать, повинувшись своим желаниям,— бояться боли и искать наслаждений, иначе быть не может; его можно напугать мыслью о смерти и соблазнить мыслью о наслаждении, вот и всё. Что же удерживает их от соблазна?

«Соколов» говорил и говорил, используя всё те же грубые, истёртые штампы, всё те же замусоленные, прилипшие к его языку «заготовки», из которых он все эти дни пытался сплести свою паутину.

— Вы кончили? — спокойно спросил Кузнецов.— Послушайте, но ведь это глупо. Просто глупо. Вы берётесь хвалить американский образ жизни. Так хоть делали бы это с умом. Ну что это за фраза: «Даже тот, кто моет посуду, в Америке получает деньги». Вы что же, думаете, в других местах судомойки работают из соображений благотворительности? Вы ведь и Америку не любите. Вы ненавидите весь мир. И туда же лезете агитировать людей. Советских людей!

— Я вижу, вас агитировать бессмысленно,— прошипел «Соколов».— Вас, наверное, долго проверяли, прежде чем направить на вашу работу.

— Да уж дурака не пошлют,— подтвердил Кузнецов.

При этом он смотрел провокатору прямо в глаза. Тот отвёл взгляд и нервно сказал, что пора кончать этот затянувшийся разговор; в заключение он должен только официально спросить господина комиссара: подписет он заявление об отказе от Советской России добровольно или будет ждать применения к нему особых методов?

— Каких, например?

Видимо, «Соколов» не собирался выкладывать сегодня этот последний свой козырь, но спокойствие помполита подхлестнуло его. Он быстро подбежал к столу, перебрал пачку листов бумаги, выбрал один из них.

— Вы узнаете эту подпись?

На чистом листе помполит увидел знакомый, свой росчерк.

— Узнаю,— ответил он.— Это подделка моей подписи. Вы скопировали её из морского паспорта. Что же дальше?

— А то, что вы нам не нужны, господин комиссар. Текст заявления будет впечатан на машинке и...

— И вы спрячете его подальше,— перебил Кузнецов.— Такие заявления можно фабриковать пачками. А вашим хозяевам не подпись нужна, а человек. Так-то, господин провокатор...

«Соколова» трясло. Он выхватил из кармана револьвер.

— А этот довод вас не устроит? — спросил он.— Человека нет. Понимаете? Может быть, он скончался от дизентерии, от тропической лихорадки, от коклюша, чёрт побери! Человека нет. А подпись его осталась. Понимаете?..

— Можете расстрелять меня сейчас или немного погодя,— сказал помполит.— Если посмеете.

И, повернувшись спиной к револьверу, он вышел из комнаты.

9. В одиночке

Что такое одиночка?

Это тюремная камера, в которой человека держат одного.

Чем страшна одиночка?

Одиночеством.

Капитана Калинина продержали в одиночке одиннадцать месяцев. И всё это время он мечтал об одиночестве: хоть час побыть одному.

...Это было бунгало японского типа. Потолок такой низкий, что капитан не мог выпрямиться во весь рост. Значит, ходить из угла в угол в своей клетке он не мог. Лёгкие переборки, обтянутые бумагой, с четырёх сторон згораживали комнатку-клетку, в которой держали капитана.

В этой же клетке жила охрана — четыре жандарма. Ночью они укладывались на раскладных койках, днём сидели на стульях, на полу и шумели, орали, ругались, играли в кости, пели, даже плясали. Весь день. Не переставая. Может быть, таков был их характер, темперамент? Нет, прежде все они, и тот же Ван Син-ку, который шумел больше всех, были тихи и спокойны. Теперь же они выполняли особое задание мистера «Ли-Хана», того самого, который на танкере кричал: «Товарищи!» С некоторых пор этот мистер начал лично заниматься устройством быта капитана.

Итак, днём ему не давали отдыхать жандармы. Потом наступал вечер, свет в комнате не зажигался. Но стоило пленнику прилечь, как прямо над его головой загоралась слепящая лампа. Ночью, если капитану всё же удавалось уснуть, его будил... детский крик. Откуда брал мистер Ли-Хан детей? За каждой из четырёх бумажных стенок были маленькие китайские дети, всегда кричавшие. Может быть, их специально били? Капитан ничего не видел. Он знал только, что едва кончает плакать один ребёнок,

начинается рёв за другой перегородкой. Детей привозили много, слышимость была великолепная. Капитан извёлся от бессонных ночей.

Ему не давали отдыхать, ему мешали спать. Ему не могли помешать лишь думать.

Но тюремщики изо всех сил старались дать мыслям капитана определённое направление: генерал Пу «официально» заявил ему, что он остался один — вся команда избрала «свободу»; «Палач», Ли-Хан и другие гоминдановцы ежедневно внушали капитану, что возврат на родину невозможен, — разве простят ему потерю судна? Капитана уверяли, что началась третья мировая война и теперь советским морякам неоткуда ждать помощи — они никому не нужны и забыты...

В сентябре в одиночке капитана появился полковник «Ван» и зачитал приказ начальника чанкайшистского генерального штаба: «Танкер и груз конфискованы. Команду с сего дня считать военнопленными».

Этот приказ был объявлен всем морякам, и с того времени их посадили на голодный паёк: кусочек хлеба и стакан воды на завтрак; варёная трава с кусочком буйволятины на обед и на ужин. Так, впроголодь, они и прожили оставшиеся двенадцать месяцев — до самого конца плена.

Потом вдруг снова вынырнул из небытия господин «Соколов».

— Поспешите, капитан, — говорил он, — а то будет поздно.

— Что будет поздно?

— Как, что поздно? Я скоро уезжаю, и тогда уж вам никто не поможет. Поэтому думайте и решайте немедленно: какие вы ставите условия? Собственное пароходство в Америке? Любая работа здесь, в Китае? Вы нам очень нужны. Ну? Умирать вам ещё рано. Тянуть дольше — только мучить себя. Зачем? Имейте в виду: одиночка зря не проходит. Каждый проведённый здесь день сокращает вашу жизнь. А у вас есть простой выход: подписать документ и жить в прекрасных условиях. Решайте. Если вы очень привязаны к вашей семье, мы найдём способ выкрасть её из России. Если нет, в Америке, имея деньги, можно получить любую красотку. Ну, решайте, капитан! Упирайтесь нечего. В следующий раз вам могут и не предложить таких условий, так что вы промахнётесь.

— Убирайтесь вон! — ответил капитан.

Генерал Пу, присутствовавший при разговоре, попросил передать господину Калинину, что, поскольку он обладает таким тяжёлым характером, гоминдановское командование перестанет с ним нянчиться.

Вскоре после этого, в десять часов утра, к бунгало подъехал ассенизационный обоз. На Тайване нет канализации, там обходятся сточными канавами... Страшный зной, жара до пятидесяти градусов, ни ветерка, ни дуновения. В течение всего дня обоз стоял под окнами, не двигаясь с места. Пленник в своей клетке доходил до обмороков.

Вечером явился заботливый мистер Ли-Хан. Он слышал, что господин Калинин отказался сегодня от обеда. В чём дело?

Такова была эта одиночка.

20 ноября капитан объявил голодовку. Первые два дня, как всегда, было очень трудно. Потом он втянулся, лежал всё время на койке, даже спать удавалось — ослабшему телу меньше мешал шум. На третий день жандармы пытались кормить его силой. Он выбил тарелку из их рук.

На четвёртый день капитан поднялся с койки и, шатаясь, подошёл к окну. Ван Син-ку, неусыпно следивший за ним, схватил его за руку и грубо дёрнул от окна. Капитан повернулся и, не помня себя, ударил жандарма. Всю свою ненависть к тюремщикам вложил капитан в этот удар.

Ван Син-ку с криком упал. Прибежала стража. Капитана избили, бросили на койку, связали. Он лежал, слышал звонки по телефону, думал о том, что зря не сдержал себя — дал им повод для новых провокаций.

В камеру явились Ли-Хан, «Палач», «Ту», другие гоминдановцы.

— Вы знаете, что вы наделали? — почти с удовольствием кричал Ли-Хан. — Теперь мы вас будем судить! Вы ударили жандарма!

— Да, — сказал капитан. — Я буду защищаться, пока есть руки, пока есть зубы.

— Ну, что ж, — сказал «Палач», — придётся применить наручники, чтобы оградить от вас стражу...

Капитан продолжал голодать. На шестые сутки он уже не мог двигаться.

В камере появился полковник Гау и со свойственной ему обходительностью сказал, что он очень огорчён случившимся и надеется на благоразумие капитана. Пленник с трудом слышал своего гостя.

— Уберите охрану, — тихо сказал он. — Переведите в другое место.

Полковник Гау поднялся.

— В целях гуманности мы вынуждены питать вас искусственно. Мы не можем допустить гибели человека.

Ли-Хан был откровеннее.

— Вы нам ещё нужны, — сказал он вечером капитану, — и мы не позволим вам умереть.

Капитан молчал.

И всё же он победил в этой борьбе. К исходу седьмых суток голодовки в бунгало приехал «Палач», капитана внесли в машину и перевезли в другое помещение.

Жандармы и там всё время мозолили ему глаза. Но в новой одиночке было тихо. И был небольшой дворик, куда капитану разрешали выходить два раза в день. А самое главное, в этой комнате капитан получил весточку от друга.

Открыв ящик тумбочки, стоявшей у его койки, он случайно обнаружил надпись, нацарапанную на внутренней стенке. Нацарапана она была наспех, едва заметно, и, видимо, поэтому жандармы не заметили её. Но капитан заметил. И прочёл:

«Душой и телом всегда был, есть и буду с вами. Меркулов. 27.XI.1954».

Запись Бориса Меркулова была сделана в тот самый день, когда капитана привезли в этот дом, — 27 ноября. Может быть, старпом, которого он не видел со дня захвата, всего час назад ходил по этой комнате, лежал на этой койке.

Капитан закрыл тумбочку. Он медленно и тихо, преодолевая слабость, прошёлся по комнате — тут можно было выпрямиться во весь рост, — и в углу, под самым потолком, заметил ещё одну надпись:

«Будьте мужественны, помните о Родине. Закурдаев».

Капитану стало легче. Дружья были с ним.

10. Особые методы мистера Ли-Хана

Судового доктора Романова увезли в одиночку после первого же допроса, прямо из полиции. Увезли в чём был — ни смены белья, ни папирос, ничего не дали забрать из группы. Его взялся лично «опекать» мистер Ли-Хан, запомнивший доктора, видимо, ещё на танкере.

К каждому из пленников этот хитрый, опытный контрразведчик старался подобрать свой ключик. Это он первым пустил по камерам слух о третьей мировой войне. Это он говорил молодым, красивым ребятам, что у них фотогеничный вид и в Голливуде им карьера обеспечена. Это он подбрасывал в камеры провокационные записки.

К доктору он вначале только присматривался. Молодой врач был хрупок по комплекции, вежлив по воспитанию, застенчив по характеру. Волнуясь, чуть заикался. Может быть, эта кажущаяся мягкость характера и привлекла к нему особое внимание Ли-Хана?

Однажды «Палач» — Лю — взял доктора, голодного и ослабевшего, из одиночки и повёз его в город. Остановились у какого-то здания. Сверху доносилась музыка. Михаил Степанович было остановился, но «Палач» подтолкнул его револьвером в спину. Поднявшись на второй этаж, доктор понял, что его привезли в ресторан. На эстраде рычал джаз, за столами сидели какие-то военные, несколько американцев.

«Палач» подвёл его к столику, за которым сидел мистер Ли-Хан, и вышел из ресторана. Судя по всему, «пир» был в разгаре — бутылки наполовину опустошены, «переводчик» пьян. Он полез к доктору, силой усадил его за столик, налил ему вина в бокал, и в тот же момент за столом оказались две полуголые девицы. Одна из них села на колени к Ли-Хану, другая повисла на шее у доктора.

Всё это было сделано так внезапно, что Романов в первый момент растерялся. Мистер Ли-Хан вдруг пьяно захохотал, сбил бутылку со стола, уронил голову на руки. Доктор оторвал от себя девицу и встал из-за стола.

На следующий день «переводчик» принёс ему в камеру фотографию. Всё на ней было: ресторан, джаз на втором плане, а на первом — доктор Романов за столом, заставленным бутылками, с повисшей на нём девицей.

— Вам теперь никто не поверит, господин Романов, — сказал Ли-Хан. — Подумайте, что будет с вами, если мы пошлём эту карточку в Россию. Вам будет очень плохо.

Через несколько дней мистер Ли-Хан предпринял прогулку в горы. Он фотографировал доктора в самых живописных местах — на фоне зарослей, на фоне вилл и шикарных автомобилей. На зелёной лужайке произошла «случайная встреча» с какими-то новыми девицами. Наведённые на Романова карабины остались вне кадра, и снимки вышли очень красивые.

Затем доктора возили на пляж. В тот день его шатало от слабости: с утра не давали пить, а жара, как всегда на Тайване, была тропическая. Он попросил воды, Ли-Хан охотно налил ему стакан вина. Михаил Степанович отпил глоток и почувствовал, что к вину что-то подмешано. Он выплеснул вино на землю. Впрочем, Романов недаром был врачом: он знал, что тюремщики и в пищу всё время подкладывают наркотики.

«Переводчик» каждый вечер перебирал свой альбом в одиночке у Романова, показывал ему самые удачные снимки и красочно рассказывал, какой эффект произведут эти кадры на родине доктора.

— Фотографируйте, — говорил Михаил Степанович. — Только этим вы меня не запугаете.

Он очень похудел за это время — в одиночке его продержали пять месяцев. Порой Романова мучила мысль, что на родине и в самом деле могут поверить всем этим снимкам; порой думалось, что и впрямь могут счесть его предателем. Но желание вернуться домой, ступить на родную землю властно владело им, и он держался. Когда моряки, оставшиеся в группе, добились разрешения послать Романову вещи, он, привыкший к каждодневным провокациям, отказался принять посылку, отказался даже от папирос. В то время у него уже был тяжёлый приступ, и он сам поставил себе диагноз: аппендицит. Кто-то, а уж он-то знал, чем это ему грозит. Но он перенёс в одиночке ещё один тяжелейший приступ...

Пытался мистер Ли-Хан соблазнить и третьего помощника капитана Павла Филипповича Леонова. Совсем ещё молодой моряк, хороший спортсмен и хороший товарищ, живой, остроумный, он с отличием окончил высшее мореходное училище, и плавание на «Туапсе» было его первым самостоятельным морским походом. Леонова поместили в «одиночку», устроенную в доме терпимости. Дом этот, грязный, шумный, стоял в порту. И целый день толкались там матросы, солдаты, офицеры.

Два с половиной месяца продержали третьего помощника в этой «одиночке»...

«Особые методы» применялись и к Коле Фёдорову — самому молодому члену экипажа. На Тайване Коле исполнилось семнадцать лет. На Тайване ему исполнилось и восемнадцать.

Видимо, Ли-Хан и другие чанкайшисты видели в нём лёгкий материал для «обработки». Мальчишка, что с него взять? Колю тоже держали в публичном доме. Женщины лезли к нему, а Ли-Хан цинично говорил: «Коля, ты ведь ещё женщин не знаешь, что же ты отбиваешься?»

Но опытные контрразведчики ошиблись в этом голубоглазом мальчишке. Мистеру Ли-Хану снова пришлось «изобретать». И он решил взять Колю пыткой, древней, как мир, — пыткой голодом.

Семь дней Коле Фёдорову не давали есть. Едва-едва поддерживали, чтобы не умер. Истощённого до последней степени, его привезли в штаб и подвели к столу, уставленному яствами. Колю зашатало.

— Подпиши документ — и можешь кушать, — шептали ему сзади. — Только подпиши — и будешь много кушать.

Коля сказал, что не может подписать. Не может, потому что он ослабел. Пусть ему сначала дадут хоть немного поесть...

Его усадили за стол. И он принялся за еду. Не различая вкуса, он ел изысканные салаты, рыбу, дичь, варенье, мясо — всё, что было на столе. Потом, плотно подкрепившись, поднялся из-за стола и заявил:

— Ну вот что, господа жандармы, подписывать вашу «свободу» я, конечно, не буду. Я теперь поел и вполне могу ещё неделю голодать.

Его схватили и снова бросили в одиночку, снова начали морить голодом... Когда его спустя много времени вернули к товарищам, те не узнали его. Коля вытянулся (он вырос в плену на пять сантиметров), худ был до синевы, и волосы его подёрнулись сединой.

Семьдесят два дня продержали в одиночке Ольгу Фёдоровну Панову. Сперва подсылали к ней провокаторов. Приходила женщина-китаянка, говорившая по-русски. Она долго убеждала её выбрать «свободу», поскольку «вся остальная команда» уже сделала это.

— Мне ведь тридцать пять лет, — сказала ей Ольга Фёдоровна, — я родилась при Советской власти. И всю жизнь прожила при Советской власти. Неужели ж вы думаете, что от вашего разговора я хоть сколько-нибудь переменюсь? Уходите от меня.

Когда к ней в одиночку прибыл мистер Ли-Хан, начались странные вещи. Видимо, он не лишён был воображения и считал, что на женщину должна подействовать мистика.

Вдруг вечером стражники начинали суетиться, убирать помещение, подметали, вычищали, вешали занавесь на решётчатое окно. Вносили в комнату вторую кровать, богатую, не чета тюремной койке, на которой спала пленница. Ольга в ужасе следила за ними: что задумали? Кровать богато убиралась — расшитые подушки, свежее бельё, великолепное одеяло с кружевами, шёлковый полог. Жандармы уходили, и наступала тишина. Ольга сидела, сжавшись, на своей койке, смотрела на стоящую рядом постель, думала: что это, для кого, зачем?.. Она не помнила, когда засыпала. А проснувшись, ничего не видела — ни кровати, ни убранства, ни занавеси. Будто это приснилось ей.

Новый день — новая выдумка. Ли-Хан рассказывает ей, что вся команда сейчас смотрит кино. Своё кино, русское, — им разрешили прокрутить... «Переводчик» подводит Ольгу к окну, и она видит в окнах дома напротив силуэты каких-то людей, кажется, моряков, а главное, слышит музыку, слова нашего фильма. Да, в последний раз она смотрела его в Индийском океане — «Арена смелых».

Однажды ночью её подняли с постели и полураздетую, босую посадили в машину. Везли вдвоём «Палач» и Ли-Хан. Выехали за город, кругом темнота, только яркие звёзды над головой. «Куда вы меня везёте? — всё время спрашивала она. — Что вы задумали?» Они молчали.

Машина въехала в какой-то двор, остановилась у каменного забора. Ли-Хан и «Палач» тут же вылезли из машины и исчезли в темноте. Ольга осталась одна. Вдруг зажглись окна в серой стене, она услышала крики, шум, и через мгновение машину окружили солдаты. Её привезли в чанкайшистскую казарму. Женщину вытащили из машины, куда-то повели с хохотом, визгом. Она была беззащитна среди солдатни и каждую минуту могла ожидать самого худшего. А потом явились, будто избавители, мистер Ли-Хан и «Палач»; они разогнали солдат, взяли Ольгу в машину и повезли обратно в одиночку.

На следующую ночь то же самое, на третью ночь снова. И всё время ей говорили: «Подпишите — и вы облегчите своё положение». Ольга плакала и говорила: «Нет».

Её они хотели свести с ума, а Николая Воронова Ли-Хан отвёз в сумасшедший дом. Такова была «одиночка» богатыря-моториста.

Он люто ненавидел чанкайшистов, и они боялись этого человека. В клетку его, втиснутую среди орущих, визжащих, поющих умалишённых, жандармы боялись входить; обросший чёрной бородой силач хватал первого, кто показывался на пороге, и мог бы убить, если бы жандармы не успевали вырвать из рук. Ярость его была страшна, на губах выступала пена, он задыхался... И, может быть, единственный из всей команды, Николай Воронов сидел в своей клетке один — жандармы боялись войти.

Девять месяцев его продержали в сумасшедшем доме. Гоминдановцев бесила стойкость этого человека. Он несколько раз объявлял голодовку и голодал по семи, восьми, десяти суток. В дни этих голодовок гоминдановцы приводили к нему под конвоем судебного кока Николая Николаевича. У старика в результате «особых методов», тоже применяемых к нему, отнялась правая рука. Старик левой протягивал Воронову тарелку с пищей и молчал. Ли-Хан злобно шептал ему сзади:

— Скажите, чтобы он сл! Немедленно скажите!

Повар смотрел на неузнаваемо страшного моториста и говорил:

— Коля, милый, не ешь. Раз голодовка — не ешь, Коля.

Старика отгаскивали, уводили в одиночку.

На седьмой, восьмой, девятый день голодовки, когда силач ослабевал настолько, что уже не был страшен для жандармов, они целой сворой накидывались на него, скручивали ему руки, входили врачи и делали уколы, не давая ему умереть. Психиатры мучили его «электролечением».

Впоследствии он рассказывал друзьям о самом страшном — о своих пробуждениях. Сколько продолжался сон, Николай никогда не знал. Просыпался от качки. Койка качалась и плыла под ним. Ему казалось, что это корабль, что он снова в своей каюте на «Туапсе». Потом вспоминал, что судно захвачено, хотел кричать и не мог — не было сил.

— Где я нахожусь? — спрашивал он. — Какое это судно? Куда идёт?

И видел свою камеру, грязный потолок, тусклое решётчатое оконце. Вспоминал, что было, и не мог вспомнить. Куда его везли? Где он был? Кто с ним говорил? Ничего не помнил. Бред путался с явью, и он уже не знал, что было на самом деле, а что рождалось его воображением. «А вдруг я подписал в беспамятельстве какую-нибудь бумагу?» — думал он.

Перед самым концом его одиночества, когда все остальные моряки уже получили посылки от Советского правительства и знали, что вернутся на родину, Николая Воронова повели на расстрел. Ли-Хан объявил ему приговор военного суда: за нанесение увечий часовым, за неповиновение и т. д. и т. п. — к смертной казни. «Значит, ничего не подписал...» — мелькнуло в мозгу у Воронова.

Ему надели наручники, и человек тридцать жандармов во главе с Ли-Ханом повезли его за город. Позже он рассказывал капитану, что вспоминал в эти минуты родные Брянские леса. Он стоял босой и раздетый у ямы, выкопанной для этого случая, над ним висело чужое небо,

к нему тянулись диковинные пальмы, и было нестерпимо жарко, а он вспоминал шелест широколистных клёнов, прохладный ветерок, трогаящий кроны старых сосен.

Сзади раздались слова команды, защёлкали затворы.

— Последний раз спрашиваю, — подбежал к Николаю Ли-Хан, — будешь подписывать или нет?

— Пошёл ты!.. — сказал Воронов.

Раздался залп, пули просвистели над его головой.

Через трое суток Николая Воронова соединили со старпомом.

11. С тобой товарищи

Старпому Меркулову было, пожалуй, тяжелее всех.

Что он знал?

Оглушённого, его швырнули в тёмный трюм эсминца. Он очнулся от орудийной стрельбы, хотел вскочить, но наручники больно сдавили кисти. Потом его с завязанными глазами свели на берег, и он оказался в какой-то гостинице, потом в загородной вилле, потом в тюремной камере. Ему сказали, что «Туапсе» ушёл своим курсом. Старпом думал: «А что, если гоминдановцы лгут, что, если они потопили танкер?»

Так или иначе, Меркулов знал, что он один на острове. Ему грозили смертью, его морили голодом, держали в алюминиевом домике-душегубке на самом солнцепёке в жару до шестидесяти градусов. Ему подсовывали девок и сулили доллары, его фотографировали и шантажировали. Всё это было, но тяжелее всего — ощущение одиночества. Старпом знал, что он на острове один, и никто в целом свете (если команда потоплена) не знает о его судьбе.

С этой мыслью он прожил не день и не два — семь месяцев.

Потом, должно быть в наказание за строптивость, Меркулова бросили в тюремную камеру, на хлеб и на воду. Видимо, по идее тюремщиков строгий режим должен был сломить старшего помощника капитана.

Однажды, вопреки стараниям тюремщиков изолировать Меркулова от остальных моряков, одному из них удалось переслать записку в его одинокую.

В записке было всего четыре слова:

«Я Витя, кто ты?»

Получив записку, Меркулов задумался. Неужели команда здесь? Неужели он не один? А вдруг это провокация? Он нацарапал на обратной стороне записки:

«Я Боря. У нас три Вити на судне. Кто ты? Докажи мне».

Весь день старпом стоял у окна, прижав лоб к прутьям решётки. Отсюда, со второго этажа тюрьмы, ему виден был маленький кусочек двора, мощённого камнем. Может быть, поведут кого-нибудь? Может быть, удастся заметить этого таинственного «Витю»? Если бы знать... И вдруг он услышал свист. Кто-то на верхнем этаже, стоя, видимо, так же, как он, у окна, насвистывал песенку. Старпом прислушался. «В тумане скрылась милая Одесса...» Так это ж Ляховский! Виктор Ляховский со своей любимой песенкой — теперь не оставалось никаких сомнений.

Они переписывались две недели. Меркулов тут только узнал историю команды. Они поклялись записками, что останутся верны Родине.

«Я принимал присягу, у меня есть Родина, семья, дети. Клянусь, что им меня не сломить. Борис».

«Клянусь! Виктор».

И, видно, не понять было чанкайшистам, откуда после двух недель строжайшего режима у старшего помощника капитана взялись вдруг силы

для новой борьбы. Меркулов объявил голодовку, требуя соединить его с остальными моряками...

«С тобой товарищи!» — это знал каждый из пленников. По многу месяцев не видевшие друзей, они всё время знали друг о друге.

Моряки переписывались.

В первое время им ещё давали книги, взятые с танкера. Произведения советских писателей сразу изъяли, а классику оставили. Не знали тюремщики, какая сила заключена в этих книгах, писанных сто лет назад. Вот однотомник Лермонтова, который захватил, сходя с корабля, Миша Болтунов. Сквозь все тринадцать месяцев, через самые страшные допросы пронёс радист строчки из «Мцыри»:

И если б хоть минутный крик
Мне изменил — клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык!

Итак, морякам оставили книги и даже разрешали менять по прочтении. Книжки, разумеется, тщательно перелистывались, просматривались, затем запечатывались казённой печатью по бандероли и передавались жандармами из камеры в камеру.

Однажды помполит Кузнецов, сидевший в одиночке, читал рассказы Мамина-Сибиряка и вдруг обратил внимание на царапину под одной из букв. Это была буква «д», под ней едва заметно бумага была подколота чем-то острым. Помполит заинтересовался и десятью строками ниже заметил другую отмеченную букву — «о», на следующей странице третью — «р»... Он прочитал:

«Дорогие товарищи! Мы, Павленко, Бабенко, Яковенко, Цимбалюк, Фёдоров, с семнадцатого сентября сидим вместе. Держимся стойко. Горячий привет всем. Живём мечтой о Родине».

В группе, от которой получил весточку помполит, был пущен слух, что Кузнецов женился на Ольге Пановой и едет в Америку. А через несколько дней моряки прочитали в однотомнике Пушкина:

«Поздравляю с наступающим праздником — годовщиной Октября. Кузнецов».

Писал друзьям из своей одиночки Миша Болтунов. Послания его отличались подробностью и обстоятельностью.

«Нахожусь один с 29 августа. Держусь. Кормят плохо. Ничего, перебьёмся как-нибудь. Друзья, держитесь. Привет всем. Скоро вернёмся. С приветом — Болт».

А однажды, прочитав очередное послание, Кузнецов смеялся. Сидел в своей сумрачной камере-клетке, потемневший, обросший, истощённый до крайности (он похудел на двадцать килограммов), и хохотал. В одной из книг аккуратнейшим образом буква за буквой было наколото:

«Плевали мы на них. Ляховский».

Гоминдановцы знали, что у советских моряков есть какая-то связь между собой. Они меняли стражников, подозревая их в соучастии, усиливали охрану. Но всё равно, когда на одном из допросов Кузнецову начали рассказывать подробности «американской жизни» капитана Калинина, бизнесмена и миллионера, помполит только усмехнулся:

— Ложь. Три дня назад вы соединили капитана со старшим помощником Меркуловым. Они добились этого своими голодовками. Они живут вдвоём в бунгало.

И это была правда — капитана соединили со старпомом, и именно в бунгало. Они обнялись и долго стояли так, не обращая внимания на жандармов. Потом смотрели друг на друга, с трудом узнавая знакомые черты. Они были знакомы с юности: лет двадцать назад оба плавали на танкере «Апшерон», Калинин — старпомом, Меркулов — четвёртым помощником.

Они увидели друг друга стариками. Капитан был острижен наголо, бледен, худ. Он оброс густой бородой. Старпом выглядел лет на десять старше своих сорока лет, лицо его нервно подёргивалось — дорого дались ему девять месяцев одиночества.

Это был вконец издёрганый, измученный человек, но когда, после очередной провокации, их снова развезли по разным одиночкам, капитан нашёл в пачке сигарет «Прима» записку:

«Виталий, меня ведут на старое место. Держись крепко и стойко. Крепко целую. Борис».

Советские моряки трогательно заботились друг о друге. Разделённые тюремными стенами, стальными решётками, сворой жандармов, они всё время были вместе. И тюремщики, когда им это стало ясно, пытались использовать даже эту благородную черту советских людей.

— Подпишите бумагу, что вас здесь лечили и вы благодарны врачам за оказанную помощь,— говорили они Воронову.— Этим вы облегчите положение своего капитана и старшего помощника: мы соединим их.

— Прикажете господину Воронову подписать интересующий нас документ,— говорили капитану,— и вы облегчите как его положение, так и положение господина Меркулова: мы будем лучше кормить их.

У пленника, которого держали в сумасшедшем доме, на всё был один ответ: «Переведите в группу, тогда будем вести разговоры. Тут я писать отказываюсь». В конце концов Воронова перевели в одиночку Меркулова. Увидев старпома, он кинулся к нему в объятия: «Борис Александрович, когда придёт минута, чтоб расплатиться за всё!»

Ли-Хан и стражники вышли: они его боялись.

Вечером, когда Воронов немного пришёл в себя, ему дали бумаги и чернил. Николай сел за стол и, не задумываясь, не перечёркивая, написал своё мнение по поводу гуманной тайваньской медицины. Вот что прочитал старпом Меркулов через несколько минут:

«Гады! Как вы могли подумать, что сможете меня сломить? Вы требуете, чтобы я вам написал, что вы со мной ничего не делали. Ладно, я вам напомним все издевательства, что вы делали надо мной, бандиты, варвары! Я вам напомним, гады, и электрический шар, и уколы, и кандалы. Я вам напомним, как вы меня водили на расстрел, мерзавцы, людоеды!

Я, Николай Воронов, всё это заявляю и подтверждаю. И заявляю официально: не попадайтесь в мои руки — убью».

Этим решительным словом кончился документ (к слову сказать, единственный, копию которого морякам удалось вывезти из плена).

...Как-то в камере помполита поставили вторую койку. Вечером привели Закурдаева. Они кинулись друг к другу. Жадно заговорили, торопясь поделиться пережитым, узанным, понятым. И вдруг старик стражник, карауливший их, безмолвно приложил палец к губам и указал на штепсель. «Случайная» встреча была подстроена — их подслушивали.

Всё же ночью, когда их оставили одних, помполит шёпотом говорил с секретарём партийной организации. Всё вспомнили они, всех людей перепробовали — кто как вёл себя на корабле, кто как вёл себя здесь, в плену. Они думали сообща о тех, кто может смалодушествовать, и искали свою вину — что-то, значит, недодумали они в своей работе.

Хорошо, вспоминали они, что перед самым захватом была проведена лекция доктора Романова о Тайване. Хорошо, что в Атлантическом океане провели партийно-комсомольское собрание на тему о революционной бдительности. Но как мало этого...

Они были строги к себе и к своим товарищам и всё же, вспоминая их одного за другим, верили: не предадут! При всех их недостатках — один выпивал лишнее, другой прижимист, жаден, копейку считал, третий с дисциплиной был не в ладах,— все они советские люди. И они знают, как много это значит. Сколько раз во время стоянок в иностранных портах

видели моряки эмигрантов — людей, оторванных от родины. Они приходили на танкер, плакали, просились в СССР. Иные из них были увезены из России детьми много лет назад, и одеты они были прилично, не страдали, видно, от безработицы, а тянулись на родную землю. Что такое человек без родины? Песчинка, ничто...

Чувство родины, такое привычное дома, что его не замечаешь, как не замечаешь здоровья, пока не утратишь его, — это обострённое стократ ощущение себя советскими людьми придавало силы морякам. И они боролись за право быть советскими людьми.

В ночь на 7 ноября 1954 года группа пленников, вновь в результате их протестов соединённых в одной камере, — Беспалов, Закурдаев, Карпов, Дурич, Небесный, Борискин, Болтунов, Панова провели партийно-комсомольское собрание.

— Тридцать седьмую годовщину Октября мы отмечаем в необычных условиях, — сказал, открывая собрание, Закурдаев, — но связи с Родиной не теряем. Наша задача: держаться мужественно и не поддаваться на провокации.

Первое мая отмечали все. В группе Кузнецова (его к тому времени тоже вернули из одиночки) доклад о международной солидарности трудящихся делал Леонов. Он вспомнил и по памяти привёл ленинские слова о том, что в будущем судьбы мира будут зависеть от того, что Россия, Индия, Китай составляют гигантское большинство населения. И добавил ещё, что кое-кому поперёк горла стоит дружба советского и китайского народов, потому-то и был захвачен мирный советский корабль. Но народный Китай всё равно выгонит чанкайшистов с этого острова. Недаром они скрывают свои настоящие имена — они боятся.

Все стены камеры были украшены лозунгами. Это не были привычные яркие кумачовые плакаты, но слова «Да здравствует Первое мая!» были нацарапаны на стенах, а напротив двери этот же лозунг был выписан китайскими иероглифами (начертание узнали у одного из жандармов).

Кузнецов читал друзьям свои стихи:

Вам, друзья, товарищи, в неволе
Пламенный, сердечный мой привет!
Вам, кто не боялся смертной доли,
Вам, кто бросил гадам слово: «Нет!»
Мы знаем, Родина любимая,
Ты помнишь, думаешь о нас...

Стихи, надо полагать, были слабые: Кузнецов никогда не занимался этим делом. Но у ребят заблестели глаза.

В другой группе доклад о Первом мая делал доктор Романов, возвращённый из одиночки. В камеру ворвался Ли-Хан.

— Что делаете? Почему сборище?

— Я, видите ли, читаю лекцию, — чуть заикаясь, сказал доктор. И, глядя «переводчику» прямо в глаза, объяснил: — Медицинскую лекцию. На тему о том, как предохраняться от диких змей, которыми изобилует фауна Тайваня.

На столе стоял маленький флажок. Его сшила из клочка красной материи Ольга Фёдоровна, а Небесный вырезал из бумаги и наклеил хлебным мякишем серп и молот.

Это был настоящий Государственный флаг СССР, потому что люди, собравшиеся вокруг него, — несмотря ни на что, вопреки всему, — были и остались гражданами Союза Советских Социалистических Республик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы заканчиваем нашу повесть.

В декабре 1954 года по просьбе Советского правительства нас посетил господин Коттан, французский поверенный в делах на Тайване. Он побывал в камерах, где содержались группы пленных, и в некоторых одиночках — чанкайшисты допустили его далеко не ко всем.

Мы спрашивали у него, как идёт третья мировая война.

— Какая война? — удивился француз, но, взглянув на чанкайшистов, всё понял и ответил: — Никакой войны нет. В мире всё идёт к лучшему.

Французы передали нам продовольственные посылки и деньги, присланные Советским правительством, и помощь эта была как нельзя более кстати — многие из нас были истощены до предела. Французы привезли нам советские книги, и не описать, с каким чувством читали мы их. Но дорожке всего была весть о том, что Родина помнит нас, борется за наше освобождение.

Это была долгая и напряжённая борьба. Ещё 24 июня 1954 года — на следующий же день после захвата нашего танкера — Советским правительством была послана правительству США нота, требовавшая освобождения судна и команды Исполком Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР пытался облегчить наше положение через Шведское Общество Красного Креста. И хотя чанкайшисты не дали шведам встретиться с нами, впоследствии мы получили через шведов письма из дому. Вопрос о нашем освобождении поднимался руководителями Советского правительства при их встречах с руководителями деятелями США. К французскому правительству обращение было сделано ещё 23 сентября 1954 года, но прошло много времени, прежде чем чанкайшисты допустили представителя Франции в наши камеры и одиночки.

И ещё полгода, долгих шесть месяцев прошло после этого посещения, прежде чем мы были вырваны из плена. Многие ещё предстояло нам пережить. Нас ждала встреча с неким «профессором Светланиным» — жуликом из Западной Германии, именовавшим себя «президентом» «русской» «свободы» (тут каждое слово приходится брать в кавычки). Нас ждали новые одиночки, новые провокации, новые пытки — гоминдановцы не успокаивались буквально до последнего дня. Обо всём этом можно, видимо, написать большую книгу. Но главное уже было ясно: мы были и остались советскими людьми.

...25 июля 1955 года — спустя тринадцать месяцев и три дня после захвата нашего танкера в открытом море — мы покинули Тайвань. Когда самолёт разворачивался над островом, кто-то из нас крикнул: «Ура!» Все подхватили.

Впереди нас ждала любимая Родина.



ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

★

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ

Года идут.
О каждом годе
своё раздумье,
свой рассказ.

Года идут,
но не уходят,
а остаются среди нас.
Пусть не для всех порою чётки
их облики и адреса,
у них есть лица и походки,
характеры и голоса...

Хочу сказать не в пышной оде,
где всё известно наперёд,
о пятом годе,
славном годе,
о том, как он сейчас живёт.
Он смотрит зоркими глазами.
Всегда на выручку готов,
он обсуждает всё, что с нами,
в кругу товарищей годов.
Он зря не тужит —
службу служит.
Любви за лесть не продаёт.
С иными годами он дружит,
иным
руки не подаёт.

Он,
и плохое даже зная,
нас над неглавным поднимал,
давал семнадцатому знамя
и сорок пятый обнимал.
Его пою,
но в этой песне
слова упрямо говорят
не про бои на Красной Пресне,
не про героев баррикад.
Не только в тех далёких залпах
его судьба для нас жива.
Хочу, чтоб он не слышал в залах
ненастоящие слова.

ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ

★

В ГОРИ

Приходит утро в Гори.
В горах дрозды запели.
Всю ночь
 синели горы,
К утру
 порозовели.

И солнце полыхает
На горном перевале,
Как будто отдыхает
В дороге на привале.

И в дымке заблестали
Лучи его живые
Над городом, где Сталин
Увидел свет впервые.

Прохладный, словно мята,
Гуляет ветер резкий.
Красны цветы граната,
Как галстук пионерский.

И пионерок стая
К высокой школе мчится
По улице, где Сталин
Когда-то шёл учиться.

Кругом скорлупки почек
Доверчиво раскрылись,
И тьмой зелёных точек
Деревья все покрылись.

Они могучим ростом
Полнеба заслонили.
Когда он был подростком,
Они кустами были.

Я шёл походкой скорой
И вдруг остановился
У домика, в котором
Он в зимний день родился.

Гнездо слепила птица
У низкого окошка.
На крыше черепица
Ладонка на ладонке.

На низеньком пороге
Он часто вечерами
Сидел в раздумье строгом,
А сердце — за горами.

Оно несло куда-то,
Куда — ещё не знало.
Прямой, как у солдата,
Оно свой путь искало.

Не знал он в то мгновенье,
Что в Питере далёком
Двадцатилетний Ленин
Уже в бою жестоком...

Покрылись горы дымкой.
И ветер, что промчится,
Рукою-невидимкой
Перевернёт страницу.

Стою я на пороге.
Входная дверь открыта.
Внутри порядок строгий,
И комната обжита.

Как будто ни минуты
Она не пустовала.
Топиться печь как будто
Здесь не переставала.

Самшит с листвой брусничной
В шеренгу встал сплошную.
И как-то необычно
Здесь встретить ель родную.

На синих иглах блёстки,
Как будто след метели.
Как у стены Кремлёвской,
Стоят седые ели.

Напомнили мне ели:
Кремль. Снег. Я был солдатом.
А он в простой шинели
Стоял так близко рядом...

На ветках — рой снежинок.
А в вышине — ни тучи,
Лишь два крыла стрижиных,
Как два серпа летучих.

На горном перевале
Горят лучи живые.
Я в городе, где Сталин
Увидел свет впервые.



Н. ПОГОДИН

★

МЫ ВТРОЕМ ПОЕХАЛИ НА ЦЕЛИНУ

Героическая комедия в 4 действиях, 10 картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ИРА КУЛЬКОВА
АЛЕША ЛЕТАВИН
МАРК РАКИТКИН } заводские друзья.
ТАМАРА ПОЦЮЛОВСКАЯ — сельская учительница из
Белоруссии.
АНАТОЛИЙ ТРОЯН — тракторист-украинец.
СТЕЛЛА ПЕРЧАТКИНА — стенографистка, 25 лет.
НЕЛЛИ ПАСХИНА — швея из ателье мсд.
КАТЯ }
ПЕТЯ } рабочие с московского ЗИСа.
ВАЛЬКА СИТЦЕВ — школьник из 10-го класса.
ДЕРНАКОВА — строгая комсомолка.
МОРЯЧОК.
ДИРЕКТОР СОВХОЗА — за 40 лет.
ТРОЕ МАЛЬЧИШЕК, строящих аэродром.
ПАРЕНЬ С ЧУБОМ.
ХОЗЯИН ХАТЫ.
МИЛИЦИОНЕРЫ.
ПОЖИЛОЙ ПЛОТНИК, строящий баню.
ЖЕНЩИНЫ, едущие за яблонями.
НЕИЗВЕСТНЫЙ — около 60 лет.

Первый год на целинных землях.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Улица. Зимний вечер. Огни большого завода. Безлюдно. Бурные порывы ветра. Начинается метель. Вначале слышатся звуки музыки из отдалённого репродуктора, потом наступает тишина, и после краткой паузы можно услышать отдельные слова, доносящиеся сюда с порывами ветра:

— Говорит заводской радиоузел... заводской радиоузел... У микрофона секретарь комсомольской... слушайте сообщение...

Ветер. Грохот завода. Ничего не слышно.

— ...Наши юноши и девушки... на борьбу за подъём... Получим новые миллионы пудов... Сибири, Алтая, Казахстана... заводская организация призывает...

Новый порыв ветра. Взлёты пламени огненных работ. Метель.

Выбегает Р а к и т к и н.

Р а к и т к и н (*весело, в ажиотаже*). Какая сногшибательная новость!.. (*Оглядываясь*.) Ни Ирки, ни Алёшки. А собирались провести вместе вечер. Но погоди, Марочка, давай забудемся, давай поговорим с тобой по совести. Скажи самому себе: почему ты дал молниеносное согласие лететь на целинные и залежные земли? Неужели одно — трусость перед возможностью суда? (*Точно собеседникам*.) Клянусь вам, нет! Там, вдали, на просторе, я начинаю жизнь по-новому. Прошлому — могила. Все пьют, я — нет. Держусь порядочным, почти святым, клянусь вам. И никто тогда не скажет, будто Ракиткин стоит на грани хулиганства... Живу без никого, без карт, без идиотских выходов. Восстанавливаюсь в комсомоле. Раз захотел расти, то расту. Прошлому — могила! Работать буду, как умею только я один, даю рекорды, это говорю с ручательством. И что же? Разве мне закрыты все дороги? Если захочу, то буду стоять во главе молодёжи, честно завоюю это положение. А там пошла считать машина! Секретарь райкома... работка чистенькая, с весом, ходи диктуй. И не должно быть никакого карьеризма, всё по-честному. А если, в крайнем случае, карьеризм, то и не надо. Ставлю другую цель. Герой Социалистического Труда. При моёй энергии могу быть дважды... (*Улыбается*.) Замолчи, дурак. Ты хоть постарайся зажечь по-новому, исполни самую заветную мечту, пока не поздно, исправь запачканную биографию. (*Без перехода*.) Ирка хотела на картину, Алёшка тоже, пойду в клуб.

Р а к и т к и н уходит, и следом появляется Ира Кулькова, потом — Летавин.

И р а (*медленно и уныло*). Какая я нескладная, жить противно... Куда же мне теперь? На танцы, что ли? Скучно.

Л е т а в и н. Ирочка, родная, ты вечно о чём-то мечтаешь. Скажи откровенно, о чём ты сейчас мечтала?

И р а. Представь себе, что о тебе.

Л е т а в и н. Ври больше.

И р а. Алёша, родной, одолжи мне рублей сорок. Я вместе с билетом всю получку потеряла. Так хотелось посмотреть эту картину... как её? Даже забыла. До конца месяца — неделя, дотяну. Одолжишь?

Л е т а в и н. Что ж тут под столбом торчать? Ракиткин, как всегда, во-время не явится. Одолжу, конечно. Пойдём в клуб.

И р а. Спасибо, Алёша, ты хороший. Я пойду домой спать. На картину без билета пробиваться нет желания, а танцевать нет настроения. Жизнь разбита. Спокойной ночи.

Л е т а в и н. Ирочка, только не сердчай. Условились?

И р а (*безразлично*). Ладно... не буду.

Л е т а в и н (*чуть смущаясь*). У меня два билета... Если Маргошка не придёт — пойдём вместе.

И р а (*с обидой*). Как не стыдно, Алексей!..

Л е т а в и н. Я же просил тебя не сердчать. (*Злорадно*.) А Маргошка, вполне возможно, не придёт.

И р а. Я окончательно презираю тебя и твою Маргошку!

Л е т а в и н. Ирочка, за что?

И р а. За то, что ты хвастаешь... «Марго... Маргошка». Ну что там хорошего? Одни чулки и малиновые ногти. Эта вот Маргошка доведёт тебя до разложения, сам увидишь! И чтобы я стала ждать, придёт или не придёт твоя кукла!.. Да пускай сгорят и кино и Маргошка!

Л е т а в и н (*без тени обиды, внимательно*). Ира, а ты серьёзно считаешь, что она может довести?

И р а (*хмуро*). Мало сказать, считаю.

Л е т а в и н. Вполне возможно, доведёт...

И р а. Мало сказать, возможно.

Л е т а в и н (*в наивно-грустном раздумье*). Вот удивительно! Ирочка — ты веришь? — сам не понимаю, как я влип.

Ира (*с истинным изумлением*). Неужели страстная любовь?

Летавин. Влип, как миленький.

Ира. Несчастный человек!

Летавин (*попрежнему*). Нет, ты серьёзно думаешь, что она может довести?.. А почему? Девушка порядочная, со вкусом, только разве что не заводская. А я не давал подписки жениться на заводской.

Ира. Женись, Алёша, тогда скорее придёшь в себя.

Летавин (*с беспокойством*). Ты считаешь?

Ира. Женись, глупый. Даже не жалко.

Летавин. Никогда не думал, что будут такие трудности. С одной тобой могу откровенно поговорить. Покой навеки потерял. Чувствую себя совсем неважно. Вот проклятая!

Ира. Ругаешься... а страдаешь.

Летавин. Заругаешься... Я же знаю, что она не придёт, с другими гуляет... Всё время крутит, чего-то добивается... Верить, чахну.

Ира. Доведёт она тебя. Ей на одни ногти сотню в месяц подай.

Летавин. Деньги что!.. Боюсь, что начну водку пить. Друзья найдутся. Тот же Ракиткин.

Ира. Вот и пропадёшь... Да, да. Пойдём в кино, если она не придёт.

Летавин (*патетически*). Пускай... пускай с другими гуляет!

Является Ракиткин.

Ракиткин (*восторженно*). Дружочки, радио слышали? Нет? Ну, значит, ничего не знаете. Поехали на целину!

Летавин. Какая целина? Что за новость?

Ракиткин. Целина есть подвиг. (*С улыбкой*.) Не зря же выдают такие подъёмные, что месяца три гулять можно. Командировочка на неосвоенные земли, сеять хлеб насущный. Вполне серьёзно говорю. Дело почётное. Призыв! Я решил ехать.

Ира. А далеко эти... неосвоенные земли?

Ракиткин. Конечная остановка — пять с половиной тысяч километров.

Летавин. Треплется... Ты что, Ракиткина не знаешь?

Ракиткин. Зайдём в комитет, там полно ребят. В ночной смене будут митинги. Я уже подал заявление.

Ира (*тонко*). А тебе, Марик, есть прямой смысл куда-нибудь уехать.

Ракиткин. Думаешь, чего-то боюсь? Это дело штрафом кончится. Нет, Ирочка, я человек горячий. Если война, например, думаешь, буду ждать, пока призовут? Я первый вырвусь.

Ира. Кто говорит, что нет. Охотно верю. Но, знаешь...

Ракиткин. Что хочешь выкопать? Скажи.

Ира. Езжай, езжай...

Ракиткин (*с картинностью, ему присущей*). Алёша, едем целину пахать! Бросай ты свою девочку, от которой всё равно ничего не получишь. Скажи маме с папой, что тебя мобилизовала комсомольская организация, и тронем! Там степь широкая, как море, и мы будем жить в степи героями. Я уже имел беседу с человеком, который знает, что такое целина. (*Ире*.) Летавина я понимаю, ему есть чего лишаться в городе. А тебе? Живёшь в общажитии, держишься сухо, поклонников не имеешь, родственников тоже. На новом месте ты можешь очень интересно закруглить свою биографию.

Ира. Ум у тебя скудный... Терпеть не могу, когда рассчитывают.

Ракиткин. А кто в пролёте за вас рассчитывает производительность труда?

Ира. Ты лучше бы рассчитал, чтоб от тебя не пахло пивом.

Ракиткин. Скучно будет человеку, который на тебе женится.

Летавин (*вдруг*). Еду!

Ира (*почти шёпотом*). Вы посмотрите!

Летавин. Еду! Если действительно призыв, то еду! Не хочу вариться в мелких дрызгах! Надоело. И ты не усмехайся, Ирочка, у меня тоже есть кое-что в сознании... И мы ничем не хуже тех ребят, которые Дне-прогэсы начинали, на Амур подавались. Едем, Марк!

Ира (*с восторгом*). Алёша!.. Если бы ты не был парнем, то расцеловала бы...

Летавин. А что я буду делать на этой целине?

Ракиткин. Вот непонятливый... пахать, сеять, хлеб выращивать.

Летавин (*озадаченно*). Но ты и я, кто мы с тобой? Мы ж городской пролетариат.

Ракиткин (*бесшабашно*). Большое дело — сельское хозяйство! Что мы, не видали? А я тем более... Могу за руль, могу за рычаги, на трактор.

Летавин. Кулькова, едем вместе с нами. В пролёте мы дружили, как-никак... давно знакомы.

Ира (*с тихой, почти детской радостью*). Раз ты — я тоже еду с вами. Мне часто думалось, будто должно случиться что-то неожиданное. Едем!

Летавин. Тогда кино к чертям! Пойдёмте в комитет.

Ира. Постойте. Нельзя же так.

Ракиткин. Чего ещё?

Ира. Условимся, что будем вместе. Условились?

Ракиткин. Условились.

Ира. И чтоб крепко, крепко дружить... поскольку мы отрываемся от заводского коллектива.

Ракиткин. Я готов от всей души. Ирка дело говорит.

Летавин. А против чего тут возражать? Пойдёмте в комитет.

Ракиткин. Вот будет разговору, когда заявим, что мы втроём поехали на целину! Красота! У меня шикарное настроение.

Ира. У меня тоже. А у тебя, Алёша?.. Конечно и решено, втроём едем.

Летавин. Втроём, втроём...

Интермедия

Выходит Нелли, перед занавесом.

Нелли. Зовут меня Нелли, фамилия Пасхина. Я вот тоже наряду с другими поехала на целину. Ну вот, приехали... Поздравляю. Как мы не помёрзли все, не могу понять. Ну и целина, нечего сказать. Это кошмар, честное слово! Никаких гигиенических удобств вокруг. Если бы мне сказали, ни за что бы не поверила... И меня, идиотку, будто кто гнал на эту целину. Вот попала девочка! Ха-ха... Я, конечно, могу понять Ирочку Кулькову, Алексея Летавина, Ракиткина Марка. Они рабочая среда. Их призвали — и они откликнулись. А меня кто просил ехать? Никто. Да что просили! Отговаривали, не просили. «Нелли, брось, это же не твоё ателье мод. Ты деревню видала только на даче, и то так... издали... в порядке пейзажа». Вот, дура, попала. Человеческий материал, сказать по правде, меня устраивает. Меня даже начинает увлекать один мальчик, не скрою. Вообще компания у нас подобралась на совесть. Но обстановка... невозможно передать. Снег по шею, и никаких гигиенических удобств. А состояние... Мы ехали целую вечность. В поезде можно было успеть выйти замуж. И вот вам, приехали. Поздравляю. И ещё уверяют, что у нас везде культура. Если везде культура, то не было бы целины. Между нами говоря, тут можно организовать хороший зоопарк, потому что каждую ночь воют волки, как в кино. Вот, идиотка, попала. Сейчас мои подружки сидят и завиваются в парикмахерской, а я, несчастная, весь вечер буду лежать на голых досках... И никакой целины тут нету, а один сплошной

снег, волки, буря. Пропала Нелли. Не ждите меня, милые подружки...
Привет!

Картина вторая

В старой хате украинской постройки. Белёные стены, потолок на подпорках. Стол и нары, сбитые из свежего тёса. Ночь. Керосиновые лампы. На дворе зимняя непогода. На нарах и скамейках расположились: Летавин, Ира, Ракиткин, Валька Ситцев, Дернакова, Троян, Нелли Пасхина, парень с аккордеоном, Тамара Поцюловская.

Стелла Перчаткина под бурный мотив аккордеона стремительно кружится в танце.

Ракиткин. Вот житьишко, граждане! Настоящий балет, клянусь жизнью.

Валька. Замолчи. Портишь впечатление.

Ракиткин (с ласковой иронией). Горишь, дружок? Гори. Дураков не жалко.

Пауза и танец.

Ира (со вздохом Тамаре). Вот что люди умеют. А мы?

Тамара (мирно, мягко). Так ведь... училась на артистку.

Ира (она сидит с толстой книгой в руках). А я хочу на трактористку... (Вздыхнула.) Тяжко.

Ракиткин (чинит ружьё). Давай, Перчаткина, ломай!.. Ножки — караул кричи! Верно, Валечка?

Валька. Не лезь.

Ракиткин. Горишь, дружок? Гори, гори.

Летавин (Трояну, с которым незаметно перешёптывается). Эх, напоминает... не могу.

Троян (с сильным акцентом украинца). А кого?

Летавин (горестно). Напоминает... одну...

Ракиткин. Дай им, Стеллочка, ещё один заход. Кругом палёным пахнет. Что значит искусство!

Входит хозяин хаты. По облику коренной сибиряк.

Хозяин. А вы всё танцуете, хлеборобы?

Перчаткина. Как?

Хозяин. Я говорю, танцуете, хлеборобы?

Перчаткина. Хлеборобы... С ума сойти!

Хозяин. Почему, барышня? Тебе на роду написано землю пахать. Перчаткина. Меня задеть трудно, хозяин, у меня характер крепкий.

Хозяин. А я человек безобидный, пошутить люблю. Но что и говорить, вы народ крепкий, шлифованный... Верёвку, однако, возьмите на ночь.

Ракиткин. Это зачем же? Вешаться?

Хозяин. Ох, воробей, до чего бойкий! Гляди, как бы морозцем не опалило. Буран начинается. Кто на двор пойдёт, пусть сначала верёвку привяжет за косяк.

Ракиткин. А это зачем ещё?

Хозяин. Затем, что тебя ветром сдует.

Летавин. Смеёшься, папаша...

Хозяин. Выдь ночью за порог — там посмеёшься.

Ракиткин. Брось, не шути... Кого пугаешь?

Хозяин. По правде говоря, вас жалко. Не знаете вы, куда приехали. Так что ночью на дворе рекомендую за верёвку держаться. Буран идёт нешуточный.

Летавин. Ох, не веришь... Не веришь ты в наши силы, хозяин.

Хозяин. Верю, верю... всякому зверю. Прощевайте, хлеборобы. А верёвку брать не забывайте. А то ветерком сдует.

Летавин. Не веришь и радуешься, а насмеяться нечего. Мы трудовая молодёжь.

Хозяин. Никто не насмеяется. Жалко мне вас. Только и всего. *(Ушёл.)*

Летавин *(запер за ним дверь)*. Буря действительно поднимается. Старик свой климат знает.

Входят Катя и Петя.

Катя *(с детской гордостью)*. А мы с Петей ели в гостях у местных жителей тушёную баранину в котле, которая называется по-ихнему бишбармак.

Ракиткин. И по какому случаю?

Катя. Нас пригласили на семейный праздник по случаю смерти бабушки.

Летавин. Катя, сколько тебе лет?

Катя. А что я сказала?

Летавин. Надо же понимать, что говоришь. По случаю смерти праздников не бывает.

Петя. Мы люди отсталые.

Ракиткин. Скажи лучше — дети.

Летавин. Да уж не обижайтесь, комический народ.

Молчанье. Все прислушиваются к вою метели.

Тамара *(входит из смежной комнаты с рогачом в руках)*. Так же вот у нас в Полесье после войны волки выли... Такое впечатление, что они около хаты.

Троян. Март... теперь они голодные. Тамара, скоро хлеб подашь?

Тамара. Скоро.

Ракиткин. Оружие моё завтра начнёт стрелять! Валя, открой свой сундучок, я там видал у тебя напильничек.

Валька даёт напильник.

Ракиткин. И зачем тебе инструмент, девочка? А напильник классный. Хочешь, я тебе из него сделаю ножичек... от степных разбойников защищаться? Что дашь?

Валька. Мать подкинёт семейных сбережений — рассчитаемся.

Ракиткин. Смотри, я засекаю. Сталь — сила.

Молчанье.

Валька *(лёжа на спине, читает вслух по тетрадке)*.

В том краю, где жёлтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.

Ракиткин. Ной дальше... Всё равно скука.

Валька,

Я одну мечту, скрывая, нежу —
Что я сердцем чист,
Но и я кого-нибудь зарезу
Под осенний свист...

Летавин. Бандитские стишки.

Валька *(гордо и важно)*. Ты ничего не понимаешь. Это стихи упадочные.

Летавин. Всё равно хулиганство.

Р а к и т к и н. Зря придаёшь значение, Алёша. Кого эта девочка может зарезать? Разве цыплёнка.

В а л ь к а. Сам ты настоящий трус.

Р а к и т к и н. Смотрите, граждане, у нашего малютки зубы прорезались.

В а л ь к а. Сам ты трус.

Р а к и т к и н. Стелла, дай платочек, я ему ротик вытру.

П е р ч а т к и н а. Если тебе, Марочка, хочется с кем-то подраться, то вот Толя Троян. Попробуй его задеть.

Р а к и т к и н (*Вальке, мирно*). Я думал — ты горел напрасно. Имеешь шансы... Интеллигенция.

Л е т а в и н (*Перчаткиной*). Вы на Ракиткина внимания не обращайтесь... Он как пустая бочка. Схожу-ка я в столовую, дадут они нам посуду или нет? (*Ушёл.*)

Р а к и т к и н. Скажи, Стелла, ты действительно стенографистка?

П е р ч а т к и н а. Хочешь речь произнести?

Р а к и т к и н. Я серьёзно спрашиваю.

П е р ч а т к и н а. Действительно. Что дальше?

Р а к и т к и н (*подумав*). Хотя, конечно, ничего нет удивительного. Вот же Валька на целину поехал... Типичный маменькин сынок.

В а л ь к а. Ну да, типичный... Ты ещё не знаешь маменькиных сынков.

Р а к и т к и н (*Перчаткиной*). А что ты будешь делать на целине?

П е р ч а т к и н а. А почему тебя это волнует?

Р а к и т к и н. Если кто пропадёт на целине, то это вы... как пить дать. Оба. (*Резко.*) Интеллигенты, здесь нам предстоит иметь дело с настоящей землёй. А погода! Это же один кошмар. Директор, между нами говоря, тоже смеётся: «В театр приехали...» Ну, будет вам театр.

И р а. Марк, надоело... И не кричи, мешаешь.

Р а к и т к и н. Учись, учись. В тебя я верю.

П е р ч а т к и н а. Ира, а что вы учите? Секрет?

И р а. В Москве подруги поднесли книжку «С-восемьдесят».

П е р ч а т к и н а. Позвольте, это трактор?!

И р а. А вы думали?

П е р ч а т к и н а. Ну да, я понимаю, вы же из трудрезервов.

Вошёл Неизвестный. Не спеша расстегнулся, уселся. Мрачно насмешлив.

Неизвестный (*Ракиткину*). Дай-ка огоньку.

Р а к и т к и н. А ты откуда, дядя? Культурным людям полагается здороваться.

Неизвестный (*пренебрежительно, не обращая внимания*). Ссылные?

Р а к и т к и н и д р у г и е. Что?!

Неизвестный. Я спрашиваю, в ссылку приехали?

Р а к и т к и н. Да, в ссылку... бандиты, воры, диверсанты. (*Подмаргивает своим.*)

Неизвестный. А ты не моргай. С кем шутишь! Ты вдумайся, щенок.

Р а к и т к и н (*с удовольствием*). Ого! А если ты такой строгий, то должен понимать, что теперь люди больше по амнистии возвращаются. Неизвестный. Вот мне и непонятно, что за люди?

Д е р н а к о в а (*с неприязнью*). Целинные земли приехали поднимать... по зову партии. Понял?

Неизвестный. По зову... Ну, пускай по зову. (*Перчаткиной.*) И ты?

П е р ч а т к и н а. И я.

Неизвестный (*указывая на Ракиткина*). И он?

П е р ч а т к и н а. И он.

Неизвестный (*Вальке*). И ты, сопляк?
 Валька. Вы посмотрите, какая скотина!
 Неизвестный (*не обращая внимания, Тамаре*). По лику ты из Белоруссии, девица.

Тамара. А чего вам здесь нужно?

Неизвестный. Я говорю, из Белоруссии. Неужели в Сибирь по доброй воле?.. (*Думающе.*) Значит, по доброй. (*Ракиткину.*) А ты, орёл, откуда?

Ракиткин. Своих разыскиваешь? Здесь не найдётся никого.

Неизвестный. Патриот... Видали мы таких патриотов!

Ракиткин (*наступательно, достойно*). Ты, гражданин, зачем пришёл? Какую имсешь цель? Кто ты такой?

Неизвестный. Неужели комсомолист? Возможно. Советую тебе, комсомолист, не обижать обиженных людей. Может быть, я живу здесь потому, что виноватый, а может быть, я без вины виноватый.

Ракиткин. Зачем сам грубо начинаешь?

Неизвестный. Климат даёт осадку на характер. А если человек вечно принуждён к этому климату, то какая у него может быть мягкость? А? Но я на исповедь не напрашиваюсь. Ехал и заметил огонь в брошенной хате. Думал: новые контингенты. А вы по зову. Что-то новенькое. Такого давно не слыхали. До свиданья. Может быть, соседями будем, если не разбежитесь. Поеду, а то степь ветренная. (*Ушёл.*)

Валька. А говорили — целина. Какая же это целина, если встречаются такие типы!

Дернакова. А ты считал целинные земли совсем необитаемыми? И не одни такие типы тут живут.

Ракиткин. Не бойся, Валечка, у тебя будет настоящий кинжал от бандитов.

Тамара. Ох, как запахло хлебом... не перепечь бы. (*Ушла.*)

Перчаткина. Удивительная девушка наша Тамара. Никто не заставлял, сама взялась.

Троян. Ничего удивительного, человек в колхозе вырос.

Перчаткина. Она детей учила.

Троян. Дело не в занятии, а в понятии.

Тамара возвратилась, под села к Ирочке.

Тамара. Ирочка, ты не находишь, что нам пора провести собрание, выбрать секретаря?

Ира. Мало нас. Вот подъедут новенькие, тогда...

Тамара. Ты знаешь, кто подойдёт в секретари?

Ира. Кто?

Тамара. Алёша Летавин.

Ира. Нравится?

Тамара. Нравится. По-моему, он умнее многих из нас.

Ира (*чуть пристрастно*). Может быть, он тебе нравится как человек?

Тамара. Спрашиваешь. Ну, конечно.

Ира. А при чём же тогда секретарь?

Тамара. Глупости, Ирочка.

Ира. Нет, совсем не глупости.

Тамара. Товарищи, давайте обсудим такой вопрос: если человек нравится как человек, то неужели его нельзя выдвинуть на руководящую работу?

Ракиткин. Ты скажи, кто нравится. Если я, то можно.

Тамара (*замерла*). Кажется, корка горит. Пора вынимать. (*Убежала.*)

Входит Летавин, вынимает из всех карманов ложки.

Ракиткин. Качать Летавина!

Л е т а в и н. Замёрз. Поесть охота. Тамара, как там хлеб?
Т а м а р а (*из другой комнаты*). Вынимаю.

В а л ь к а подкрался к Нелли Пасхиной и выхватил письмо, которое она писала на чемодане.

В а л ь к а (*читает вслух*). «Милая мамочка, прости меня, несчастную, за то, что я не послушалась тебя и поехала на эту целину. Никому не говори, но, если можно, я пешком приду домой с этой целины».

Общее молчание.

И р а. Валька, ну зачем ты... Как противно!

В а л ь к а. Нелли, ты прости, я не хотел вмешиваться в твои тайны.

Р а к и т к и н. Вот идиоты... они же извиняются! (*Хохочет.*) Крепко, Нелли, информируешь мамашу. А ещё кричала в поезде «горю желанием». Каким желанием? Пешком желаешь вернуться в своё ателье мод. Промежду прочим, она, кажется, комсомолка.

Д е р н а к о в а. Что и досадно. Одна паршивая овца всё стадо портит.

Н е л л и (*со слезами*). Я не говорила, что горю... никогда не говорила, что горю.

Л е т а в и н. Но что же получается? Нелли, сама подумай.

Н е л л и. Я не говорила, что горю.

Д е р н а к о в а. Гнать таких надо вон из комсомола.

И р а. Алёша, твоё мнение?

Л е т а в и н. Какой комсомол в ателье мод!

И р а. Комсомол везде комсомол.

Л е т а в и н. И ты хочешь равнять ателье мод с нашим заводом? (*Нелли.*) Не реви. Лучше бы призналась товарищам, что сдуру влипла. Предполагала, что целина — весёлая прогулка, а тут Сибирь.

Н е л л и. Так ведь стыдно же...

Л е т а в и н. -Ах, тебе стыдно? Что же ты на неё кричишь, Дернакова, она насквозь пропитана сознательностью. Мой совет, Нелли, не пиши домой таких писем. Если сама дура, то не мучь родителей.

Р а к и т к и н. Она славная девчонка, но... местная деревня на неё произвела жуткое впечатление.

Н е л л и (*Вальке*). Отдай письмо... (*Порвала.*) Только я никогда никого не обманывала и никогда не говорю, что я какая-то особенная... Обыкновенная, как многие.

Вдруг выбегает на середину комнаты К а т я.

К а т я (*со слезами*). Алёша, ты скажи ему, чтоб он не говорил мне глупостей.

Л е т а в и н. А кто «он», Катя?

К а т я. Этот вот... как его?.. Петя.

Л е т а в и н. Петя, как нехорошо... Человек с передового предприятия.

Т р о я н. Разве? Откуда он?

Л е т а в и н. Петя и Катя, они с Зиса. Ах, Петя, Петя!

П е т я. А что я ей сказал? Подумаешь, расплакалась. Пускай скажет, какие глупости я ей говорил.

К а т я. Он без конца пристаёт ко мне со своими глупостями. Пусть он лучше уйдёт от меня.

П е т я (*с огнём в глазах*). Запомни этот день, Катюша! Я тебя и ты меня... не знаем мы теперь друг друга.

К а т я. Не испугаешь. Так обойдусь. Не умру.

Т а м а р а выносит белые высокие хлебы.

Р а к и т к и н. Вот это хлеб насущный! Вы посмотрите! Что значит целина!

Т р о я н. Как на Кубани. Я там тоже работал.

Т а м а р а. Я из такой пшеницы сроду хлеба не пекла. Мука всхожая, тесто пышное. Мы его сейчас резать не будем, пусть остывает. А пока, девушки, давайте собирать ужин.

Р а к и т к и н. А я бегу за водкой, мальчики. Выпьем сегодня за будущий хлеб на целинных и залежных землях.

Л е т а в и н. Не выпьем. Хватит. Сядь на место.

И р а. Хватит, хватит.

Р а к и т к и н. Позвольте... а почему он диктует? Ты не хочешь — я выпью. Троян выпьет.

Л е т а в и н. Я тебя прошу. Никто не будет пить.

Р а к и т к и н. Шутить? *(Оглядывается.)* Неужели никто?.. Странно, вроде сговорились! Хорошо, посмотрим, как никто не будет пить.

Л е т а в и н *(строго)*. Прошу в последний раз.

Р а к и т к и н *(искренне удивлён)*. Вот удивительно. А то что будет?

Л е т а в и н. Посажу на место.

Р а к и т к и н *(закипая)*. Алёшка, ты не зарывайся... Вот ещё новости!

Л е т а в и н. Мы подумали и решили... Короче, за ужином водки не будет.

Р а к и т к и н. Ты знаешь мой характер. Тогда неприятность будет.

Л е т а в и н *(смело и насмешливо)*. Маркуша, сядь на место... Не боюсь.

Р а к и т к и н. Летавин, слушай, я ненавижу насилие над личностью. Уйди с дороги. Драка будет.

Т р о я н *(взял Ракиткина за шиворот и легко посадил на нары)*. Ничего не будет.

Р а к и т к и н *(на грани истерики)*. Нелли, дай кружку воды.

Нелли стремительно приносит воду.

Р а к и т к и н. Ну хорошо... сплошные активисты... Понял твою линию, Алёша. Ну хорошо. Спасибо, Нелличка.

Входит молодой морячок.

М о р я ч о к. И я попал к самому ужину. Ну и ветерок на улице. Считай, двенадцать баллов.

Л е т а в и н. А почему директор не пришёл?

М о р я ч о к. Они с секретарём райкома поехали встречать колонну техники. Бюро погоды сообщило, что завтра будет резкое повышение температуры, а старожилы уверяют: через две недели откроется вся целина. Тут весна короткая.

Д е р н а к о в а. Вот что значит человек военный.

Т а м а р а *(мягко, ласково)*. Прошу, садитесь... Давайте мирно жить. Не надо недоразумений. Ехали мы сюда с большим чувством. И ты, Марко, высказывался в поезде... Отойди, милый, успокойся... Я смотрю на молодёжь с такой точки зрения, что ей надо очень серьёзно следить за собой. Хочется, чтоб мы здесь были достойны чего-то хорошего. Прошу, садитесь.

Интермедия

Ира, Летавин.

И р а. Интересно знать, о чём он думает... И важный стал, силы нет. Алёша, о чём ты думаешь? *(Молчание.)* Алёша, ты с Маргошкой переписываешься? *(Молчание.)* Значит, не переписывается. *(Раздумывая.)* Но зачем же напускать на себя железобетонный вид? А мне хочется петь... В жизни не видала такой великолепной весны. И чтобы прямо в степи у тебя под ногами красные тюльпаны, в жизни не видала. Какая у нас внушительная степь, просто сердце замирает... Ах, как хорошо, как грустно!..

Алёша, скажи тёплое слово... Чего молчать, не понимаю. Здесь, вдали от завода, мы почти как родные... Очень жаль, что мы по разным точкам разбились. Я не вижу Марка, как он там на тракторе, не знаешь?

Л е т а в и н. Не знаю.

И р а (*про себя об Алёше*). Важный, силы нет. Я думаю, что зря мы его выбрали секретарём. Мальчишка он ещё пока, с легкомысленными замашками. Того гляди заведёт себе...

Л е т а в и н. До свидания, Кулькова. Значит, ты даёшь согласие соревноваться с Трояном?

И р а. Сказала же, зачем повторяться... Пстой! (*Мягко*.) Ты навещай меня, Алёша. А то мы разбрелись по разным точкам, так на душе тоскливо. Будешь навещать?

Л е т а в и н. Не забывай, дорогая, сколько у Летавина обязанностей.

И р а. Вон какой... покажи во сне, не узнаешь... Нет, голубчик, зря мы тебя выбрали секретарём.

Л е т а в и н. По-твоему? Интересно. Почему?

И р а. На некоторых это плохо действует. Что важный — ладно, это можно стерпеть, но что чужим становишься, это крайне досадно.

Л е т а в и н. Не понимаю, о чём ты говоришь... Но ты должна знать, что все мы вообще растём. Пока. (*Ушёл.*)

И р а. Крайне досадно. А хотя... плевать мне на его официальность. Пускай заносится... Но как я всё же устаю на работе. Не ожидала. Пахать — не то что у станочка простоять смену. Эти целинные земли кусаются. Эх ты, степь-весна!.. Какая ты синяя, весна!.. Грустно.

Картина третья

В ковыльной степи. Вблизи — маленькая рощица низкорослых, изломанных морозами берёзок. Днём.

Р а к и т к и н, В а л ь к а.

Р а к и т к и н. Всё законно, Валька. Мой ты корешок или не мой?

В а л ь к а. Твой, твой.

Р а к и т к и н. Беги в бригаду за спичками. Умираю, курить хочу.

В а л ь к а. Зачем было пить на пустой желудок? Неужели удержаться нельзя? Не понимаю.

Р а к и т к и н. Всё законно. Я страдаю без городской культуры. Нужна мне ваша целина... Городской человек презирает деревенскую культуру. Ступай за спичками. (*Ложится.*)

В а л ь к а. Трактор заглушить?

Р а к и т к и н. Не надо, сейчас поеду.

В а л ь к а. Эх, ты... Я-то думал... а ты.

Р а к и т к и н. Страдаю... временно... Пройдёт. Тебя ценю. Ты настоящий друг.

В а л ь к а ушёл. Р а к и т к и н засыпает. Появляется Т р о я н.

Т р о я н (*как во сне*). Надо же было кинуть родную Одесщину и податься на край света, чтоб нажить себе такую боль в сердце. Тамара, слышишь, я тебя одну люблю. Не люблю — кохаю. И нас с тобой разъединили, ласточка. Кто-то постарался мне на лихо. Ох, лихо, ох, лихо! Видели бы люди, как я один хожу в степи... (*Натыкается на Ракиткина.*) Неужели он?.. Марко, да ты с ума сошёл! Ты можешь в смене спать... ты покинул агрегат! Ракиткин, просыпайся!

Р а к и т к и н (*приподнялся*). Вот интересно... Неужели я заснул?

Т р о я н. Ты, значит, пьяный... А прицепщик где?

Р а к и т к и н. Пошёл за спичками.

Т р о я н. Что же теперь с тобой делать?

Р а к и т к и н. Не представляю, как могло случиться.

Троян (*с суровой истовостью крестьянина*). Ты бросил пашню... Какой ты негодяй!

Ракиткин. Толя, за что?

Троян. Нам миллионы га надо поднять за одно лето... Нам партия и Родина... Как ты мог?!

Ракиткин. Выпил, стало мутно. Больше ничего не помню. Толя, прости меня.

Троян. На пашне пить! Таким я не прощаю никогда.

Ракиткин. Это срыв в прошлое.

Троян. Какое?

Ракиткин. Были ошибки в жизни. Я от души хочу перемениться.

Троян. Ладно, дела поднимать не буду. Но к тракторам ты больше не подходи.

Ракиткин. Толя...

Троян. Шофёр — вот ещё сойдёт.

Ракиткин (*с болью*). Толя, не лишай меня удовольствия пахать землю.

Троян. Ступай на центральную усадьбу, скажи дирекции, что не справляешься. Не позволяют силы.

Ракиткин. Толя, не лишай меня удовольствия пахать землю.

Троян. Брешешь ты, Ракиткин, нельзя верить. Землю не любишь. Пьяный, мутный, борозды не видишь... Уходи!

Ракиткин. Разреши хоть смену отработать.

Троян. Уходи, без тебя отработаю.

Ракиткин нашёл в траве свой ватник.

Ракиткин (*с горькой искренностью*). Эх, Троян, Троян, ты благополучный, а я неблагополучный. Спросил бы ты у Марка Ракиткина... Ну да что там! Чужие мы люди. Прощай, напарник! (*Ушёл в сторону роищи.*)

Троян. Да если бы и брат родной... Негодяй, и всё.

Явился Валька.

Валька. Ну... что случилось?

Троян. Отведи своего хозяина на центральную усадьбу, подтверди, что не справляется... силёнок не хватает.

Валька. Хорошо, Троян, скажу. Ты мягко поступаешь. Другой бы поднял целую историю. (*Зовёт.*) Марк, где ты?

Троян. Пропадёшь ты со своим Марком.

Валька. Зато он настоящий друг. С ним интересно водиться.

Троян. Нашёл добро. Босяк.

Валька. Зато с ним интересней. (*Ушёл.*)

Троян (*широко, почти с мольбой*). Тамара, подай голос. Какая ты глухая, степь!

Является Нелли с посудой, завязанной в белое.

Нелли (*счастливо*). Толечка, что ты тут делаешь? Почему не спишь? А где твой сменщик? Трактор работает, а тракториста не видно.

Троян. Выдохся твой тракторист. Нечего ему делать на пашне. Пошёл шукать другой работы.

Нелли. Матушки!.. Уходит из совхоза?

Троян. Не бойся, за баранку сядет.

Нелли. А я обед ему принесла.

Троян. Кого ты, Нелли, выбрала! Он же действительно босяк.

Нелли. Что значит «босяк»? Он вместе с Ирой Кульковой и вашим примерным Летавиным откомандировался с передового крупного предприятия. И Летавина и Кулькову он сагитировал. Не веришь, у них спроси. Тебе неизвестно, почему наш дорогой секретарь дал тягу из Москвы,

а мы-то знаем. И все мы, грешные, одного поля ягоды, и нечего нас делить на таких, сяких, намазанных.

Троян (*строго*). Ракиткин сагитировал... Нас Родина сагитировала, партия сагитировала! Плетёшь... А что ты скажешь про Тамару?

Нелли. Тамара — исключение.

Троян. Ирочка тоже тебе исключение?

Нелли. А что Ирочка, что Ирочка? Если на трактор села, так уж великая заслуга... Я вот тоже... дома себе картошки пожарить не могла, а тут готовлю на целую бригаду. Также нужно проявить героизм. Мы, поварили, в четыре встаём, в двенадцать ложимся. А вы только знаете, что лагаете на поварих.

Троян. Готовить не умеете. Другой раз ешь и не знаешь, что ты ешь.

Нелли. Я виновата, если мне с детства прививали отвращение к домашнему быту? Ты за Ракиткина не пообедаешь? У меня есть четвертинка.

Троян. Пасхина, ну что ты делаешь?! Я же Ракиткина выгнал за то, что он позволил себе в пьяном виде пахать землю.

Нелли (*с горечью*). Какая я несчастная... Целина, целина... Думала, что тут выйдешь замуж за интересного человека. Как же. Одни мальчишки. Да ещё распущенность.

Троян (*прямолинейно*). Лучше бы ты контролировала собственное поведение.

Нелли. А что я делаю?.. Он меня любит, защищает. Это только ты ведёшь себя замкнуто, а другим лучше не попадайся.

Троян (*сердито*). Все распущенные — ты тихая! Водку носит в борозду, а других критикует. Хочется выдрать тебя за твои лохмы. Посмотри, на кого ты похожа. Губы крашенные, нос облупился, на голове пакля.

Нелли. А где условия? Нет же никаких условий.

Троян. Ладно, не огорчайся. Собери поесть. А то почти сутки работай. Пойду трактор заглушу. (*Ушёл.*)

Нелли. Что же будет с Мариком?.. Я здесь, он где-то там.

Троян (*вернулся*). Appetit у меня неважный. Давай второе. Что там у тебя?

Нелли. Как всегда, гуляш.

Троян. Насыпь гуляшу.

Аккуратно и старательно Нелли подаёт ему кушанье. Троян начинает есть и как-то неестественно замирает. Нелли с испугом смотрит на него. Желая что-то проглотить,

Троян хватается за хлеб, жуёт, и у него останавливаются округлившиеся глаза.

Нелли (*в испуге*). Толя, что с тобой? Толя, не помирай!

Троян показывает ей, что его надо бить кулаком по спине.

Нелли. Вот случайность! (*Бьёт по спине.*) Толя, с тобой первым это случилось.

Троян (*с трудом выговаривая слова*). Ремней нажарила... Тебя судить надо показательным судом.

Нелли. Я виновата, что мясо жёсткое?!

Троян. Забирай свой гуляш ко всем собакам и на глаза мне не попадайся!

Нелли. От вас только и слышишь одни грубости.

Троян. Нелли, не доводи меня до белого каления!

Нелли (*собирая посуду*). Толя, может быть, съешь компота? Сладенький, ручаюсь.

Молчание.

Нелли. Скажи мне, что же теперь будет с Мариком? Сядет за баранку?

Молчание.

Нелли. А мне как быть? Он на усадьбе, я в степи. Забудет он меня через три дня... Толя, ты не поверишь, это моя самая первая любовь.

Троян (*вдруг с гневом*). Мало мне своих вопросов! Полюбила — мучайся. Я вот не жалею. Ступай.

Нелли (*уходит, потом останавливается*). Летавин на своём мотоцикле везёт кого-то. Ненавижу я этого Летавина.

Троян. Кого ты можешь ненавидеть?.. Это Ракиткин командует всеми твоими настроениями.

Нелли (*вызывающе*). И пускай командует. Все вы готовы его затравить, одна я люблю. (*Ушла.*)

Троян. Поверишь, любит. Я тоже на целине не собирался глупостями заниматься, а сошёлся с ума.

Является Летавин, потом Перчаткина.

Летавин. Здорово, Толя, здорово великий тракторист! Хочешь, чтобы тебе завидовал весь Казахстан с Алтаем вместе? Говори.

Троян. Зависть — чувство не советское.

Летавин. Это смотря в каком смысле. Стелла Перчаткина получила право водить трактор, бери сменщицей.

Троян. Получить право нетрудно, а вот работать...

Летавин. Настойчивей её не видел человека. Принимай, лучшей комбинации не придумаешь. Посмотри на неё, не девушка — «весна в Москве».

Троян. Так на неё же придётся батрачить. Пока эта весна пахать научится, с ума сойдёшь.

Летавин. А за Ракиткина работать не приходится? Тоже, наверное, редкий пахарь, представляю себе.

Троян. Это верно... Не ладятся его дела. Подался на центральную усадьбу.

Летавин. Как «не ладятся»?

Троян. Спроси у него. Вы старые дружки. Сами разберётесь.

Летавин. Я, кажется, всё понял. Не беспокойся, здесь ему дружба не поможет. За два с половиной месяца я почти окончательно вырос. Веришь?

Троян. Верю.

Летавин. Руководящая работа... понимаешь?

Троян. Понимаю.

Летавин. Тогда в порядке директивы принимай Перчаткину. А он пускай идёт в шофёры.

Троян. Я то же говорю.

Летавин (*зовёт*). Стелла, иди к нам! (*Стелла является.*) Стелла, будешь работать с Трояном. Лучшего случая не придумаешь. Благодарю товарища Летавина.

Перчаткина. А я вполне серьёзно говорю, очень благодарна. Здравствуй, Толечка, поздравил бы.

Троян (*скупо*). Я ничего, рад. А на дальнейшее давай уговоримся: не плакаться, заявлений на меня не писать. Я до земли горячий, пашню люблю сдавать с чистой совестью.

Летавин. И вообще... Трактористы — святые люди, ты учти. Лето... ночи... песни... А тракторист как стал за рычаги... воображаешь?

Перчаткина. Да, Алёша, я девушка с воображением, труд тракториста мне понятен.

Троян. Тогда пойдёшь и прими на ходу агрегат. Я потом на прицепе покатаюсь.

Перчаткина. Слушаюсь. (*Ушла.*)

Летавин. Очень серьёзная девчонка.

Троян. А в мамаша она тебе не годится?

Летавин. Чудак, ей даже по анкете только двадцать пять.

Троян. Да... Я, кажется, стал их плохо различать.

Летавин. Надоели или несчастная любовь?

Троян. Не знаю... может быть... Говори, Летавин, с кем мне соревноваться?

Летавин. Приезжай завтра в первую бригаду, там разыщем.

Троян (с радостью). В первую?.. Когда?

Летавин. К вечеру.

Троян. Ты скажи, с кем?

Летавин. С Ирочкой Кульковой.

Троян. Шутишь?

Летавин. Вызывает.

Троян. Забью.

Летавин. Возможно.

Троян. А тебе её не жалко?

Летавин. Жалко не жалко, зато в будущем мы будем иметь мастеров земли. Если Ирочка станет соревноваться с тобой, то куда деваться остальным?

Троян. А ты политик.

Летавин. Считаешь?

Троян. Факт.

Летавин. Приходится.

Троян. Нет, трудно будет Ирочке. Между прочим, ты к ней совсем равнодушен?

Летавин. Ох, Троян, смотри, ты сам к кому-то там равнодушен. Смотри, говорю, как бы не скрестились наши узкие дорожки. Я не уступлю.

Троян. А ты думаешь, я уступлю?

Летавин. Скажи, к кому ты равнодушен в первой бригаде?

Троян. Ничего не могу сейчас сказать. Мало ли что, если я равнодушен. Когда она будет равнодушна, тогда скажу.

Летавин. Чувствую, что догадываюсь.

Троян. Ничего не могу сказать.

Летавин. Тамара? Она?

Троян. Ничего не могу сказать.

Летавин. Почему тебе не полюбить Перчаткину? Культурная, красивая... А имя... это ж надо — Стелла.

Троян. Вот и полюби, Алёша.

Летавин. Ну вот что, давай бросим эти несущественные байки.

Троян. Давай бросим.

Летавин. Хочется подбить итоги.

Троян. Какие там ещё итоги! Кругом не ладится. Владеть техникой на целине никто не умеет.

Является Перчаткина.

Перчаткина. Толя, у тебя какой-то особенный трактор.

Троян. Почувствовала?

Перчаткина. Ну как же.

Троян. Похвально, что почувствовала.

Летавин (с удовольствием). Ребята, в итоге я не разочарован. Мне очень нравится на целине. Главное дело — легко жить. (Уходит.) Привет. Я поехал в первую бригаду поднимать соревнование. (Ушёл.)

Перчаткина. Летавин — парень незаурядный.

Троян (в задумчивости). Все мы... незаурядные. Эх, степь!.. Что скажешь, степь, нам, гостям неожиданным?.. Молчит.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина четвёртая

Внутри белой палатки, где расположилась главная контора совхоза. Столы счетоводов, конторские шкафы. В стороне — директорское место, где и работает сам директор. Посетители. У шкафа с книгами, на корточках, Тамара и Летавин.

Директор (*не отрываясь от бумаг*). Пора, пора раздуть огонь соревнования. Алёша, слышишь?

Летавин. Слышу, слышу. (*Тамаре, тихо.*) Забирай, Тамара, «Хождение по мукам». Революционное произведение.

Тамара. А ты читал?

Летавин. Читал частично, забыл полностью. Даю тебе слово с осени заняться своим образованием. У меня семилетнее, неполное.

Тамара. А почему мне слово?

Летавин. Догадайся почему. Стихов не бери. Никто их не читает.

Тамара. А я читаю. Я люблю, когда стихи наводят на задумчивость.

Летавин. Лучше задумайся о человеке, который с тобой рядом.

Тамара. Настанваешь?

Летавин. Нет, прошу...

Входят женщины, и на них отвлекается внимание.

Директор (*изумлён*). Как, вы ещё не уехали?! Вы думаете, что деревья можно садить до осени? Сию минуту, чтоб духу вашего не было на территории.

Женщина. Не шуми, товарищ директор. Ты понаставил одних вридов, и они нас закружили. Врид к вриду посылает, и у всех один ответ: я врид.

Директор. Как, вам до сих пор не дали машины?

Женщина. Так ведь завгар, он врид. С утра до вечера обедает.

Директор. Что за беспомощность? Обмотайте его цепями и тащите к машине. Родные, умоляю, ведь без яблонь останемся. Это же обида.

Женщина. Значит, разрешите применить к завгару чеэм?

Директор. Да, да, чеэм, чеэм.

Женщина (*о спутницах*). Они не понимают. Это чрезвычайные меры. Пошли применять. (*Ушли.*)

Директор. Пора громить бездельников. Тут нечего стесняться. Алёша, слышишь?

Летавин. Слышу, слышу. (*Тамаре, в прежнем тоне.*) Тамара, что же ты не отвечаешь?

Тамара. А что мне отвечать, я и не знаю.

Летавин. Неужели я не произвожу на тебя никакого впечатления?

Тамара (*робко, искренне*). Что ты, Алёша... Милый, что ты? Ты производишь самое лучшее впечатление.

Летавин. Поклянись.

Тамара. Ты как ребёнок. Давай, Алёша, книги, а то на нас посматривают.

Летавин. Я не боюсь. Значит, ты думала о нём?

Тамара. О ком, Алёша?

Летавин. О нём, который дни и ночи... словом, обо мне.

Тамара. Вот удивительно... ты ещё настоящий школьник.

Летавин. Ошибаешься. Я имел в жизни разочарования на этой почве.

Входит плотник.

Плотник. Как будем строить баню, Алексей Степанович, культурно или некультурно? Будет холодно, зато культурно.

Директор. А можно и культурно и тепло?

Плотник. Природа этого не позволяет.

Директор. А халтуру природа позволяет? Баню строй сибирскую. Больше не ходи, не спрашивайся и ребяташек мне не развращай. Учти — кондово строиться.

Плотник. Кондово. Ишь ты, слово какое вставил. Заказ понятный. (Летавину.) Алексей, мне нужно четверо героев, которые умеют тесать брёвна.

Директор. Алёша, слышишь? Чем ты там занят?

Летавин. Литературу отбираю в первую бригаду. Культработа. Разве не видите?

Директор. Что-то затянулась культработа.

Плотник ушёл.

Летавин (тихо). Тамара, я тебя люблю. Ни за что бы не сознался, но ты сама сказала.

Тамара (спокойно, ласково). Что же я сказала?

Летавин. Что я оставил впечатление и занял место.

Тамара. Где, Алёша?

Летавин. Что уточнять?.. В сердце.

Тамара. Алёша, милый, не форсируй.

Летавин. Я не настаиваю... Ты должна меня узнать поближе. Я теперь буду приходить к тебе по вечерам.

Тамара. Приходи.

Летавин. Потом с тобой в Москву уедем. Поможем государству и уедем.

Тамара. Ты мне совсем другим казался.

Летавин. Брось, я не двуличный. А что я временно на целине — про это и директор знает.

Директор. Кончай, Алёша, культработу. Что-то ростовские не выезжают. Без камня мы с тобой ничего фундаментального не построим.

Летавин. Всё слышу, Алексей Степанович. Вот провожу девушку и займусь текущим.

Ушёл с Тамарой. Вбегает Петя. Следом трое мальчишек в маленьких кепочках, в сапожках и брюках навыпуск.

Петя (на ходу). Где здесь отдел главного механика?

Директор. Петро, ты чудо-человек. Но здесь не Зис и не Москва. Скажи, бесценный мой кузнец, что тебе надо?

Петя. Вечно вы смеётесь. Ничего не надо. Пролетариат обойдётся своим творчеством. (Мальчишкам.) Не понимаю, чего толкаться? Места мало?

Директор (мальчишкам). А вам что?

Мальчишки. Мы состоим в распоряжении медицины. Она требует расчистить аэродром для медицинских самолётов. Лопаты выдали, а ручек нет. С утра простой. За чей счёт?

Директор. «Степь да степь кругом» вы пели?

Мальчишки. Пели... Что ж такого?

Директор. Вы умрёте, как тот ямщик, если будете ждать, пока вам сделают держак к лопатам. Учитесь у нашего лучшего кузнеца.

Мальчишки (презрительно). Этот вот лучший?.. Обойдёмся без липовых профессоров.

Петя. Полегче, вы... разнорабочие.

Мальчишки. Не задавайся, хоть и с Зиса... А то до старости отучим задаваться.

Директор. Марш отсюда! А если драку заведёте, штаны спущу.

Переругиваясь с Петей, они уходят. Вбегает Нелли, потом Летавин.

Нелли (в слезах). Я прошусь ехать с бригадой ростовских на заготовку камня, а меня не откомандировывают. Я, может быть, в самом деле горю желанием.

Д и р е к т о р. Охотно верю. А в качестве кого ты хочешь ехать?

Н е л л и. В качестве поварахи.

Д и р е к т о р. Ох, Нелли...

Н е л л и. Но я же маме написала, чтоб мне прислали учебник пищи. Недорогая и невкусная... (*Без смущения.*) Или вкусная и дорогая... или как там... я же ещё не учила.

Д и р е к т о р. Пойми, не развлекаться едут ростовские ребята на каменный карьер. Это работа тяжёлая. Алёша, давай пошлём туда Тамару. (*Нелли.*) А ты оставайся здесь библиотечаршей, а то нашему секретарю приходится самому заниматься культработой.

Н е л л и (*ожесточённо*). Не буду библиотечаршей. Не разрешите поварихой, буду каменщицей.

Л е т а в и н. Попытаемся ещё, Алексей Степанович. Я вчера пробовал её обед, есть сдвиги.

Н е л л и. Нет, буду из-за принципа каменщицей.

Д и р е к т о р. Ты лучше из-за принципа научись варить борщ. Почему в первой бригаде всегда хорошее настроение? Потому что там великолепное питание. Тамара умеет не только хорошо накормить человека, она его ещё приветит, душу ему озарит своей любезностью... Но я твоё горячее желание приветствую. Езжай. Похвально. Выправляйся.

Н е л л и кивнула и улетела.

Л е т а в и н. Зря хвалите.

Д и р е к т о р. Почему?

Л е т а в и н. С Ракиткиным не желает расставаться, вот и всё. Любовь.

Д и р е к т о р. А ты, мой тёзка, ради чего всё утро культработой занимался? Не видим? Видим.

Л е т а в и н (*потупясь и с трудом*). У меня чувство.

Д и р е к т о р. А у неё нет чувства?

Л е т а в и н. Я не говорю.

Д и р е к т о р. Нет, говоришь.

Входят Ракиткин, парень с чубом и ещё двое ребят.

Р а к и т к и н (*почти рапортом*). Товарищ директор, мы отправляемся за мукой на мельницу для коллектива каменных карьеров. Если нас на мельнице не задержат, то на третий день будем на месте.

Д и р е к т о р (*увидал у парня с чубом гитару*). А зачем гитара?

П а р е н ь с ч у б о м (*выговор и манеры ростовского стиля*). Странный вопрос... Играть...

Д и р е к т о р. Поручение ответственное, муку надо доставить аккуратно. Гитара ни к чему.

П а р е н ь с ч у б о м. Странный разговор. Вы против музыки?

Д и р е к т о р. Но вы же едете не на концерт, а на мельницу.

П а р е н ь с ч у б о м. Странное дело. Здесь монастырь? Да?

Р а к и т к и н. Товарищ директор, уверяю вас, ничего не случится.

Д и р е к т о р. Я не запрещаю... просто не советую.

П а р е н ь с ч у б о м (*ударил по струнам*). Как можно с нею расстаться? Эта гитара — подарок коллектива. Вы понятия не имеете, какой я гитарист.

Д и р е к т о р. Слышал... имею... потому и не советую... Езжайте.

Р а к и т к и н. Ничего плохого не случится... (*С усмешкой Летавину.*) Верно, товарищ секретарь?

Л е т а в и н. Видишь? Молчу. Езжай. (*Они ушли.*) Вы как хотите, а я не доверил бы Ракиткину машину.

Д и р е к т о р. Никогда не торопись, Алёша, одним махом отсекай людей. Отсечь человека — самое лёгкое дело.

Л е т а в и н молчит, но видно, что он высоко ставит своего директора.

Директор. Я всего-навсего рядовой коммунист, но и здесь, в степи, я размышляю о больших явлениях жизни. Ты сам-то думаешь о жизни?

Летавин. Приходилось... думаю.

Директор. Тебе надо думать. Ведь мы с тобой руководим людьми, приказываем, вдохновляем. А ты не замечал, что и мы часто распахиваем целину?

Летавин. Что-то очень глубоко...

Директор. Ты что-нибудь слышал про эпоху Возрождения?

Летавин. Как будто да... частично.

Директор. Эта эпоха, оказывается, продолжалась двести лет. Нынче по радио говорили для старших школьников. Тебе же, наверное, кажется, что Советская власть существует вечно, а я помню, как она начиналась. Мы молодое общество.

Летавин. Глубоко берёте, но понимаю... Нет опыта. Вы лучше посоветуйте, как руководить.

Директор. Этому не научишь. Старайся быть самим собой, каким ты есть. Мне думается, что ты тогда ни в чём не ошибёшься. Впрочем, один совет могу дать. Люби ребят, стоят они того... даже «отпетые». А теперь бери приказ. Я тебя назначаю завгаром.

Летавин (*обижен почти до слёз*). Так. Вот к чему говорилось про эпоху Возрождения. Знал бы, ни за что бы сюда не поехал. Все мы друга накачивали: романтика, романтика... Что я напишу родным и знакомым? Служу завгаром.

Директор (*молодо, с удовольствием*). А степь... а наш цыганский табор... а ночи с первыми свиданиями... а первая бригада? Когда-нибудь оценим. Алёша, ты сам романтика.

Интермедия

Тамара. В руках конверт и листки письма. Читает про себя, потом смеётся.

Тамара. Вот смешные люди! Какую ерунду они мне пишут... А ведь все они с образованием, должны бы, кажется, разбираться в окружающей действительности. (*Читает.*) «Мы с волнением ждём твоих писем, потому что гордимся тобой...» Ничего не имею против, пускай гордятся. «...но твои письма нас крайне разочаровывают». Ты подумай, крайне разочаровывают. «Оказывается, ты работаешь поварихой». (*Смеётся.*) «А мы ждали, что ты на целине обязательно проявишь героизм». Ну что вы на это скажете?! Какой же им ещё героизм надо проявить, ума не приложу. Повариха их разочаровывает. И смешно и обидно... Придумают себе люди какую-то игрушечную жизнь и уверены, что такая жизнь существует на самом деле. Я сама ехала на целину с мечтой о сверхъестественном героизме, потому что думала, что жизнь похожа на цветное кино. Но хорошо, что я в деревне воспиталась, умю хлеб печь, борщ варить, а то бы нам всем поначалу пришлось голодными ходить. Ох, и отчитаю я их в ответ!.. Героизм. Тут у нас трескучих фраз терпеть не могут. Многие ехали сюда с трескучими фразами, а потом языки прикусили. Тут пока до паркетной жизни в новых домах со всеми удобствами очень далеко... И вообще, я считаю, что не к лицу нам придумывать паркетную жизнь. И работа тут грубая, чёрная, потому что земляная. И скучно по вечерам и тянет вдаль, к людям, где шумят светлые улицы. Суровый у нас край, глухой... одним словом, целина. И, может быть, тут как раз и найдёшь настоящий героизм будничной жизни... Или нет?.. Я не знаю...

Вбегает девушка.

Девушка. Тамара, титан испортился, без кипятка останемся.

Т а м а р а. Неужели правда?! Это же несчастье! Как это можно нам без кипятка!.. А я тут о героизме распространяюсь.

Обе торопливо уходят.

Картина пятая

Полевой стан первой бригады. Нежная берёзовая рощица, окаймляющая поляну, где расположились палатки, вагончик, кухня, обеденный стол и скамейки, врытые в землю.

За рощицей — широкий вид на степь. Перед заходом солнца.

Входят Т р о я н, потом Л е т а в и н.

Т р о я н. Тишина и уют. Хорошо у них в первой бригаде. *(Громко.)* Что, разве никого нет дома?

Л е т а в и н. Я есть, Троян!

Молчание.

Л е т а в и н. Разве не нравится? Вот, кажется, и сошлись наши дорожки. Давай поговорим, пока Тамара и другие в леске хворост собирают.

Т р о я н. Да, разговор идёт, что наш Летавин ходит к Тамаре на вечерние свидания.

Л е т а в и н. А я слышал другое, что ты по ней страдаешь. Зря не желал сознаться сразу. Теперь дело зашло далеко.

Т р о я н *(потрясён)*. Как далеко? Ты говори, да думай, что говоришь. Как далеко, я тебя спрашиваю?

Л е т а в и н *(отшатываясь от наступающего собеседника)*. Не сходи с ума, Троян. Я тоже могу откалывать такие номера.

Т р о я н. А ты отвечай, что значит «далеко». Ты девушку мараешь.

Л е т а в и н. «Далеко» не в этом смысле.

Т р о я н. А в каком?

Л е т а в и н. А в том, что уже... она в курсе... Неужели непонятно? В общем, до её сознания окончательно дошло, что я её люблю.

Т р о я н. Не брешешь? Это всё?

Л е т а в и н. Толька, не зарывайся. Что значит «брешешь»? Я, кажется, руководство, которое брехать не может.

Т р о я н. Когда имеется любовь, то руководство ты или не руководство, это роли не играет.

Л е т а в и н *(с оскорбительной язвительностью)*. Интересно. Может быть, играет роль, что ты страдаешь?

Т р о я н. Ты дурак, Летавин. Играет роль одна она... Тамара.

Л е т а в и н. Правильно, Толя. Поэтому я и прошу тебя забыть сюда дорогу.

Т р о я н. У тебя, кажется, сознание плохо работает, не понимаешь русского языка.

Л е т а в и н. Я попросил бы забыть сюда дорогу.

Т р о я н *(делаясь враждебным)*. Во-первых, я сюда приехал по соревнованию с Ирочкой Кульковой, а во-вторых, прошу мне не указывать.

Л е т а в и н. Если по соревнованию, то почему не в поле... почему ты здесь шатаешься?

Т р о я н. Там хватит без меня народу. Ты тоже почему-то не поехал в поле. Трусишь за Кулькову. Но у нас не о том сейчас разговор. Я прошу мной не командовать. Твоя ревность вызывает во мне одно презрение, потому что ты ещё не муж.

Л е т а в и н *(сорвался, с гневной дрожью)*. Я буду мужем! Говорю с тобой в последний раз: уходи отсюда. Сегодня у меня решительная встреча. Уходи, Троян. Смешного мало. Я тоже могу сходить с ума.

Т р о я н *(со спокойной насмешливостью)*. Какой ты можешь быть муж, если меня боишься?

Л е т а в и н. Анатолий, я могу... (*Комок в горле.*)

Т р о я н (*с недобрим спокойствием*). Заплачь, заплачь.

Л е т а в и н. Ты негодай!

Т р о я н. Тогда давай отойдём подальше.

Л е т а в и н (*не помня себя*). Нет, здесь дерись! (*Наносит удар.*)

Т р о я н у жаль Л е т а в и н а. Молчание.

Л е т а в и н. Прости, Троян... нет, ты дай мне как следует. Отплати, я требую.

Т р о я н (*вдруг мирно*). Алёшка, ты какой-то ненормальный. Мы дерёмся или нет?

Л е т а в и н (*чуть не плача*). Я требую... дай мне раз по физиономии.

Т р о я н (*сильно толкает Летавина, и тот с трудом удерживается на ногах*). Ну, дал... А теперь что будет?

Л е т а в и н. Нельзя нам драться. Ты считаешься лучшим трактористом, я всё-таки как-никак руковожу. Должны мы или нет держать своё поведение под контролем, ты как скажешь? Я считаю, что должны.

Т р о я н. Пускай лучший, но учти, во-первых, что я от драки никогда не отказываюсь. Во-вторых, ты мне дорогу сюда не заказывай.

Л е т а в и н (*искренне, с болью*). Троян, не обострай... Вот проклятая любовь, вечно мучаешься. Но есть же какой-нибудь выход?

Т р о я н. Тебе говорили, ты слушать не хотел.

Л е т а в и н. Какой?

Т р о я н. Давай Тамару призовём и спросим... Так и так... Страдают двое... Отвечай.

Пауза.

Т р о я н. Боишься?

Л е т а в и н. Вообще полагается женщин завоёвывать.

Т р о я н (*с усмешкой*). Правильно, Алёша.

Л е т а в и н. А у нас получается какая-то торговля.

Т р о я н. Нет, Алёша, вот тогда мы узнаем, кто из нас её завоевал.

Являются плачущая И р а и П е р ч а т к и н а. Первая только что с трактора. У неё пропитанный маслом и копотью комбинезон, чёрное измождённое лицо, усталые движения.

И р а (*указывая на Летавина*). Вот кто сагитировал меня на это несчастное соревнование. Что ж ты не пришёл посмотреть на мой позор?

П е р ч а т к и н а. Ира, успокойся. Где здесь вода?

Л е т а в и н. А что случилось?

И р а (*продолжая плакать*). Я ему поверила, как лучшему другу. «Ира, вызывай Трояна наперекор стихиям». А тут одна политика. Вызвала! Не стихия, а позор.

Л е т а в и н (*Перчаткиной*). Стелла, что случилось?

П е р ч а т к и н а. Двадцать гектаров придётся перепахивать. Брак.

Л е т а в и н. Ирочка, как же могло случиться?

И р а. Ты ещё будешь спрашивать! Ты не пахал ночью и понятия не имеешь, что такое пахота. Эта дорогая ваша целина для опытного мужика и то погибель, а я до сегодняшнего дня и не знала, как на этой почве лемеха ставить. Я теперь не жалуясь, поздно. Только никто не знает, как страшно городской девчонке по ночам работать. Кому луна, а кому одна жуть. Мой свет с её светом сливается, и глазам больно от напряжения. А тут ещё эти совы летают. За ночь сто одну песню споешь, а на заре так глаза смыкаются, так смыкаются, что хоть спичку подноси. Я не жалуясь, но... (*Летавину*) ты знай, что не от лёгкой работы у меня получился этот позор. А тебе, Толя, большая благодарность... хоть ты пожалел меня, не пришёл на мой позор смотреть.

Входит Т а м а р а с вёдрами.

Т а м а р а. Ирочка, радуйся, мы воду в балочке нашли... зеркальный родничок. *(Окружающим.)* Что с нею?

П е р ч а т к и н а. Двадцать гектаров перепахивать. Брак.

Т а м а р а. И ты, Толя, не мог приехать поучить, как младшую! Какое же у вас соревнование? Не по-советски.

Т р о я н. Легко укорять... «не по-советски». А я смену отработаю и спать не иду. В сменщицы дали стенографистку и план требуют. Учи одну, учи другую.

И р а. Кого вы обвиняете? При чём здесь Троян?

Т а м а р а. Выпей, Ирочка, водички. Разве можно так расстраиваться?

И р а. Можно, если люди такие жестокие... Ему лишь бы дать материал в газету. «Мы городской пролетариат...» А что мы, что мы?! Думали удивить весь мир. Никого мы не удивим, только оскандалимся.

Л е т а в и н *(рассердился)*. Чего ты хочешь, наконец?

И р а. Если бы у тебя была настоящая серьёзность, то ты день и ночь не отходил бы от моего трактора.

М о р я ч о к *(из палатки)*. Ира, ты не права. Обвинять надо агронома, который приехал на целину без подготовки. Нельзя требовать от Летавина, чтобы он находился всюду. Он не скорая помощь.

И р а *(не обращая внимания)*. На мой позор приехал и директор, и парторг, и главный механик, и ещё корреспондентка... *(Летавину)*. Скажи, почему ты здесь спрятался?

Л е т а в и н. Дело было.

И р а. Какое дело?

Л е т а в и н. Личное.

И р а. А мой позор не твоё личное дело? Вспомни, что говорилось, когда мы решили ехать на целину. Ты меня бросил здесь на произвол судьбы.

Л е т а в и н. А коллектив?.. Так комсомолка говорить не может.

И р а. А ты не копируй Дернакову. Если я не комсомолка, можете исключать меня.

П е р ч а т к и н а. Ирочка, драмы ни к чему.

И р а. Нет, к чему. Он прикатывает сюда на своём новеньком мотоцикле и всё время проводит у стола, около Тамары, а в борозду его и не тянет.

Л е т а в и н *(оправдываясь)*. А что я могу сделать в борозде? Я сам никогда с землёй дела не имел.

И р а. Не с землёй надо иметь дело, а с теми, кто пашет землю. Может быть, мне хотелось в трудную минуту с тобой поделиться... а ты в бригаде сводочки рисуешь. Скоро же ты превратился в бюрократа.

П е р ч а т к и н а *(решительно)*. Довольно, Ира. Идём, прими душ, переоденься. Сегодня в совхозе «Анну на шее» показывают. Поедем?

И р а. Не хочу.

П е р ч а т к и н а. Нет, поедем.

Ушли.

Т р о я н. Говори, Летавин, пока здесь никого нету.

Л е т а в и н. Пропало настроение.

Т а м а р а. Сейчас девочки принесут хворост, и будем подавать ужин. Оставайтесь, хлопцы, на весь вечер, в нашей компании никогда скучно не бывает.

Т р о я н. У нас с секретарём большая неприятность получилась. Если не прекратить, то дело может кончиться враждой. Тамара, ты, кажется, должна понимать, о чём идёт разговор.

Т а м а р а. Убейте, ничего не понимаю.

Л е т а в и н. Вот уж кому не идёт кокетство. Тамара, дай нам окончательный ответ.

Т а м а р а. Какой ответ? Честное слово, ничего не понимаю.

Л е т а в и н. Зачем врать, когда на этих двух лицах всё написано?

Т а м а р а. Алёша, я тебя не узнаю, ты грубый, злой.

Л е т а в и н. Наслаждаешься чужим несчастьем? Наслаждайся. Может, с твоей стороны была чистая игра? Может, ты нам обоим дала обещание?

Т а м а р а (*как всегда, чуть певуче, мягко*). Алёша, милый, я тебе ничего не обещала.

Л е т а в и н. Так значит?.. Хорошо. А ему?

Т а м а р а. А он не спрашивал.

Л е т а в и н (*почти кричит*). Так пускай спрашивает! Спрашивай, Троян! Не выворачивайте моё сердце!

Т р о я н (*смущённо, хмуро*). Тамара, сама видишь, какая неприятность.

Т а м а р а (*настойчиво*). Алёша, я тебе ничего не обещала.

Л е т а в и н. Но как же тогда... мне показалось... занял место.

Т а м а р а. Это, Алёша, тебе только показалось.

Л е т а в и н (*с печальной ненавистью*). Какая ты красивая, нежная, симпатичная и какая ты... даже не знаю, как назвать.

Т а м а р а (*в страхе за него*). Алёша, милый..

Т р о я н. Алексей, не забывайся.

Л е т а в и н. Уйдите... Уходите от меня! (*Ушёл.*)

Т р о я н. Тамара, ты никого не любишь?

Т а м а р а. Ах, замолчи.

Т р о я н. Мне ничего не надо, лишь бы одна ты была в степи. Ты мне как тёплый ветерок с родной Одесщины. Выйду в степь, смотрю на самый край, а там идёшь ты — высокая, худенькая, с большими глубокими глазами. Только хочу подумать, что на самом деле ты идёшь, и мне в лицо подует тёплый ветерок. Тревожно, сладко и радостно мне теперь стало жить на свете, хоть ты мне тоже ничего не обещала.

Т а м а р а. Молчи, Толя... Говори и молчи.

Т р о я н. Сердишься? Не сердись.

Т а м а р а. Нет, мне Алёшу очень жалко. Такой он светлый паренёк. Боюсь, не будет ему счастья.

Идут Л е т а в и н и Р а к и т к и н.

Р а к и т к и н. Пить охота, помираю. Здравствуй, Тамара.

Т р о я н. Со мной не здороваешься?

Р а к и т к и н. Добра ты мне не сделал... и говорить нам не о чем.

Т а м а р а. Откуда, Маркуша? Почему такой растерзанный?

Л е т а в и н (*Ракиткину*). Вам говорил директор или не говорил, чтоб не брали гитары? Довеселились.

Р а к и т к и н. Да, конечно... коряво, как говорится, получилось. (*Зовёт.*) Ребята, поднимитесь, здесь водичка, ледяная.

Л е т а в и н. Влёжку повалились?

Р а к и т к и н. Да... отдыхают.

Т а м а р а. Маркуша, неприятности?

Появляются трое ребят — с ног до головы в муке.

Т а м а р а. Чистые призраки... Кто такие? Смотрите, а этот хромает. Вас били?

Р а к и т к и н (*без рисовки*). И это было.

Л е т а в и н (*хмуро*). А гитара где?

П а р е н ь с ч у б о м. Станный вопрос — «где». Там.

Л е т а в и н. Где «там»?

П а р е н ь с ч у б о м. Осталась там, на поле боя.

Л е т а в и н. А мука? Муку везёте?

П а р е н ь с ч у б о м. Станный вопрос, разве не видишь, везём...

Л е т а в и н. А почему вы белые?

П а р е н ь с ч у б о м. Мука — тело сыпучее.

Р а к и т к и н. Один мешочек лопнул. Мы его зашили. Утечка пустяковая. Прощу тебя, не говори директору.

Л е т а в и н. Нет, друг, не надейся. Если бы вам не советовали, а то просили.

Т а м а р а. Вы посмотрите друг на друга... При месяце вы как марсиане.

Р а к и т к и н. Пойдёмте, марсиане. Эти люди нас понять не смогут.

Все со смехом и шутками уходят. Возвращаются И р а и П е р ч а т к и н а.

П е р ч а т к и н а (*продолжает*). Я тоже ещё недавно была нежной, лирической и глупой, как не знаю кто. Когда я выходила замуж, разве можно было думать, что мы через год разведёмся, что нам станет невыносимо жить вместе в одной комнате, что я сбегу от этого кошмара на целину...

И р а. Ах, вон что!..

П е р ч а т к и н а. Нет, Ирочка, я рассчитала всё это основательно, не надо никакой лирики. Свою жизнь ломаю окончательно. Один остаток беру себе, другой бросаю в прошлое. Теперь я холодно, с анализом выберу себе того, кто мне покажется вполне приемлемым. Никаких увлечений я себе больше не позволю. И так будет во всём. Меня уже зовут в район, геологи приглашают, но я поставила себе цель сделаться знатной трактористкой и при помощи такого мастера дела, как Троян, сделаюсь... В общем, я знаю, к чему стремлюсь.

И р а. Ты права. Так и я буду поступать. Он не стоил этих моих слёз.

Совсем стемнело. Из палатки выходят морячок и парень с аккордеоном.

Слышен рядом смех.

П е р ч а т к и н а. Не любит... что же делать?

И р а. Я и не помышляю о любви... Расстроилась с этими бракованными гектарами.

Являются девушки с хвостом, идут сменяться трактористы. Становитсялюдно и шумно. Вернулись Тамара и Троян. Идёт Летавин.

Л е т а в и н. Стелла, станцуй. Помнишь, как тогда в хате зимой... Один раз. Для меня. Прощу.

П е р ч а т к и н а. Алёша просит, вот не ожидала. (*Аккордеонисту.*) Помнишь, что зимой играл?

Тот начинает подбирать, потом играет.

П е р ч а т к и н а. Девушки, танец посвящается Алёше Летавину. (*Танцует.*)

И р а (*наблюдая за Летавиным*). Алексей, ты у нас, часом, не больной?

Л е т а в и н. Нет, Ирочка, выздоравливаю.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина шестая

На берегу реки у каменных разработок, ночью. Нелли у костра.

Н е л л и (*поёт*). «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?» (*Вздыхает.*) Ох, мама моя, мамочка, надо же было родиться такой идиотке! За какие доблести я его полюбила, никто не знает. (*Поёт.*) «Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит. В глубокой тьме...» (*Продолжает думать.*) Истерзает он мне бедное сердце и бросит. И пропала тогда моя бедная головушка. (*Поёт.*) «Паду ли я, стрелой пронзённый...» (*Продолжает думать.*) Ох, Марик, Марик, и что в тебе хорошего? Никто не знает этого, никто не чувствует, кроме меня, несчастной.

Является Л е т а в и н.

Нелли (*в испуге*). Алёша?.. Как же ты здесь очутился? (*Всматривается в его строгое лицо.*) Здравствуй, Алёшенька, присаживайся к огоньку, а то свежо у нас над речкой, по ночам совсем прохладно. Вот видишь, сижу, пою, самой противно. Но, подумай, какое свинство! Они уходят за реку на танцы, а я должна охранять лагерь. И ещё ужин им приготовить, как барам. А мне одной жутко... всё время впечатление, что кто-то с берега крадётся.

Летавин. Из-за одного героя приходится скитаться по степи. Вы свои восемь часов отработали — и гуляй, а я обязан его похождениями заниматься. Где эти танцы?

Нелли. Километров десять.

Летавин. Далеко. До утра придётся путаться, пока в совхоз доберёшься.

Нелли. А кого ты хочешь видеть?

Летавин. Будто не знаешь.

Нелли. А какие похождения? Меньше сплетням верь. Ракиткин мне никто, совсем чужой, но я должна сказать, что он грандиозный товарищ.

Летавин (*с иронией*). В каком смысле?

Нелли. Как активист.

Летавин. Брось болтать, я его знаю почти с таких... (*Показал.*)

Нелли. Знаете. (*Укоризненно.*) Ничего вы не знаете.

Летавин. Смотри какая... ну-ну, давай.

Нелли. И ничего ты не знаешь, потому что ты ему не настоящий друг... Настоящие друзья не побоятся пойти против общего мнения, а ты не пойдёшь. Раз все говорят, что Ракиткин — плесень, то и ты тоже? Теперь пошла мода на плесень. Надо же постараться выявить.

Летавин. Язык болтает, ты и рада. Я за общим мнением никогда не пойду, если буду знать, что человек ни в чём не виноват. А он определённо виноват.

Нелли. В чём он виноват?

Летавин. Кто драку с ножом устроил на танцах? Кто водку на карьер привозит? Кто насаждает картёжную игру?

Нелли (*наобум*). Кто... Не он, не он.

Летавин. А кто, я хотел бы знать?

Нелли. Валька Ситцев.

Летавин. К чему врать, Нелли?.. То-то и горе, что Марк подчинил своему влиянию Вальку.

Нелли. А почему бы тебе не подчинить своему влиянию Марка?

Летавин. Он ещё в Москве не раз давал мне слово, а как получка, так пошло.

Нелли. Но работал же на заводе, как все люди.

Летавин. То ведь город, незаметно, а тут каждое наше движение на виду.

Нелли. Плохо боретесь друг за друга. Только название — комсомольцы.

Летавин. Много рассуждаешь. Неужели в ателье научилась?

Нелли. А ты думаешь, в ателье рассуждать не умеют? Умеют не хуже вашего.

Летавин. А сама про Вальку врешь.

Нелли. А кого из школы выставили? Мама каждый месяц полтыщи переводит. Так бы каждый поехал на целину.

Летавин. У Вальки голова набита бандитскими стишками, а Марк этим пользуется.

Нелли. Если у вас имеется готовое постановление, то зачем было приезжать? Мне Дернакова уже сказала, что вы решили ставить вопрос о Ракиткине на общее собрание совхоза.

Л е т а в и н. Раз ты связная, то передай ему, что доиграется.

Н е л л и. Ставьте, ставьте. Он тоже ответит общему собранию.

Л е т а в и н. Что он ответит?

Н е л л и. Во всяком случае, он не сидит на шее у Родины... Лучшим шофёром считается по всему берегу.

Л е т а в и н. Лихач.

Н е л л и. Тут не Москва, давить пока некого.

Л е т а в и н. Гуляка.

Н е л л и. Так он университета не проходил. Он матери, отца с детства не помнил трезвыми. Эх, Алёша, как жестоко вы умеете... «С таких знаю». Ничего не знаете.

Л е т а в и н. Я тоже, кажется, университета не проходил, даже Максим Горький не проходил. Это ничего не значит. Ишь ты, какая сердобольная. Спелись! Скажи, чтоб не скрывался, заходил ко мне. А я с Дернаковой должен считаться. Она каждую неделю на меня заявления пишет. Эх, какая ночка! Зря весна проходит. Кто бы знал, как я болею. И ты тоже на меня, как зверь, кидаешься. За что?

Н е л л и. Как ты сделался секретарём, то...

Л е т а в и н (*перебивая*). «То, то...» Всё не то, Нелли. Знаю. Великие мыслители и те делают ошибки. Прощай. Пропала ночка.

Ушёл. Немедленно является Р а к и т к и н.

Р а к и т к и н. Кто тебя просил жаловаться? Я никому не жалуюсь, какие у меня были отец, мать. Только хуже будет. (*Усмехаясь*.) Всё слышал. Ты своя девчонка. Но Валька теперь обязан оправдать твою характеристику.

Н е л л и (*чуть не плача*). Марик, миленький, брось ты свои выходки. Я тебя от всего сердца умоляю. Здесь ты можешь снова вступить в комсомол.

Р а к и т к и н. Мечтал, не вышло... Нет, Валька должен оправдать твою характеристику.

Н е л л и. Что ты задумал?

Р а к и т к и н. А они что задумали? Чего ради он ночью прискакал?

Н е л л и. Это всё Дернакова материал собирает. Так она же против всех материал собирает. Стоит ли обращать внимание!

Р а к и т к и н. Почему, когда он не был руководителем, то всегда на заводе защищал меня? Почему он не мог спросить, что со мной случилось, когда Троян прогнал меня с борозды? Я тогда немисливо затосковал по шуму города, на меня убийственно подействовала эта глушь. Он бы мог понять меня, как друг, потому что сам тосковал. Он мог держаться, он неспорченный, а я испорченный. Я всегда буду ненавидеть друзей до первого несчастья. Знаю, чего они хотят. Они хотят иметь показательного хулигана. А я им поломаю и попутаю весь план. (*Ласково в сторону*.) Кто там? Валечка, ты?

Являются В а л ь к а и Н е и з в е с т н ы й из второй картины. Последний — с охотничьим ружьём.

Н е л л и. Ты с кем?

В а л ь к а (*с неудовольствием*). Да вот опять он, этот ссыльный.

Н е и з в е с т н ы й (*добродушно*). Ты... не груби... крошка. (*Весело*.) Здорово, юношество! Давайте-ка сделаем утятинку дикую, озёрную. Царская еда.

Н е л л и. Какая там утятинка, когда пора ложиться спать.

Р а к и т к и н (*Нелли*). Не приказывай.

Н е л л и (*Неизвестному*). Им в семь утра вставать, они камень грузят. Ну, как хотите, мальчики. Я рукой пошевелить не могу. Ужин, как всегда, горячий. (*Ушла*.)

Ракиткин. Садись, сосед. Давно охота побеседовать. Любопытный ты человек.

Неизвестный. А ты умеешь беседовать? (*Вальке.*) Принеси, малец, ведро. Я всю вашу артель хочу утятинной накормить.

Валька уходит.

Неизвестный. Давай, юноша, беседуй.

Ракиткин. Ты, наверно, виды видал.

Неизвестный. Дальше.

Ракиткин. Постоять за себя тоже можешь.

Неизвестный. Например?

Ракиткин. Например, если находится человек, который клепает тебе показательное дело?..

Неизвестный. Ты, юноша, дитё. Дураку и то нетрудно догадаться, какой тебе требуется совет.

Ракиткин. А мне самому не ясно.

Неизвестный. Врёшь, мальчик, всё тебе ясно. Я тебя с первого взгляда приметил.

Ракиткин (*с удовольствием*). Выделяюсь?

Неизвестный. Подходящий экземпляр.

Ракиткин (*почти испуганно*). Что ты сказал?

Неизвестный. Не беспокойся. Я шучу.

Является Валька.

Ракиткин. Валя, сюда приезжал Летавин.

Валька. А что ему надо ст нас?

Ракиткин. Говорит, будто кому-то готовится показательное дело.

Валька. Летавин того достукается, что я... Ты, пожалуйста, не смейся.

Ракиткин. Я не думаю смеяться.

Валька. У меня в школе был такой тип.

Ракиткин. Помолчи, Валя. Теперь мы с тобой будем молчать.

Неизвестный. Садитесь, юноши, поближе, я вам буду разные сказки рассказывать.

Интермедия

Директор.

Директор (*в раздумье*). Целина... целина... Громадное дело, великая смелость! Когда я на эти земли ногой ступил, сердце похолодело. Креплюсь, смеюсь, всех подбадриваю, а сам про себя думаю: прощай, мой партбилет. Провалю задание, пропал... Я не люблю осуждать нашу молодёжь за то, что она не походит на молодёжь моей юности. Это старая песня. Нас тоже осуждали... Но вот что всё-таки страшило: дети. И озорные, как на подбор. А как иначе? Большинство — поколение войны. А возраст тот, когда завей горе верёвочкой... Ох, думаю, разбегутся они в первый же месяц. А чем я их удержу? Что тут прельстительного? И как великолепно они обманули все мои худшие ожидания!..

Являются трое мальчишек.

Мальчишки. Здравствуйте, Алексей Степанович.

Директор. Здравствуйте, землекопы. Как идут дела? Аэродром построили?

Мальчишки. Ого!.. Аэродром... Хватились. Отстали, товарищ директор. Мы уже котлован для школы кончаем.

Директор. Скажи, пожалуйста! Отстал, отстал. Друг за другом угнаться не можем. Темпы... Да. Куда же вы сейчас торопитесь?

Мальчишки. В кооперацию. Дают дешёвые туфли, на микропоре. Жёлтые туфли, фасон что надо.

Директор. То-то, я слышу, шум стоит... Бегите, а то разберут.

Мальчишки уходят.

Директор. Вот они, сорванцы... а ведь стройку тянут на своих плечах. И без папы, мамы, живут на своём бюджете. Только здесь я решительно убедился, что не знал нашей молодёжи и сейчас не знаю. Власть проявлять умею, а подумать как-то некогда. Вообще-то все мы, конечно, думаем, размышляем, но конкретно о человеке, об этих мальчишках, какие души у них, как они вырастают, — о них подумать некогда. Всё перед глазами показатели, планы, нормы... А характер, он ведь, бывает, формируется мимо показателей. У нас Ракиткин работает, показатели у него редкостные, а в душе у парня — червь. Отчего червь, я не знаю. Может быть, больше любить надо своё молодое племя, тогда и ближе его узнаешь. Об этих вещах размышлять надо, а нам всё некогда.

Мальчишки возвращаются.

Директор. Что, ребятки? Почему вернулись?

Мальчишки. Вы подумайте, какое нахальство! Кооператор уверяет, что туфель уже нет. А мы знаем, что туфли под прилавком лежат. Жулик.

Директор. Как нет?! Я ему дам!.. Пойдём проверять. Не шумите. Я вас в обиду не дам.

Картина седьмая

Место центральной усадьбы совхоза. Палатки, дымится баня. Начало стройки. Перед вечером.

Летавин, плачущая Катя, в стороне Петя и трое мальчишек из четвёртой картины.

Летавин. Катя, кто тебя обидел?

Катя (*указывая на мальчишек*). Они... вот эти.

Летавин. А что они сделали?

Катя. С глупостями пристают... Заступиться некому.

Летавин. Эй вы, залежные герои, подзадержитесь, я давно заметил, что вы среди девушек героизм проявляете.

Мальчишки. А что мы сделали?.. Подумаешь, какая!.. Тоже снежная королева. Пошутить нельзя.

Петя срывается с места и направляется к мальчишкам.

Петя (*лицом к лицу*). Вы... дефективно-залежные... пошли за мной!

Мальчишки. С какой полки он спрыгнул?! Смотрите, он пугает! Сам ты залежь.

Летавин. Петя, что ты думаешь делать?

Петя. Я думаю их бить. Пошли, пошли.

Летавин. Ты хочешь их потренировать в боксе?

Мальчишки (*смеются*). Мы его потренируем. Пусть потом не жалуется. Главное дело, дефективные.

Петя (*деловито*). Пошли, пошли.

Уходят.

Катя (*идёт следом*). Они его убьют.

Летавин. Не плачь, Катя. Он пошёл умирать за тебя, как настоящий рыцарь.

Катя. Смеётесь, а они могут его избить. Это такие паршивые мальчишки...

Летавин. Позволь, Катя, а ты с Петей помирилась?

Катя (*со слезами*). Ох, нет ещё... Смотрите, они уже с ним сцепились.

Ей навстречу идут Ракиткин и Валька.

Ракиткин (Кате). Голова пустая, эта мелочь имеет дело с зисовским кузнецом. (*Восторженно, без паузы.*) Какое сногшибательное событие! Здесь наконец затопили баню. Валя, занимай очередь в баню, а я пойду в контору, сдам рапортчики. Надо посчитать, сколько мы с тобой перевезли камня.

Летавин (*Ракиткину*). С каких пор мы не здороваемся?

Ракиткин молча удаляется.

Летавин. Валька, что за глупости?

Валька (*с мрачной и наивной воинственностью позы и тона*). Мы будем говорить с тобой, Летавин, особенно, наедине... под покровом ночи.

Летавин (*изумлённо*). Сынок, ты меня пугаешь? Валька, брось. Смешно.

Они расходятся в разные стороны. Ракиткина задерживает Дернакова.

Дернакова. Ракиткин... Тебя ещё не выгнали из совхоза?

Ракиткин. Пошла ты к чёрту, вот что я тебе скажу.

Дернакова. Хулиган, не кричи.

Ракиткин. А ты примерная?.. Запишем. Но почему же ты, примерная, в кухарки не пошла? Ты избрала для себя культработу. Раньше всех вставать не надо, и нормы тоже нету. Ладно, говорю, занимайся культработой, но не трави людей. Какая же это культработа — собирать материалы против всех и каждого?

Дернакова. Что против тебя собирать! Само приходит, только записывай.

Ракиткин. Ладно, пиши, голубка, подытоживай, но кто-нибудь вам всем по чести скажет, сколько камня дал мой самосвал.

Дернакова. Высокие производственные показатели хулиганства не оправдывают.

Ракиткин. Пиши, пиши.

Расходятся и они. Медленно идут Перчаткина и Ира.

Перчаткина (*продолжает*). Это произошло так неожиданно, что я все дни нахожусь в дикой панике. Ирочка, ты его знаешь лучше меня, посоветуй, что делать. Я, конечно, никак не сомневаюсь, что он полюбил меня настоящей и действительно первой любовью. Но в то же время вижу, не маленькая, что он какой-то очень лёгкий — дунь и улетит. (*Видит Летавина.*) Ох, Летавин, Летавин, вот уж не могла подумать.

Ира (*с язвочкой*). Будем считать, что он тебя любит первой любовью, а ты какой?

Перчаткина. Но я же по-настоящему никого не любила. Что я могу сказать?

Ира. Если любишь, то можешь. Если считаешься, то сказать нечего.

Перчаткина. Ира!.. Смешно, честное слово. Какие могут быть расчёты относительно Летавина?

Ира. Не говори, Стелла, Летавину легко даётся жизнь.

Перчаткина (*внимательно*). Ты уверена? Да, пожалуй... рядовым не задержится.

Ира. Что ж тебе советовать? Сама всё взвесишь.

Перчаткина. Так неожиданно, так неожиданно... и, главное, требует немедленно регистрироваться, объявить во всеуслышание, собрать на пир всю молодёжь. С ума сошёл! А я в дикой панике. Как-то очень легко — дунь и улечуется.

Ира. Хорошо, что ты неглупая.

Перчаткина. Что ты этим хочешь сказать?

Возвращается Летавин.

- Л е т а в и н (*восторженно, влюблённо*). Стелла, ты вся цветёшь.
 П е р ч а т к и н а (*обняла Летавина*). «Мой искуситель роковой».
 Л е т а в и н. Видишь, Ирочка? Это окончательно. Теперь я убедился, что на свете бывает колоссальное счастье.
 И р а. Поэтому и поздороваться забываешь?
 Л е т а в и н. А я не знаю, когда ты со мной в ссоре, когда общаешься.
 И р а. Видишь, общаюсь.
 Л е т а в и н. Тогда скажи, как твои дела?
 И р а. До позора надо было спрашивать, теперь не нуждаюсь.
 Л е т а в и н. Со всеми могу говорить, с тобой — одно мучение.
 И р а. Ничего, не умрёшь. Стелла, оставь нас на минутку, хочу Алёше один секрет открыть.
 П е р ч а т к и н а (*не верит*): Ты серьёзно?
 И р а. Если любовь, и серьёзная, то не бойся, я любви вашей не разобью.
 П е р ч а т к и н а. Представь себе, я не боюсь. (*Отходит в сторону, но остаётся на виду*.)
 И р а (*ошеломляюще, наступательно*). Третья за год? Ты что, рехнулся?
 Л е т а в и н (*изумлён*). Ты... погоди... Другого времени не нашла?
 И р а. Я, кажется, трактористка, мне гулять некогда. Но ты зато разошёлся, просто угорел... Третья за такой короткий срок.
 Л е т а в и н. Маргошку не считай.
 И р а. Но вчера ещё была Тамара, а сегодня на этой женишься?
 Л е т а в и н. А тебе какое дело?
 И р а (*гневно до слёз*). Не смей так отвечать. Не ценишь дружбы — не цени, но оскорблять меня не смей!
 Л е т а в и н. Ира, что ты?! Я не хотел.
 И р а. Ты лучше бы себя проверил, кто ты есть? Серьёзный ты, ответственный ты человек или ещё мальчишка?
 Л е т а в и н. Послушай, дорогая, ты этого ещё себе не позволяла.
 И р а. Здесь не место говорить на эти темы, но ты заруби на носу, что твои брачные узы не состоятся. Ты Маргошку не зачёркивай, я хорошо помню, как ты плакался. Какой ты дурень, даже жалко на тебя смотреть. (*С иронией*.) Стелла... (*Усмехается*.) Ты думаешь, она тебя может полюбить, как могут полюбить другие?
 Л е т а в и н (*с болью*). Где эти другие, что-то не видно.
 И р а. Не плачь, найдутся.
 Л е т а в и н (*как в первой картине*). Ира, а ты считаешь, что она не может?.. Нет, не думаю, она должна меня любить.
 И р а. Никого она не любит, потому что в этом отношении разочарована навеки.
 Л е т а в и н. Ты считаешь?.. Тоже может быть... На четыре года старше... За четыре года можно многое повидать.
 П е р ч а т к и н а (*подошла*). Может быть, хватит?
 Л е т а в и н (*радостно*). Хватит, хватит. Стелла, скажи, почему па тебе незаметно, что ты работаешь на тракторе?
 П е р ч а т к и н а. Культура, мальчик мой.
 И р а. Что правильно, то правильно.
 Л е т а в и н (*пристально*). А ты не считаешь, что я ещё мальчик?
 П е р ч а т к и н а (*охотно*). Конечно, считаю. А такие чистые, умные мальчишки нравятся многим девочкам, но я постараюсь никому его не отдать.
 И р а. Так у вас откровенно?
 П е р ч а т к и н а. Алёша сделал мне предложение. Верно, Алёша?
 Л е т а в и н. Сделал, не отрицаю, но ведь многое ещё надо обсудить.

Перчаткина. Тоже правильно.

Является Тамара.

Тамара (*взволнованно*). Алёша, помоги... Почему нельзя нам уступить бани? Я не могу сидеть на усадьбе до ночи, мне дневную смену кормить надо. И вообще, можно, кажется, уступить девушкам.

Летавин. С этой баней хоть беги с усадьбы. Я вам не заведующий баней.

Является Петя, следом идёт Катя.

Петя. Готово. Лежат трупами.

Летавин. Положим, не лежат, а идут сюда живые и здоровые. А ты не жди, Тамара, я очередь в баню устанавливать не буду.

Петя (*запальчиво*). А что такое?.. Обрадовались! Со всех сторон лезут. А я, который строил баню, и не обновлю её? (*Тамаре.*) Подождёшь, не развалишься.

Тамара. Он строил. А девушки так не участвовали?

Явились мальчишки.

Мальчишки. Правильно, будто один он строил. Девчата тоже участвовали.

Петя. Вам попало, и молчите.

Катя (*вдруг*). Что значит «молчите»? Мы тоже строили. Почему первый должен ты, а не я?

Летавин. Пошло!

Петя. Можешь — одна.

Катя. Я не хочу одна, но мы тоже строили.

Ира. Она стоит за справедливость.

Тамара. Пойдём отсюда, Катя. Всё равно мы своей очереди им не уступим.

Ира. Я тоже не могу ждать до вечера. Не пускать их к бане, и весь разговор.

Петя. Не увлекайся, Ирка, кто это может меня не пустить?

Перчаткина. Кто? Я могу не пустить.

Летавин. Стелла!

Петя. Да мы вас вениками выметем.

Перчаткина. Или мы вас. Веников на всех хватит. А тебе, Алёша, стыдно самоустраиваться. Приглашали на открытие бани, а сами проявляете нахальство.

Летавин. Баню обновлять должны те, кто строил.

Ира (*озорно*). Фигу вам... Фигу!

Все с шумом удаляются.

Летавин (*про себя*). Как-то мутно на душе... Честное слово, я любил Тамару, как герой старых книг, честное слово. А она?.. Ничего другого сказать не могла. Пусти её без очереди в баню. А я считал, что она богиня. Эх!

Валёка (*бежит, в руках свежий берёзовый веник. Кричит*). Марк, ступай к нам! Нас выбили девчата! Они применяют веники. Ты подумай, какое нахальство!

Летавин. Настоящая драка начинается. Ну, что за люди!

Дернакова (*выбегает*). Какой позор!

Летавин. Девушки начали, Дернакова, твои хвалёные девушки.

Дернакова. Позор, позор! Уступить не можете. Ну, пусть помнят. (*Бежит в драку.*)

Перчаткина (*отбиваясь от Пети и пробегая*). Алёша, защити!

Летавин. Петька, ты не забывайся!

Петя. Не пугай, не испугаюсь!

Летавин защищает Перчаткину. Дернакова единоборствует на вениках с Ракиткиным. Идёт весёлое сражение, в которое вовлекаются всё новые и новые лица. Является директор.

Директор. Дети... маленькие дети. *(Зовёт.)* Алёша, оторвись на минуту от своего занятия! Имеется важная новость.

Ракиткин *(запыхавшись)*. Какая новость, товарищ директор?

Директор. Правительство...

Подбегает Летавин в горячке.

Директор. Правительство утвердило государственный план подъёма целины. Работа на целине идёт хорошо, и нам надо пахать не десять тысяч, как предполагалось, а двадцать тысяч гектаров. Вот как ширится борьба за хлеб.

Ракиткин *(с восторгом)*. Слышишь, Алёшка?.. Ты сообрази. Придут новые трактора, и потребуются новые трактористы. Алексей Степанович, Летавин, умоляю вас, дайте мне оправдаться. Тянет меня землю пахать... тянет, честно говорю, без рисовки. Что вам, жалко?

Директор. Потом поговорим, Ракиткин. Но ты ведь подведёшь.

Летавин. Пусть он сначала ликвидирует хвосты, которые за ним плетутся.

Ракиткин. А вы поймите, если вы людьми распорядитесь, что с моим характером нельзя работать на машине. При здешних огромных расстояниях масса левых пассажиров. Это отрицательно действует.

Директор. Не мешай, Ракиткин. Митинг надо провести.

Ракиткин *(тяжело)*. Учти, Летавин, я запомню твою товарищескую руку.

Летавин. А ты дружбу понимаешь только в свою пользу. И не угрожай, не напугаешь.

Директор *(наблюдая за продолжающимся сражением)*. Дети... маленькие дети. Хоть водой их разливай.

Летавин. Одна минута. Сейчас все они придут на митинг. Там много таких ребят, что давно с нетерпением ждут тракторов. *(Уходит.)*

Ракиткин. Кому — радость, а кому... Радуйтесь, радуйтесь... чистенькие, благополучные.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Картина восьмая

Степь. Тонкие берёзки. Ночь. Силуэты тракторов. И вдали стрекотанье трактора. Перчаткина, Летавин.

Летавин. Стелла, ты, например, не думала о том, почему так тянут к себе звёзды?

Перчаткина *(занята иными мыслями)*. Думала, не думала... не помню. *(Бьёт пальцами себя по щекам.)* Если бы не эти проклятые комары, то на целине было бы наполовину лучше. Вот тварь! Сегодня они прямо озверели.

Летавин. Что особенного, кажется, ну, огонёк, ну, как бы... далёкий-далёкий фонарик... А вот ведь манит, вызывает особенные какие-то мысли. У тебя вызывает?

Перчаткина. Вообще, да.

Летавин. Возможно, звёзды обладают магнетизмом, как земля, но до нас он доходит очень, очень слабо, вот и получается это влечение к ним.

Перчаткина. К кому, не понимаю!

Летавин. Я же говорю, к звёздам.

Перчаткина. Неужели тебя комары не кусают?

Летавин. Я к ним равнодушен.

Перчаткина. Значит, толстокожий.

Летавин. У мужчин кожа поплотней, чем у женщин. Закон природы. Но постой. А ты вот представь себе небо без звёзд. Тогда бы, я считаю, у нас была совсем другая психология... Но даже как-то жутко... Без звёзд, а? Стелла!

Перчаткина (*отбиваясь от комаров*). Они меня съедят живьём. Алёша, оставь в покое астрономию. Скажи, почему ты отказался от собственного участка при совхозе? Построили бы домик.

Летавин. Неинтересно.

Перчаткина. И очень глупо. Можно построить свой домик в украинском стиле. Я обожаю украинские домики.

Летавин. Неинтересно.

Перчаткина. Наладил... Почему тебе неинтересно?

Летавин. Я против собственности.

Перчаткина. Подумаешь, какой принципиальный!

Летавин. Я против собственности.

Перчаткина. Наладил... На целине сам бог велел устраиваться как следует. Я тебя не понимаю.

Летавин (*вдруг с открытым чувством*). Помнишь, Стелла, когда ты на меня произвела впечатление?

Перчаткина. Помню. Когда я танцевала в бригаде у Тамары... Но вечно танцевать нельзя. Учти, мой мальчик.

Летавин. Знаешь, что я тебе скажу сейчас?..

Перчаткина (*равнодушно*). И вечно ты что-то выясняешь... (*Отбиваясь от комаров.*) Налёт какой-то! Настоящий кошмар.

Летавин. Я тебе должен сказать откровенно, что ты рассуждаешь, как мещанка.

Перчаткина. Алёша, ты не очень... Мы пока что не муж и жена.

Летавин (*с ноткой боли*). Неужели нельзя о чём-то другом разговаривать? Одни дела, одни соображения.

Перчаткина. Но ты собираешься жить со мной?

Летавин (*горячо и негодуя*). Жить, жить... Любить надо!

Перчаткина (*спокойно*). Одно не исключает другого.

Летавин. Нет, исключает. Много ли мы с тобой встречаемся, и вот уж — жить, подписываться на кредит, строить свой домик. (*Широко, с упрёком.*) Стелла, где же та любовь, что украшает жизнь?

Перчаткина отбивается от комаров.

Летавин. Хочется чего-то бесконечного... А у нас раз два — и давай жить. Куда это годится? Скажем, что я не такой культурный, как ты, Ира уверяет — грубый, но я и с твоей стороны не вижу ничего нового, интересного.

Перчаткина (*рассердилась*). Чего ты хочешь от меня?

Летавин (*с вызовом*). Романа.

Перчаткина (*сдерживая смех*). Что?!!

Летавин. Я хочу романа... И я своим умом дошёл, что и человеку, как цветку, как колосу в поле, дана одна пора своего цветения. Я считаю, что надо дорожить такой порой и не превращать нашу юность в те цветы, что повяли ещё до осени. И если ты смеёшься, то зря я с тобой на эти темы говорю.

Перчаткина. Но что я должна делать? Скажи, что я должна делать, чтоб подражать цветкам?

Летавин (*растерянно*). Я не знаю, что... Разве можно тут проинструктировать?

Перчаткина. Не знаешь и не придирайся. Я не хочу больше кормить собой комаров. Пора по домам. Слышишь, чей трактор работает?

Летавин. Троян?

Перчаткина. Троян. Я его трактор по звуку из сотни узнаю. Вот тракторист! Ты подумай, благодаря ему я зарабатываю наполовину больше, чем рядовые трактористы. Мне никогда такие деньги не снились. Когда увидимся, дружок? Целуй меня, мой милый наставитель.

Летавин. Ты не обижайся... Я окончательно выяснил, что мы друг друга не любим.

Перчаткина (*невуче*). Иди спать, мой разочарованный герой. Завтра ты выяснишь другое.

Летавин (*угрюмо*). Ты, наверно, и до меня тоже никого не любила.

Перчаткина. Что верно, то верно.

Летавин. А зачем было размениваться?

Перчаткина. Ревнуешь, котик?

Летавин. Нет. Мне это довольно противно.

Перчаткина (*её сдержанность кончилась*). А ты, Летавин, очень много себе позволяешь. Имей в виду, что такие девушки, как я, на дороге не валяются. К нам геологи приезжают познакомиться с Перчаткиной, тоже имей в виду. Но если тебя тянет к звёздам, то и лети туда, тем более, что предполагаются полёты на Луну... А я останусь жить на прозаической земле с такими же прозаическими людьми, как сама, грешная. Оскорблять себя, называть мещанкой никому не позволю. Подайте ему роман! Какой неудовлетворённый герой нашёлся! Ступай к своей Ироке, может, у вас получится необыкновенный роман. Я не хотела высказываться, сам дошёл. Ступай. Стелла не таких, как ты, прогоняла прочь. (*Ушла.*)

Летавин (*после раздумья*). В третий раз остаюсь у разбитого корыта. Что это значит? Неужели я ещё мальчишка, и больше ничего? Хочется что-то такое организовать в жизни, чтобы была настоящая любовь. А любовь нельзя организовать, вот и плутаешь вокруг трёх сосен.

В тени появляется Валька.

Летавин. На небе хорошо, порядок, тишина, а у меня на душе такой беспорядок, что жить не хочется. (*Почувствовал, что рядом ходят.*) Кто там ещё? Ах, ты молчишь, приятель?.. (*Бросается в тень и после лёгкой борьбы выводит за руку Вальку. Тот роняет нож. Пауза.*) Ты ножичек потерял. Подыми.

Валька (*угрюмо*). Ничего не знаю.

Летавин. Ну что... не знаешь. Подыми, подыми.

Валька (*приходя в себя*). Какой ножичек? Что ты пристал?

Летавин. Какой! Ракиткин сделал из напильника... Вон же... блесит.

Валька. Ничего не знаю.

Летавин. Не притворяйся. Подыми. Когда я тебя за руку схватил, у тебя был этот ножичек.

Валька. Ладно. (*Подымает.*) Что дальше?

Летавин. Как ты сюда попал?

Валька. Так и попал.

Летавин. Камень — километров за сто. Кто же тебя сюда подбросил?

Валька. Попутная машина. Ну и что? Мало машин?

Летавин. Марк?

Валька. Пускай и Марк. А вам не всё равно?

Летавин. Кому «вам»?

В а л ь к а. Головке руководства.

Л е т а в и н. Понятно... Значит, сбылось твоё желание?

В а л ь к а. Какое?

Л е т а в и н. А бандитские стишки «Кого-нибудь зарежу...» Позабыл?

В а л ь к а. Ты сначала докажи.

Л е т а в и н (*по-взрослому, с сожалением*). Так вы и погибаете, сопляки.

В а л ь к а. Потише.

Л е т а в и н. Ступай, выбрось ножичек.

В а л ь к а (*изумлён*). А?.. Чего?

Л е т а в и н. Выбрось в колодец ножичек и возвращайся.

В а л ь к а. А зачем возвращаться?

Л е т а в и н. Ночевать пойдём ко мне на центральную усадьбу.

В а л ь к а. Я на камень поеду.

Л е т а в и н. Не поедешь.

В а л ь к а. Почему?

Л е т а в и н. Пропадёшь. Дурак, ступай и делай, что велят.

В а л ь к а. Ну ладно... выброшу.

Ушёл. Являются двое милиционеров с мотоциклом.

Л е т а в и н. Кажется, эмвэдэ? Здорово, эмвэдэ! Какие новости? Кажется, кругом спокойно.

М и л и ц и о н е р. Подозрительного парнишку заметили. С главной дороги шёл на стан. Окликнули — он скрылся.

Л е т а в и н. Какой он подозрительный! Это Валька Ситцев, наш парнишка с каменного карьера.

М и л и ц и о н е р. Ты ручаешься, что свой?

Л е т а в и н. Ручаюсь головой.

М и л и ц и о н е р. Ну, будь здоров. Гуляем, комсомол? Гуляй. Самая пора.

Милиционеры ушли. Является Валька.

В а л ь к а. Ты с кем разговаривал?

Л е т а в и н. Наши, трактористы. Из села вернулись. Выбросил?

В а л ь к а. Даю честное слово.

Л е т а в и н (*с силой, строго, горячо*). И забудь навеки, что у тебя в жизни был такой случай.

Интермедия

Т а м а р а, Т р о я н.

Т р о я н. Тамара, что случилось? Я тебя жду, страдаю... А тебя нет и нет...

Т а м а р а. Ничего не случилось.

Т р о я н. Нет, звездочка моя, ты переменялась.

Т а м а р а. Может быть... Не знаю.

Т р о я н. Переменялась... Мне страшные мысли в голову приходят.

Т а м а р а. Может быть, переменялась.

Т р о я н. Вижу, чувствую и поверить не могу...

Т а м а р а. А скажи мне по самой большой правде, какое место я занимаю в твоей жизни?

Т р о я н. Я мою жизнь не отделяю от твоей жизни. Я с тобой расцвет встречаю, весь день до ночной зари мечтаю о твоём дыхании...

Т а м а р а. Фразы.

Т р о я н. Не надо, Тамара, умоляю тебя. Если ты меня покинешь, я сбегу отсюда, голову потеряю.

Т а м а р а. Фразы.

Т р о я н. Тамара, скажи, что мы шутим... Милая.

Т а м а р а. Если ты такой горячий и нежный, то почему не можешь перейти к нам в бригаду?

Т р о я н. Тамара, родная..

Т а м а р а. Фразы и ложь. Была бы родная — перешёл бы давно.

Т р о я н. Как же я могу уйти из той славной бригады, которую сам создал? Ты сама гордая девушка. Из меня на целинных землях сильный человек получается. Сам начинаю замечать.

Т а м а р а. Сильный для других. Для меня ты слабый человек.

Т р о я н. Мне жаль оставить товарищей, с которыми я поднимал первую борозду в этой степи.

Т а м а р а. Старая песня. Их жаль, меня не жаль.

Т р о я н. Но войди ты в моё положение. Ты же сама передовая.

Т а м а р а. Какой-то известный человек сказал, что в каждом положении имеется выход. А если у тебя нет выхода, то живи для своей славной бригады и не говори мне про какое-то дыхание. Не смей мне приветы передавать, не ходи в степь, не жди меня. Я скоро тебя ненавижу начну за бессердечность. (*Ушла.*)

Т р о я н. Подумайте, чего наговорила. А ведь действительно лучшая из лучших. А может быть, так и надо? Может быть, лучшие из лучших так и должны чувствовать? Я пойду подумаю. Подумайте и вы. А то у нас лучшие из лучших не имеют права ничего чувствовать.

Картина девятая

Большая комната в здании будущего клуба. Днём.

Л е т а в и н, потом п а р е н ь с ч у б о м.

Л е т а в и н. Кто там следующий? Заходите.

Входит п а р е н ь с ч у б о м, в руках гитара.

Л е т а в и н. Опять с гитарой? И откуда ты их берёшь?

П а р е н ь с ч у б о м. Друзья присылают. (*Наигрывает.*) Ты вызывал— начинай.

Л е т а в и н (*молча отбирает гитару, ставит в угол за своей спиной*). Здесь организация Ленинского союза молодёжи, а не пивная. (*Веско.*) Ты зачем на целину приехал?

П а р е н ь с ч у б о м. Следствие начинаешь? Начинай.

Л е т а в и н. Не ломайся, по морде получишь.

П а р е н ь с ч у б о м (*ошеломлён*). Что? Как? Ты — и по морде?

Л е т а в и н. Будешь жаловаться — отрекусь.

П а р е н ь с ч у б о м. Очень странный разговор. Я не понимаю.

Л е т а в и н. Когда будешь человеком, по-другому разговаривать начнёшь, а теперь и так сойдёт. Ты зачем ехал на целину?

П а р е н ь с ч у б о м. Странный вопрос. Как все... посланец.

Л е т а в и н. Посланец?

П а р е н ь с ч у б о м. Как все.

Л е т а в и н. Дай отчёт, что ты сделал для Родины.

П а р е н ь с ч у б о м. Хочешь по чести?

Л е т а в и н. Да, по чести.

П а р е н ь с ч у б о м. По чести, ничего... проспал.

Л е т а в и н. А жрать что имеешь?

П а р е н ь с ч у б о м. Почти что не имею. Директор обещал аванс.

Л е т а в и н. Не ходи к директору. На двадцать пять рублей. Становись котлован рыть.

П а р е н ь с ч у б о м. Ладно, попробую.

Л е т а в и н. Праздничное у тебя происхождение, мальчишечка.

П а р е н ь с ч у б о м. Праздничное... такого происхождения не бывает.

Летавин. Нет, бывает. С таким происхождением дело кончается принудработами. Становись котлован рыть. Я тебя жалею. Но после обеда зайди сюда на заседание комитета. Гитара здесь останется.

Парень с чубом. Под град насмешекставишь? Да? У Жорки секретарь гитару отнял. Это же посмешище.

Летавин. Правильно, посмешище.

Парень с чубом. Летавин, умоляю!

Летавин. Заработай право на отдых, а потом приходи за гитарой. *(У дверей.)* Кто следующий?

Парень с чубом *(умоляюще)*. Алёша...

Летавин. Сделайся человеком, потом будем дружить. Кто следующий?

Парень с чубом *(в дверях)*. Вот дают!.. Ребята, тикайте, здесь дают такой жизни, что забудешь день рождения.

На пороге директор.

Парень с чубом. Извините. Меня расстроили. *(Ушёл.)*

Директор. Гастролёры... беззаботная публика.

Летавин. Надоело с ними носиться. Избаловались.

Директор *(осматривая стены)*. Линкруст высшего качества. Где взяли?

Летавин. Завод прислал.

Директор. Ты как министр будешь жить.

Летавин. Комната не для меня... для комитета.

Директор. Рам нет, а вы шторы повесили.

Летавин. Надоело на улице жить. Хочется к уюту приблизиться.

Директор. Оделся богато. Женишься?

Летавин. С этими вопросами покончено.

Директор. Жаль.

Летавин. А что?

Директор *(вынул из кармана бумагу)*. Видишь? Неприятное заявление. Оказывается, ты остаёшься на целине до очередного отпуска, а потом покидаешь нас. Говорил?

Летавин. Говорил.

Директор. Не верю.

Летавин. Говорил, значит говорил.

Директор. Почему же ты не женился, подлец? Мы дали бы тебе с супругой садик, дом, корову.

Летавин. Я против собственности. А корову надо доить. Это неинтересно.

Директор *(закипая)*. Ты издеваться надо мной думаешь?! Мало того, что предательство в душе носит, он ещё под предательство идею базу подводит.

Летавин. Почему предательство? Я никому подписки не давал вечно жить в этом совхозе.

Директор. Я тебя, подлеца, полюбил. Вот что досадней всего!

Летавин. Мне на целине не повезло.

Директор. Дурак набитый, ты понимаешь, что из тебя формируется? Ты определяющая сила, ты носишь в себе залог партийности... Ах, да что с дураками разговаривать...

Летавин. Я на вас не обижаюсь, вы — любя, ну, а другие?.. Кто доволен мной? То ты бюрократ, то зажимщик, то обыватель, то не знаю кто. А зачем мне это всё? Кому праздник, фугболы, волейболы, а я обязан сидеть и с раннего утра всякие дела разбирать. Кто я такой? Я же простой заводской парнишка.

Директор. Неужели ты в самом деле думаешь дезертировать?

Л е т а в и н. Кто говорит? Отстроим совхоз, зачищу все долги перед Родиной и по-хорошему уеду.

Д и р е к т о р (*вдруг ласково*). Ах, родной ты мой заводской парнишка, был и я когда-то простым заводским парнишкой, но я не знал тогда, могут ли быть у меня долги перед Родиной... Часто ругаем нашу молодёжь, а вот про это забываем.

Л е т а в и н (*с иронией*). Здесь сейчас был такой суслик, что у меня руки чесались дать ему по затылку. Молодёжь!..

Д и р е к т о р. Судишь не по уму.

Л е т а в и н. А Ракиткин?

Д и р е к т о р. Что Ракиткин?

Л е т а в и н. Крови стоит. Вот что!

Д и р е к т о р. Не лезь судить о том, чего не понимаешь.

Л е т а в и н. Я в молодёжи разбираюсь лучше вашего.

Д и р е к т о р. Ты в самом себе ещё разобраться не можешь.

Л е т а в и н. Ракиткин — ваш любимчик. Вечно заступаетесь.

Д и р е к т о р. Ракиткин с Валькой на самосвале перевезли и погрузили камня целый железнодорожный состав. А что у него, квалификации нет? Ты подумал бы, что его держит в степи? Значит, и в нём не пропали высокие чувства. А Ирочка Кулькова... Будь я молодым, свободным — по колено в землю врос, а завоевал бы такую девушку.

Л е т а в и н. Вы находите? А что там особенного?

Д и р е к т о р. На этих стенах хоть наши тени отражаются... Эх, Летавин, не понять такой девушки, значит быть бесчувственной стены.

Л е т а в и н. Почему вы сегодня такой сердитый?

Д и р е к т о р. Сам дезертируешь и помалкивай. Не знаю, как запишется в будущем времени наша работа, но я сказал бы самые тёплые слова о нашей молодёжи. Глупые по молодости, вихрастые вы во всех смыслах, словом, дети военных лет, и всё же это ваш подвиг — целина. И хлеб, который отсюда пойдёт, — ваш подвиг. А ты езжай домой. Мама скучает. А мы останемся... я, Ирочка, Троян... Жалко, что я относился к тебе почище, чем иные люди к сыновьям относятся. Какие красивые мысли я имел о тебе... Лети! (*Ушёл.*)

Л е т а в и н. Что задумаю, и всё наоборот получается.

Входят Ира, Перчаткина, Тамара.

В с е. Здравствуй... Добрый день... Привет, Алёша.

Л е т а в и н (*у него дурное настроение*). Здравствуйте... Какой-нибудь вопрос имеется или же вообще... гуляете?.. Садитесь. Всегда рад.

П е р ч а т к и н а. Рад? Интересно. А кому? Мне или Ирочке? Или, может быть, Тамаре?

Л е т а в и н. Я никого не выделяю.

П е р ч а т к и н а. Ну уж, так уж никого?

Л е т а в и н. А ты, Перчаткина, не можешь обойтись без каких-то намёков. Если пришли по делу, то давайте, а шуточки — на вечер.

И р а. Алёша, что за грубости?

П е р ч а т к и н а. Он умеет с девушками разговаривать, только когда темно.

Т а м а р а. Алёша, что я слышу про тебя?

Л е т а в и н. Не понимаю, Перчаткина, зачем ты расходуешь столько остроумия на меня?

П е р ч а т к и н а. Если ты это находишь остроумным, то мне жаль тебя.

Л е т а в и н. Я сказал бы, что ты слишком развитая. Серым людям трудно с такой общаться.

Т а м а р а. Милые бранятся...

Ира. Никто не мил нашему Летавину... Дома, далеко, осталась первая в мире симпатия, по имени Маргошка.

Тамара. Алёша?! Как?! И это правда?

Летавин. Одно из двух: или я, или вы остаётесь в помещении.

Тамара. И правда, девочки, довольно. Ты, Стелла, будто мстишь ему... За что?

Перчаткина. А я терпеть не могу, когда Летавин корчит из себя какого-то немислимого вождя. «Имеются ли у вас вопросы?»

Летавин. Я не выдвигал себя в руководство, а выдвинули — не мешайте работать.

Ира. Руководи, родной, руководи. У Тамары как раз к тебе огромная просьба.

Летавин. И нечего смеяться. Не такой — гоните.

Тамара. Никто не говорит, что не такой. Нельзя повеселиться.

Летавин. Здесь не цирк, и я не Карандаш. *(Тамаре.)* Говори.

Тамара. Я дала согласие... у меня в следующее воскресенье будет свадьба. А жизнь не устроена. Нужна твоя помощь, Алёша.

Летавин. Кому дала согласие? Ему?

Тамара. А кому ж ещё?

Летавин. И это железно?

Тамара. Да, Алёша.

Летавин. Я спрашиваю потому, что здесь, на целине, чаще всего не браки получаются, а сплошные недоразумения.

Перчаткина. Как будто сам такой примерно-показательный.

Летавин. Я пока не делал глупостей и потом ни с кем не разводился. Нечего! *(Тамаре.)* Горячо поздравляю. Чем могу помочь?

Тамара. Каждый бригадир свои интересы соблюдает. Мой меня к нему не отпускает, а в его бригаде все держатся за Трояна. Жить за пятнадцать километров друг от друга — это не семья.

Летавин. Несчастье в том, что вы передовые... А что? Конечно. Ты на месте бригадира отдала бы Трояна кому-то? По-серьёзному.

Тамара. «По-серьёзному, по-серьёзному». Значит, передовые должны жить без любви, без личного счастья, а остальные будут жить в своё удовольствие. Интересный у нас получается социализм.

Летавин. Вот ты, например, поехала на целину, а твои подруги дома сидят.

Тамара *(искренне)*. Поехала — и не сожалею и никакого героизма себе не приписываю. *(Горлчится.)* А если мы передовые, то не бывайте, что у нас имеется личная жизнь. И давайте заботиться о личной жизни для лучших людей, а не для худших. *(Добавила.)* Я на эту тему много думала.

Летавин *(в раздумье, с лёгкой иронией)*. Вот любовь какая... Первый раз вижу Тамару такой разгорячённой. Не надо горячиться. Скажу директору, поможем. Да... любовь.

Перчаткина. Тебе нравится? Ну, конечно. Если сам не умеешь, то хоть на других посмотреть, позавидовать.

Летавин. Не можешь обойтись без реплик с места? Но зарубите себе на носу, что мне нечему завидовать. Я никого не любил и никогда любить не собираюсь.

Перчаткина. Среди присутствующих или вообще?

Летавин. Как среди присутствующих, так и вообще.

Ира. Девочки, прошу вас, разрешите мне поговорить с Летавиным наедине. Имеются серьёзные причины.

Перчаткина. Ирочка, с ним?.. О чём?.. Не понимаю.

Тамара. Алёша, я тебя на свадьбу приглашаю.

Перчаткина. «А на большее ты не рассчитывай». *(Обе ушли.)*

Летавин. И как ты с ней дружишь?..

Ира (*мрачно*). Ты когда уедешь из совхоза?

Летавин. А в чём дело?

Ира. Я тебя прошу, скорее уезжай.

Летавин (*взвываясь*). Вот новости! И все с утра на меня насакаивают. Чего вы от меня хотите? Эта ещё приказывает. (*Кричит.*) Останусь здесь навеки... на сто лет!

Ира. Алексей, я тебе серьёзно говорю.

Летавин. Ирка, что с тобой? Тебе что?

Ира. Нет, ты всё-таки скажи мне... ты ведь, кажется, решил уехать.

Летавин. Если серьёзно, то не знаю... Ах, что говорить... Тоска.

Ира. По ней тоскуешь?

Летавин. По ком ещё?

Ира. По ком же... по своей Марго.

Летавин. Умная девчонка, а какую чушь городишь.

Ира. Ну, это неважно. Уезжай. Всё.

Летавин. Что «всё»? Что значит «всё»?

Ира. Мы втроём поехали на целину, и ничего хорошего у нас не получилось. Слова были на ветер. Дружбы нет. Марк мне сказал, что ты его травишь. Верю. Ты стал какой-то равнодушный... Уезжай.

Летавин. А, да что ты про Марка знаешь? Я его «травлю». Этот Марк совершенно подавил Вальку Ситцева, довёл до уголовного поступка. Никто не знает, что между нами получилось. Тебе могу сказать, ты не разнесёшь. Я у Вальки в буквальном смысле руку отвёл. Он ночью за моей спиной стоял с ножом.

Ира. Алёшенька!.. Но что им надо?

Летавин. А я не стал интересоваться. Но теперь Ракиткин стал бояться и меня и Вальки. Думает, конечно, что мы заявили на него.

Ира. И ты молчишь!

Летавин. Как видишь. Жаль идиота, он сам себя может погубить.

Ира. Как благородно с твоей стороны. Ты не сердись... прости меня за всё.

Летавин. Да что с тобой? Что ты мне сделала?

Ира. Мне невозможно объяснить. Что я хотела сказать на прощание?.. Чтоб ты знал, я очень высоко ставлю тебя, ценю... Здесь стала ценить, чтоб ты знал.

Летавин. На прощание... Ничего не понимаю.

Ира. Раз решил уехать, то и уезжай.

Летавин. Вот пристала! Возьму и не уеду. Директор дезертиром называет. Страшно он меня расстроил.

Ира (*почти со злобой*). Так ты останешься, и опять начнутся твои картинки? За кем опять страдаешь?

Летавин. Клянусь жизнью — пуст.

Ира. Я тебя знаю... это ненадолго.

Летавин. Клянусь, никто не трогает. Я уехал бы без оглядки, но тянет что-то ещё здесь пожить. Может быть, я эту местность полюбил... сам не знаю.

Ира (*с дрожью в голосе*). Лучше бы не тянуло... Прошу тебя, забудь ты эту местность. Я так надеялась, что ты уедешь.

Летавин (*изумлён*). Ирка... Ирочка.

Ира. Ничего не Ирочка.

Летавин. Нет... неужели?

Ира. Ничего не неужели.

Летавин. Ира, если да, то с твоей стороны это не шутка.

Ира. Тебе, должно быть, всё равно.

Летавин. Как же всё равно, если не шутка.

Ира. Никто не просит разбираться в моих чувствах.

Л е т а в и н. Ира... маленькая...

И р а. Уйди... уйди.

Л е т а в и н. Да я тебя не трогаю... не прикасаюсь.

И р а. Попробовал бы прикоснуться... Мне противно.

Л е т а в и н. Такой я, значит...

И р а. А сколько у тебя их было?

Л е т а в и н. Подумай, что болтаешь... Кого «их»?

И р а. Всё равно... Ты всех их любил.

Л е т а в и н. Ну что ты хочешь?.. Я неустойчивый, перевоспитаюсь. Но ведь с тобой мы знакомы сорок лет. Не ожидал.

И р а. Пожалуйста, без комментариев. Я не навязываюсь. Катись к своей Маргошке.

Л е т а в и н. Ха-ха... И покачусь.

И р а (*страстно, гневно*). Я и добьюсь этого, ты отсюда уедешь.

Л е т а в и н. Смотри ты... Да зачем тебе?.

И р а. Чтоб она погубила тебя, такого безголового, дешёвого, бесчувственного... Чтоб ты вспоминал потом про целину, как про единственное счастье... И чтоб ты знал о том, что я живу здесь одна, счастливая и гордая собой.

Л е т а в и н. Ирка... маленькая.

Входит парень с чубом.

П а р е н ь с ч у б о м. Послушай, секретарь, у нас очень неприятная история случилась. Марк Ракиткин из совхоза убежал.

Л е т а в и н. Что значит «убежал»?

П а р е н ь с ч у б о м. Не взял расчёта, оставил документы, нарушил обязательство. Велел тебе передать поклон... Вот записка.

Л е т а в и н. Ну, и пусть бежит, пусть дезертирует, надоело опекать таких приятелей.

И р а (*парню*). Ты как считаешь, куда он денется?

П а р е н ь с ч у б о м. Если он кинул работу, то куда ему ещё кидаться? Итти в зятя?.. Но зятю тоже надо работать.

И р а. В жулики пойдёт?

П а р е н ь с ч у б о м. И это иногда случается.

И р а (*Летавину*). Ты слышишь?

Л е т а в и н. Я сказал, что надоело... Я хотел бы, чтоб Ракиткин обо мне заботился, а не я о нём. (*Парню.*) Найди его дружка, Вальку Сипцева, направь ко мне. А сам не позабудь явиться на заседание комитета.

П а р е н ь с ч у б о м (*наигранно, с надрывом*). Мучить будете? Мучайте, мучайте... одного замучили.

И р а. И тебе не стыдно?.. Вот болван.

П а р е н ь с ч у б о м. Мучайте. Я напишу в Центральный Комитет. Пускай Центральный Комитет нас разбирает. (*Ушёл. Вернулся.*) Ладно, писать не буду. Мучайте. (*Ушёл.*)

Л е т а в и н. Одного сорта публика. «Оставил документы, не взял расчёта». Просто ему стыдно на глаза мне показаться. А может, и боится.

Вбегает Нелли.

Н е л л и (*с плачем причитает*). Ох, дорогие вы мои ребятушки, разбита моя бедная жизнь окончательно. Скрылся он от меня навеки и вот (*подаёт ключи*) оставил ключи от машины. За что я, несчастная, его любила, за что отдала ему своё юное сердце? Где он теперь, жестокий негодяй?

Л е т а в и н (*сердито*). Причитает, как на похоронах! Скажи серьёзно, как это получилось?

Н е л л и (*сдерживаясь*). Он говорил, что вы готовите против него судебное дело, что его вот-вот должны взять...

Ира. Дурак, и больше ничего.

Нелли. Ох, что же делать, как мне его вернуть? Алёша, ты у нас самый справедливый, самый умный...

Летавин. Ну и что?

Нелли. Что говорю, сама не знаю. Жизнь моя закатилась теперь, вот что. Ведь я считала, что он переломит себя... Я единственная свято верила в этого сумасшедшего человека.

Входят Тамара, Троян, Перчаткина, Дернакова.

Троян (*после общего молчания, как бы про себя*). Как он просил меня весной, когда я прогнал его с поля... «Не лишай меня удовольствия пахать землю». Надо было простить.

Дернакова. Так прощать — допрашивается. В лесном совхозе бывшие уголовники на директора в карты играли. Советская молодёжь делает святое дело, а отдельные негодяи её пачкают. Согласись, Нелли, что я права.

Нелли. Права, права... но он был хороший ко мне. Его несчастье, что не нашёл общего языка с коллективом.

Ира (*строго*). Слушай, Летавин, мы обязаны...

Летавин (*перебивает, с гневом*). Что обязаны?.. Опять обязаны?.. Я не буду с ним носиться. Мы пришли сюда на снег, жили, как дикари, и ничего не требовали от Советской власти. Я не буду сейчас разбирать, где мы хорошие, где плохие, но нам перед Родиной краснеть не придётся. Мы целину подняли и не говорим, что Родина обязана с нами носиться. Почему же с ним надо носиться? (*Ире.*) И не говори мне, что я обязан. Мне тоже бывает очень даже скучно, но я могу себя урезать, не распускаюсь. И ты, Нелли, не разводи здесь дождя. Также, кажется, заслужила уважение к себе. Будь самостоятельной. Членов комитета прошу садиться. Давайте решать текущее.

Входит Валька.

Летавин. Ах, ты пришёл... Ну, тогда говори, где Ракиткин?

Валька. Помните уголовника-ссылного? Он зимой к нам в хату зашёл, когда мы только что сюда приехали. Он служит в лесничестве объездчиком.

Нелли. Так и чувствовала моя душа.

Валька. Они сдружились.

Молчание.

Тамара. Будто покойник, честное слово. Вся радость моя прошла.

Троян. Задумаешься.

Дернакова. Я тоже... тоже — да. Летавин, я считаю — да.

Летавин. Что «да»?

Дернакова. Коллектив мы вроде как неплохой, а парнишку проморгали. Марксизм нас учит, что преступных элементов быть не должно.

Летавин. Ты уж, марксистка... лучше помолчи. Ирочка, поедем вместе. Я знаю, где этот элемент находится.

Входят Катя и Петя.

Петя (*Кате*). Заявляй.

Катя. Сейчас.

Летавин. Если вы опять пришли жаловаться друг на друга, то разбирать не будем.

Петя. Заявляй.

Катя. Сейчас.

Летавин. Ира, поехали. У них всё та же старая пластинка. (*Ушли.*)

Петя. Всё равно заявляй.

Катя. Сейчас. Мы пришли в свою родную комсомольскую... потому что... мы решили соединить наши жизни.

Перчаткина. Катя, ты ли это?!

Катя. Я очень давно его люблю... даже не помню когда.

Троян. А ты, Пётр Иванович?

Петя. Я не Иванович, а Петрович. Пришлось солидно пострадать. Сколько писем исписано. Мешка два будет. (Кате.) Заявляй.

Катя. А ты сам чего стесняешься? Он стесняется заявить, что нам нужна характеристика от комсомольского комитета.

Перчаткина. А кому вы будете показывать характеристику?

Катя. У Пети папа... он кузнец... он родился при старом режиме... Он старый член партии... Он требует характеристику на нас. Достойны мы друг друга или нет.

Дернакова. Товарищи, поступила просьба от Кати и Пети с Зиса дать им характеристику. Прошу высказываться.

Тамара. Что ж тут высказываться, когда они замечательные.

Нелли (рыдая). Правда, правда... они у нас замечательные... Какое счастье, что они замечательные...

Интермедия

Ракиткин.

Ракиткин. С какой самоуверенной мечтой я ехал побеждать природу... Чего мне только не хотелось сделать!.. И был уверен — нет, не для вывески, а для себя, — что окончательно переменюсь. Но повело... Что оно такое, это беспокоеное чувство неудовлетворённости?.. Я же не дурак, я понимаю: сам виноват... повело. В душе тревога, чего-то ищешь, на работе скучно, на месте не сидится, охота как-то развернуться... А как? Ну, подерёшься, скажем... Вроде ты и красиво выступил и заслужил похвалы от друзей, но результат в конце концов поганый. И вот сам не знаешь, как выйти из этого поганого положения. Я не хочу просить, чтобы меня вечно прощали. Ты накажи меня, как хочешь, но не пришивай мне позорную кличку. У нас как зафиксируют тебя подонком, так и в личном деле разрисуют... Эти чистенькие мальчики и девочки, которые даже танец считают разложением, ох, умеют они проголосовать... Такую тебе выведут характеристику, что... Ладно, это лишний разговор. Не жалуюсь, не каюсь. Они хорошие, а я плохой. Не им делить со мной славу. Иду... Куда иду — не понимаю. Сам виноват... Тоска.

Картина десятая

Глухой тёмный лес. Дорога. Старинный покосившийся полосатый столб.

Ракиткин, Неизвестный.

Неизвестный. А ты, юноша, не плачь! Снявши голову, по волосам не плачут.

Ракиткин. Нашёл плаксивого! Я с малолетства никогда не плакал.

Неизвестный. Тебе сказано, давай жить со мной... Но... была бы честь предложена. А мы тебя вызволим. Директору лес нужен, ему с нами ссориться невыгодно.

Ракиткин. А что я буду делать у вас?

Неизвестный. За рулём сидеть. Деньгами завалишься. И уж никакой комсомол под тебя не подкопается.

Ракиткин. Я ведь знаю... Это тёмные дела.

Неизвестный. Что же от своих чистых дел драпу даёшь? Не сладко?

Ракиткин. Ты прав, конечно. Чья машина у вас?

Неизвестный. Наша, собственная.

Ракиткин. Так и я хотел бы ссыльным считаться.

Неизвестный. Пьём, едим и бога не гневим.

Ракиткин. Ты, никак, верующий?

Неизвестный. Да, евангелист.

Ракиткин. Что же вы на своей машине возите?

Неизвестный. Хлеб-мучицу, сало, птицу.

Ракиткин. Это как же?

Неизвестный. А вот так же.

Ракиткин. Откуда оно берётся?

Неизвестный. У кого трудодень, у кого трудоночь, вот и набирается.

Ракиткин. Хитрая ты гадюка, между нами говоря. Ты давно решил втянуть меня в свою тёмную компанию?

Неизвестный. А тебе, красавчик, светлая компания самой природой твоего организма заказана.

Ракиткин. Ох, до чего ты опасный... Ох, и страшно с тобой...

Неизвестный. Ты, как девочка... пищишь.

Ракиткин. Не играй на самолюбии. Сам знаю, как решить.

Неизвестный *(вдруг со злобой)*. А за каким дьяволом ты мне нужен? Сам пришёл ко мне, а теперь ломается! Да тебе, молокосос, такого счастья нигде не найти. Кто ты есть? Самый настоящий дезертир.

Ракиткин. Постой, хозяин... Давай толком поговорим. Сам подумай, другую жизнь надо начинать.

Неизвестный. А какой выход у тебя? Скажи, какой выход?

Ракиткин. Верно, отец, выхода теперь у меня нету.

Неизвестный. Чего ж тут гулять на большой дороге? Пойдём в мой домишко.

Ракиткин. Искать станут. Придётся скрываться.

Неизвестный. Вызволим, вызволим. Погоди, кто же это катит? Неужели эмвэдэ? Нет, кажется, ваши. Ну, мне с ними встречаться нет никакого расчёта. Я пошёл. Держись, не сдавайся. Теперь они на твоём бегстве отыграются. Мой домишко рядом.

Неизвестный ушёл. Стремительно являются Ира и Летавин.

Летавин. Дурак!.. Люди как люди, а ты, как пустая бочка, с горы катишься. Грохот, безобразие, разговоры, а на самом деле одна пустая бочка, и больше ничего. Куда смотришь? Смотри сюда.

Ира *(испуганно)*. Алёша, ты же предполагал поговорить дружески.

Летавин. А ты глянь на его лицо. Он потерял всякую порядочность. В лес глядит. Ты меня довёл до крайней точки. Думаю, думаю и не знаю, что решить. Скажи мне, что с тобой делать? Зачем ты на струнах валькиной психики стал играть? Это же крайняя глупость. Валька и так ломаный, а ты его ещё больше ломаешь, балбес. Ну и что вышло? Это же смехотворная картина. Валька напугался до того, что потерял своё оружие. А потом у меня в палатке до утра проплакал. Куда ты бежишь? Какая тупость!

Ракиткин. Предал меня Валька, я знаю. Что ж, начинайте дело.

Летавин. Самое лучшее дело — всыпать тебе так, чтобы ты три года помнил. Затравили несчастного ребёнка. Нет ему радости на земле. Давайте устраивать себе дешёвую жизнь. Ещё раз повторяю — ты дурак. Ты вырвался вперёд по показателям, ты ведь тоже часть жизни отдал целине. Способен же ты шевелить мозгами? Какое дело совершается... Весь народ за нас болеет, это же точно. Посмотри в глаза Родине, скажи, почему ты своё слово под ногами топчешь? Как можно не порадоваться первому хлебу, который мы завтра скосим?.. Ты... я... они... ведь действительно мы пострадали этот хлеб! *(Почти с торжественностью)*. Вот нас трое, и мы втроем поехали на целину, и я при всех клянусь, Марк, ничего у тебя не выйдет. Теперь я обрушу на тебя всю силу коллектива. Никуда не уйдёшь.

Р а к и т к и н (*с рыданиями*). Алёшка, дорогой... Почему я такой благополучный? Вы оба переменились к лучшему, а я один переменился к худшему. Но почему? Я же не хотел.

Л е т а в и н. Поехали в совхоз.

Р а к и т к и н. Страшно. Не смогу.

Л е т а в и н. Сможешь.

И р а. Марк, не стоит отчаиваться. Мне было хуже, чем тебе, но я не стала отчаиваться.

Л е т а в и н. И не жди, что на тебя будут молиться. Не то ещё услышишь.

Р а к и т к и н (*трудно, медленно*). Втянулся я, людишек близких жаль, степь тоже покидать неохота. А то бы...

Л е т а в и н. Поедем на заседание комитета.

Р а к и т к и н. Как? Прямо сейчас?

Л е т а в и н. Да, сейчас.

Р а к и т к и н. Я давно из организации вышел... исключили.

Л е т а в и н. Ничего, поедем.

Р а к и т к и н. А мы опять втроём. Всё-таки опять... Как здорово, ребята!

Л е т а в и н. Втроём... втроём...



МИРДЗА БЕНДРУПЕ

★

ИЗ ЦИКЛА „ОСЕНЬ У РАГАЦЬЕМА“

★ ★
★

Где пляж песчаный чист, где ровен шум валов,
Где зубчатой стеной темнеют сосны леса,
Шлёт в ночь лучей мечи, тьму рассекая блеском,
Рагацьемский маяк, один среди ветров.
И смоляные днища лодок новых
Сверкают в бледных отсветах лиловых.

Цветочная пыльца — как золотой дымок
Над горько пахнущей, пьянящею полынью.
Шиповник, обогрет осеннею теплыню,
Не сорванный никем, забыл завянуть в срок.
И птичья болтовня, с бубенчиками схожа,
Звенит, звенит, молчанье дня тревожа.

Дорога на село лежит среди садов,
Укрытых гребнем дюн от грозных вздохов моря.
И чайки без числа кружат, как снег зимою,
Под ветра мощный гул, что будто песнь без слов.
А над заборами желтеют листья клёнов,
И к свету тянутся подсолнухи влюблённо.

★ ★
★

Буро-зелёные сети на жердях качаются так,
Словно там море другое в неясный слилось полумрак.

Дым от высокой коптильни, тёплый и благоуханный,
Мягко над крышей клубится, на берег ложится песчаный.

Рагацьем прекрасный! Рассвета звезда над тобой,
Но так ли ещё мы будем гордиться твоей судьбой!

От Апшущема до Слоки, где море более мирно.
«Селга» — колхоз рыбацкий — богатый лежит, обширный.

Люди там знают дело, не любят речей пустых,
Скоро болота Канера полями станут для них.

Где журавли да кочки в жиже торчали ржавой,
Будут расти колосья, клевер алень кудрявый.

Камень ложится к камню, чтоб прочной стена была...
Свежестью пахнут балки, капает с них смола.

Прочным, красивым плетеньем камыш одевает крыши.
Чем лучше от бурь осенних, от вьюги ты защитишь их?

Плотники неутомимы, гораздо работать и петь.
Скоро на вставленных стёклах солнце начнёт блеснуть.

«Селга», видны далёко твои красота и сила,
Ярче огней маячных ты край родной осветила!

Перевод с латышского Вероники Тушновой.



ПУБЛИЦИСТИКА

Е. АНИСИМОВА

★

ГРАЖДАНЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Революционные события 1905 года, высшей точкой которых явилось декабрьское вооружённое восстание, пробудили к политической активности все слои населения Российской империи. Октябрьская политическая забастовка охватила почти всех рабочих страны; в ней участвовало около миллиона одних только промышленных рабочих, не считая большого числа бастовавших железнодорожников, почтово-телеграфных служащих и других.

Рабочий класс возглавил борьбу народных масс против самодержавия. Идейным вдохновителем этой борьбы была Российская социал-демократическая рабочая партия. В ней боролись тогда две линии: линия большевиков и линия меньшевиков. Большевики держали курс на развёртывание революции, на свержение царизма путём вооружённого восстания, на гегемонию рабочего класса, на изоляцию либеральной буржуазии, на союз с крестьянством, на создание временного революционного правительства из представителей рабочих и крестьян, на доведение революции до победного конца.

Революционное движение всколыхнуло и самые широкие слои русской интеллигенции. Многие выдающиеся деятели литературы и искусства словом и делом выступили в поддержку освободительной борьбы. Ряд архивных материалов, освещающих отношение передовых деятелей культуры к революции 1905 года, остаётся до наших дней неизданным и малоизученным. Пользуясь в значительной мере такими материалами, старший научный сотрудник Государственного музея революции СССР Е. Л. Анисимова освещает некоторые эпизоды, характеризующие позицию деятелей русской культуры в бурные дни революции 1905 года.

1

Сегодня с нас взяли кровью обязательство — отныне мы должны быть гражданами.

М. Горький.

9 января 1905 года...

В этот день царское правительство расстреляло петербургских рабочих, шедших к царю с петицией о своих нуждах. Там, где только что в торжественном шествии проходили празднично одетые мужчины и женщины, старики и дети, неся в руках хоругви, а в сердцах — надежду и веру в справедливость, полицейские убрали трупы. По улицам металась озверевшие, пьяные драгуны и казаки, избивая людей, врываясь в дома.

В этот день на рабочих окраинах столицы передавалось из уст в уста: «Нет у нас больше царя! Смерть или свобода!» На Васильевском острове рабочие строили баррикады. В России началась революция.

В этот день великий русский писатель Максим Горький обратился с воззванием ко «Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств»:

«...Мы находим себя в праве заявить всей России и общественному мнению Европы:

1) что министр внутренних дел Святополк-Мирский был предупреждён нами о мирных намерениях и спокойном настроении рабочих и что они шли с полным доверием к своему царю;

- 2) что мы предлагали министру внутренних дел убрать войска с улиц;
- 3) что мы предлагали известить государя о происходящем и убедить его в необходимости допустить [рабочих] на Дворцовую площадь и выслушать требования их;
- 4) что рабочие действительно вели себя вполне миролюбиво и по отношению к войскам не держались вызывающе;
- 5) что командовавшие частями войск стреляли и избивали народ, не предупреждая его разойтись.

Подобное поведение по отношению к манифестантам-рабочим мы, по совести, не можем назвать иначе, как предумышленным избиением, и, исходя из этого, мы, нижеподписавшиеся, перед лицом всех русских граждан и перед лицом европейского общественного мнения обвиняем министра внутренних дел Святополк-Мирского в предумышленном, не вызванном положением дела и бессмысленном убийстве множества русских граждан.

А так как Николай Второй был осведомлён о характере рабочего движения и о миролюбивых намерениях его бывших подданных, безвинно убитых солдатами, и, зная это, допустил избиение их, — мы и его обвиняем в убийстве мирных людей, ничем не вызвавших такой меры против них.

Вместе с тем мы заявляем, что далее подобный порядок не должен быть терпим, и приглашаем всех граждан России к немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием».

Горький первым выразил стремления передовой части русской интеллигенции, вставшей на сторону пролетариата против царизма, и положил начало её выступлениям в революции.

Это воззвание Человека и Гражданина к гражданам России и Европы не было напечатано. Его не успели подписать литераторы и учёные, вместе с Горьким накануне «кровавого воскресенья» посетившие царских министров с целью предотвратить расправу царя с народом. 11 января Горький был арестован и посажен в Петропавловскую крепость.

Но Горький был не одинок в своём протесте. Кровавое злодеяние царизма, свершённое им 9 января 1905 года, потрясло всех прогрессивных деятелей русского общества. Они открыто заявляли о своём сочувствии восставшему пролетариату и его союзнику в революции — крестьянству.

Русские живописцы В. А. Серов и В. Д. Поленов обратились в Академию художеств с письмом:

«Мрачно отразились в сердцах наших страшные события 9-го января. Некоторые из нас были свидетелями, как на улицах Петербурга войска убивали беззащитных людей, и в памяти нашей запечатлена картина этого кровавого ужаса.

Мы, художники, глубоко скорбим, что лицо, имеющее высшее руководство над этими войсками, проливавшими братскую кровь, в то же время стоит во главе Академии художеств, назначение которой — вносить в жизнь идеи гуманности и высших идеалов»¹.

Письмо русских патриотов было направлено против президента академии великого князя Владимира Романова, распоряжавшегося кровавой бойней 9 января. Художники требовали оглашения своего заявления. Вице-президент академии, носивший княжеский титул, отказался это сделать, и В. А. Серов ушёл из академии.

Для передовых людей России, всей своей общественной и творческой деятельностью служивших народу, «кровавое воскресенье» и последующие революционные события явились вехой в их общественном сознании. Эти события раскрыли перед ними глубины народной силы, заставили смотреть новыми глазами на будущее России.

«...Да, это девятое января поднялось над однообразием нашей «равнинной истории», над её буераками и оврагами, над холмиками «доверия» и извилинами бюрократической реакции — как первый крутой излом нашего горизонта, за которым, быть может, в загадочном тумане уже рисуются другие — и выше, и обрывистее и круче», — писал в своей статье «9 января 1905 года» замечательный писатель-демократ и гуманист В. Г. Короленко.

¹ Фонды Государственного музея революции СССР, № 29089.

Революция широко раздвинула горизонт царской России, открыла неведомые дали для многих русских людей и захватила их в своём могучем порыве.

Революционная борьба рабочих и крестьян — истинных граждан и патриотов своей родины, вступивших «в бой святой и правый» за свободу и счастье всего народа, призвала выдающихся представителей интеллигенции к выполнению их гражданского долга.

В высших учебных заведениях профессура резко раскололась на два лагеря — реакционный и прогрессивный, демократический, помогающий революционной студенческой молодёжи.

В архиве скончавшегося в 1945 году президента Академии наук, выдающегося учёного-ботаника В. Л. Комарова обнаружен написанный его рукой черновик резолюции собрания студенток высших женских курсов Лесгафта в Петербурге, где В. Л. Комаров преподавал в 1905 году:

«Мы, слушательницы курсов Ф. В. и О.¹, собравшись 24 января 1905 г. и обсудив вопросы о приступлении к учебным занятиям, постановили:

Студенческие забастовки, возникшие как поддержка всех политических и экономических требований, выставленных пролетариатом в момент стачек и кровавых событий последнего времени, охватили почти все высшие и некоторые средние учебные заведения России.

Считая, что значение этого студенческого протеста тем больше, чем длительнее забастовки, мы считаем невозможным приступить к занятиям по крайней мере до начала будущего учебного года»².

В ответ на студенческую забастовку царское правительство закрыло курсы.

Профессор Петербургской консерватории Н. А. Римский-Корсаков, которому в ту пору было свыше шестидесяти лет, решительно встал на сторону революционного студенчества. Он принял участие в собраниях учащих, дал свою подпись под решением сходки, которую организовала большевистская фракция, поддерживал студенческую забастовку.

Дирекция Императорского российского музыкального общества 19 марта 1905 года уволила замечательного композитора и педагога из консерватории, или, как тогда говорили, отставила консерваторию от Римского-Корсакова. За спиной дирекции стояли «августейшие»: увольнение было санкционировано вице-председателем Музыкального общества великим князем Константином Романовым. В ответ на изгнание Римского-Корсакова консерваторию немедленно покинули А. К. Глазунов, А. К. Лядов и другие профессора.

Целым потоком адресов, телеграмм, писем со всех концов страны, десятками газетных статей и заметок ответила прогрессивно настроенная русская интеллигенция на этот акт произвола, выражая своё сочувствие знаменитому композитору, на протяжении многих лет составлявшему гордость и славу русской музыки.

«...Музыка не там, где заседают они, способные уволить Римского Корсакова, а там, где Вы, наш общепризнанный глава, старый учитель и славный знаменосец. И мы верим, что недалёк тот день, когда волна общественного самосознания вырвет судьбы родного искусства из рук непризнанных вершителей и вручит их Вам и подобным Вам: истинным художникам и истинным гражданам»³.

Среди подписавших адрес — К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Ланченко, В. И. Качалов, В. А. Серов, М. М. Ипполитов-Иванов, С. Н. Кругликов, А. К. Живилегов.

С гневной статьёй выступил В. В. Стасов:

«...Глинку разные «распорядители» сглодали и замучили, Даггомжжского — сглодали и замучили, Мусоргского и Бородина — тоже, Балакирева — тоже; теперь дошло дело до Римского-Корсакова. Какое отвращение! Какой стыд!»⁴.

В адресе «От союза мастеров и техников независимому гражданину и гениальному композитору Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову» говорилось:

¹ Курсы Ф. В. и О. — Курсы физического воспитания и образования.

² Фонды Государственного музея революции СССР, № 28106.

³ Фонды Государственного музея революции СССР, № 28980/14.

⁴ Газета «Новости» от 25 марта 1905 года.

«Вы признаны единогласно русским музыкальным гением — отныне Вы приобрели новую славу, славу независимого гражданина, поборника правды и чести в тяжёлую годину борьбы русского народа за свою свободу»¹.

Из самой гущи народной, из глухих селений потянулись к Римскому-Корсакову нити взаимного понимания и одобрения.

«...Прежде мы любили и уважали тебя как художника, а теперь будем вдвоём уважать за то, что ты встал в передние ряды борцов, за то, что ты честный гражданин земли русской. Как много, должно быть, у нас честных людей, которых мы не знаем, ведь мы узнали раньше об тебе, от случайно попавшего к нам образованного человека. «Новости» пишут: «мы самый грешный народ, затравили столько великих людей». Кого «Новости» называют народом? Народ никогда не травил и не мучил своих великих людей, он никогда не плевал им в лицо. Народ не знает их, от него сокрыты имена его великих людей. Когда в народе распространится просвещение, когда он глянет светлыми очами и увидит великих людей, загнанных и замученных за него и за правду,— тогда народ падёт и преклонится пред ними до земли. Народ умеет чувствовать слово правды и ценить его...»

(Письмо крестьян села Судосева Симбирской губернии Н. А. Римскому-Корсакову. Март 1905 года)².

«Уволенному профессору Римскому-Корсакову. Из газет узнали мы, какую с вами сделали несправедливость. Вашего имени мы до сих пор по темноте нашей не слышали, да что ж, а всё-таки вот пишем вам, чтобы выразить вам, что чувствуем. Поняли мы, что потерпели вы за правду, за то, что не хотели слушаться незаконных приказов начальства, да не хотели идти заодно с полицией. Правильно вы поступили. Мы, крестьяне, предьявляем вам своё сочувствие за постигший вас инцидент».

(Подписано 19 крестьянами из шести деревень Юрьевского уезда Владимирской губернии)³.

2

...Нет, только революция может спасти Россию. Правительство, которое довело страну до такого позора, должно быть свергнуто...

И. П. Павлов.

Весной и летом 1905 года ещё выше поднялась революционная волна, захватив деревню и опору царизма — армию. Царское правительство проиграло войну с Японией. Разгромом эскадр Рождественского и Небогатова под Цусимой в мае 1905 года была бита его последняя ставка. Военный крах самодержавия становился крахом всей политической системы царизма. Царское правительство пыталось восстановить свой престиж внутри страны штыком и нагайкой и обмануть народ грошевыми уступками. В августе 1905 года был опубликован законопроект о «булыгинской» думе⁴.

По поводу этого царского законопроекта великий русский учёный К. А. Тимирязев писал, сравнивая проект с истинными чаяниями народа:

«...Но эти ли идеи легли в основу той страстно чаемой реформы, которая должна была принести успокоение исстрадавшейся стране? Она говорит прямо обратное: трудись ты хоть всю свою жизнь, но если ты не владеешь,—не гражданин ты своей страны. Она говорит: учись ты хоть всю жизнь, но если ты недостаточно благоприобрёл,—не гражданин ты своей страны... Да, школа должна учить: трудись и учись,—этим ты

¹ Фонды Государственного музея революции СССР, № 28980/15.

² То же, № 28980/1.

³ Ленинградская Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, 186.

⁴ Булыгинская дума — законо-совещательный орган, проектировавшийся министром внутренних дел А. Г. Булыгиным с целью отвлечь массы от революции. Избирательные права предоставлялись по его проекту лишь собственникам. Выборы были не прямые и не равные. В. И. Ленин характеризовал существо этого проекта так: «Единение царя с народом есть единение царя с помещиками и капиталистами с добавлением горстки богатых крестьян и с подчинением всех выборов строжайшему надзору полиции». Он назвал Булыгинскую думу «прямо издевательством над идеей народного представительства» (Сочинения, т. 9, стр. 170, 156).

будешь служить своей стране; а жизнь за пределами школы говорит: гражданин не трудящийся, всё равно — мышцами или головой, гражданин — только и мущий. Где же правда?..»

Глубоко верящий в созидательную мощь и великое будущее русского народа, К. А. Тимирязев закончил свою статью словами:

«Спасти теперь может только взрыв общего энтузиазма, того энтузиазма, о котором ещё Сен-Симон говорил, что без него не делается никакое великое дело. Потому-то и предстоящее русскому народу созидательное дело обновления должно быть так велико, чтобы оно могло соединить самые широкие общественные слои в одном могучем порыве энтузиазма»¹.

Народное возмущение смело булыгинскую думу. Правительство судорожными усилиями пыталось остановить революцию. Расстрелы стачечников в городах, карательные экспедиции в деревнях, преследования бастующего студенчества, репрессии в отношении прогрессивной интеллигенции лишь разжигали пламя революционного пожара. Каждое новое злодеяние правительства вызывало бурю общественного протеста. Каждый пострадавший от царского произвола встречал сочувствие и поддержку общества.

Деятели науки, культуры и искусства, примыкавшие к лагерю демократии, выступали в своём творчестве на стороне народа, против царского самодержавия.

Писатели, утверждавшие в литературе традиции демократизма, идейности, реализма, всё теснее сплачивались вокруг М. Горького. В руководимых им сборниках «Знание» печаталось всё самое лучшее, передовое, что выходило из-под пера литераторов.

Особняком стоял Л. Н. Толстой. Философская концепция «непротивления злу» привела Толстого к отрицанию революционной борьбы. Но, помимо его воли, могучий талант писателя послужил делу революции. Толстой гениально разоблачил ложь и преступления царского правительства, выразил стихийное чувство протеста и негодования широких крестьянских масс, был «зеркалом русской революции».

Объясняя сущность учения и творчества писателя, В. И. Ленин отмечал: «Принадлежа, главным образом, к эпохе 1861—1904 годов, Толстой поразительно рельефно воплотил в своих произведениях — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость» (Сочинения, т. 16, стр. 294).

В октябре 1905 года, в разгар революции, Толстой писал Стасову: «Я во всей этой революции состою в звании добро- и само-вольно принятого на себя адвоката 100-миллионного земледельческого народа. Всему, что содействует или может содействовать его благу, я сорадуюсь, всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от неё, я не сочувствую»².

Первая русская революция вывела на арену политической борьбы и многих прославленных художников. В своих произведениях эти представители демократического искусства выступали против царизма. Горячо откликнулись на события революции своими картинами и рисунками И. Е. Репин, В. А. Серов, В. Е. Маковский, Н. А. Касаткин, С. В. Иванов.

Подобно передовым русским учёным, писателям, художникам, неразрывно связанным с народом, деятели театра, утверждавшие на сцене гуманистические идеи эпохи, вписали свою страницу в историю первой русской революции.

В канун 1905 года некоторые артисты уже были связаны с социал-демократическими организациями.

В адрес квартиры В. И. Качалова пересылались указания В. И. Ленина для московской организации «Искры». Здесь скрывался от охранки Н. Э. Бауман. В. Ф. Комиссаржевская помогала партии сбором материальных средств для бастующих рабочих, а также для пополнения опустевшей партийной кассы, устраивая под прикрытием благотворительных обществ концерты и спектакли в пользу партии.

¹ К. Тимирязев. Наука и демократия. Сборник статей 1904—1919 гг. ГИЗ. 1920, стр. 27.

² «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906. Труды Пушкинского дома Академии наук СССР». 1929, стр. 378.

В 1905 году вихрь революции ворвался в жизнь Московского Художественного театра, самого молодого, самого демократического. Коллектив театра остро реагировал на революционные события. Талантливая артистка М. Ф. Андреева «ушла в революцию». Во всех общественных протестах против действий правительственных властей работники этого театра принимали живейшее участие.

Вот один из таких документов:

«Возмутительное расстреливание народа, возвращавшегося с похорон Баумана, казаками, действовавшими вполне произвольно и находящимися, очевидно, вне всякого руководства и надзора со стороны начальства, лишний раз показывает, в какой мере мирное население Москвы лишено самой элементарной безопасности.

Нападение казаков было произведено в данном случае вопреки всякому прямому обещанию генерал-губернатора, данному им представителям города, устранять полицию и войска с пути следования похоронной процессии.

Потрясённые этим происшествием, имевшим место вчера в 11 часов вечера в центре города у стен старого университета, мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к городской думе с решительным требованием безотлагательно принять действительные меры к охране жизни и безопасности жителей вверенного её попечением города...»¹.

Протест подписали руководители и все ведущие актёры театра — К. С. Алексеев (Станиславский), В. И. Немирович-Данченко, В. И. Качалов, И. М. Москвин, О. Л. Книппер-Чехова, Н. Н. Литовцева, А. Л. Вишневыский, Л. М. Леонидов и другие. Молодой коллектив театра был дружным, спаянным, единым: вместе с артистами свои подписи поставили и рабочие сцены.

Повсюду в России устраивались спектакли, концерты, сборы с которых шли на нужды революции. В легальной большевистской газете «Новая жизнь», выходившей в Петербурге в октябре—декабре 1905 года, почти ежедневно помещались такие, например, объявления:

«Драматический театр. Дирекция В. Ф. Комиссаржевской.

В четверг, 10 ноября,

спектакль

в пользу рабочих, пострадавших от забастовок,

«Дети солнца» М. Горького»².

Или:

«Зал Тенишевского училища.

4 декабря сего года состоится

концерт,

устраиваемый Н. А. Римским-Корсаковым

при участии известных артистов.

Сбор с концерта поступит в пользу пострадавших от стачек рабочих»³.

В московских большевистских легальных газетах «Борьба» от 30 ноября и «Вперёд» от 3 декабря 1905 года было напечатано сообщение о том, что «Правление товарищества оперных артистов (театр Солодовникова), дирекции — Оперы С. И. Зимина, Московского Художественного театра и театра Корша изъявили желание предоставлять ежедневно некоторое количество льготных билетов для организованных рабочих». Далее указывалось, на какие дни, сколько мест и по какой цене (одна четверть номинальной стоимости, по 30 копеек с человека, или вовсе бесплатно) рабочие могут получать билеты на спектакли.

Революционные события нарастали с необыкновенной быстротой. Вслед за всеобщей октябрьской политической стачкой, потрясшей основы царского самодержавия и вырвавшей у царя манифест о свободах, ещё сильнее запыхали помещичьи усадьбы, всё чаще вспыхивали военные восстания. Правительство обратилось к испытанному средству — кровопролитию, устраивая в городах черносотенные погромы, посылая войска в деревню, расстреливая восставших солдат и матросов.

¹ Фонды Государственного музея революции СССР, № 30892/1.

² Газета «Новая жизнь» № 8 от 9 ноября 1905 года.

³ То же, № 23 от 28 ноября 1905 года.

В ноябре 1905 года был подвергнут артиллерийскому обстрелу и подожжён крейсер «Очаков», команда которого подняла знамя восстания против царского самодержавия.

«...Мне приходилось видеть в моей жизни ужасные, потрясающие, отвратительные события. Некоторые из них я могу припомнить лишь с трудом. Но никогда, вероятно до самой смерти, не забуду я этой чёрной воды и этого громадного пылающего здания, этого последнего слова техники, осуждённого вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной волей одного человека. Нет, пусть никто не подумает, что адмирал Чухнин рисуется здесь в кровавом свете этого пожара, как демонический образ. Он просто чувствовал себя безнаказанным».

Так рассказывает о севастопольских событиях в ноябре 1905 года их очевидец — А. И. Куприн.

Своей вершины революция достигла в декабрьском вооружённом восстании. С револьверами и самодельными шашками и бомбами пролетариат России сражался на баррикадах против регулярных войск царской армии за торжество свободы и демократии.

В письме к К. П. Пятницкому Максим Горький, участник подготовки восстания, организатор подпольной лаборатории бомб, описывает героические события московского вооружённого восстания:

«...Гремят пушки — это началось вчера с 2-х часов дня, продолжалось всю ночь и непрерывно гудит весь день сегодня... Рабочие ведут себя изумительно!.. Идёт бой по всей Москве! В окнах стёкла гудят. Что делается в районах, на фабриках — не знаю, но отовсюду — звуки выстрелов. Победит, разумеется, начальство, но — это не надолго, и какой оно превосходный даёт урок публике! И не дёшево это будет стоить ему...»

Кровавая оргия царизма вызвала взрыв общественного негодования. 21 декабря 1905 года Леонид Собинов пишет:

«Неужели же кровь этих невинных жертв не падёт на головы истинных виновников этого исторического позора?!»

Всех этих героев усмирения надо посадить по клеткам, устроить зверинец и показывать, как образцы яркого вырождения человечества...

До такой степени ужасно то, что творится в Москве. Трудно допустить, чтобы в людях было так много жестокости, злобы, способности упиваться видом крови, страданий, мучений, смерти. Правительство распустило свои когти и показало свои противестественные инстинкты. Это разрушение колоссальных домов артиллерийскими выстрелами без всякой жалости к жителям — это нечто такое, с чем не мирится человеческая мысль...

Я этих ужасов однобокой управы и правосудия сильного никогда не забуду...»¹.

3

...Пролетариат не побеждён, хотя и понёс потери. Революция укреплена новыми надеждами, кадры её увеличились колоссально... Русский пролетариат подвигается вперёд к решительной победе, потому что это единственный класс, морально сильный, сознательный и верящий в своё будущее в России.

М. Горький.

Декабрьское вооружённое восстание было подавлено, но революция ещё не была побеждена. 9 января 1906 года бастуют рабочие, отмечая годовщину «кровавого воскресенья». Народ надел траур по жертвам царского произвола. Бюро Всероссийского союза сценических деятелей в Петербурге обратилось ко всем артистам с призывом не выступать на сцене в этот день.

Революция глубоко взрыла почву, она подняла к борьбе новые массы. Царское правительство, стремясь расколоть общество, созывает Государственную думу, обещающую манифестом 17 октября.

И вот что происходит:

¹ Фонды Государственного музея революции СССР, № 30906/В2.

«В Таврическом дворце — конституция... В остальной России генералы Думбадзе. К Таврическому дворцу приставлены поручики Пономарёвы, как классные дамы к институткам, чтобы конституция не выходила за пределы дворца и не совалась, куда не надо.

За генералами Думбадзе никто не смотрит, и только от времени до времени их повышают в чинах.

Депутаты в Таврическом дворце поговаривают, генералы Думбадзе постреливают, и таким способом водворяется гармония властей...

Только обыватели должны спать одетыми, часто вскакивают, кричат и поднимают тревогу, не зная, откуда им ждать полного благополучия: снизу, сверху, справа или слева...» (В. Г. Короленко, «Генерал Думбадзе, ялтинский генерал-губернатор»).

Рабочий класс не участвовал в выборах в Государственную думу. Он не принял Думы из окровавленных рук царя и продолжал под руководством большевистской партии готовиться к новому вооружённому восстанию.

«...Русский народ понимает, что его хотят грубо обмануть, и не поддаётся обману. Он готовится к бою.

Этот бой не будет продолжителен и тяжёл, если русскому правительству не дадут денег в Европе на продолжение убийств и казней, бой будет краток и решителен, если народ получит теперь же материальную помощь».

Так писал Горький Анатолию Франсу в 1906 году.

Ответ Анатоля Франса полон глубочайшего сочувствия русской революции и уважения к тем, кто за неё борется:

«...Максим Горький, за вас в нашей стране самые гордые сердца, самые высокие души. В качестве председателя «Общества друзей русского народа» я шлю вам мои пожелания успеха в освободительной революции...»¹.

Царскому правительству Дума была нужна для двойного обмана: своего народа, чтобы отвратить его от революции, и общественного мнения Европы, чтобы получить у иностранных банкиров заём для борьбы с народом. Горький развивает страстную агитацию против царского займа. Он апеллирует к передовым представителям западных стран и обращается с воззваниями к европейским рабочим о помощи их братьям в России.

«Чем скорее грянет ближайшая битва, тем скорей её гром пронесётся по всей земле, и если русский рабочий победит, — рабочие всей Европы, всего света почерпнут в этой победе вдохновение и силу, и уроки для себя...

Поймите, когда речь идёт о рабочем народе, весь мир — одна семья!..»

(Из воззвания к французским рабочим).

Призывы падали на благодарную почву. Под лозунгом «Долой царский заём!» боролись французские пролетарии на парламентских выборах 6 мая 1906 года.

Всё прогрессивное человечество приветствовало русскую революцию. Крупнейшие учёные, деятели литературы и искусства взывали к обществу о помощи русским гражданам, борющимся за права человека и гражданина.

В глазах всех передовых людей мира народная революция в России являлась величайшим шагом человечества вперёд, к свободе.

* *
*

Революция 1905—1907 годов пробудила политическое сознание широчайших народных масс России. Она втянула в борьбу под руководством пролетариата все демократические слои населения.

Много известных и тысячи безвестных подвигов было совершено во имя первой русской революции. Много славных граждан земли русской вписало свои имена в историю бурного 1905 года. Некоторые из них и были названы здесь.

¹ А. Франс. Рассказы. Публицистика. 1950, стр. 139—140.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

В БОРЬБЕ С ВРАГАМИ

Китай

В читальных залах, у едущих в трамвае или в автобусе студентов, на рабочем столе писателя, литературоведа или работников искусства Китая часто можно увидеть тонкие книжки «Вэньбао». Этот журнал в течение последних месяцев из номера в номер помещал материалы литературоведческой дискуссии в Китае, переросшей в широкое движение критики буржуазных взглядов в идеологии.

Наш читатель уже имел возможность по статьям, опубликованным в советской печати, ознакомиться с ходом этой дискуссии, которая привела к разгрому заговорщицкой, враждебной китайскому народу группировки Ху Фына. Напомним лишь, что начало этой дискуссии положила критическая статья о работе литературоведа Юй Пин-бо, исследователя одного из классических произведений китайской литературы — романа «Хунлоумэн» («Сон в красной башне»).

Роман «Хунлоумэн» создан в XVIII веке Цао Сюэ-цинем. В нём с большой впечатляющей силой показана обречённость феодального строя.

Об этом романе написал в своё время пространное исследование Ху Ши, один из реакционнейших представителей современной буржуазной идеологии в Китае (после победы народной революции он вместе с Чан Кай-ши бежал на Тайвань). Он утверждал, что «Хунлоумэн» — всего лишь «семейная хроника», что никаких социальных вопросов роман не поднимает. В своей оценке романа «Хунлоумэн» Юй Пин-бо, по сути дела, солидаризировался с его выводами. В 1952 году он переиздал почти без всяких изменений свою книгу о «Хунлоумэн», написанную в 1923 году. Кроме того, он опубликовал несколько статей об этом романе, в которых также пропагандировал буржуазные концепции Ху Ши.

Против ошибочных взглядов Юй Пин-бо выступили члены Новодемократического союза молодёжи Китая Ли Си-фань и Лань Лин, недавно окончившие Шаньдунский университет. Вначале некоторые журналы, в том числе и «Вэньбао», отказались печатать статью Ли Си-фаня и Лань Лина. Статья их появилась в «Вестнике Шаньдунского университета» и обратила на себя внимание ЦК Коммунистической партии Китая.

В октябре 1954 года газета «Женьминьжибао» — орган ЦК Компартии Китая — решительно поддержала Ли Си-фаня и Лань Лина, и это послужило началом широкой критики буржуазных взглядов в идеологии. Подвергся суровой критике и журнал «Вэньбао». В декабре 1954 года на расширенном заседании президиума Всекитайского объединения работников литературы и искусства и Союза китайских писателей говорилось о том, что журнал занял соглашательскую позицию в отношении буржуазной идеологии, оторвался от реальной борьбы, от масс, утратил чувство нового, что он отдалял, а не приближал к себе молодую, марксистски мыслящую интеллигенцию. Редакция журнала «Вэньбао» признала свои ошибки и приняла активное участие в развернувшейся идеологической борьбе.

Суровому осуждению была подвергнута на страницах китайской печати деятельность литературоведа Ху Фына и его приверженцев, нанёсшая большой вред культурному строительству в новом Китае. Материалы, опубликованные в последних номерах «Вэньбао», проливают свет на контрреволюционное прошлое Ху Фына и его сообщников.

«Вэньбао» («Литература и искусство»), двухнедельный литературно-критический журнал. Орган Всекитайского объединения работников литературы и искусства. №№ 7—15. 1955. Год издания 6-й. Пекин. Редактор: редакционная коллегия.

★

Ещё в 1944 году Ху Фын и его единомышленники основали в Чунцине журнал «Сиван» («Надежда»), где утверждали, что литература не может отражать объективную действительность, что она должна быть выражением «субъективного боевого духа», «духа личной экспансии». Хуфыновцы отрицали классовый характер литературы и национальную форму произведений искусства и литературы. Их журнал выступал против реализма, особенно против социалистического реализма, травил писателей, которые стремились правдиво показывать жизнь.

После победы народно-демократического строя с резкой критикой взглядов Ху Фына в «Вэньбао» выступил ряд деятелей литературы и искусства. Ху Фын тогда предпочёл отмолчаться.

В июле 1954 года Ху Фын представил в Центральный комитет Коммунистической партии Китая доклад в триста тысяч иероглифов (размер доброй повести!), в котором пытался обосновать «свою» программу развития литературы.

Этот доклад, а также статьи критиков-марксистов Линь Мо-ханя и Хэ Ци-фаня, выступавших против антимарксистских взглядов Ху Фына на страницах «Вэньбао», были напечатаны в тысячах экземпляров в качестве приложения к журналу.

В последующих номерах «Вэньбао» с гневной отповедью Ху Фыну выступили многие известные писатели, поэты, драматурги, критики, искусствоведы Китая.

В седьмом номере была помещена статья Го Мо-жо «Антисоциалистическая программа Ху Фына». «Ху Фын считает, — писал Го Мо-жо, — что отстаивать коммунистическое мировоззрение, отстаивать связь писателей с рабочими, крестьянами и солдатами, отстаивать национальную форму, отстаивать подчинённость литературы и искусства политике — значит «вонзать пять ножей в грудь писателя и читателя...». Взгляды Ху Фына тем более опасны, что он выдаёт себя за марксиста. Однако несомненно и то, что хотя затрагиваемые Ху Фыном вопросы как будто и ограничиваются лишь рамками литературы и искусства, на самом деле выходят за эти рамки и являются вопросами общеполитическими».

Приверженцы Ху Фына встретили в штыки критику взглядов своего главаря. «Вэньбао» сообщал (№ 8 за 1955 год), что в Тяньцзине они отстаивали хуфыновские взгляды даже в критических статьях против... Ху Фына. В Шанхае они, скрываясь под вымышленными именами, выступали в защиту Ху Фына якобы от лица различных общественных организаций.

Но волна общественной критики с каждым днём становилась всё сильнее. Это не могло не вызвать замешательства среди хуфыновцев. Тогда они решили изменить тактику и перешли к «самобичеванию» — от нападок на партийное руководство литературой к «признанию» своих ошибок. С этой целью и была написана статья Ху Фына «Моя самокритика». Одновременно с этой статьёй в «Жэньминьжибао», «Вэньбао» и в других газетах и журналах были опубликованы тайные письма Ху Фына своему стороннику Шу У (отошедшему от него в 1952 году). В этих письмах Ху Фын предстаёт как злобный враг национальных интересов китайского народа, его новой литературы.

В дни чанкайшистского господства Ху Фын в одном из писем (25 мая 1944 года) требовал от своих сторонников «...усыплять их (передовых писателей и работников искусства. — Авт.) подозрения, соглашаться с ними, улыбкой прикрывать своё презрение к ним, обмениваться рукопожатиями и шутками. Всё это допустимо, но возлагать малейшую надежду на них будет равносильно унижению своего достоинства».

«Достойным ответом для них был бы хлыст, сделанный из пучка проволоки, обтянутый резиной, которым бьют арестантов. Он разит, не оставляя следов. Я думаю, что это прекрасный способ», — писал Ху Фын о прогрессивных писателях, преследуемых чанкайшистской кликой.

Тайные письма Ху Фына пропитаны ненавистью к коммунистической партии и народу. В течение многих лет хуфыновцы сеяли семена вражды и недоверия к Коммунистической партии Китая, к китайскому народу, к лучшим представителям китайской интеллигенции.

В майских номерах «Вэньбао» напечатал ряд статей писателей, учёных, деятелей искусства и других представителей интеллигенции. В статье «Волк в овечьей шкуре» Чу Ту-нань писал: «Все, кто побывал на войне, знают, что во время сражения самое страшное, если в тыл или, хуже того, в боевую цепь вдруг проникнет враг или преда-

тель. Внешне он как все и ведёт себя, как остальные. В действительности же это злобный исполнитель тёмных замыслов. Ху Фын — это волк в овечьей шкуре, пробравшийся в среду революционных работников литературы и искусства Китая».

«Я прочитал последние материалы, — писал известный драматург Цао Юй, — и у меня возникло такое чувство, что передо мной кучка злобствующих помещиков, которые точат ножи, чистят винтовки, собирают «старые счета», готовые по первому приказу чанкайшистов расправиться с народом».

«Что представляет собой личность Ху Фына, теперь уже разгадано. Но кто же его друзья — вот загадка», — писал в заключение Цао Юй.

Материалы, опубликованные в «Женьминьжибао» и перепечатанные «Вэньбао» и другими органами, дают ясный ответ на этот вопрос. В июльском номере журнала помещена ещё одна подборка писем Ху Фына и его приспешников. Эти письма были написаны уже после освобождения страны. Они сорвали все покровы с кучки врагов революции.

Хуфыновцы старательно скрывали своё прошлое. Теперь оно стало известно. Ху Фын выдавал себя за сына крестьянина-бедняка. На самом же деле он сын крупного помещика из провинции Хубэй. В провинции Цзянси он был «политработником» в антикоммунистической карательной армии. Во время пребывания в Ухани и Чунцине был связан со многими главарями гоминдановской разведки. 12 января 1950 года, когда разгром чанкайшистских армий и освобождение территории Китая близились к завершению, Ху Фын написал из Пекина своему единомышленнику Лу Лину: «...надо быть более хладнокровным, нужно вести работу более тонко и не впадать в пессимизм, даже если на это потребуется пять лет».

Правой рукой Ху Фына был А Лун. В предисловии редакции к материалам, обличающим Ху Фына и его сторонников, говорится: «Ху Фын рекомендовал А Луна как «революционного писателя, стремившегося в течение десяти с лишним лет к революции». А Лун, он же Чэнь И-мын, прежде был гоминдановским офицером. В период антияпонской войны ему удалось проникнуть в антияпонскую военно-политическую академию в Яньани, где он проучился несколько месяцев. Увильнув от фронта, он стал работать преподавателем в чине майора в гоминдановской военной школе в Чунцине. В одном из своих писем к Ху Фыну А Лун сообщал, что он «преисполнен оптимизма» относительно развязанной Чан Кай-ши в июне 1946 года гражданской войны. Главные силы китайской Народно-освободительной армии, пророчествовал А Лун, будут «разбиты в течение трёх месяцев, а в течение года совершенно ликвидированы».

Одним из приближённых Ху Фына был Фань Жань. В 1947 году с помощью своего дяди, командующего чанкайшистской армией, он открыл в Ханчжоу «среднюю школу», ставшую опорным пунктом контрреволюционеров. В 1948 году Ху Фын прибыл в Ханчжоу и предложил Фань Жаню направлять членов своей группировки в освобождённые районы и партизанские отряды для подрывной работы.

В «Вэньбао» опубликованы десятки подобных политических биографий. Мы приведём ещё только одну — Цзя Чжи-фана. Пятнадцать лет назад он начал свою «деятельность» против Коммунистической партии Китая — был редактором газеты карателям, гоминдановским цензором, уничтожавшим прогрессивные книги. В 1942 году участвовал в вооружённой контрреволюционной банде в провинции Шаньси. После победы народно-демократической власти он нашёл себе прибежище в Шанхайском университете.

Нетрудно представить себе истинное отношение этих господ к новому Китаю. «Я ненавижу порядок этого общества», — писал Ху Фыну 27 июня 1950 года его сторонник Чжан Чжун-сяо. «Я точу свой меч, — писал сам Ху Фын, — и высматриваю направление, в котором нужно нанести удар».

Хуфыновцы создавали во многих городах свои опорные пункты, проводили тайные сборища. Ху Фын предлагал своим сторонникам применять тактику «хитрой, лукавой змеи». Его приверженцы пробирались на командные посты в партии, в армии, в издательствах, в государственных предприятиях и учебных заведениях. В Шанхае хуфыновец Пэн Бо-шань проник на пост заместителя начальника бюро культуры военно-административного комитета Восточного Китая, а потом — заведующего отделом пропаганды городского комитета КПК. Он начал с того, что, ссылаясь на исключитель-

ную обстановку, в которой тогда находился Шанхай, хотел закрыть все рабочие дома культуры.

Пэн Бо-шань утверждал, что «китайская опера — наследство феодального общества и поэтому нет нужды сохранять её». Он пытался закрыть известную в Советском Союзе по её выступлениям летом нынешнего года Шаосинскую оперу. Он поощрял издание в Шанхае реакционных книг и запрещал печатать о них отрицательные отзывы. Так было с книгой хуфыновца Цзи Фана «Здесь не бывает зимы». Это произведение, искажённо показывающее действительность, вызвало возмущение читателей. Газета «Цзефанжибао» опубликовала их письма и тем самым навлекла на себя гнев и немилость Пэн Бо-шаня.

С его помощью группа хуфыновцев проникла в Шанхайское государственно-частное «Издательство новой литературы» и в течение трёх лет вела (по их собственному выражению) бой за то, чтобы «вырвать сердце» у художественной литературы. Хуфыновцы отклоняли рукописи передовых писателей, не печатали произведения молодых литераторов из народа и выпускали одну за другой большими тиражами клеветнические книги Ху Фына и его сторонников. Они издали порочные стихи хуфыновца Лу Ли и расхвалили их в печати: «Это цветы. Каждый цветок — ароматный и красочный — дифирамб современности». Реакционная книга хуфыновца А Луна «Поэзия и действительность», выпущенная в Пекине, была подвергнута беспощадной критике. Тогда А Лун изменил название книги, и её охотно переиздали большим тиражом его шанхайские друзья.

Так же подло действовали хуфыновцы в Пекине, Тяньцзине, Ухани, Ханчжоу и во многих других городах.

Писания хуфыновцев исполнены клеветы на народ, искажают китайскую действительность. Журнал «Вэньбао» критиковал «произведения» хуфыновцев. обстоятельной критике подвергся рассказ Лу Лина «Сражение в трясине». В двенадцатом номере «Вэньбао» критик Ло Сунь писал по поводу повести хуфыновца Цзи Фана «Здесь не бывает зимы», что в ней восхваляются помещики и принижены образы крестьян. Сельские кадровые работники изображены с издёвкой, карикатурно. В этом же номере писатель Кан Чжо выступил со статьёй о Лу Лине, который в своих произведениях о дореволюционной деревне изображал народ покорным стадом. В новых произведениях — «Работница Чжао Мэй-ин», «История Чжу Гуй-хуа» — Лу Лин поставил своих героев в условия искусственных конфликтов с революционным коллективом. Он всячески подчёркивает их неверие в завоевания революции.

В заключение нашего обзора скажем несколько слов о связях Ху Фына и его единомышленников с выброшенными китайским народом с континента чанкайшистами.

В одном из последних номеров «Вэньбао» опубликована статья Гу Фаня о том, как чанкайшисты, в зависимости от обстоятельств, занимали в отношении Ху Фына то одну, то другую линию. В Гонконге выходит чанкайшистская газетёнка, громко именующая себя «Оплот свободы». Когда в январе—апреле в Китае развернулась критика идеологических взглядов Ху Фына, этот листок приветствовал выступления Ху Фына против КПК и китайского народа, заявляя, что «все сторонники демократии, выступающие против коммунизма, должны придерживаться взглядов Ху Фына». Однако в дальнейшем, когда была опубликована переписка Ху Фына, в газетных киосках Гонконга появился новый номер «Оплота свободы», утверждавший, что Ху Фын всего лишь человек «недовольный» и что в его выступлениях «нет и намёка на нападки против коммунистической партии».

Так чанкайшисты пытались выгородить своих провалившихся агентов. Но когда были опубликованы новые материалы, окончательно разоблачившие контрреволюционный характер хуфыновской группировки, гоминдановские газеты и журналы стали проговариваться о связях Ху Фына с кликой Чан Кай-ши. Недавно в передовой статье чанкайшистская газета «Тайвань синьшэнбао» признавала, что группа Ху Фына «имела связи с гоминданом». А чанкайшистское радио обратилось с открытым письмом к сторонникам Ху Фына, призывая их продолжать контрреволюционную борьбу против китайского народа.

Ху Фын разоблачён. Для полноты его портрета упомянем лишь о его необыкновенном, доходящем до смешного самомнении. Ослеплённый этим гиперболическим само-

мнением, Ху Фын забыл о поучительной басне, рассказывающей о судьбе жалкого насекомого — по-китайски «данлана» — жука-богомла. Данлан пытался преградить путь повозке с грузом в тысячу цзиней. Для жука этот поединок окончился печально: первое же прикосновение колеса раздавило его.

В связи с разоблачением Ху Фына и его группировки Коммунистическая партия Китая призвала народ ещё больше повысить бдительность и решительно бороться со всякими проявлениями буржуазной идеологии.

Савва КОЖЕВНИКОВ,
Сергей ФРОЛКИН.

СПИТ ЛИ ФРАНЦИЯ?!

«Франция спит», «Франция скатилась в пропасть пассивности», «Франция...» Впрочем, не будем перечислять все едкие изречения буржуазных социологов, философов, политиков, публицистов по адресу Франции. Подобных критиков обнаружилось в последнее время немало как в самой Франции, так и за её пределами — в Америке, Англии, Швейцарии... Наставлять Францию на путь истины стало модой в буржуазном мире. Но посмотрим, что об этом думает сама Франция, патриотическая, прогрессивная Франция, что думают подлинные выразители её национальных интересов.

Перед нами один из последних номеров прогрессивного французского журнала «Ля нувель критик». Он как раз посвящён критике буржуазных «критиков» Франции. Название журнала выражает характер этого издания. Слова на обложке — «Журнал воинствующего марксизма» — определяют идейное направление публикуемых в нём материалов, его боевой дух. Журнал завоевал широкое признание у друзей и защитников социального прогресса смелой критикой реакционной буржуазной идеологии с марксистских позиций, освещением актуальных научных, теоретических и политических проблем.

Журнал этот можно назвать не только общественно-политическим, но также и литературно-критическим. Наряду с теоретическими материалами по проблемам современной политики и науки (социологии, философии, биологии, лингвистики и т. п.) на страницах журнала «Ля нувель критик» разрабатываются проблемы эстетики, публикуются статьи о литературе, кино, театре, музыке, живописи. В последние годы в качестве приложения к литературно-критическому отделу в журнале публикуются художественные произведения, в том числе и переводные. В своё время здесь, в частности, были опубликованы переводы произведений советских писателей Е. Успенской, С. Антонова, Р. Кима, повесть китайского прозаика Чень Дзнь-кэ «Могила живых людей», стихи и повести М.-А. Нексе и других.

Журнал «Ля нувель критик» занимает передовые позиции в критике современных буржуазных теорий во всех областях общественной и духовной жизни. На его страницах последовательно разоблачаются такие философские течения, как прагматизм и семантизм, политические теории правых социалистов и т. д. В период шумихи по поводу создания так называемых «европейских пулов», ставивших своей целью «атлантическую» универсализацию Западной Европы (техники, науки, промышленности, искусства, идеологии), журнал разоблачал реакционный, антинациональный характер этого предприятия. Он выступил в защиту национальных интересов Франции, её экономики, науки, искусства. Журнал защищает французский язык от атак проповедников различных космополитических теорий.

Но вернёмся к 67-му номеру журнала. Этот номер посвящён разоблачению самых «новых» буржуазных теорий, направленных против прогрессивной идеологии и прогрессивного движения во Франции, неизбежно нарастающего, набирающего силы.

«Антимарксизм 1955 года и воинствующий марксизм» — озаглавлен в целом номер журнала. Этой теме посвящены все собранные в нём материалы. «Злоключения антима́рксизма» — называется первый раздел, носящий характер политически острого, теоретически обоснованного памфлета.

Франция

«Ля нувель критик» («Новая критика»), журнал воинствующего марксизма. Специальный номер. Июль—август, 1955. № 67. 7-й год издания. Париж. Главный редактор Жан Канапа.

★

«Почему мы выпускаем этот специальный номер?» — спрашивает Жан Канапа в передовой статье и замечает, что на этот вопрос можно ответить другими вопросами: почему, например, наряду с потоком журнальных и газетных статей о Франции публикуются труды вроде книги швейцарца Люти «Франция в час застоя», дающей совершенно извращённую картину, утверждающей, что Франция окаменела, превратилась в лавочницу, что она «испытывает страх перед жизнью»? Почему выходит книга англичанина Метьюза «Смерть четвёртой республики», которая ставит своей главной целью убедить читателя, что Франция «скатилась в пропасть пассивности»? Почему главной темой каждого номера основанного Мендес-Франсом «нового левого» еженедельника «Экспресс» стало утверждение, что «Франция спит»? Почему выходят почти одновременно сопровождаемые большой шумихой такие книги, как «Приключения диалектики» Мерло-Понти, «Опиум интеллигенции» Арона, «Освобождённая литература» Этьембля, и почему издательство Ашет в своей «малой серии классиков» предлагает лицеистам для размышления сочинения Мальро?

Весь этот поток писанины вливается в общую реакционную волну, замечает журнал. Подобной волной хотят захлестнуть Францию в период, когда достигают успехов защитники мира, когда в стране нарастает движение за единый фронт трудящихся, происходит сплочение всех национальных демократических сил. В политическом положении Франции могут произойти глубокие изменения, при которых демократическое движение приобретёт ещё больший размах. Буржуазная реакция это знает и этого боится. Она прилагает все усилия к тому, чтобы затормозить и дезорганизовать движение за единство патриотических национальных сил. Наряду с другим оружием она прибегает к средствам деморализации, насаждению скептицизма, проповеди покорности и пассивности. Причём всё это подаётся под видом сочувствия Франции. Буржуазная реакция стремится «нейтрализовать» те прослойки населения, и в частности интеллигенцию, которые могут выступить в качестве союзников рабочего класса. Она направляет свои удары против коммунистов, справедливая политика которых вызывает одобрение всё более широких социальных слоёв, против идеологии коммунизма, перед которой испытывает патологический страх.

Разоблачить подлинные цели буржуазных теоретиков и идеологов, обнажить их приёмы и средства мистификации поставил своей задачей журнал «Ля нувель критик», выпуская специальный номер об антикоммунизме 1955 года.

Материалы номера охватывают различные аспекты идеологической борьбы. Здесь подвергается критике с прогрессивных позиций философская похлёбка Мерло-Понти, которого журнал характеризует как законодателя последней моды в буржуазной философии, стремящегося примирить субъективизм с материализмом. В статье «Господин Арон потрясает науку» раскрываются приёмы ещё одного буржуазного «открывателя» социальных законов, стремящегося «устранить расхождения» между марксизмом и реформизмом, демократией и фашизмом.

Последним словом буржуазной моды в области эстетики и литературной критики во Франции, судя по всему, считаются сочинения Мальро и Этьембля. И, естественно, журнал «Ля нувель критик» направил оружие своей критики против этих живых идейных противников.

Мальро нашему читателю известен. До второй мировой войны он писал романы и считал себя антифашистом. После войны он ни на то, ни на другое не претендует. Романов не пишет, против фашизма и войны голоса не поднимает. Мальро выступает теперь в роли критика и теоретика искусства.

Этьембль до сих пор у нас был неизвестен, но о нём также можно сказать кратко. Этьембль выступает в области литературной критики, издаёт свои статьи отдельными книжками и, подобно Мальро, стремится латать и подновлять изношенный халат буржуазной идеалистической эстетики, хотя из этого, как увидим, ничего нового не получается. Этьембль выступает в качестве поборника «освобождения» литературы, стремится кодифицировать принципы «свободной» критики.

Ив Бено, автор статьи о двух томах критических «трудов» Этьембля, опубликованной журналом «Ля нувель критик», замечает по этому поводу, что позиции, с которых смотрит на литературу и на жизнь критик, не могут привести его к какой-либо логической системе. Страх перед коммунизмом у Этьембля превратился в патологическое

состояние, лишившее его чувства логики, способности к связному, систематическому мышлению.

Посмотрим, что же это за принципы, которые провозглашает Этьембль?

Первый из них — защита «умственной свободы». Критик патетически восклицает, что он готов умереть за строй, который гарантирует физическую и умственную свободу.

Но умер ли Этьембль в 1953 году, во время провозглашения этого принципа? Журнал «Ля нувель критик» напомнил, что в то самое время, когда вышла из печати книга Этьембля, писатель Андрэ Стилль, герой французского народа Анри Мартэн и другие французы находились в тюрьме или же избивались дубинками за их патриотическую деятельность, за то, что они отстаивали принципы свободы, демократии и мира. Нет, господин Этьембль не умер. Напротив, он даже не думал подать голос против режима, по законам которого так грубо и зримо «охраняется» принцип умственной свободы.

За какой же свободный мир, за какую умственную свободу ратует Этьембль? Журнал «Ля нувель критик» восполняет то, чего не договаривает буржуазный критик. Этьембль провозглашает «свободу духа» ради защиты капиталистического порядка, идеологии и литературы империализма и допускает свободу репрессий против демократического освободительного движения, против прогрессивной мысли.

Второй принцип, который Этьембль стремится узаконить, — противопоставление реальной, идейно направленной критике критики абстрактной, витающей вне времени и пространства. Цель подобной свободной критики — освободить литературу и самую критику от связи с реальностью, с социальными проблемами своего времени, проповедовать литературу, которая витает вне мира сего. Старая песня о башне из слоновой кости! Какой же новый смысл вкладывает в неё Этьембль?

Нужно помешать тому, чтобы внимание современных писателей было привлечено к проблемам, наиболее остро волнующим людей, определяющим судьбы общества. Поскольку этим решающим фактором современности являются победы фронта мира, демократии и социализма, нужно помешать, чтобы французские писатели разделяли чувства миллионов французов к Советскому Союзу и странам народной демократии, нужно помешать их участию в демократическом движении внутри страны. Этьембль стремится убедить, что лучше в наше время совсем не быть писателем, лучше запереться в башне.

Будь Этьембль до конца откровенным, он провозгласил бы принципом критики осуждать вообще всякое настоящее художественное творчество, потому что подлинное искусство, как свидетельствует вся история развития художественной мысли, никогда не чуждалось важнейших социальных проблем своей эпохи, смотрело открытыми глазами на историю, отражало её, активно участвовало в ней.

Так выглядит в подлинном свете «гигиена», которую хотел бы навести во французской литературе Этьембль, автор книги «Гигиена литературы».

Мы изложили, естественно, лишь важнейшие замечания и выводы, которые делал журнал «Ля нувель критик» по поводу критических работ Этьембля и которые следовало сделать. Добавим, что журнал называет подобную критику почтенного автора патологической. Она порождена патологическим страхом перед прогрессивными силами французского общества, прогрессивной художественной мыслью.

Чтобы подчеркнуть, в какую «умственную пустыню» зовёт критик Этьембль, предписывающий реакционные догмы, журнал «Ля нувель критик» приводит суждение Арагона, рассматривающего назначение литературной критики в плане социалистического реализма. Её задача — освещать пути художественного творчества, раскрывать значимость созданных и побуждать рождение новых произведений.

Ну а что же внёс в эстетику Мальро? Почему его суждения вызывают во Франции много шума? Почему его бесконечно повторяют в газетах по искусству, в газетных и журнальных статьях, на выставках?

Повторяют не теоретические определения или мысли, уточняет автор опубликованной в журнале «Ля нувель критик» статьи «Эстетика или религия» Пьер Меран. Повторяют фразеологию Мальро, ловкие обороты речи, формулы. Хождение их в виде разменной монеты тем более облегчается, что концепции Мальро построены на избитых об-

щих понятиях, бытующих в среде декадентской буржуазной интеллигенции. А что касается книг Мальро по искусству, то не много во Франции найдётся людей, которые их читали.

Произведения Мальро нельзя всерьёз принимать за научные труды ни по методу исследования, ни по форме, ни по тону. Это каскады фраз. Словесный «там-там». И если терпеливо попытаться проникнуть в этот словесный мрак, иронизирует автор статьи, то гора рождает мышь. Вы обнаружите лишь банальные, сотни раз пережёванные понятия.

Мальро пользуется старыми, как сама философия, метафизическими и идеалистическими атрибутами. Он отрывает элементы художественной формы от существа искусства, возводит их в абсолют и создаёт мистическую догму. Для наглядности можно привести суждения Мальро о стиле. Искусство, считает он, «меньше стремится видеть мир, чем создавать из него мир другой. Мир служит стилю». «Воспроизведение является стилистическим средством, но не стиль является средством изображения», — утверждает Мальро, ставя всё с ног на голову.

Всю историю искусства Мальро рассматривает лишь как смену форм. «Живописец переходит от одного рода форм к другому роду форм, писатель переходит от слов одного рода к словам другого рода» — вот и всё толкование истории искусства и литературы у Мальро.

Не оригинален Мальро и в исходных основах своей философии искусства. Он лишь повторяет кантианскую идеалистическую и формалистическую систему взглядов. «Искусство повинуется своей собственной логике, которая не может быть предугаданной, так как открыть её — функция гения» — вот основа основ всех эстетических суждений Мальро, та печь, от которой он танцует. Новое в суждениях Мальро разве только в том, что он превращает искусство в мистику, эстетику — в религию, художников — в служителей «храмов и пустынь» искусства.

В основе художественного творчества и развития искусства Мальро находит мистическую «внутреннюю схему», которая ищет своего направления. Он отрывает искусство от действительности, очищает его от содержания, идейного направления. Произведения искусства Мальро выделяет в некий автономный мир.

Нет необходимости глубже владаться в дебри суждений, в которых, по словам журнала «Ля нувель критик», обнаруживается «чудовищная деформация формализма», современный вариант эстетического идеализма, идущего от Канта.

Следует, однако, сказать о практическом назначении книг Мальро по искусству и шумихи вокруг его словесных формул.

Религия Мальро в области эстетики не только отражает, но и питает наиболее крайние формалистические течения современного буржуазного искусства, сторонники которых находят смысл в творчестве там, где исчезает содержание произведения. Специальный заказ этой эстетики — оторвать искусство от реализма, изолировать от живой современности, увести художественную интеллигенцию от участия в борьбе за преобразование мира, которое теперь — не в пользу буржуазии.

Здесь, как видим, Мальро смыкается с Этьемблем.

Но судьбы французского искусства, увы, зависят не от желания буржуазных тесретиков, эстетов и критиков. Жизнь общества и социальная борьба питают и направляют его развитие.

Во Франции живут и действуют силы, которые ведут и зовут страну не в бездну пассивности, а её художественную интеллигенцию — не в храмы полубреда. Они борются за то, чтобы возродить величие Франции и её художественного гения. Эти силы дают отпор декадентам и мистикам, выразителям унадка и деградации.

Мы это видим на примере журнала «Ля нувель критик», о котором шла речь.

Евг. ТРУЩЕНКО.

ВМЕСТЕ С НАРОДОМ

Первые номера журнала «Ван Нге» увидели свет семь лет назад, в те трудные дни, когда вьетнамский народ с оружием в руках отстаивал свободу и независимость своей страны.

В 1948 году группа писателей, поэтов и художников создала в джунглях Северного Вьетнама типографию. Журнал печатался на грубой серой бумаге, изготовленной на одной из кустарных фабрик в лесах.

В те годы не раз бывало так: только построят навес из бамбука, расставят печатные станки, как где-то совсем рядом гремят выстрелы, слышится зловещий рокот вражеских самолётов, и надо немедленно перемещаться в другое, более безопасное убежище в джунглях или в горную пещеру...

«Ван Нге» сразу же завоевал симпатии народа, и все десять тысяч его экземпляров расходились полностью. Рабочие слали в редакцию стихи, рассказы, пьесы о трудовых подвигах своих товарищей. Крестьяне писали о переменах в жизни деревни, освободившейся от деспота-помещика и старосты. Воины рассказывали о героизме своих товарищей по оружию. И очень много было стихов. Вьетнамцам вообще присуща любовь к стихосложению. Не будет большим преувеличением, если сказать, что в каждом вьетнамце живёт страсть к поэзии.

Журнал вырастил целую плеяду молодых поэтов и прозаиков, вышедших из самой гущи народа. Их рассказы, очерки, пьесы, которые печатались в годы освободительной войны на страницах «Ван Нге», часто имели большое практическое значение: они указывали крестьянам, как преодолеть хозяйственные трудности; рабочим давались советы, как организовать на производстве соревнование и повысить производительность труда. Всё, чем жил тогда сражающийся Вьетнам, находило свой отклик на страницах «Ван Нге», и книжки журнала, собранные месяц за месяцем, год за годом, можно смело назвать энциклопедией жизни борющегося и побеждающего народа.

Женевские соглашения, заключённые в прошлом году, принесли мир Индо-Китаю. Перед вьетнамскими писателями открылись большие возможности и встали новые задачи. В связи с этим с ноября 1954 года «Ван Нге» становится двухнедельным изданием, а с июля 1955 года начинает выходить еженедельно. В состав редакции входят известные вьетнамские поэты, писатели, композиторы, художники: драматург и публицист Нгуен Хюй Тьонг, поэт и публицист Суан Зьеу, писатель Нгуен Туан, художник Чэн Ван Кэн, публицист Нгуен Хью Данг, композитор Нгуен Сюан Кхоат, архитектор Нгуен Као Люен, поэт и драматург Тхэ Лы, поэт Ту Мо. Поэт и прозаик Нгуен Динь Тхи — главный редактор еженедельника.

«Ван Нге» теперь большое место уделяет задачам литературы и искусства, проблемам художественного мастерства, критическому разбору новых произведений литературы, живописи, музыки и т. д. В одном из номеров этого года журнал опубликовал статью писателя Лыу Чонг Лы. Автор говорит о долге писателя перед родной страной, отстоявшей право на мирный, созидательный труд. Писатель должен запечатлеть картины мирного строительства, образ вьетнамского патриота-труженика. Развитие народной жизни подсказывает литературе новые темы. Отношения между людьми, проблемы семьи, любви, дружбы — таков круг тем, которые всё ещё ждут писателя. Но значит ли это, что вьетнамская литература может отвернуться от богатой героическими событиями военной истории последнего десятилетия?

Говоря о военной тематике, которая в течение многих лет определяла творческие устремления работников литературы и искусства, Лыу Чонг Лы подчёркивает, что вьетнамские писатели будут не раз ещё возвращаться к таким крупным событиям вооружённой борьбы за независимость и свободу страны, как, например, славная победа войск демократического Вьетнама под Дьен Бьен Фу.

В последних полученных нами номерах «Ван Нге» подводит в специальной статье некоторые итоги развития литературы и искусства за год, прошедший после заключения

Вьетнам

«Ван Нге» («Литература и искусство»), еженедельник, орган Всеветнамского общества литературы и искусства, №№ 76—78. Июль, 1955. Год издания 7-й. Ханой. Главный редактор Нгуен Динь Тхи.

★

перемирия. За этот год только издательством «Литература и искусство» было выпущено сто пять книг общим тиражом около миллиона экземпляров. Спрос народа на художественную литературу растёт с каждым днём. Новыми изданиями вышли лучшие произведения, написанные в военные годы, такие, как «Угольный район» Во Хюн Тама и «Буйвол» Нгуен Ван Бонга, сборник стихов «Северный Вьетнам» То Хью и другие книги. Среди новых произведений большой популярностью пользуется «Побег с острова Кон-Дао» Фунг Куана.

«Ван Нге» призывает писателей и деятелей искусства разрабатывать тему единства страны, борьбы за мир. Главная задача вьетнамских художников слова, подчёркивается в статье, — ярко и полно раскрывать образы людей нового Вьетнама, их глубокий патриотизм, веру в прекрасное будущее родной страны.

«Ван Нге» регулярно откликается на выходящие в свет новые книги. Поэт Тэ Тхань пишет о новой книге одного из молодых прозаиков Вьетнама, Хоай Тханя, «Любимый Юг». Автор побывал в Южном Вьетнаме в составе группы по наблюдению за перегруппировкой войск. Хоай Тхань с любовью описывает красоту родной земли, плодородные долины, бескрайние поля, дорогие сердцу каждого вьетnamца. Основываясь на документах и фактах, Хоай Тхань разоблачает преступления колонизаторов и их приспешников. В романе показана решимость вьетнамских патриотов добиться воссоединения Севера и Юга страны.

Критик указывает и на недостатки книги. Многие из них характерны для современной вьетнамской прозы. Это прежде всего бедность изобразительных средств, протокольность изложения. «Нередко автор переходит к простому перечислению фактов и цифр и спешит сделать выводы сам, тогда как, — указывает Тэ Тхань, — нужно писать так, чтобы читатели сами делали выводы, нужно подводить читателей к правильным выводам».

В том же номере помещена статья Хок Фи о двух новых пьесах: «Пламя вспыхнуло» и «Национальное знамя». Обе пьесы посвящены той же теме, что и книга Хоай Тханя, — борьбе населения Южного Вьетнама за единство страны. В пьесе «Пламя вспыхнуло» Фан Ву в центре драматического повествования — подвиг четырнадцатилетнего вьетнамского мальчика Тама. Действие пьесы относится к началу 1946 года, когда войска колонизаторов оккупировали вновь Сайгон. Там остался в городе с матерью. Они с трудом жили на деньги, вырученные от продажи земляных орехов. Дядя Тама, Динь, поручил мальчику завязать знакомство со сторожем на складе горючего, предателем Тьонгом, и получить сведения о замыслах врага. От Тьонга мальчик узнаёт, что колонизаторы готовятся к атаке против сил Народной армии. Динь решает немедленно взорвать склад. Но случилось так, что Диня ранили, его могут схватить враги. Тогда Там решает действовать один. Обильно смочив свою одежду горючим, он пробрается к складу, поджигает себя и, превратившись в живой горящий факел, взрывает цистерны с горючим.

Пьеса, поставленная Южной театральной труппой, производит огромное впечатление на зрителей. Рецензент, отмечая успех пьесы, подробно разбирает её недостатки. По мнению критика, образ мальчика не вполне правдоподобен. Автор наделил четырнадцатилетнего подростка чертами и качествами опытного бойца, и образ Тама теряет естественность.

В пьесе «Национальное знамя» артистки и писательницы Сон Ким, как считает критик, тот же серьёзный недостаток — характеры персонажей разработаны неглубоко.

Вьетнамские читатели проявляют всё больший интерес к литературе и искусству Советского Союза и стран народной демократии. «Ван Нге» регулярно печатает отрывки из произведений русских и советских писателей, а также писателей стран народной демократии, в особенности китайских. Много внимания уделил еженедельник материалам Второго Всесоюзного съезда советских писателей.

«Ван Нге» стремится знакомить читателя с различными областями культурной жизни. Интересны заметки архитектора Нгуен Као Люена об одном из древнейших памятников вьетнамской культуры — «Храме колонны» в Ханое. Он сооружён на гигантском пне и представляет колонну, в верхней части которой расположены помещения храма. «Храм колонны» — один из самых оригинальных памятников древней вьетнамской архитектуры. Он был построен вьетнамскими мастерами в 1049 году —

более девятьсот лет назад. С тех пор храм не раз перестраивался и реставрировался. В 1954 году, уходя из Ханоя, французские войска взорвали его. Но архитекторам демократического Вьетнама удалось восстановить «Храм колонны», вернув ему первоначальный облик.

Начиная с июльского номера, редакция «Ван Нге» публикует очерки о трудовой жизни вьетнамского народа. В еженедельнике находят отражение и важнейшие политические события, появляются карикатуры и сатирические стихотворения, разоблачающие замыслы противников всеобщих выборов и воссоединения страны.

«Ван Нге» — боевой орган молодой вьетнамской интеллигенции, несущей народу свет культуры и знания.

И. ГЛЕБОВА.

НОВОЕ О МИЦКЕВИЧЕ

Польша

Около четырёх десятилетий выходил журнал «Паментник литерацкий» до того, как после перерыва, вызванного войной, издание его было возобновлено в Народной Польше. Возникает вполне закономерный вопрос: каковы традиции этого журнала? Какое наследство получила от своих предшественников нынешняя его редакция?

Скажем сразу: неважные традиции, убогое наследство!

Заглянем хотя бы в комплект «Паментника литерацкого» за 1902 год — первый год его существования. Том в семьсот с лишним страниц. На красной обложке — ирония судьбы! — (теперь «Паментник» выходит в обложке голубого цвета) значится, что издателем журнала было «Литературное общество имени Адама Мицкевича». В составе редакции и ближайших сотрудников мы находим имена столпов польского буржуазного литературоведения — В. Брухнальского, Ю. Калленбаха, С. Виндакевича и других.

Раскрыв том, постараемся выяснить только одно — что в этом органе общества имени Мицкевича напечатано о Мицкевиче? Устанавливаем: три сообщения. Из первого мы узнаём, что знаменитой балладой Мицкевича «Романтика» мы обязаны Шиллеру и Шлегелю, у которых он «несомненно почерпнул и замысел и частично высказывания для сформулирования своего романтического лозунга». В другом сообщении указываются прямые заимствования из датской баллады в балладе «Пани Твардовская», а в «Дзядах» — из Шекспира, Гёте, Тика и Бюргера. Но третье сообщение под названием «Элемнты баллады в «Конраде Валленроде» потрясает совершенно изумительными открытиями. Выясняется, что эта поэма, с призывами которой шли в бой польские повстанцы 1830 года, вовсе не поэма, а собрание баллад, причём не оригинальных, а опять-таки заимствованных у Гёте, Уланда и Шиллера. Конрад Валленрод, над образом которого Мицкевич работал в течение нескольких лет, оказывается всего-навсего помещью шиллеровских героев — рыцаря Тогенбурга и графа Габсбургского, Альдона — слепком с возлюбленной Тогенбурга, а Вайделот Хальбан — копией певца, выступающего на пиру у графа Габсбургского, ибо и тот и другой седовласы и оба поют песни.

Сообщения эти были отнюдь не случайны, это плоды космополитической, компаративистской «теории», которая главенствовала в польском литературоведении с начала нынешнего века. Приведённое — только цветочки по сравнению с теми ягодками, которые мы обнаруживаем в изысканиях таких «китов», как профессор С. Виндакевич, один из ближайших сотрудников старого «Паментника литерацкого». В своём труде о «Пане Тадеуше» он называет столько авторов и произведений, которых «обобрал» Мицкевич, что одно перечисление их заняло бы несколько страниц.

Буржуазные польские литературоведы немало потрудились над тем, чтобы исказить образ великого революционного поэта, представить его бардом кунтушной шляхты, проповедником религиозного мистицизма. «Сколько раз, — писал в одной из своих статей о Мицкевиче профессор Бой-Желенский, — увечили его страстную мысль, иска-

«Паментник литерацкий» («Литературные записки»), ежеквартальный журнал истории и критики польской литературы. Орган Института литературных исследований Польской Академии наук. №№ 1, 2. 1955. Год издания 46-й. Варшава—Вроцлав. Главный редактор Тадеуш Микульский.

★

жали этот мятежный образ для того, чтобы принизить его до уровня банальных славословий, провозглашаемых у бронзового подножия памятников. Сколько раз имя и слово Мицкевича служили знаменем и лозунгом для партий, которые были ему чужды и даже ненавистны. Сколько раз мракобесие и эгоизм прикрывались именем того, чья мысль была их отрицанием». Для того, чтобы великий поэт не предстал выразителем передовых идей века и борцом за свободу своего народа, каким он был в действительности, эти люди «отдавали весь свой пыл псевдонаучным исследованиям, перече́ркивая всё оригинальное и истинно национальное в творчестве Мицкевича, низводя его до степени подражателя и чуть ли не плагиатора».

Таково было наследство, которое получили от старой редакции «Паментника литерационого» литературоведы Народной Польши, когда они возобновили издание этого журнала. От этого наследства надо было отказаться, эти традиции нужно было отбросить. Надо было обратиться к другим традициям, забытым, но подлинно благородным.

Само собой разумеется, что в Польше были и передовые критики. Назовём хотя бы два имени — Эдварда Дембовского и Бронислава Бялоблоцкого. Первый из них, современник Мицкевича, революционер и демократ, философ-материалист, оставил значительные труды по вопросам литературы, сохраняющие до сих пор свою ценность. Бронислав Бялоблоцкий, участник революционного движения конца XIX века, отстаивал в своих статьях реалистическое искусство, служащее делу борьбы за новый общественный правопорядок.

Надо было воскресить имена этих писателей, их труды и в то же время разработать на основе опыта советского литературоведения марксистскую теорию литературы. Редакция «Паментника литерационого» опубликовала ряд интересных очерков Самуэля Сандлера «У истоков марксистской литературной критики в Польше» — о Б. Бялоблоцком, цикл статей Ст. Жулкевского о старом и новом литературоведении, «Очерки марксистской теории литературы» Генрика Маркевича и другие.

Надо было пересмотреть и переоценить всю историю польской литературы. В статье «Развитие литературных исследований», помещённой в четвёртом выпуске «Паментника литерационого» за 1954 год, профессор Ст. Жулкевский подвёл итоги деятельности польских литературоведов за первое десятилетие существования Польской Народной Республики. Начало нового этапа профессор Жулкевский относит к 1948—1949 годам, когда состоявшийся в Щецине съезд польских писателей провозгласил социалистический реализм основным методом развития польской литературы и когда был учреждён Институт литературных исследований, ставший центром марксистской науки о литературе в Польше. Борясь с буржуазными пережитками, вульгаризаторством, социологизмом и догматизмом, польские литературоведы добились не только перелома, но и весьма значительных положительных итогов.

«Паментник литерационный» уделял большое внимание литературе польского романтизма и творчеству Мицкевича. Буржуазные исследователи, в течение нескольких предвоенных десятилетий заполнявшие журнал своими «трудами», видели в польском романтизме выражение религиозно-мистических тенденций, проповедь мессиянства, пассивной жертвенности. В этом свете они рассматривали и творчество Мицкевича, не только не выделяя революционного характера романтизма великого поэта, но сближая его с реакционными романтиками Запада. В статьях Ст. Жулкевского, К. Выки, М. Жмигродской и других установлена связь литературы польского романтизма с развитием идеологии польских шляхетских революционеров, с преодолением ими ограниченности этой идеологии, с их приближением к идеям революционной демократии. Герои романтической литературы предстают не как исключительные личности, а как типические герои определённого этапа классовой и национально-освободительной борьбы. Критериями для оценки романтических произведений становятся их реалистические тенденции, их народность, их патриотизм, их революционность.

Итогом работ Института литературных исследований над творчеством Мицкевича явилась книга Ст. Жулкевского «Борьба за Мицкевича». Со страниц этой книги встаёт подлинный Мицкевич, великий поэт, демократ и революционер. Можно сказать, что книга Ст. Жулкевского перечеркнула все ложные концепции и оградила исследователей творчества Мицкевича от влияния этих концепций.

Это, конечно, не исключает дискуссий ни по отдельным положениям книги Жулкевского, ни по отдельным проблемам польского романтизма. Весьма плодотворна была дискуссия на страницах журнала, вызванная напечатанной в нём статьёй К. Выки «О романтическом реализме». Один из виднейших современных польских литературоведов, К. Выка, высказал в этой статье много чрезвычайно ценных соображений, но неверной была сама по себе его попытка ввести термин «романтический реализм». Статьи М. Жмигродской и К. Будзика внесли ясность в этот вопрос и помогли правильно оценить реалистические тенденции, имевшиеся и в ранних произведениях Мицкевича и получивших полное выражение в «Пане Тадеуше».

«Паментник литераций» опубликовал ряд интересных исследований В. Кубацкого, составивших затем две его книги—«Пальмира и Вавилон» и «Пловец и пилигрим». Наиболее значительна его последняя статья «Легенда о польском пилигриме». В ней идёт речь о легенде, созданной буржуазными исследователями, утверждавшими, будто уже в 1829—1830 годах Мицкевич в папском Риме проникся религиозно-мистическими воззрениями и будто бы с тех пор они определяли его творчество. В Кубацкий убедительно показывает, что не только в эти годы, но и позднее, в Дрездене и Париже, Мицкевич был далёк от религиозных настроений и всё его творчество вдохновлялось сознанием и чувствами патриота и революционера. Период религиозных настроений начался лишь в 1844—1845 годах под влиянием царившей в Европе реакции и длился лишь до той поры, когда раздалась первая предгрозовая раскаты революции 1848 года.

Уделяя основное внимание анализу творчества Мицкевича, новые польские исследователи проявляют интерес и к его биографии, но опять-таки, в отличие от своих предшественников, к тем фактам, которые имеют существенное значение для характеристики жизненного пути поэта. В этом отношении стоит отметить опубликованное в первом номере «Паментника литераций» за этот год сообщение Л. Подгорского-Околува «Два письма Мицкевича». Автор останавливается на поездке Мицкевича из Вильно в Ковно в июне 1824 года, когда он после тюремного заключения по делу тайной организации филаретов¹ был выпущен на поруки И. Лелевеля и находился под надзором полиции, не имея права свободного выезда из города. Л. Подгорский-Околув ставит под сомнение существовавшую версию, будто Мицкевич совершил эту поездку, чтобы проститься со своей ковенской знакомой Каролиной Ковальской. Анализируя два письма Мицкевича из Ковно к его другу Фр. Малевскому, Л. Подгорский-Околув расшифровывает их по-новому и убедительно доказывает, что поездка была вызвана желанием поэта уехать нелегально за границу. Именно с этой целью он отправился из Ковно в Палангу, рассчитывая пробраться оттуда в Кенигсберг. Невольно вспоминается, что именно в это время Пушкин в Одессе бродил по берегу моря, тем же «заветным умыслом томим». Но ни Пушкину, ни Мицкевичу не удалось совершить свой «поэтический побег». Через два года они встретились в Москве.

Современные исследователи прилагают усилия к разысканию новых материалов, касающихся жизни и творчества Мицкевича. В «Паментнике литераций» были опубликованы интересные письма друзей Мицкевича о его жизни в России. Недавно польский литературовед С. Фишман обнаружил в Ленинграде в архиве А. И. Тургенева ряд неизвестных ранее писем и записей в дневнике, касающихся Мицкевича. До этих пор оставался невыясненным вопрос, дошло ли до Мицкевича посвящённое ему стихотворение Пушкина «Он между нами жил». В музее Мицкевича в Париже хранится список этого стихотворения с припиской: «Голос с того света». Как очутился этот список в музее, читал ли его Мицкевич, кем была сделана приписка, установить не удавалось. Ответ на эти вопросы найден в письмах и дневниках А. И. Тургенева. 15 февраля 1842 года он записал в дневнике: «С Мицкевичем встретился. Он не знает стихов к нему Пушкина, ни трёх последних частей его. Обещал их ему». 29 февраля снова запись: «На последней лекции я положил на его кафедру стихи Пушкина к нему, назвав их «Голос с того света». Наконец, в одном из обнаруженных писем к П. А. Вяземскому Тургенев писал: «Сообщаю Вам три (зачёркнуто: «а может быть, и четыре») лекции Мицкевича, мною слышанные. В последнюю—положил я на его кафедру

¹ Филареты — члены тайной патриотической организации польской студенческой молодёжи «Общество филоматов», существовавшей в двадцатых годах XIX века.

стихи к нему («Голос с того света») Пушкина к М., о коих он не знал, ибо не читал недавно изданных трёх частей нашего друга поэта. Вы заметите теперь совсем иное направление в духе лекций его: он как бы услышал молитву поэта «И мир опять в его душе». Из этого письма мы узнаём и о том, как принял Мицкевич послание русского поэта, — он услышал в нём голос друга, которого хорошо знал, глубоко понимал и неизменно любил.

В первом номере «Паментника литерацкого» за этот год, кроме упомянутого уже сообщения Л. Подгорского-Околува, мы нашли интересное исследование Конрада Гурского «Старопольский язык в словаре Мицкевича». Привлекает внимание в этом номере и публикация Р. Таборского, который разыскал цикл неизвестных стихотворений Аполлона Коженевского, проникнутых резкой критикой польской шляхты и горячим сочувствием к украинским крестьянам, поднявшимся против польских помещиков. Аполлон Коженевский был до сих пор известен как автор пьесы «Комедия». Опубликованные в «Паментнике литерацком» стихи его относятся к 1854—1855 годам — времени крестьянских восстаний на Украине.

В 1861 году, находясь в Варшаве, он возглавил общество «красных», в связи с чем был арестован и сослан в глубь России. Опубликованные стихи оставались неизвестными в течение долгих лет, так как по цензурным условиям они не могли быть напечатаны. Р. Таборский пишет в заключение, что Коженевский, никогда не становившийся на реакционные позиции, после возвращения из ссылки отошёл от революционной деятельности.

В полученном нами недавно втором номере «Паментника литерацкого» опубликован ряд интересных работ по вопросам классической и современной литературы, и среди них — статья Казимира Выки о Мицкевиче. Написанная блестящим, лёгким стилем, она яркими штрихами рисует сложный жизненный и творческий путь великого поэта, показывает подлинное величие его подвига, истинное значение всего содеянного этим гениальным мастером слова и неутомимым революционным борцом. Когда читаешь эту статью, постигаешь, как много сделали литературоведы Народной Польши для выполнения почётной задачи: «выявить, раскрыть и показать во всём объёме истинную народно-демократическую общественно-идеологическую основу творчества Мицкевича» (Болеслав Берут).

Раскрывая истинную народно-демократическую основу творчества Мицкевича, разыскивая и публикуя «забытые» в шляхетской Польше произведения, проникнутые духом борьбы, исполненные любви к народу, «Паментник литерацкий» делает большое и важное для польской национальной культуры дело.

М. ЖИВОВ.

АМЕРИКАНСКАЯ ПОЧТА

В последнее время американская печать много пишет о большом интересе в США к расширению связей с Советским Союзом. По словам «Нью-Йорк таймс», ежедневно в государственный департамент США поступают предложения об обмене делегациями между обеими странами. Об этом пишут в госдепартамент представители университетов и научных ассоциаций, частных фирм, гражданских обществ, клубов.

Огромное число американцев хочет поближе познакомиться с советскими людьми. Эти настроения особенно характерны для нынешнего лета, которое ознаменовалось, как известно, большими международными событиями. Надо сказать, что многие солидные американские издания не могут не считаться с общественными настроениями. В этом ещё раз убеждаешься, когда просматриваешь свежую почту, пришедшую за последние недели из-за океана.

США

«Сатердей ревью» («Субботнее обозрение»), литературно - политический еженедельник. № 29. 1955. Издательство «Сатердей ревью инк». Нью-Йорк.

«Форин полиси буллетин» («Бюллетень внешней политики»), политический двухнедельник. № 19. 1955. Издательство «Форин полиси Ассошиэйшн инк». Нью-Йорк.

«Сатердей ивнинг пост» («Субботняя вечерняя почта»), литературно-политический еженедельник. № 228. 1955. Издательство «Кертис-Пабблишинг компани». Филадельфия — Нью-Йорк.

★

Возьмём из пачки изданий номер «Сатердей ревью». Это один из наиболее влиятельных в США еженедельных литературно-политических журналов. «Сатердей ревью» очень популярен среди интеллигенции. Он знакомит читателей с новыми явлениями в области науки, литературы и искусства. На его страницах получают отражение важнейшие политические события. В двадцать девятом номере журнала центральное место занимает статья профессора Колумбийского университета Эрнста Симмонса под заголовком «США открывают СССР».

Автор статьи справедливо считает, что сейчас особенно важно шире информировать американцев о Советском Союзе, знакомить с его жизнью, достижениями, наукой и литературой. Между тем, по словам Симмонса, до начала второй мировой войны в этом отношении было сделано очень мало. «Не могло быть и речи о серьёзном анализе или научно-исследовательской работе в области изучения страны, которой предстояло в ближайшие годы стать одной из двух величайших наций мира», — пишет Симмонс.

В то время, указывает автор, только три крупных американских университета «могли похвастать наличием отделений славянских языков и литературы; в нескольких других университетах и колледжах русский язык изучался как факультативный предмет».

Однако после второй мировой войны интерес к Советскому Союзу в Соединённых Штатах настолько вырос, что его нельзя уже было игнорировать.

Профессор Симмонс признаёт, что «послевоенный климат» — мы можем точнее определить его как «климат холодной войны» — мешал американцам получать объективные сведения о Советском Союзе. Из-за «послевоенного климата», — пишет он, — наложившего свой отпечаток на всю проблему Советского Союза... люди, изучавшие Россию, сознательно или подсознательно оказывались в плену у газетной информации». Симмонс подчёркивает, что книги, посвящённые Советскому Союзу, носили сугубо тенденциозный характер.

Стремясь, видимо, расширить представление читателей о Советском Союзе, Симмонс рассматривает книги, изданные за последние годы в США по этому вопросу. Среди них есть и работы советских авторов, переведённые на английский язык. Симмонс упоминает «Законы Советского государства» А. Вышинского, «Историю русской литературы» Н. Гудзия. По кратким ссылкам, приведённым автором, трудно судить о других перечисленных им книгах, которые принадлежат перу американских авторов.

Как мы уже говорили, профессор Симмонс упоминает, в каких учебных заведениях сейчас преподаётся русский язык и русская литература. Он говорит о перспективах расширения этих возможностей для молодёжи.

Обратимся к другому журналу — «Форин полиси буллетин». Это тоненькая, скромного вида брошюра, издаваемая Ассоциацией по вопросам внешней политики. «Форин полиси буллетин» считается одним из наиболее информированных по международным вопросам журналов. В одном из его номеров помещена статья под названием «Оживление в России». Автор статьи — профессор Колумбийского университета Дж. Бартлет Бребнер. Он побывал в Советском Союзе в дни празднования двухсотлетия Московского университета вместе с профессором Пууэллом. Бребнер делится на страницах журнала впечатлениями о Советской стране.

«Сердечность и гостеприимство наших хозяев, — пишет он, — казались безграничными: в самом деле, лишь немногие из делегатов были в силах полностью воспользоваться тем, что им было предложено. Нас спрашивали, что мы хотим видеть или делать, и предоставляли всё самое лучшее — будь то жильё, еда, транспорт, развлечения...»

Дж. Бребнер говорит о необычайном оживлении, которое царит во всех областях жизни Советской страны. «Десять дней, в течение которых мы сталкивались с различными проявлениями жизни в Советском Союзе, оказались достаточными, чтобы ощутить всеобщую жизнерадостность и оживление. Естественно, мы с особенной силой ощутили это в новом здании университета — здании, уникальном по размерам и роскоши».

Автор рассказывает о том, как шумно на улицах Москвы, как много покупателей в магазинах. Огромное впечатление на него произвело, что люди сравнительно легко

тратят деньги и покупают такие товары, как фотоаппараты, радиоприёмники, пластинки, телевизоры. Он пишет о больших тиражах, какими издаются книги, и о том, что их мгновенно раскупают.

Дж. Бребнер пробыл в Советском Союзе недолго, но успел увидеть многое. Его впечатления проникнуты духом доброжелательности.

Но вот мы открываем номер другого американского журнала, датированного примерно теми же числами, что и номера «Сатердей ревью» и «Форин полиси бюллетеня». Это «Сатердей ивнинг пост» — литературно-политический журнал, который уже знаком нашему читателю¹. Посмотрим, как он отражает настроения американской общественности, идёт ли он в ногу со временем. Номер вышел в июле нынешнего года. Это был, как известно, месяц больших событий: незадолго до этого окончилась юбилейная сессия ООН, предстояло Женевское совещание Глав четырёх держав, был намечен обмен первыми делегациями между США и Советским Союзом.

В июле американцы ждали приезда советской сельскохозяйственной делегации, которая была приглашена в США по инициативе редактора айовской газеты «Де-Мойн реджистер». На страницах американских газет и журналов появились в то время статьи, свидетельствующие о большом интересе к этой встрече. Они были проникнуты духом дружелюбия к советским людям. А после приезда советских гостей американская печать признала, что американцы не обманулись в своих ожиданиях, — советские гости оказались простыми, искренними, доброжелательными людьми.

В канун этой знаменательной встречи «Сатердей ивнинг пост» помещает рассказ Леоны Уэра «Комиссар в Коннектикуте». Подзаголовок поясняет, о каком «комиссаре» идёт речь, «Он был красным делегатом в Организации Объединённых Наций. Значит ли это, что он может бесчинствовать в американском городе?» Итак, читатель уже введён в курс дела. Нетрудно и понять, каков пропагандистский подтекст этого рассказа, тем более, что сюжет его весьма несложен.

Американский журналист Уэбб Кертис, отслуживший четыре года во флоте, направляется в поисках работы со ста пятьюдесятью долларами в кармане на своей старенькой машине «куда глаза глядят». Он попадает в небольшой провинциальный городок Плам Хилл в штате Коннектикут. Лишь случайность заставляет Уэбба задержаться в этом ничем не примечательном городе: на одном из поворотов его настигает мчащаяся с бешеной скоростью машина. Только чудом, резко свернув в сторону, он спасается от аварии. И всё же кузов машины слегка помят. Всё, что удалось заметить Уэббу, — тёмный цвет лимузина, необычное обозначение на номере и мрачное лицо человека за рулём.

Как узнать, кто этот человек, и добиться, чтобы он оплатил расходы по ремонту машины? Ведь в кармане остались последние доллары... Уэбб направляется в редакцию местной газеты.

Молодая девушка в редакции охотно старается помочь журналисту.

«— Кто ездит на большой, тёмной, закрытой машине со странным номером? Какой-то парень с широким нахмуренным лицом, и, видно по всему, сорви-голова.

Девушка посмотрела на него с интересом.

— А в чём дело?

— Дело в том, что я хочу расквасить ему морду, когда он мне попадётся.

Девушка иронически улыбнулась:

— Ах, нет, его нельзя трогать...

— Это что, местный набоб, что ли?

— Человек, о котором вы говорите, — сказала она, стуча по клавишам машинки, — это, несомненно, Сергей Миханов, московский подарок Организации Объединённых Наций Америке и, в частности, Плам Хиллу».

Автор рассказа рисует дальше мелодраматический портрет эдакого злодея, который почему-то вселился в Плам Хилле. Он затрачивает поистине нечеловеческие усилия, чтобы убедить читателей, будто образ этого «злодея» типичен для советских людей. Для этого Леон Уэр, нисколько не церемонясь с читателем, широко использует

¹ См. «Новый мир» № 7 за 1955 год.

те убогие, примитивные приёмы «занимательной» беллетризации повествования, которые когда-то, в давние, дореволюционные времена, отличали пятикопеечные лубочные выпуски о похождениях доблестных сыщиков и кровожадных злодеев. Правда, безвестные подёнщики бульварной литературы были тогда куда стыдливее, чем нынешние: они не выставляли своих имён на обложках...

Надо думать, что не отсутствие в рассказе Уэра каких бы то ни было литературно-художественных достоинств привлекло к нему внимание редакции американского журнала. Естествен вопрос: зачем же понадобилось «Сатердей ивнинг пост» печатать на своих страницах бульварно-беллетристические упражнения Уэра? Журнал — и это чувствуется с первых же строк рассказа — судорожно ищет противоядия против симпатий, проявляемых простыми американцами к советским людям. Будьте осторожны с ними, внушает журнал читателям, не дружите, не ищите связей с советскими людьми.

Что ж, во времена не столь уж далёкие беллетристические упражнения подобного рода могли ещё рассчитывать на успех в определённых кругах. Но теперь иные времена. Попытки «Сатердей ивнинг пост» наперекор всему оживить дух «холодной войны» не принесут лавров этому журналу.

А. БЕЛЬСКАЯ.



Т Р И Б У Н А П И С А Т Е Л Я

ВАЛЕНТИН ОВЕЧКИН

★

КОЛХОЗНАЯ ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРА

За последнее время мы так часто говорим о литературе на деревенские темы, так часто упоминаются в литературных обзорах авторы произведений о деревне, такое исключительное внимание оказывается в редакциях и издательствах повестям, рассказам, очеркам на колхозные темы, что невольно кое у кого может возникнуть опасение: а не превратится ли в скором времени вся наша литература в деревенскую, крестьянскую? Не изгоним ли мы таким путём из нашей литературы другие важные и нужные темы?

Подобные опасения могут возникнуть лишь при поверхностном взгляде на дела в литературе. При более же пристальном рассмотрении вопроса станет ясным, что до каких-либо перегибов здесь ещё далеко. Можно ещё смело «гнуть» и «гнуть». Разговоров вокруг деревенской темы действительно много, но написано хороших книг о деревне пока ещё очень мало. Непростительно мало, исходя из требований жизни и наших сил и возможностей.

Если присмотреться к статьям о колхозной литературе, то разговор в последнее время идёт вокруг пяти-шести имён. Мало, очень мало! Может быть, есть ещё не замеченные пока критиками интересные авторы книг о колхозной деревне? Есть, конечно (это у нас водится, что критика долго не замечает новых явлений в литературе). Ну, пусть существуют ещё двадцать—тридцать таких не известных пока широко имён. Всё равно мало, в пропорции к трём с половиной тысячам членов Союза писателей.

Нет, «крестьянофильство» нашей литературе пока не угрожает. Угрожает обратное: уход от деревенских тем, пренебрежение важнейшими вопросами и конфликтами нашей сегодняшней жизни, делами нашего колхозного строительства.

Происходит странное и непонятное явление. Из старых русских писателей кто не писал о деревне? С трудом даже назовёшь таких. Горожанин Достоевский не писал? Есть и у него «Село Степанчиково и его обитатели», правда, вещь не очень деревенская по содержанию. Куприн? Немного и он писал о деревне. Горький? Есть и у Горького крестьяне во многих произведениях. Толстой, Тургенев, Некрасов, Чехов, Бунин, Успенский, Короленко — все писали о деревне. В украинской литературе писали о деревне Тарас Шевченко, Иван Франко, Михайло Коцюбинский, Марко Вовчок, Панас Мирный, Иван Нечуй-Левицкий и другие. Писали, когда деревня была в нищете и во мраке, в безысходном тупике. Нынче же, в наше советское время, когда деревенская тема стала во много раз интереснее для вдумчивого писателя, когда именно в деревне столь ярко выступает величие наших социалистических преобразований и именно там же, в деревне, главный узел труднейших и сложнейших вопросов нашего строительства, — меньше стало охотников среди литераторов заниматься деревней. Как будто навсегда уже сняты жизнью все «крестьянские вопросы»! Из наших современных больших писателей можно без запинки перечислить тех, которые ни строчки не написали о советской колхозной деревне. Таких гораздо больше, чем пишущих о ней.

Некоторые мастера нашей литературы, не проявляющие интереса к деревне, оправдываются тем, что не знают сельского хозяйства.

Но в жизни-то происходит иное. «Проявляют большой интерес» к колхозным делам, едут в деревню (и не в творческие командировки, не для сбора литературного материала, а на постоянную работу) люди самых разных профессий, среди них и зако-

ренелье горожане; если иные из них не знают сельского хозяйства, то стараются его изучить, и побыстрее, ибо едут по зову партии, в силу своего гражданского долга, с ответственным поручением в короткий срок поднять колхозы. Я знаю немало директоров МТС и новых председателей колхозов, которые ещё год назад были столь же близки к сельскому хозяйству, к агротехнике и зоотехнике, как, скажем, Валентин Катаев или Сергей Михалков. Знаю одного директора МТС, который искал в справочниках яловую породу коров и говорил «зябликовая пахота». Это — год назад. А сейчас — поговорите с ними! Сейчас они уже «профессора» по сельскому хозяйству. Было бы желание его изучить!

В последнее время деревенские темы как бы отданы «на откуп» молодым авторам; «старшки» от этих тем ушли (не считая второй книги романа М. Шолохова и некоторых других книг). И надо заметить, что писательская молодёжь начинает глубоко и всерьёз разрабатывать эту, — если нельзя сказать неподнятую целину в нашей литературе, — то, во всяком случае, целину, ещё не возделанную как следует, вспаханную недостаточно глубоко и с огрехами. (На этой целине мы вместе с хлебом собирали много и сорняков, собирали, так сказать, госучётковский урожай, а по-настоящему хорошего амбарного урожая ещё не видели.) Молодёжь берётся за деревенские темы смело и решительно — отрадное явление. Есть у нас уже повести, очерки, в которых видна большая и любовная работа над колхозным материалом, глубокое и добросовестное его изучение, зоркий взгляд художника-исследователя, гневное отношение к недостаткам, горячее желание вмешаться в жизнь, помочь партии в её трудной работе по подъёму деревни.

Говоря это, я имею в виду даже не таких писателей, как Теодорков, или Журавлёв, или Троепольский. Их книги уже широко известны нашим читателям. Я говорю о таких новых авторах, как Иван Антонов из Мордовии, как Григорий Бакланов. Очерки И. Антонова в двух номерах альманаха «Год 37» и «Год 38» и «В Снегирях» Г. Бакланова — при известных, конечно, недостатках — имеют признаки настоящей большой литературы о деревне. С хорошими деревенскими очерками выступили С. Залыгин, М. Жестев. В небольших повестях Ф. Певнева, изданных «Советским писателем», подняты острые жизненные проблемы, взяты верные конфликты. Большое знание материала, не кабинетное, а «полевое» изучение колхозной жизни обнаруживает Г. Радов в серии рассказов, напечатанных в «Огоньке». Интересную, своеобразную повесть о колхозах Западной Белоруссии написала Лидия Обухова.

Очень приятная общая черта в творчестве ряда молодых писателей то, что они входят в колхозную тему не гостями-дачниками, которых деревня интересует лишь постольку, поскольку в ней водятся такие вкусные вещи, как ранние огурцы, редиска, помидоры, клубника, а на остальное — на заготовку, скажем, зимних кормов для скота, на навозные компосты или на зяблевую пахоту, — на всю эту скучную сельскохозяйственную «прозу» им наплевать. И когда пойдут осенние дожди, их и след в деревне простынет. Авторы, которых я назвал, и многие другие, уже замеченные читателями, подходят к деревенским темам не по-дачному, а по-хозяйски; им до всего дело, они не бросаются на экзотику, но ищут большие проблемы в будничной работе колхозников, в их обыденной жизни. Их произведения — это литература, глубокая по содержанию и художественная по форме, с настоящими, а не высосанными из пальца конфликтами, с живыми типами, полнокровными характерами; литература, которую с интересом читают и люди, далеко отстоящие от колхозной жизни, не специалисты сельского хозяйства.

Но успехи молодёжи нисколько не заслоняют и не оправдывают слабости интереса к колхозным темам у многих других писателей, опытных и зрелых мастеров пера, с которых, собственно говоря, спросу больше, чем с молодёжи. Факт остаётся фактом: деревня с её многообразной тематикой и острейшими проблемами занимает пока в общем объёме нашей литературы незначительное место.

В сентябре 1953 года Пленум ЦК КПСС принял решение о резком подъёме сельского хозяйства, положил начало повсеместной борьбе за укрепление всех колхозов, за ликвидацию в короткий срок отставания части колхозов, за дальнейший рост хозяйства, богатства, культуры всех колхозов и совхозов.

После этого на четырёх Пленумах Центрального Комитета КПСС обсуждались вопросы укрепления и подъёма сельского хозяйства: на февральско-мартовском и июньском 1954 года, на январском и июльском этого, 1955 года.

Решения каждого Пленума открывали новые страницы в нашем колхозном строительстве, в жизни колхозов и совхозов: освоение целинных и залежных земель; внедрение в колхозно-совхозное производство прогрессивных приёмов земледелия; укрепление организующей роли МТС; развязывание инициативы местных работников, новые принципы планирования; кадры.

Январский Пленум ЦК партии поставил задачу перед всеми работниками сельского хозяйства: за пять-шесть лет довести ежегодный валовой сбор зерна не менее чем до 10 миллиардов пудов и увеличить за это же время производство основных продуктов животноводства в два — два с половиной раза. Дальнейшее, — когда колхозы приступили уже к составлению перспективных производственных планов, — показало, что у нас есть все возможности к тому, чтобы выполнить эти задачи не к 1960 году, а значительно раньше.

Прошло второе лето, страна закончила уборку второго после сентябрьского Пленума урожая.

Трудное было лето в 1954 году. Жестокая засуха погубила урожай во многих южных районах, захватила частично и центральную полосу и запад. А на Урале и в Сибири уборке мешали проливные дожди.

И в этом году, несмотря на то, что урожай в большинстве областей собран хороший, мы, видимо, не избежим пестроты в общей картине урожая и колхозных доходов.

Природа как бы испытывает наше мужество, нашу волю, наши способности выполнять в любых условиях решения Центрального Комитета партии.

Но за время, прошедшее после сентябрьского Пленума, на местах много уже сделано. Доходность колхозов растёт всюду; кое-где резко растёт, так что количество колхозов с миллионными доходами в иных областях или районах увеличилось уже в несколько раз; кое-где растёт не так резко, но всюду — подъём. Хлеба, овощей, картофеля, мяса и других продуктов страна получила в прошлом году больше, чем в 1953 году. Увеличился объём государственных заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов. В Алтайском крае в 1954 году хлеба было произведено почти в четыре раза больше, чем в 1953 году, а вообще в районах Западной Сибири — в два раза; в Казахской ССР — на 35 процентов больше, чем в 1953 году, главным образом за счёт освоения целинных и залежных земель.

В этом году хлебозаготовки прошли в ряде южных и центральных областей значительно быстрее и организованнее, чем в прошлом году, и хлеба сдано государству, за счёт закупа, намного больше против прошлых лет.

Большие площади посевов кукурузы по стране дадут, очевидно, солидную прибавку к валовому сбору зерна, и с фуражными фондами для общественного животноводства и кормами для животноводства колхозников дело у нас будет обстоять значительно лучше, чем в прошлые годы.

И. Антонов пишет в своих очерках из Мордовии «Разлив на Алатырь-реке» в № 20 альманаха «Год 38»: «Как-то недавно я сопоставил цифры и убедился, что теперь самый отстающий колхоз Ардатовского района экономически гораздо крепче, чем самая передовая артель в 1946 году». Да, применительно к 1946 году такую картину можно, пожалуй, считать типичной не для одного лишь Ардатовского района.

Но хотелось бы, чтобы в нынешнем году — и в Ардатовском районе Мордовии и в других районах других республик и областей — такое сравнение можно было сделать уже не с 1946, а с 1952—1953 годами.

Решения Пленумов ЦК партии дали всё или почти всё, что нужно для быстрого и резкого повсеместного подъёма сельского хозяйства. Не будем преувеличивать и объективные трудности вроде засухи или потерь на уборке от дождей. Такое оно и есть — сельское хозяйство. Если не озимые вымерзнут, так для яровых весна плохая; если не суховей, так дожди не вовремя — что-нибудь где-нибудь да случится.

Неожиданными ударами стихии по урожаю то с той, то с другой стороны опытного хлебороба не удивишь и не испугаешь. К таким вещам он привык издавна; это

его, можно сказать, профессиональная привычка. И в этом-то и заключается высокое искусство настоящего хлебороба: применяясь к любой погоде, к любым сложным условиям весны и лета, собирать если не рекордные, то хотя бы приличные урожаи.

На необъятной территории нашей страны неизбежны какие-то потери, недосбор или даже гибель урожая в тех или иных районах. Но эти же наши огромные пространства дают нам возможность нанесённый стихиями ущерб в одном месте перекрыть прекрасными урожаями в других местах, с хорошим, в общем, балансом.

И если и на следующий год погода не будет всюду идеальной для урожая, всё равно у нас есть абсолютно реальные возможности гораздо раньше 1960 года удвоить и продукцию животноводства и сбор хлеба в стране. Ничего фантастического в этом нет. Если бы у нас уже были всюду урожаи зерна центнеров в тридцать, то удвоить их, довести до шестидесяти,— это, конечно, задача сложная, требующая, может быть, даже какой-то особой агротехники, целого переворота в сельскохозяйственной науке. Но собирать 18—20 центнеров там, где собирали 8—10,— что же тут фантастического? Мечта наша об удвоении в ближайшее время сбора хлеба в стране — а это было бы уже изобилие! — вполне реальна.

Главные трудности, стоящие перед нами,— трудности не объективного, а субъективного порядка.

Решения Пленумов ЦК — подробная, исчерпывающая боевая программа наших действий. И материально эта программа оснащена и подкреплена достаточно. Всё дело — в методах руководства и в людях, которые эту программу осуществляют. Дело — в кадрах. В колхозных, энтэзовских, районных, областных руководящих кадрах. И в самих колхозниках. Как поют колхозницы в частушках: «Не сама машина ходит, человек машину водит». Много мудрости в этих простых словах. А один мой знакомый председатель колхоза давал такие наряды вечером в правлении: «Всем коням и волам — орать!» Адресовался непосредственно к волам и лошадям, а не к людям.

Ведь было и раньше, и сейчас это есть: в одном и том же районе, в совершенно одинаковых условиях свирепой засухи или гнилых дождей, в одном колхозе урожайность зерновых — 5—6 центнеров, а в другом, рядом, — 15—20 центнеров; при одинаковой площади земли, при равных условиях для развития животноводства, овощеводства, в одном колхозе — три миллиона дохода, а в другом, рядом, — 300 тысяч.

В Курской области в этом году, как и всюду, было посеяно много кукурузы, 230 тысяч гектаров. Даже при среднем урожае это — огромное количество наилучшего фуражного зерна, а то и продовольственного. Посчитать, по тридцать центнеров с гектара, это около семи миллионов центнеров початков, в сухом или консервированном виде. А ещё сколько зелёной массы на силос!

Но урожай кукурузы по области вышел пёстрый. Есть и 30 и 40 центнеров початков, есть и 10 и меньше, есть такие площади, что и зелёной массы почти нет. Местами высевали плохие семена, местами слабохарактерные председатели под нажимом ретивых, но ничего не смыслящих в агротехнике уполномоченных посеяли кукурузу слишком рано, в холодную почву, и всходы получились один от другого на пять метров. Потом её подсевали, опять же кукурузой, вручную. Но, как бывает обычно, сначала две недели раздумывали над такими полями: подсеять или не подсеять, и кто должен первым подписать акт. Так что подсевали уже чуть ли не в начале июля. Местами не было ухода за посевами, сорняки забили всходы.

Во многих колхозах люди очень довольны кукурузой, она принесёт им большие доходы, будучи переработанной в сало, мясо, молоко. Но кое-где на будущий год придётся сызнова доказывать колхозникам, что не сама кукуруза — культура хорошая — виновата в том, что не уродилась, а люди. И придётся опять возить этих колхозников на экскурсии в такие колхозы, как, например, «Красный Октябрь» Рыльского района, которым руководит председатель Фёдор Павлович Максимов, где ещё в 1954 году брали по 65 центнеров початков с каждого гектара и по 350 центнеров зелёной массы на силос.

Один колхозник у нас, старый коммунист, на собрании районного партийного актива высказался насчёт кукурузы очень горячо, с чувством, хотя, может быть, по

¹ То есть пахать. — В. О.

форме недостаточно ясно отшлифовал свою мысль: «Хорошему председателю колхоза,— говорит,— никакая кукуруза не страшна!»

Было потом этому старику за его образное, но несколько неотрегулированное мышление! «Что ты этим хотел сказать? Значит, кукуруза — страшная культура? С ней опасно иметь дело? В наказание нам, что ли, по-твоему, дают такие планы посева кукурузы?»

Старик не изучал формальную логику, он, возможно, не с того конца подошёл к делу; однако мысль его, в общем, правильна, только выразить её он как следует не сумел.

Конечно, там, где раньше никогда не занимались кукурузой, освоить сразу эту незнакомую культуру на больших площадях — дело не лёгкое, требующее ума, поворотливости. Вот старик и хотел сказать, что хороший председатель с этой задачей справится, что у хорошего председателя колхоза и кукуруза будет хорошая. А невежда, тупица, лодырь и это дело способен загубить, как губил уже не одно прекрасное начинание. Самой блестящей идеее угрожает опасность дискредитации, если на месте некому взяться за внедрение её в жизнь творчески и с душой.

В общем, с чего бы мы ни начали разговор о подъёме сельского хозяйства, мы обязательно вернёмся к вопросу о кадрах. Любое агротехническое, научное предложение, любое организационное мероприятие требует живых человеческих рук, головы человеческой для успешного осуществления.

В одном месте у нас решения Пленумов ЦК выполняют люди творческого ума, инициативные, смелые, деятельные. В другом месте можно ещё встретить закоренелых формалистов, нудных начётчиков, заводных манекенов. Они не способны понять до конца глубокий смысл исторических решений партии; в любом деле они прежде всего бросаются на форму, а притом — внешне-показную форму. В устах таких людей само слово «новаторство», когда они по обязанности повторяют его сто раз за день, звучит, как шаблон, а слово «инициатива» — как циркуляр. О таких украинцы говорят: «Як поведе очима по хаті, то й молоко в глечиках кисне».

Во многих районах и областях работа по укреплению колхозных кадров проходит в обстановке боевого подъёма, воодушевления, искреннего желания коммунистов и беспартийных советских людей послужить делу партии на самом переднем крае. В Смоленской области в прошлом году, ещё до отбора тридцатитысячников, было направлено на постоянную работу в колхозы более восьмисот руководящих районных работников, а из областных организаций, в свою очередь, большая группа коммунистов была послана на работу в районы. Такая же решительная передвижка кадров ближе к земле, к живому делу, произведена в Рязанской области. В Локнянском районе, Великолукской области, сразу же после сентябрьского Пленума послали добровольно на работу председателями двадцати всеми отстающих колхозов двадцать восемь коммунистов из числа районного актива, а в двадцать девятый колхоз — самый большой и самый трудный — поехал председателем, добившись согласия обкома, вдохновитель и организатор такой перестановки кадров — сам первый секретарь райкома.

В том, как и где решается вопрос укрепления колхозных кадров, состоит сейчас серьёзная, деловая проверка для руководителей всяческих масштабов — больших и малых.

Я говорю «решается» — не в прошлом, а в настоящем времени, — хотя с отбором тридцатитысячников уже как будто всё закончено. Говорю так, потому что убеждён на основании своих наблюдений, что вообще-то замена всех неспособных председателей колхозов дельными, талантливыми организаторами у нас ещё не закончена. Тут ещё работы немало. В тех районах, где за укрепление колхозных кадров взялись сразу же после сентябрьского Пленума, не дожидаясь «второго звонка», — там посылкой тридцатитысячников лишь внесли необходимые коррективы к сделанному раньше. Но есть ведь районы и целые области, где с тридцатитысячников только началось, а до минувшего лета там занимались лишь разговорами о кадрах.

Тот старик, что неудачно выступил на собрании районного партактива, говоря: «Хорошему председателю колхоза никакая кукуруза не страшна», — хотел, видимо, предупредить нас, что и сейчас ещё не везде председатели колхозов хорошие.

Кадры, кадры. Да если бы у нас всюду в районах были дельные руководители, хорошие председатели колхозов и директора МТС, мы бы уже сегодня имели в деревне то, что в решениях январского Пленума ЦК партии предназначено для 1960 года. А как было бы хорошо выполнить наши планы подъёма сельского хозяйства намного раньше! Как дорого нам время! Ведь оно заполнено очень важным делом — строительством коммунизма. Как это дорого для истории, когда нам удаётся хотя бы на год-два сократить осуществление каких-то планов нашего строительства!

Вопрос о кадрах — вопрос всех вопросов. Здесь и причины всех наших затруднений, здесь и решение всех сложнейших задач и проблем.

И, доскольку кадры — это люди и вопрос о кадрах — вопрос человеческий, здесь есть над чем подумать и поработать литератору. Тут уже не посетуешь, что вот, мол, эти машины, мёртвое железо, конопляное семя, навозные компосты и прочие неудобоваримые в искусстве вещи давят на нас, сушат наш язык, обедняют наши чувства и мысли. Кадры — это человек, со всеми его страстями, душевными переживаниями, пороками и доблестями. А какой накал дать страстям — это уж целиком зависит от самого художника. Когда у нас появляется книга, где действуют не люди, а бледные бесплотные тени с того света, то виновата не жизнь наша, в которой якобы повывелись шекспировские страсти. Виноваты бесплотность, худосочие самого автора, его собственный коровий темперамент.

В одной лишь этой передвижке людей сверху вниз — с «больших» должностей на «малые», из городов в сёла, из канцелярий на поля — сколько острейших конфликтов, драматических и даже трагических сюжетов! И трагикомических, конечно.

Поднимая и глубоко разрабатывая человеческие темы о кадрах, мы именно в этом направлении можем принести наибольшую пользу партии. Ведь это очень ёмкие темы. Они вбирают в себя и такой огромной государственной важности вопрос, как сокращение наших управленческих аппаратов и перевод людей отсюда на производство, на землю, на заводы.

Надо показывать благородство, огромную жизненную необходимость и важность этого движения из кабинетов на производство. Часто мы, писатели, обращаемся за поисками революционной романтики к прошлому, к временам Николая Островского. А вот она здесь, романтика! Из душной канцелярии — на простор жизни, в цех, МТС, колхоз, к живому, творческому делу. Иному человеку в тридцать пять — сорок лет надо как бы начинать жизнь сызнова, приобретать производственную специальность. У нас много выходит произведений под такими поэтическими названиями: «Вторая любовь», «Вторая жена», а вот тут — «Вторая жизнь». Да ещё в зрелом возрасте! Немало нужно иметь душевных сил, чтобы в сорок лет, уже с зачатками разных болезней от сидячего образа жизни, потряхнуть стариной, вспомнив своё комсомольство, пойти на производство и начать с ученика токаря, или в колхозе — с заместителя председателя, или в целинном совхозе — с помощника комбайнера. Это ли не романтика? Романтика живёт всегда рядом с трудностями. А тут трудностей хоть отбавляй!

Для всех жанров литературы хватит здесь работы. В том числе и для сатиры. Не так уж гладко идут тут у нас дела, чтобы не требовалась помощь злых сатириков. Сатирики должны быть возбудителями общественного гнева против обывателей и шкурников. Сатирики средствами своего особо действенного литературного жанра должны помочь созданию такой атмосферы, такого настроения в обществе, чтобы уклонение от работы на переднем крае нашего строительства стало таким же позором, как дезертирство из армии, бегство с поля боя.

Я встречал у некоторых людей такого рода сомнения: как же так, мол, всегда у нас было, что кадры росли снизу вверх; всегда говорили о выдвижении, о росте людей, а сейчас эту обычную нормальную ступенчатость выдвижения кадров снизу перевернули с ног на голову: из Москвы, из области едут люди в МТС, в районы, из районов — в колхозы.

Да, обычно из села лучших организаторов выдвигали в районы, из районов в области. И в армии командиры взводов, рот вырастают в командиры батальонов, полков, дивизий, а не в обратном порядке. Но послушаем, что писал по этому поводу В. И. Ленин в статье «О прогрессивном венном налоге».

«...Некоторых работников можно и должно снимать с центральной работы и ставить на местную: в качестве руководителей уездов и волостей, создавая там образцовую постановку всей хозяйственной работы в целом, они принесут громадную пользу и сделают общегосударственное дело более важным, чем иная центральная функция... В военном деле, например, во время последней польской войны мы не боялись отступать от бюрократической иерархии, не боялись «понижать в чинах», перемещать членов Революционно-военного совета республики (с оставлением в этой высокой, центральной должности) на низшие места. Почему бы теперь не переместить некоторых членов ВЦИК или членов коллегий или других высокопоставленных товарищей на работу даже уездную, даже волостную? Не настолько же мы в самом деле «обюрократились», чтобы «смущаться» этим. И найдутся у нас десятки центральных работников, которые охотно пойдут на это. А дело хозяйственного строительства всей республики выиграет от этого чрезвычайно, и образцовые волости или образцовые уезды сыграют не только крупную, но прямо решающую, историческую роль».

Ясно сказано? Как всегда у Ленина. Значит, рост и естественное выдвижение кадров снизу вверх могут благополучно сочетаться в некоторых случаях вот с такими нарушениями «бюрократической иерархии».

Вопрос о кадрах имеет много интереснейших разветвлений. И тут опять же наша задача — во-время разглядывать и подхватывать новые проблемы.

Вот, например, возможно, кое-кому казалось, что вопрос о деревенских кадрах у нас решается несколько односторонне. Когда проходил отбор тридцатитысячников, то речь шла только о председателях колхозов. Почему только о них? А кадры директоров МТС разве не нуждаются уже в укреплении? И секретарь райкома партии всюду ли уже действительно «первая голова» в районе, какой он должен быть? Все мы знаем, что полевые работы в колхозах сейчас на 70—80 процентов в руках МТС, и плохой директор может во многом напортить, помешать колхозникам в их борьбе за высокий урожай. И знаем, как трудно работать даже хорошему председателю колхоза, если неладно с руководством в райкоме и райисполкоме. Так почему же только о председателях шла речь?

Потому, что председатель действительно главная фигура в колхозе, как и руководитель всякого предприятия. С этой фигуры и надо было начинать. Но сама жизнь, безусловно, выдвинет перед нами и другие задачи. Одно потянет за собой другое.

Представьте себе район, где все председатели колхозов уже прекрасные хозяйственники, с хорошим образованием, инициативные, смелые организаторы, массовики. На две головы выше тех председателей, которые идут сейчас в отставку. Но таких председателей могут не удовлетворить нынешние стиль и методы работы некоторых районных руководящих организаций. Уполномоченных к ним не следует посылать, чтоб ходили за ними по пятам, подсказывали им, когда начинать пахать, сеять. Малограмотного лектора такой председатель может, пожалуй, и в шею погнать из колхоза. Да и агронома иного поучит смелости и творческому подходу к делу. И легче как будто, но и труднее руководить такими председателями.

Так или иначе, придется, пожалуй, нам ещё крепко заниматься кадрами и в других звеньях — в МТС, в районе. МТС если ещё не стали в полной мере, то должны стать могучими государственными предприятиями в деревне. И во главе этих, по сути дела, по объёму и сложности работы, огромных государственных предприятий должны стоять люди «семи пятей во лбу». Такие люди, которых и без приказа (права приказывать председателю колхоза не дано пока директору МТС) — в силу лишь их неоспоримого делового авторитета — слушались бы в колхозах.

А над тремя-четырьмя такими директорами МТС, над тридцатью — сорока хорошими председателями колхозов, над всеми этими «голиафами» должен возвышаться — опять же не только по росту и рангу, а по умственным способностям, по деловым своим качествам — секретарь райкома. А над ним — секретарь обкома...

В общем, надо полагать, что секретари сельских райкомов и директора МТС не останутся в обиде; об этих кадрах, вероятно, ещё будет разговор.

Новые, усложнившиеся задачи колхозного строительства, новые, квалифицированные кадры, пришедшие в деревню, требуют высокого класса руководства! Когда среди председателей колхозов в районе трое таких, что сами были секретарями райкомов,

двое были председателями райисполкомов, бывший директор крупного завода, бывший начальник политотдела железной дороги, бывший главный агроном области, бывший прокурор, бывший редактор газеты,— очередным разносом на бюро или стандартной телефонограммой «развернуть... мобилизовать... усилить» таких председателей не удивишь и ничему не научишь. Чтобы учить их, надо самому многое знать, то, чего они ещё не знают, и видеть дальше, чем видит их глаз, и понимать наши очередные задачи ещё глубже, чем они понимают. Да, сложная это вещь — правильная расстановка кадров. И сколько конфликтов встретится литератору в тех случаях, когда расстановка получится не совсем правильная!

Вот видите, сколько работы для вдумчивого писателя в одной лишь этой теме о наших кадрах.

Но тема эта не исчерпывается проблемами передвижения — сверху ли вниз, снизу ли вверх — людей. Есть ещё одна задача огромной важности — воспитание кадров.

Ведь недостаточно правильно поставить человека на место, соответствующее его силам и способностям. Надо и воспитывать этого человека. А если он уже был воспитан, и неплохо, то продолжать воспитание.

И когда вот в этой самой «живой диаграмме» происходят некоторые нарушения, когда кто-то не дотягивает до своей черты, ломает «ранжир», снятие, замена людей не единственный ведь способ наведения порядка. В медицине существует термин: злокачественные и доброкачественные заболевания. Как ни странно, оказывается и болезни есть «доброкачественные». Если взять такие недостатки руководителя, как унтер-пришибевский службизм или карьеризм, то это, конечно, болезни злокачественные. Карьерист может всё загубить, всё принести в жертву собственной шкуре, личным своим целям. Но в том случае, если человек хромает «доброкачественно», если у него честная советская душа, он безгранично предан партии, если нет у него других интересов, кроме интересов партии, но он просто чего-то не понял, чего-то не додумал, у него на глазах пелена, которую надо снять,— в таком случае может помочь воспитание. Умно, сердечно, терпеливо «поработать над человеком», как у нас говорят, и глядишь: пошёл в рост, поднялся, развернул плечи, двинул дело в полную силу, так, как и требовалось от него.

Очень ценные качества в человеке, особенно когда он занимает ответственный пост на государственной службе,— смелость, не безрассудная смелость, не лихачество, а та самая смелость, которая называется гражданским мужеством, большевистская принципиальность, служение делу, а не лицам, инициативность, чуткость к людям, к живому дыханию жизни. Близость к людям, знание жизни, не формальное, не поверхностное, а глубокое, диалектическое понимание решений партии придают человеку большую уверенность в работе, твёрдость духа.

И. В. Сталин в беседе с конструктором Яковлевым говорил: «Если вы твёрдо убеждены, что правы, и сумеете доказать свою правоту, никогда не считайтесь с чьими-то мнениями, а действуйте так, как вам подсказывает ваш разум и ваша совесть».

Одно из крупнейших достоинств большого организатора, настоящего руководителя — умение растить, воспитывать людей вокруг себя.

И воспитание людей — это отнюдь не школярство, не одно лишь теоретическое преподавание некоторых правил жизни. Когда речь заходит о политическом воспитании, кое-кто представляет себе, что это — чтение лекций, доклады, кружки. Не совсем так. Тут не одна лишь теория. Политически воспитывают и словами и делами. Настоящее, так сказать, «высшее» большевистское политическое воспитание человек может получить только в работе.

В армии, на войне не бывает такого, чтобы кто-то стал большим полководцем, не проведя одной, двух, трёх, десяти крупных самостоятельных боевых операций. Жуковы, Коны, Ватутины не рождаются в военоторговской тиши и дрёме третьих эшелонов.

Точно так же и в «гражданке», как называли фронтовики хозяйственное строительство. И здесь кадры могут расти лишь на самостоятельных делах, на больших, ответственных поручениях, где есть испытание, проверка всему — и мужеству, и честности, и талантливости. Проверка и закалка.

В задачи литературы, мне думается, входит помощь воспитанию этих качеств в наших людях средствами художественного слова, художественных образов.

Но мы, конечно, пишем свои книги не только для председателей колхозов, директоров МТС и секретарей райкомов. Книги наши должны воспитывать миллионы колхозников. Всего лишь двадцать с лишним лет прошло с тех пор, как наше крестьянство стало колхозным. Живучи пережитки собственничества в сознании людей. Борьба с ними — наше дело. А какой огромной важности задача — воспитание у молодёжи любви к земле, к сельскохозяйственному труду. Ведь у нас стало распространённым явлением, что парень, вернувшись из армии, уже не хочет возвращаться в МТС на трактор, а ищет какой-нибудь работы «почище»; или девушка, окончив восемь-девять классов средней школы, уже не идёт на ферму, а устраивается телефонисткой на почту, либо кассиршей в Дом колхозника, а то и вовсе не работает — ей уже «образование не позволяет» коров доить. Некоторые горе-педагоги так уговаривают своих учеников: «Учись, учись, Петя, а не то останешься пастухом». Может быть, отсюда и идёт привычка к такому взгляду на образование, что оно необходимо человеку лишь для получения «чистой» должности, а не для общего духовного развития? Возможности получения образования мы не ограничиваем, но ведь рядовые работы в нашем обществе всегда останутся? Однако и так называемые «рядовые работы» при научной постановке дела и высокой механизации требуют уже от человека известного общего и специального образования. Само понятие «рядовые работы» изменится.

А рабочий класс в деревне? Это очень большая и важная тема для литературы. Миллионы трактористов-колхозников стали рабочими. Создано много новых совхозов — это огромное пополнение рабочего класса в деревне. А «тридцатитысячники»? У нас ещё очень мало написано о том, как люди, идущие из городов на постоянную работу в деревню, приносят с собой навыки и традиции промышленного рабочего класса, высокую промышленную культуру управления производством. Деревня у нас сейчас насыщена богатейшей современной техникой. Совсем иное положение, нежели было в начале тридцатых годов. Квалифицированные кадры промышленных рабочих и инженеров оказывают огромную помощь деревне в освоении этой сложной техники — это новые формы проявления союза рабочего класса с крестьянством.

В общем, во всех этих разветвлениях темы о кадрах я вижу благодарнейший материал для литературы. Это всё её кровные — человеческие, психологические, романтические и реалистические, остроконфликтные, далеко не пресные и не скучные, не «кнопляные» темы. И работы тут хватят на целую дивизию писателей.

А что же сделано у нас в этой области за последнее время?

Я не буду специально и очень уж подробно говорить об отдельных вещах, а постараюсь сгруппировать ряд вопросов, выдвинутых произведениями, вышедшими из печати за последние годы.

Самым крупным событием в области романа за последнее время явились главы из второй книги «Поднятой целины», опубликованные в «Правде», «Огоньке» и «Октябре», — чудесное творение большого художника. Кто из нас не испытывал хорошей, беззлобной — движущей литературу вперёд — творческой зависти, читая продолжение «Поднятой целины»: «Эх, как же он, Шолохов, разбирается в глубинах души человеческой! Как великолепно выписаны характеры! Как бесподобно народен язык, какие изумительно точные, бьющие прямо в сердце читателя слова!»

Ещё в «Тихом Доне» великое демократическое значение творчества Шолохова заключалось в том, что он впервые в истории всей мировой литературы в многоотной эпопее дал богатство духовного мира людей, благородство, многоцветную красоту чувств, большие мысли, бездонную глубину страстей на материале жизни простого народа. До него другие романисты за всеми этими сложными и тонкими проявлениями чувств и страстей человеческих обращались к миру людей «образованных» — аристократии, дворянства, интеллигенции. В среде малограмотных крестьян или рабочих им не хватало «духовного материала» для написания таких, по объёму и охвату событий, эпопей.

Я думаю, что этими словами не обижаю никого из больших писателей прошлого. Многие из них отдавали свой талант служению народу. Такие, как Глеб Успенский, всю жизнь только о народе и писали. Но Успенский писал очерки, не романы. Решетников писал очень народные вещи, из самой гущи крестьянской жизни, но в них всё же далеко не тот художественный уровень, не тот размах. Первой, в полном смысле слова, народ-

ной эпопеей в русской и мировой литературе явился «Тихий Дон». Такое слияние души писателя с душой народа, какое мы видим в книгах Шолохова, могло произойти только в наше, советское время. За народность Шолохова и народ платит ему горячей любовью. Нет писателя у нас, который был бы так популярен в народе, в самых разных кругах читателей.

В новых главах «Поднятой целины» Шолохов остаётся верен всем своим творческим принципам. Опять мы наслаждаемся духовной красотой наших людей, простых тружеников, восхищаемся мастерством художника, необычайно пластичной лепкой образов. Варюха впервые появилась в этих новых главах, и уже мы её сердечно полюбили. Эта Варюха-горюха станет в ряду лучших женских образов нашей литературы. Логическое, глубокое развитие получают характеры Нагульнова, Давыдова, Островнова, Половцева. Драматизм и беспощадная жизненная достоверность отдельных сцен буквально потрясают.

Вторая книга пишется через двадцать лет после опубликования первой книги. И тем не менее в продолжении романа очень верно выдержан дух того времени. Конфликты, характеры, язык героев — всё присуще именно тем годам. Большое мастерство нужно, чтобы писать так цельно, слитно, будто автор лишь на прошлой неделе закончил первую книгу и сразу засел за продолжение.

И в то же время содержание новых глав, которые мы читали, очень перекликается с нашими днями. Образ Давыдова — живой, в борьбе, работе, сомнениях, ошибках, удачах, неудачах — крепко поможет нынешним «тридцатитысячникам». А разговор кузнеца Ипполита Шалого с Давыдовым! Как это поучительно и сейчас для многих руководителей! Народ зорко присматривается к своим руководителям, критически оценивает каждый их поступок, каждый шаг. Народ от всей души желает добра, успехов руководителя — ведь от их успехов зависит и благополучие, жизнь народа! — и готов в любую минуту прийти на помощь — надо лишь уметь принять, не отвергнуть эту помощь. Вспоминаются по этому случаю чьи-то слова о том, как по-разному, бывает, растут у нас люди, попав к руководству. Один поднимается, растёт и массу за собой поднимает; а другой растёт — отрывается от народа, от матери-земли, между ним и народом образуется опасная пустота. Упадёт — больно расшибётся! Из окончания разговора Давыдова с Шалым, из того, как Давыдов, красный, весь в поту, в мыле, всё же чистосердечно благодарит кузнеца, видно, что этот руководитель от народа не оторвётся...

Большой урок для всех нас в творчестве Шолохова заключается вот в чём. Мы знаем, что это могучий талант, художник из тех, которые не так уж густо и часто рождаются на земле. Но как бы ни был велик талант, полной силы он достигает, лишь когда питается жизненными соками. Может быть, даже это и есть один из первых составных элементов большого таланта — любовь к жизни. Не только к жизни в тебе самом, но и к жизни вокруг тебя. Чтобы добиться такого, как у Шолохова, органического растворения в думках и чувствах народа, надо быть очень близким к народу, жить в нём. За две-три творческие командировки не увидишь в жизни народа всего того, что видит, знает, чувствует Шолохов.

Интересный роман Рустама Агишева «Зелёная книга» написан, собственно, не о колхозах, не о деревне. Это — большое повествование о жизни и борьбе людей сельскохозяйственной науки, о людях одного научного института и садового питомника на Дальнем Востоке. Есть в романе и герои с действительными именами, вроде старика Лукашева, хабаровского садовода-мичуринца, в защиту которого очень гневно выступал в печати ещё в 1931 году сам И. В. Мичурин. В романе ярко, через сильные характеры людей, показана борьба мичуринцев с формальными генетиками, последователями Моргана — Вейсмана. Роман Р. Агишева — большая, капитальная работа, не лишённая, однако, существенных недостатков. Там, где начинается повествование об Отечественной войне, начинается и литературщина: всякие невероятные повороты сюжета, архисчастливые совпадения случайностей — упрощённость и облегчённость. В романе много ненужных повторов и длиннот, которые автору при переиздании следовало бы убрать.

Жанру повести на деревенские темы у нас за последнее время повезло, пожалуй, больше, чем романам. Тут больше радостных событий, — впрочем, в иных случаях, мо-

жет быть, и не совсем радостных, но всё же событий, ибо поскольку вещь вызывает много разговоров, стало быть, это уже литературное событие.

Появилось несколько хороших повестей В. Тендрякова, мастерски и с большой теплотой к людям написанная, очень изящная по форме повесть Т. Журавлёва «Комбайнеры», интересная повесть Галины Николаевой «О директоре МТС и главном агрономе», повести А. Вальцовой «Осень в Щеглах», А. Шогенцукова «Весна Софият», Ф. Певнева «Урожай», Лидии Обуховой «Глубынь-Городок», Г. Бакланова «В Снегирах» и другие. Собственно, «В Снегирах» сам автор называет повестью, но, по-моему, это хороший, настоящий художественный очерк на «вымышленном», как у нас говорят, материале, а вернее, на обобщённом. И в самое последнее время в № 5 журнала «Нева» появилась повесть Сергея Воронина «Ненужная слава» — вещь, на мой взгляд, просто превосходная.

Издание повестей и очерков В. Тендрякова в одной книжке даёт возможность проследить хорошую эволюцию, которую проделал этот писатель в своём творчестве. Может быть, это — дело личных вкусов, но его первая повесть, «Среди лесов», мне не нравится. Вещь с шаблонным сюжетом; написана она, в смысле беллетристического построения, правильно, штатное расписание персонажей заполнено; есть любовь — для аромата; есть борьба передовых и отсталых сил — для крепости; есть и некоторая сглаженность характеров и острых углов — для обтекаемости. В общем, повесть написана под влиянием недоброй памяти «теории бесконфликтности» : той литературы, что в годы процветания этой «теории» издавалась и переиздавалась у нас в изобилии. То, что автор грешил против правды жизни, не могло не сказаться и на художественном уровне вещи. Повесть получилась посредственная.

В дальнейшем, очевидно, В. Тендряков от собственной художественной неудовлетворённости этой вещью, а может быть, и в результате разговоров с товарищами, пережил и передумал много. Следующие его вещи: «Ненастье», «Падение Ивана Чупрова», «Не ко двору» — это не шаг, а прямо бросок вперёд. Писатель повернулся лицом к острым конфликтам, пошёл бесстрашно навстречу сложным жизненным противоречиям, стал в них по-хозяйски разбираться и вырос как «инженер человеческих душ», как художник сразу на две головы.

Критикой В. Тендряков, в общем, не обижен. Много уже было похвал, и вполне заслуженных, в адрес его повестей. Присоединяясь к этим похвалам, я хочу лишь заметить одно. Темперамент у Тендрякова есть, писатель он «с огоньком». Гневного отношения, ненависти ко всему плохому в жизни у него хватает. Но порой в его произведениях звучат нервные нотки. А в борьбе нервничать нельзя, это не признак силы. Чуть-чуть отдаёт от его очерков и повестей пассивностью, и хочется, чтобы он писал ещё лучше, может быть ещё острее, но в то же время и активнее дрался за то хорошее, что он утверждает.

Автор повести «Комбайнеры» — Т. Журавлёв — очень своеобразный писатель, умеющий рассказать тонко и поэтично о весьма «прозаических» вещах. Грохот комбайнов в его повести нисколько не заглушает человеческих голосов. И деревню он знает не с налёта. Уже после некоторого литературного успеха его первой военной повести, «Рядовой Антипов», он пошёл в МТС, поработал год помощником комбайнера. А потом опять принялся за писание. И это было не «хождение в народ»; это — очень серьёзное желание изучить среду людей, о которых пишешь. Так изучал материал для своих романов и Джек Лондон, писатель, далеко стоявший от русского народничества. Очень жаль только, что Журавлёв — художник оригинальный, с богатым набором красок на палитре, хороший психолог, одарённый и юмором, — мало пишет. Слишком уж долго вынашивает он новые темы, месяцами ходит вокруг письменного стола, прежде чем сесть за него.

Своеобразная вещь — повесть кабардинского писателя А. Шогенцукова «Весна Софият» — о девушке-трактористке, идущей работать на трактор погибшего в Отечественную войну брата, тракториста. Повесть была бы ещё лучше, если бы автор удержался от ненужной сентиментальности и не злоупотреблял местами излишней — даже с учётом национальных особенностей быта кабардинских колхозников — цветистостью. Вряд ли надо было так уж сгущать переживания Софият (до нервной горячки!) по случаю того, что её трактор ночью наскочил на вросшую в землю старую автомобиль-

ную раму. Ведь вины Софият в этом нет. В местах, где проходили бои, не мудрено напороться плугом и на неразорвавшийся снаряд, не только на автомобильную раму...

Повесть молодого украинского писателя Василия Земляка «Родная сторона» — о полесских колхозниках — ещё не известна читателям в переводе на русский язык. Она печаталась в киевском журнале «Дніпро». Повесть оставляет впечатление несомненной талантливости автора; много в ней хорошего, свежего, оригинального. Но, видимо, всё же в редакции оказали автору недостаточную помощь. Повесть напоминает большой новый дом, только что заселённый людьми, но заселённый в беспорядке — кто по ордеру пришёл, кто самовольно. И дом настоящий, и люди настоящие, живые, но бродят они по комнатам в неустойчивости, и номера комнат не сходятся с ордерами, и люди есть лишние. Нет коменданта здания, чтобы навёл порядок. Вот таким комендантом для повести мог быть хороший редактор.

В журнале «Знамя» напечатана повесть молодой писательницы Лидии Обуховой «Глубынь-Городок». Хорошо вступает в литературу этот молодой, свежий талант. С большой любовью к жизни, к людям, с широким взглядом на их дела, со светлой мечтой о завтрашних днях, с пылкостью и зоркостью художника написала Обухова свою повесть о западнобелорусской деревне. В повести — никакой лакировки, и все люди хорошие. Образ настоящего партийного руководителя, «инженера человеческих душ» в применении к партийной работе, секретаря райкома Ключарёва, по-моему, дан превосходно. Редко кому из писателей удавалось показать хороший дуэт в работе секретаря райкома и председателя райисполкома — обязательно один «положительный», другой «отрицательный»; кто-то из двух «дерёт козла». У Обуховой и председатель райисполкома Якушонок — прекрасный работник, на своём месте, у них с Ключарёвым серьёзные споры, они отнюдь не целуются друг с другом, но в работе — дуэт, приятно послушать. Много написано у нас книг о том, как хороший человек становится бюрократом. У Обуховой в повести есть персонаж, Пинчук, на судьбе которого можно проследить обратный процесс: как бюрократ под здоровым влиянием постепенно становится хорошим человеком. И всё это — без натяжки, художественно убедительно. По-моему, образ такого Пинчука полезен для бюрократов в воспитательном смысле. Действует на совесть.

Но в повести «Глубынь-Городок», конечно, не только районные руководители. Она густо населена и рядовыми колхозниками, интересными типами председателей колхозов, стариками, молодёжью. И написана она в хорошей свободной манере душевного, взволнованного разговора с читателем-другом о жизни глухих полесских деревень, о людях, недавно, лишь перед второй мировой войной, вступивших в братскую семью народов Советского Союза. Некоторая композиционная рыхлость, несобранность повести — это от недостатка литературного опыта молодого автора.

Когда заходит разговор о колхозном рассказе последних лет, то в первую очередь вспоминаются всем рассказы Г. Троепольского. Рассказы у него разные. Одни — сатирические; другие — не сатирические, так сказать, обыкновенные. Грешным делом, мне эти «обыкновенные» его рассказы нравятся больше, чем «необыкновенные». В сатире у Троепольского есть пережимы, смехачество. Это тонкое искусство — смешить людей, не указывая пальцем на смешное. И не по очень крупным мишеням бьёт иногда автор. Можно бить, конечно, по всяким мишеням, но нужно соответственно рассчитывать калибр оружия и заряд. А Троепольский порой не по-хозяйски тратит порох, и это тем более странно, что он сам охотник и должен бы знать, что на перепела надо класть заряд поменьше, а на гуся или на дрофу — побольше. Неэкономно и даже, так сказать, «неэстетично» палить на охоте тяжёлыми зарядами по бекасам, куликам; даже как-то ухо режет чрезмерно громкий выстрел на такой охоте. А Троепольский иной раз всей силой своей сатирической издёвки обрушивается на рядового колхозника, будто он и есть главный виновник всех наших неполадок. Если бы всюду было хорошо с материальной заинтересованностью и воспитанием людей, у нас Гришки Хваты, пожалуй, давно бы уже повывелись. Я знаю много таких колхозов, где нет уже ни одного лодыря. Один, конечно, лучше работает, другой хуже, но отлынивающих от работы — ни одного. Невыгодно отлынивать — слишком много потерчешь при распределении доходов. Гришки Хваты и Никиты Болтушки водятся в изобилии в тех колхозах, где делами управляют

Прохоры Семнадцатые. А Прохоры Семнадцатые, в свою очередь, процветают там, где районами руководят... и т. д. Вот тут-то и давай заряд покрупнее. Прошу понять: я не против стрельбы по разным мишеням, не беру Гришку Хвата под защиту. Надо и таких Хватов высмеивать. Но я — за художническое чувство меры и такта. И ещё за то, чтобы автор никогда не терял ощущения масштаба трибуны, с которой он выступает. Большая трибуна требует более сильных сюжетов и обобщений, чем, скажем, заметки для районной газеты.

При всех своих недостатках, сатирические рассказы Троепольского всё же хорошее явление в нашей литературе. Рассказы приняты в читательских кругах положительно, читаются, делают своё полезное дело.

Но вот мне попался в руки совсем другого сорта рассказ Троепольского, «У Крутого Яра», и прочитал я его мало сказать с удовольствием — с наслаждением. Отбросил автор в сторону тяжкую обязанность во что бы то ни стало смешить людей, стал писать просто, как пишется, и полились из души и чудесные пейзажи, и живая человеческая речь, и хорошие, светлые чувства. И всё это в нехитром по замыслу рассказе — об охоте на волков. Рассказ «Соседи» у Троепольского, так сказать, полусатирический, просто с юморком, кое-что в нём высмеивается, но мягко, без нажима, и рассказ хорош. Нравится читателям последний рассказ Троепольского, «Митрич», напечатанный в «Новом мире». Если эти рассказы для Троепольского — проба сил в другом жанре, то надо ему сказать, что пробу он сдал на высокий разряд. Видимо, сатира — не единственный его «кусочек хлеба».

Живёт Троепольский на плодородном воронежском чернозёме, в Москву переезжать как будто не спешит; не юноша, в таком уже возрасте, когда слава голову не кружит; много повидал в жизни, сам агроном, имеет большие знакомства в своём Острогском районе среди колхозников; писатель он, безусловно, талантливый, надежды на него большие, ждём от него новых рассказов, хороших и побольше.

У украинского писателя Остапа Вишни сатирические колхозные рассказы получаются, на мой взгляд, лучше. Это старый, опытный мастер юмора и сатиры; он знает, где «нажать», где «отпустить», чем и как рассмешить и рассердить читателя. Но пишет он мало. И не всегда достаточно глубок в выборе тематики для своих сатирических рассказов.

В своё время обратили на себя внимание лирические колхозные рассказы Сергея Антонова. Его «Поддубенские частушки» надолго запомнились читателям — и деревенским и городским. Но вот уже давно что-то не видим мы новых произведений С. Антонова. Может быть, он не ко времени — «под руку», так сказать, сам себе — опубликовал в «Литературной газете» серию статей о том, «Как писать рассказы», или засел на долгие годы за какую-то большую вещь, и, возможно, на другую, не деревенскую тему. Однако жаль, в общем, что в такое боевое для сельского хозяйства время С. Антонов выпал из рядов колхозных писателей. Непрочной, непостоянной оказалась его любовь к деревне. Впрочем, симптомы непостоянства, возможности будущей «измены» деревенской теме у С. Антонова можно было уже заметить и раньше, когда его рассказы мы ещё часто встречали в печати. Он с лёгкой душой переносил влюблённую пару своих героев из колхоза на канал, с канала — на высотное здание. Видимо, он из тех «деревенских» авторов, которым колхоз нужен лишь как фон для поцелуя.

А если сегодня, по обстановке, выгоднее, чтобы этот поцелуй совершился на фоне внедрения в промышленность новейшей техники, то можно и туда перебазировать сюжет, персонажей, всю лирику и романтику.

Что-то очень уж долго — уже несколько лет — молчит в Ростове-на-Дону талантливый очеркист и рассказчик на колхозные темы Владимир Фоменко. Этого писателя в измене деревенским темам не заподозришь; он человек не ветренный — «однолюб». Но, может быть, он пишет роман? Если это так, если это переход писателя из одного качества в другое, то что ж, подождём, не к спеху... Правда, отряд рассказчиков наших понесёт некоторые потери. Но зато выиграет, если книга будет хорошей, отряд романистов. Как говорили в старину в деревне, когда выдавали девушку замуж: «Девкой меньше, бабой больше».

Давно и добросовестно трудится над колхозной темой в жанре рассказа Ефим Дорош. Есть у него очень хорошие вещи, такие, как «На свадьбе», «Катериновские дев-

чата», «Иван Федосеевич». Писатель он опытный, деревню изучает основательно. Один товарищ из литераторов говорил мне, возмущаясь: «Я не понимаю тех писателей, которые, бывая в колхозе, не интересуются заглянуть в годовые отчёты, в производственный план, табеля. В этих цифрах при внимательном изучении столько проблем, столько сюжетов!» Так вот Ефим Дорош, видимо, не в пример иным писателям, бывая в колхозе, всё изучает досконально. Рассказы его носят следы добротной работы. Но некоторым вещам не хватает какой-то внутренней силы, костистости, что ли, угловатости. Это не бесконфликтность и не лакировка, хотя кое-где есть налёт благостности. На умышленную лакировку Дорош не способен. Тут что-то идёт от самой природы автора. Видимо, будучи человеком очень мягким и деликатным, Дорош, когда слышит где-то в кучке народа слишком уж крепкие выражения, смущённо поднимает воротник пальто, поворачивается и уходит прочь. И тут он многое теряет. Не в смысле обогащения своего лексикона, а в смысле проникновения в жизнь. Надо бы остаться до конца и дослушать, по какому случаю шум. Не обязательно потом все выражения в точности воспроизводить в книге, но слушать писатель должен всё, не жалея ушей. Вообще, профессия у нас вредная, жалеть себя не приходится. Чтобы взволновать читателя, надо самому очень переволноваться над тем, что пишешь. Достается всему — и ушам, и нервам, и сердцу. И ничего тут нельзя порекомендовать писателю для сбережения здоровья. Чтобы писать, надо идти навстречу острейшим конфликтам, тяжёлым драмам, запутанным противоречиям жизни. Будешь избегать их — станешь писать хуже.

В сборниках С. Жураховича и С. Залыгина рассказы значительно слабее очерков. Почему? Возможно, это более ранние их произведения? Или, может быть, потому, что в рассказах — «сочинительство», а в очерках — жизнь..

Хочется несколько слов сказать ещё о рассказах Г. Радова. Читатели встречали их в журнале «Огонёк». Г. Радов, в прошлом журналист, в тридцать пять лет начал, можно сказать, «вторую жизнь». Он был учеником слесаря, несколько лет работал на заводе и, познакомившись с жизнью рабочего класса, стал писать рассказы на заводские темы. Автор он из зубастых — из тех, которым не дай острого конфликта, так они и писать не станут. Потом его всё же потянуло к деревне, и именно к кубанской станции, которая ему знакома с детства. Я считаю себя тоже наполовину кубанцем, долго жил и работал там, поэтому с особым интересом присматривался к кубанским рассказам Г. Радова. Надо сказать, масштабы, размах кубанской жизни схвачены Радовым верно. И специфически кубанские проблемы тоже поставлены верно. Радов растёт на глазах. Такие его кубанские рассказы, как «Звёзды», «На улице Казачьей», — это уже вполне художественные произведения. Но бывают у этого автора и срывы. Иногда он начинает стилизовать свои вещи под «сказы», и получается хуже. Иногда не соразмеряет содержание с формой. Тема — для хорошей деловой статьи, и публицистическое обнажение пойдёт ей лишь на пользу, в смысле остроты и убедительности. Но Г. Радов, с тех пор как стал «настоящим писателем», видимо, относится с пренебрежением к «низшим» формам литературы и старается каждую тему обязательно облечь в «беллетристику». Но всему своё. И получается иной раз ни рассказ, ни статья: вещь потеряла жизненную деловитость и убедительность, присущую хорошей статье, и художественности не приобрела. Пейзажики в начале и конце лишь придали ей вид сочинительства. А ведь и публицистика может быть художественной. И лучше написать статью с характерами, типами, вставными сценами, которая бы походила на рассказ, нежели рассказ, смахивающий на статью. Напрасно Г. Радов пренебрегает «простейшими» формами. Ему есть что сказать читателям, он много видит, наблюдает в жизни — всего в рассказы не уложишь. Видимо, он переживает тот начальный, волнующий период приобщения к большой литературе, когда автор, как Плюшкин, дрожит над каждой записью в блокноте: всё, всё только в роман или рассказы, ничего не тратить «по пустякам»! Он не умудрён ещё как следует писательским опытом, не сделал ещё открытня, что у настоящего большого писателя его блокнот — это чудесный сказочный неизменный рубль. Чем больше записей из этого блокнота идёт в дело — в рассказы, очерки, статьи, — тем больше появляется новых записей.

Общий итог по этому жанру неутешительный. Надо прямо сказать: за последние годы хороших рассказов на деревенские темы у нас не густо.

Более плодотворно поработали писатели над деревенскими темами в жанре очерка.

Здесь, пожалуй, больше всего появилось у нас значительных произведений, заслуживающих пространного разговора.

Но, прежде чем поведи разговор о конкретных произведениях, надо выяснить некоторые вопросы об очерке вообще. Многие писатели и литературоведы в достаточной мере запутали понятие об этом жанре. Надо тут кое-что распутать.

Некоторым нашим литературоведам удалось найти то, чего до них не мог отыскать ни один человек на свете. Совершив открытие, равновеликое изобретению «перпетуум мобиле», они установили чёткую, совершенно определённую грань между повестью и рассказом, с одной стороны, и очерком — с другой. Рассказ, мол, — это высокое искусство, потому что здесь есть место для свободного полёта фантазии художника; в рассказе и повести всё вымышлено, всё создано, «сочинено» самим автором, его воображением. А в очерке всё документально, это простая фактография, второй сорт литературы, тут, собственно, таланту и делать нечего — знай себе списывай точно с натуры, копируй жизнь.

Литературовед профессор Л. Тимофеев, например, в своей книге «Краткий словарь литературоведческих терминов» (в соавторстве с Н. Венгровым), изданной как пособие для учащихся средней школы, категорически утверждает, что очерк обязательно должен быть документальным. Вот что пишет он в этой книге об очерке:

«О черк — один из видов эпической, повествовательной литературы, который отличается от других её видов (роман, повесть, рассказ) тем, что в очерке точно изображаются события, происходившие в реальной жизни, участники которых существовали в действительности, а то время как в рассказе, например, писатель, изучая ряд жизненных фактов и отбирая из них существенное и характерное, создаёт при помощи вымысла и творческого воображения обобщённую картину, т. е. изображает события, которые в действительности могли и вовсе не происходить или могли не происходить так, как он их изобразил.

О черк ист, автор очерка, изображая жизненные факты, так же, как и каждый художник, отбирает в жизни лишь самые существенные из них, отмечает в событии и поведении человека лишь характерные его черты, т. е. то, что выражает мысль автора, его отношение к жизни. Однако он не вправе их изменять, прибегать к сколько-нибудь значительным элементам вымысла».

Бог им судья, таким литературоведам. Как можно быть литературоведом, «не ведая» ничего об очерках, скажем, Глеба Успенского, Короленко, Мамина-Сибиряка? Неужели профессор Тимофеев, действительный член Академии педагогических наук, не читал Щедрина, «Записки охотника» Тургенева? Не может быть! Читал, конечно. Но почему же у него такое примитивное представление, что очерк отличается от рассказа тем лишь, что пишется на фактическом материале, с точными именами, с точным адресом, а рассказ — это вольное «сочинение»? Не знаю, откуда такие примитивы, не берусь объяснить. Не понимаю, как можно читать очерки Глеба Успенского и думать, что это всё — чистая фактография.

Да, есть такой очерк, где всё строго документально: очерк о конкретном лице или лицах, колхозе, заводе, стройке, событии, очерк, имеющий большое значение, как литература главным образом познавательная. Но есть ещё и другой вид очерка, я бы сказал — очерк-исследование, большой разговор с читателями в художественной форме по поводу каких-то явлений жизни. В таком очерке фактическая точность лишь в самом существе явления, которое описывается, а во всём остальном руки автора так же развязаны, как и в любом другом жанре. Можно и не давать точного адреса, и вводить в действие вымышленные персонажи, и прибегать к домыслу, к обобщениям. Пожалуй, даже ни в одном другом жанре нет такого простора для обобщений, как в очерк-исследовании. Мало разве домысла, вымысла, обобщений и «не фактических» имён в сатирических очерках Щедрина? Разве Прохор Порфирыч в «Нравах Растеряевой улицы» Глеба Успенского списан точно с натуры и с одного человека? Разве в Иване Босых Успенский не собрал наблюдений над сотнями таких опустившихся мужиков и не обобщил их судьбу? Кто засвидетельствует, что «Павловские очерки» Короленко — это точный «хронометраж» дня, проведённого им в промышленно-торговом селе Павлове? Многие свои сибирские вещи Короленко сам называл очерками, а нам, когда мы их сейчас читаем, думается, что это рассказы.

Не знать о давнем существовании в русской литературе такого вида «не документального», «не фактического» очерка или умалчивать о нём при литературных исследованиях об очерке — это просто невежество.

Думается мне, что в наше время очерк-исследование, как жанр оперативный, очень нам нужен. Если вся литература — армия, ведущая наступление на идеологическом фронте борьбы за коммунизм, то очерк представляется мне как бы небольшим подвижным разведывательным отрядом, выброшенным далеко вперёд. Правда, разведчикам памятники не ставят; их ставят завоевателям, пришедшим потом на это место и плотно на нём обосновавшимся (в то время как разведчики идут дальше вперёд). Но дело не в памятниках. Дело в том, что такая литературная разведка больших жизненных проблем нам сейчас действительно очень нужна.

Я нисколько не хочу принизить значение романа, этого фундаментального, основного жанра во всякой литературе. Но ведь романы, как мы знаем, пишутся иногда десятилетиями и даже двадцатилетиями. А время-то идёт. Время у нас сейчас такое бурное, всё так быстро растёт, изменяется, столько на наших глазах возникает новых процессов, в которые надо бы вмешаться средствами художественного слова! И тут, кроме романа, необходимы и другие, более лёгкие, более оперативные виды литературного оружия.

Очерки Анатолия Калинина «На среднем уровне» печатались в «Правде». Они дошли до широких масс читателей и горячо ими одобрены. В те дни в районах как раз проходили партийные конференции, и я был свидетелем того, какое воздействие оказывали эти очерки на читателей. Ими зачитывались, ни один номер газеты с ними не пошёл, пожалуй, на кульки для пряников; отдельные места цитировались в выступлениях делегатов конференций. Очерки активизировали партийные массы, и местным Молчановым и Неверовым, где таковые оказывались, от них становилось жарко. Слышал я и злобную ругань в адрес Калинина — не с трибуны конференций, а за углами: писаки, мол, указывают нам! Их бы на наше место, посмотрели бы, на каком «уровне» у них пошли бы дела! Что ж, закономерно и это раздражение любителей среднеблагополучных сводок и тихой обывательской жизни за спиной народа. Ведь и это один из признаков «воздействия на жизнь». А я думаю, в том и состоит самая большая радость для автора: видеть, знать, что его писания в какой-то мере помогают нашей партии двигать жизнь вперёд.

У нас иногда говорят, что вот, мол, тот или иной очерк удачен, берёт за душу тем, что злободневен, что в нём подняты острые, важные вопросы. И только. Умаляется роль мастерства. Вопросы-то вопросами — их вокруг нас миллионы, — но надо же суметь в художественной форме поднять эти вопросы. Лишь тогда очерк берёт за душу и читается, как увлекательный роман или повесть, если он написан мастером, художником.

В очерках А. Калинина «На среднем уровне» и «Лунные ночи» есть всё, присущее большой литературе: живые, сильные характеры, типизация явлений, острые конфликты, захватывающие мысли, драматизм, поэзия больших и светлых человеческих чувств. В «Лунных ночах» автор глубоко и вместе с тем как-то интимно, по-домашнему проникает в жизнь народа. Дарья — очень волнующий и привлекательный образ колхозницы.

Не хватает в очерках, может быть, жёсткого отбора главного — самого главного. Неизвестно, как и что разовьётся дальше (очерки ещё не закончены), но в тех частях, которые мы уже читали, фигура писателя Михайлова, например, кажется лишней — всё было бы на месте и без него. Но, в общем, это дело автора — как он поведёт дальше.

Очерки А. Калинина принадлежат именно к этой спорной литературной категории: в них нет ничего точно «сфотографированного». Ерёмин, Молчанов, Неверов, Дарья, агроном Кольцов, секретари обкома Семёнов и Тарасов — это всё «вымышленные», собирательные персонажи. Может быть, произведение А. Калинина следует считать повестью?

Но и сам автор назвал свой труд очерками, и мы склонны с ним согласиться, добавив, что эти очерки написаны в хороших традициях лучших старых очеркистов большой русской литературы.

В очерке молодого автора Григория Бакланова «В Снегирях» дана весьма поучительная для многих председателей колхозов драматическая история очень талантливого, но во многом действующего неверными методами — зарвавшегося, с элементами самодурства в характере — председателя богатого передового колхоза «Авангард» Фёдора Денисова. Поучительна эта история и для секретарей райкомов, призванных воспитывать таких людей, как Денисов. Ведь он в душе советский человек, и нет для него жизни вне колхоза, вне интересов колхоза, которым он руководит двадцать с лишним лет. Когда такие люди падают, это тяжкий грех районных и областных партийных руководителей.

Тема не новая, встречали мы уже таких председателей колхозов в произведениях других авторов. Но у Г. Бакланова эта тема разработана очень по-своему, ни на кого не похоже.

Большой кусок колхозной жизни проходит перед нами в этом очерке. Великолепно, очень колоритно выписан сам Денисов. Не много действует в очерке Табаков, но успеваешь крепко полюбить его, настоящего коммуниста, воспитателя народа, бескорыстного «специалиста по вытягиванию отстающих колхозов». Хорош, не шаблонен секретарь райкома Ермаков. Да и всех остальных персонажей видишь, как живых. Вещь читается с большим интересом, начнёшь — не оторвёшься. И строгая очерковая форма, отсутствие всяких «беллетристических» украшательств несколько не снижают художественной убедительности вещи, напротив, усиливают её какой-то особой житейской достоверностью. Читаешь — и будто имеешь дело с живыми людьми, будто всё это списано с «фактического» колхоза и автору лишь осталось назвать адрес: поезжайте, найдёте этих людей и убедитесь сами, что всё это так.

А на самом деле, как и в очерках Калинина, это не фактография, это всё «вымышленное» и обобщённое.

Занимаясь сам очерками, я понимаю душу очеркистов и знаю их некоторые хитрости, догадываюсь кое о чём. Иногда вот такая очерковая форма придаётся вещи автором умышленно, для того чтобы у читателя больше было веры в то, что им написано. Как будто это всё действительно с одного колхоза списано и этот колхоз под таким же названием, все эти люди с этими же именами точно существуют в натуре. Только автор, по забывчивости может быть, не указал адреса — где это всё происходит. Это невинная хитрость, ничего тут подлежащего писательскому суду чести нет, такой «доброкачественный обман» читателя допускается в литературе. Лишь бы не было вранья в другом, в главном — в самом существовании описываемых явлений. Но вот оказывается, что на эту «удочку» очеркистов попадают иногда и искушённые, опытные литературоведы. Это отсюда идёт школярски-примитивное разграничение очерка с рассказом: рассказ — это «сочинение», а очерк — факты. А вот бывает такой гибрид: по форме якобы очерк, а по существу — рассказ, повесть. Как его назвать, на какую полочку поставить?..

Очерки Ивана Антонова из Мордовии в альманахе «Год 37» и «Год 38», «Ухабы на дорогах» и «Разлив на Алатырь-реке» (перевод с языка эрзя) имеют точный адрес: Ардатовский район. И сам автор в примечаниях сообщает, что пишет о подлинных событиях и фактах.

Я не знаю, где живёт Иван Антонов, но если в самом городе Ардатове, то, вероятно, много неприятностей в быту причинили ему эти очерки, особенно первая часть. По себе знаю. Жил в районном городке Льгове, когда начинал писать «Районные будни»; имена были вымышленные, и то люди узнавали себя, переставали здороваться при встрече. А тут даже имена подлинные...

Очерки Ивана Антонова — большая, серьёзная, добросовестная работа. Это целое исследование на фактах одного района (вернее, двух: в очерках упоминаются Ардатовский и Козловский районы) — исследование документальное, так как здесь названы и имена, — о том, к чему приходят колхозы и район, когда в руководстве районной парторганизации несколько лет побудет вот такой Павел Петрович Бурмистров, человек невежественный (в анкетах пишет «окончил ЦППШ», но не расшифровывает, что это всего лишь церковно-приходская школа, и с тех пор вряд ли держал книгу в руках), самовлюблённый, оторвавшийся от народа бюрократ, подхалим перед начальством и любитель подхалимов вокруг себя, зажимщик критики, очковтиратель.

Конечно, такому «деятелю» наплевать, что будет с колхозами завтра и послезавтра. Это коновал, попавший на должность главного хирурга в нейрохирургическую больницу.

Но и после Бурмистрова району не повезло. Первым секретарём Козловского райкома становится после него Бояркин, о котором колхозники говорят: «Непонятный он. Не человек, а тёмный лес: ветра нет — молчит, ветер подует — зашумит». И вот тут Ивану Антонову следовало бы вместо такой, несколько унылой регистрации фактов подняться над местными районными вопросами, расширить круг наблюдений, докопаться до причин: почему такие Бурмистровы и Бояркины попадают в руководство? Кто их пестует, выдвигает, охраняет от справедливого приговора партийных масс? Кому и зачем нужны эти тупые, бездумные и бездушные исполнители директив?

Очеркам Ивана Антонова, как я уже говорил об одном авторе, тоже не хватает активности. Я, может быть, не совсем верно говорю насчёт расширения круга наблюдений: В ширину-то Антонов очень разбросался, а в глубину не пошёл. Не надо замыкаться в делах района, надо добираться от них и к «областным будням».

По ходу действия Антонов затронул много колхозных вопросов и проблем, больших и мелких, хозяйственных и организационных, агротехнических и идеологических. Даже слишком много. Когда рядом с проблемой действительно большого государственного значения поднимается вопрос трёхстепенной важности и обо всём говорится однотонно, без выделения главного на первый план, получается винегрет из проблем.

Во второй части очерков — «Разлив на Алатырь-реке» — действует уже другой секретарь райкома, Георгий Александрович Волков — человек совершенно иного склада, нежели Бурмистров или Бояркин, умный, честный коммунист, серьёзный, вдумчивый руководитель. Надо сказать, что Волков, как живой человек, не виден нам из очерков Антонова так, как виден Бурмистров. Считают, что и у Данте рай выписан бледнее ада. Но нельзя согласиться с тем, что так и должно всегда быть в литературе. Надо нам учиться описывать хорошее так же ярко, сильно и волнующе, как и плохое.

Вторая часть очерков Антонова облегчена; не так уж, видимо, гладко идёт на самом деле реализация решений Пленумов ЦК партии в районах, где последствия «бурмистровщины» и сейчас ещё, безусловно, дают себя знать. Бурмистровы «воспитывают», подбирают и расставляют вокруг себя людей «по образу и подобию своему». И после того, как таких Бурмистровых снимают, долго ещё на каждом шагу встречаемся мы и с их «методами» и с их ставленниками.

Антонов пишет, что секретарю райкома Волкову приходится трудно, но в чём именно — недоговаривает. Недоговаривает и о том, как эти трудности преодолеваются.

Вот автор пишет:

«...Георгий Александрович раздражался, велел зоотехникам ещё раз вдумчивей перечитать материалы Пленума ЦК, садился в машину и снова ехал в колхозы.

Чаще всего он бывал у Тремаскина (это хороший председатель колхоза, бывший второй секретарь райкома. — В. О.), просил:

— Помоги, Фёдор Фёдорович, разобраться. У тебя опыт партийной работы сочетается с руководящей работой в колхозе. А у меня этого нет. Трудно!

О чём они беседовали целыми часами, я не знаю, но Георгий Александрович возвращался из колхоза имени Чапаева бодрым, жизнерадостным, снова садился за бумаги и вызывал к себе людей».

Так-таки и признаётся чистосердечно автор, что не знает, о чём беседовал секретарь райкома с председателем колхоза, к которому ездил за советом. Как же так — этого не знать! Это же главное. Обязательно должен был знать и нам рассказать.

Иван Антонов как писатель, взявшийся за деревенские темы, — на верном пути социалистического реализма. Но надо ему упорно совершенствовать мастерство, тренировать свою наблюдательность, умение анализировать факты и делать из них большие выводы.

В № 5 альманаха «Эстония» за 1955 год напечатаны прекрасные очерки Юхана Смуула «Письма из деревни Сыгедате» (четыре письма — продолжение писем, напечатанных ранее, в 1951 году). Эти очерки стоят особняком и по своему ярко выраженному национальному колориту, и по своеобразным чертам жизни в приморском — полурыбацком, полусельскохозяйственном — колхозе, и по своей особой поэтичности, заду-

шевности. Поэтичность объясняется, видно, тем, что автор не только прозаик, но и поэт. Часть писем у него и написана стихами. И переход от прозы к стихам очень естествен — они возникают тогда, когда уже прямо из души льётся.

Но нет, задушевность очерков объясняется, конечно, не только тем, что автор пишет стихи, но прежде всего его большой любовью к людям, о которых он пишет, заинтересованностью в делах этих людей, его жгучей ненавистью к идиотизму старой деревенской жизни и к бывшим её хозяевам, кулакам. Те страницы, где он рассказывает о зверствах кулаков в недавние годы, написаны кровью.

Смуул — большой художник. И главное в его писаниях, как у всякого настоящего художника, — человек. Он очень подробно рассказывает и о хозяйственных делах колхозов, но всё это — через людей, через их мысли, чувства, споры, мечты. Мягкая, безобидная шутка, юмор придают особую теплоту очеркам и располагают к ним читателя.

Очерки Смуула поучительны тем, что показывают, какой своеобразной и многообразной, свободной от всяких шаблонов может быть наша деревенская литература. Места в деревенской теме очень много для любых творческих манер, стилей и жанров, для остро сюжетного и бессюжетного построения материала, для нежной акварели и для густого масла. Совсем не обязательно каждый очерк начинать с приезда агрономоватора в разваленный колхоз, а кончать полной его победой над консерваторами, женитьбой на лучшей звеньевой и праздником урожая. При том богатом выборе красок, который нам предоставлен, нет никакой необходимости пользоваться материалами из железо-скобяного магазина: лаком и дёгтем.

На крайне важные темы об освоении целинных и залежных земель у нас за последнее время появились очерки Ивана Шухова, Ильи Сельвинского, казахского писателя Сабита Муканова, И. Коссаковского, Н. Четуневой, Вл. Солоухина, белорусов Богатенко и Приходько и других. Это полезная, нужная литература; при терпеливом чтении много узнаёшь из неё о том, что делается у нас в новых совхозах, осваивающих целину. Я говорю — при терпеливом чтении, потому что некоторые очерки нужно действительно заставлять себя читать. Общий художественный уровень очерков, к сожалению, не соответствует важности темы. Эти очерки о новосёлах и сами выглядят пока очень уж неустроенными новосёлами в нашей литературе. В самом содержании и в художественной ткани очерков всюду зияют пустыри. Но можно ведь и о новосёлах писать более капитально, и если дома у новосёлов ещё не оштукатурены, то самый очерк о них должен быть «оштукатурен» как следует. Пустоты в таких очерках образуются преимущественно там, где не показаны или плохо показаны люди.

В целинных очерках большое место занимают история и предистория края, куда едут новосёлы, и так называемая дорожная часть, где описывается путешествие самого автора к месту действия. А вот самого-то действия маловато. Очень хочется знать больше о людях, заселивших целину, — ведь это интереснейшие люди; «искатели счастья» среди них в меньшинстве; главным образом это люди передовые, наиболее отзывчивые на призывы партии, с крепким характером и горячим сердцем. Их среда — золотые россыпи для писателя, ищущего революционную романтику. Но у авторов очерков с этой средой пока что «шапочное знакомство».

И. Шухов в своих очерках пишет: «Люди с аналитическим складом ума — плановики и экономисты — утверждают, что цифры сильнее слов». Так ведь то плановики и экономисты, а мы всё-таки писатели, и мы полагаем, что самое главное и сильное в художественном произведении — это слово. И нельзя так перегружать некоторые очерки цифрами, как делает Шухов. Чтобы по-настоящему увлечь, заинтересовать читателя, надо думать о художественной форме, а не прятаться за экономистов.

У Сабита Муканова цифр значительно меньше и история края дана, пожалуй, наиболее интересно, ибо написана человеком, родившимся и выросшим в этих местах, хорошо их знающим; тут не одни лишь книжные источники, тут — живая история. И в смысле проблемности и показа масштаба и дальнейших перспектив освоения целинных земель очерки его представляют серьёзную, большую работу. Но люди и у него описаны недостаточно ярко.

А пора бы нам уже иметь высокохудожественные книги о людях целины. Люди эти в обиде на нас, писателей, за то, что мы осваиваем новую тему в литературе зна-

чительно медленнее и хуже, чем осваивается сама целина в жизни. Если вспомнить первую пятилетку, то в те годы писатели более оперативно поспевали за нашими великими новостройками. С заводских корпусов не были ещё убраны леса, а о людях, строивших эти заводы, уже выходили романы. И в том числе такие, о которых отнюдь не скажешь, что они выглядели сами ещё недостроенными и необжитыми.

Я много места отвёл в своих, так сказать, авторских отступлениях и рассуждениях очерку на обобщённом материале — очерку, которому мы ещё и названия точного не придумали, назвав его пока условно «гибридным». Наряду с упомянутыми выше следует вспомнить ещё интересные, содержательные очерки С. Залыгина о людях МТС, очерки М. Жестева и украинского писателя С. Жураховича. Хочу обратить также внимание читателей на хороший очерк П. Воронина, напечатанный в журнале «Сибирские огни» (№ 1 за 1955 год), и очерки А. Исетского «Своим умом» (альманах «Год 38», № 21).

А теперь ещё несколько слов об очерках документальных.

Очень важен этот жанр. Очень нужны нам сейчас хорошие очерки на фактическом материале о лучших колхозах страны, лучших МТС, совхозах, замечательных мастерах земледелия, животноводства, лучших организаторах хозяйства. Полезное дело делает А. Михалевич, автор сборника «Творцы изобилия» (Украина), но вообще-то таких очерков у нас мало.

Пропагандистское значение такой литературы очень велико (при условии, конечно, если очерк написан художником с большой убедительностью, без патоки, без сентиментальных восторгов и сюсюканья). О хорошем можно писать так же страстно и гневно, как и о плохом. Я не оговариваюсь — именно гневно, по отношению ко всему тому, что мешает широкому распространению хорошего. И художественный показ живых, фактических образцов хорошего, передового, и не с неба свалившегося, а завоеванного людьми в труде и борьбе, способствует движению жизни вперёд не в меньшей мере, чем бичевание недостатков. Пропаганда художественным словом — самая сильная пропаганда. Нам нужны десятки, сотни книг на фактическом материале о лучших колхозах, совхозах и МТС страны, и нужно так поставить работу вокруг этих книг, чтобы они были в каждой колхозной библиотеке и читались колхозниками. Пусть кто угодно считает эти очерки «низшим сортом» литературы, но нам такой снобизм не к лицу, для нас все «сорта» литературы важны и высоки, поскольку они служат делу нашей партии.

Научно-популярный очерк на сельскохозяйственные темы, в области которого у нас работают единицы писателей, тоже следовало бы всячески развивать и делать доходчивее для читательских масс. И думается, что научно-популярный очерк тоже мог бы быть активнее, действеннее в смысле вмешательства в жизнь, если бы чисто научную сторону дела больше, крепче сталкивать с практической стороной, с жизнью.

Очень хороший, обстоятельный, с большим знанием дела написанный очерк Геннадия Фиша «Открытие Терентия Мальцева», напечатанный в № 5 «Октября», кончается несколько «не в стиле» жизни и творчества самого Мальцева. Уж Геннадию-то Фишу, знающему Мальцева почти двадцать лет, хорошо известно, что в жизни этого крупного учёного не было такого перелома, чтобы как будто что-то завершилось, остановилось, и он успокоился, и все страсти вокруг него успокоились, утикли. У него каждый год новое — новые открытия, новые дерзания, новая борьба и новые неприятности. А в очерке Г. Фиша как бы всё завершается седьмым августа 1954 года, полной победой приписов Мальцева, всесоюзным совещанием в колхозе «Заветы Ленина». Так кончить очерк можно было бы, если бы он писался год назад — сразу под радостными впечатлениями совещания. Но прошло некоторое время, парад кончился. Сейчас очеркист, пишущий о Мальцеве, обязан проследить, что же делается на местах во исполнение решений и рекомендаций, принятых на этом совещании. Закладываются ли опыты по его системе и как закладываются? А не остаются ли от его идей кое-где рожки да ножки и не получается ли дискредитация системы Мальцева? Как «планируют» земельные органы и другие директивные организации опыты по Мальцеву в колхозах, — может быть, борьба со старыми шаблонами превращается в новые шаблоны (по дурно понятой русской поговорке: «Клин клином вышибают»)? Может быть, планы «посева по Мальцеву» «спускают» иной раз туда, где нет подходящей земли, чтобы сеять по непаханному, а колхозы, где есть подходящая земля, таких планов

не получают? Я, например, прошлым летом в одном колхозе Курской области был на участке прекрасной яровой пшеницы, которая давала тридцать центнеров, и председатель колхоза, сам агроном, долго крутил-вертел, пока признался, что эта пшеница посеяна по непаханному свекловищу. «Я вашу фамилию не расслышал. Знаете, приходится с оглядкой,— кому скажешь, а кому нет». Оказывается, даже и сегодня, и даже при готовом урожае в тридцать центнеров он боится признаться, что земля здесь не пахалась, что сеял по непаханному свекловищу «контрабандой»; плана на такой посев ему из МТС и района не было «спущено». А я, грешным делом, когда писал в прошлом году статьи о Мальцеве, радовался, как дурак: вот наконец полный простор для творчества инициативного и умного агронома!..

За полную победу и торжество основных принципов мальцевской системы, — а заключаются они, если брать не только научную, но и организационно-деловую сторону, в искоренении всяческих канцелярских шаблонов в агротехнике и унтергришбеевщины в методах руководства работой агрономов на местах, — за это надо ещё драться и драться!

Вот если бы Г. Фиш дополнил свой очерк о Мальцеве таким жизненным материалом, собранным за последнее время, фактами из разных мест, что же делают сегодня в своих районах, областях, колхозах, МТС хотя бы те товарищи, что сами были на всесоюзном совещании в селе Мальцеве, аплодировали Мальцеву, шупали своими руками колосья на его полях, — вот тогда получилась бы настоящая научная пропаганда. Пропаганда достижений передовой науки нуждается иногда и не в очень научных, а просто крепких русских словах, в стиле публицистики протопопа Аввакума.

Есть ещё один вид литературы, к которому требования жизни обязывают нас прибегать почаще и смелее, не боясь, что написанное нами в этом жанре будет скучно и неинтересно для читателя. Это обыкновенная публицистическая статья. Если хорошо, крепко написать, — тому читателю, кому статья адресована, скучно не будет.

Я уж говорил, что не всякая тема лезет в «беллетристические» ворота. Иногда мы бережём какой-то острый, злободневный вопрос для того, чтобы «вставить» его где-то в какую-то большую вещь, которая будет написана, может быть, через пять лет; а между тем, нужно именно сегодня выступить специально по одному этому вопросу с деловой статьёй. В романе или повести можно иной раз «забеллетризировать» острые мысли так, что они потеряют если не всю, то половину остроты, будут восприниматься, как интересное чтение, а не как постановочные вопросы для практических решений. Это, мол, всё писателю понадобилось лишь для сюжета.

Помню, Виталий Закруткин рассказывал мне о страшных вещах, которые волновали его, когда он вынашивал свой роман «Пловучая станица», — об истощении рыбных богатств Азовского моря, о хищническом опустошении этого моря. Много тому причин: здесь и «бурмистровщина» в руководстве рыбацкими колхозами, и два хозяина над морем — один разводит рыбу, а другой даёт планы вылова рыбы, «неуязвимые» с наличием рыбы в воде, живёт сегодняшним днём, разрешает даже применять незаконные снасти, чтобы хоть мелочью пополнить улов. Здесь и браконьерство и слабая постановка научной работы по воспроизводству рыбы. Волосы на голове вставали дыбом, когда он мне рассказывал это всё. Да и сам я родом с Азовского моря, из Таганрога, помню прежние рыбные базары; а пришлось мне после войны побывать в Таганроге — и увидел кучи, горы мелочи, так называемой «тюльки». Никогда такую мелочь не вылавливали. К чему это приведёт? Превратим Азовское море в Мёртвое море? А вот написал Закруткин роман об этом — не так уж страшно получилось. Следишь больше за развитием отношений Василия Зубова с Груней, нежели за убылью рыбы в Азовском море. Слово автор сам не поверил, что народнохозяйственный вопрос тоже способен вызвать большой интерес у читателя.

Можно перечислить много вопросов деревенской жизни и сельского хозяйства, которые следовало бы поднять в оперативных деловых статьях. Например, о работе МТС. Можно ли считать, что мы уже нашли такие формы организации и оплаты труда работников МТС, которые очень заинтересовывали бы их в колхозном урожае? Нет, по-моему, ещё не нашли. И поныне трактористу выгоднее убирать средний хлеб, нежели очень хороший: на среднем он больше заработает трудодней. И сейчас происходит такое: один директор МТС обеспечил по своей зоне урожай в 25 центнеров,

у другого урожай 10 центнеров, но разница в зарплате у них небольшая. Есть некоторые надбавки, премии, но это не то. Резче бы надо дифференцировать. Если при урожае в 10 центнеров директор получает, скажем, полторы тысячи рублей в месяц, то за 25 центнеров, право же, не жалко и три и три с половиной тысячи заплатить. И такую резкую дифференциацию бы для всех — и для старшего агронома, и для главного инженера, и для заведующего ремонтными мастерскими, и для участковых механиков — вплоть до горючевозов.

А можно ли считать, что уже найдена у нас наилучшая система государственных поставок хлеба, полностью гарантирующая колхозы от тяжёлых последствий некоторых случайностей и произвола на местах, где ещё задержались в руководстве районов Бурмистровы? Система, создающая у колхозников прочную уверенность в завтрашнем дне и не подрывающая нигде материальной заинтересованности? Наблюдения над жизнью убеждают, что и здесь у нас ещё не всё ладно. И думается, что писателю-публицисту не возбраняется вести и углублять свои наблюдения, высказывать их в печати, помогать поискам лучших решений вопроса.

Проблемы механизации сельского хозяйства приобретают всё большую и большую остроту. Много людей из деревни ушло в города; в ином колхозе при той же земельной площади рабочих рук втрое, вчетверо меньше, чем было до войны. Но и в городах ведь люди не болтаются без дела, и промышленность у нас бурно растёт, и там требуются люди. Как бы ни улучшились дела в деревне, далеко не все ушедшие в города вернутся домой. Значит, мы всё время будем иметь дело с нехваткой рабочих рук в сельском хозяйстве, и единственный выход из положения — большая механизация всех производственных процессов в сельском хозяйстве. Очень крепко, горячо, с большим желанием помочь делу нужно писать об этом. Один вопрос о новой технике в сельском хозяйстве разве не заслуживает внимания литераторов?

Я не знаю, кто у нас планирует работу конструкторов, и планирует ли, или, может быть, они, как и писатели, работают по вдохновению: на одну тему, вроде Туркменского канала, навалится сразу сто писателей, а на другую тему — ни одного. Но иногда обнаруживаешь такие зияющие пустоты в механизации сельского хозяйства из-за отсутствия нужной машины даже там, где и машина-то требуется пустяковая, что просто у самого чешутся руки взять и сделать её.

А положение агронома в сельскохозяйственном производстве — разве не тема это для хорошей публицистики?

В промышленности невозможно представить себе инженера в роли безрукого советчика. Он может предложить, приказать делать так, как находит нужным, как подсказывают ему его знания и опыт. А агроном в колхозе зачастую находится именно в тихой, бесправной роли консультанта. Пережитки старого земства, тех времён, когда агрономы ходили, как апостолы, по деревням и могли лишь советовать крестьянину, единоличному хозяину своих полей и скота, не делать того-то, а делать то-то. И сейчас у нас в колхозах распоряжение агронома — далеко не «закон» для тракториста, бригадира, посевищика. Агроном распорядился делать так-то, а налетел уполномоченный, и пошло всё кувырком.

Один мой читатель, колхозный агроном, пишет мне:

«Агроном отвечает за все действия председателей колхозов и бригадиров, а сам может действовать только языком. В такой же мере можно было бы возложить ответственность за дурные поступки людей на писателей. Кому, как не писателям, отвечать за то, что они не сумели внушить всем людям сознательность?»

Резонно сказано, ничего не возразишь.

А назревающая необходимость пересмотра некоторых положений старого Устава сельскохозяйственной артели? Давно был принят Устав, в 1935 году, много с тех пор воды утекло, много нового в жизни появилось. Кому, как не литераторам, пишущим на колхозные темы, подсмотреть в жизни это новое, достаточно уже себя оправдавшее, чтобы быть узаконенным и внесённым в Устав сельхозартели?

Кому, как не нам, следует быстро подхватывать всё новое и хорошее, что открывают практики колхозного строительства, скажем, в области организации труда и его оплаты?

И много, много у нас есть ещё вопросов из деревенской жизни и хозяйственно-организационного и идеологического порядка, которые, с одной стороны, не лезут в тесные одёжки беллетристических сюжетов, а с другой стороны, не терпят отлагательства — надо выступать по ним в печати. Значит, ничего не остаётся нам, как, оторвавшись на день-два от тех наших «больших полотен», что мы пишем «на века», взять да и написать иной раз обыкновенную статью. Кто очень беспокоится, чтобы ни единой строчки из написанного им не пропало для потомства, может впоследствии и эти статьи при издании полного собрания сочинений включить в особый том.

Так обстоит, на мой взгляд, дело в различных родах, видах и жанрах литературы, посвящённой разработке деревенской темы.

Но, говоря обо всех этих видах и жанрах, надо бы нам ещё и ещё раз внимательно присмотреться, не грешим ли мы иногда и сегодня в наших произведениях в той или иной степени против правды жизни, и если есть такой грех, то откуда он идёт.

Пусть не обижается на меня Галина Николаева, что я именно в этой связи хочу поговорить о её «Повести о директоре МТС и главном агрономе». Это не значит, что я считаю её повесть произведением бесконфликтным. Вероятно, книга привлекла внимание читателей и критиков именно острым, интересным столкновением характеров, не говоря уже о прочих её достоинствах, так отмеченных К. Симоновым в его докладе на Втором съезде писателей: «Как пример, на мой взгляд, художнически очень точного подхода к изображению человека труда,— говорил К. Симонов,— можно привести последнюю вещь Г. Николаевой «Повесть о директоре МТС и главном агрономе». Быть может, находясь под обаянием этой повести, я преувеличиваю сейчас её силу и значение, но думаю, что не ошибусь, отметив, как глубоко и верно в самом принципе раскрыла Г. Николаева всё богатство души всецело увлечённого своим творческим трудом человека, показав, как в этой душе, где такое огромное место отдано труду, вместе с тем бесконечно много места для многих других чувств: для любви, для дружбы, для товарищества, для человеческого счастья и человеческого горя».

Сюжетно повесть Г. Николаевой построена на большом, очень остром конфликте. Героиня повести, Настя Ковшова, конфликтует с директором МТС, главным инженером, секретарём парторганизации МТС, секретарём райкома, секретарём обкома — куда ещё острее! Девушку чуть не со свету сжидают, собираются с позором гнать с работы. Повесть читается с большим волнением за судьбу Насти Ковшовой. Вообще написана она уверенной, опытной рукой. Характеры даны ярко, сочно. Очень хорош Аркадий Фарзанов (как литературный тип, конечно; в жизни-то он мерзавец). Великолпно выписана сама Настя, с её бантиками, косичками, детски-диковатым взглядом исподлобья и кристально-чистой комсомольской душой.

Но вот в чём беда. При всей их остроте, конфликты повести, если сопоставить их с жизнью, имеют в себе кое-что надуманное, от сочинительства, от литературной фантазии автора, а не от подлинной правды жизни. Есть нечто неправдоподобное и в самом, как бы сказать, размещении конфликтов по повести. Местами слишком густо, местами пусто. Где такая Настя Ковшова в жизни неминуемо столкнулась бы с большими трудностями, там перед нею двери распахиваются настежь.

Все мы много и упорно размышляли о причинах отставания части наших колхозов и о путях преодоления этого отставания. Центральный Комитет партии и Правительство приняли ряд больших мер, направленных к подъёму таких колхозов. Здесь и посылка кадров в деревню, и упорядочение системы заготовок, и повышение ответственности МТС за урожай. Огромная, в общем, и трудная работа, и не на один день. А как Настя вытягивает «свои» отстающие колхозы, те, что «за солончаками»? Те колхозы, о которых она не раз говорит: «Мои колхозы» («Ну, если не во всех, то хоть в моих, отстающих», «Хотя бы для моих, отстающих»)? По повести получается, что она вытягивает эти три самых отстающих колхоза одна, без всякой помощи от райкома и руководства МТС, даже с противодействием с их стороны. И вытягивает, в общем, легко и просто — путём лишь правильных агротехнических советов.

Но здесь же полностью отсутствует логика жизни! Почему эти колхозы самые отстающие? Очевидно, потому, что там председатели — невежественные бездельники, бригадиры — пьяницы и жулики, в партийных организациях — беспорядки. Именно в таких колхозах агроном непременно столкнётся с самым упорным сопротивлением вся-

ким новшествам. Без серьёзных организационных, а иногда и прокурорских мер, без решительной перетряски руководящих кадров такие колхозы не поднимешь. Лишь когда станут к руководству хорошие люди, тогда будет там кому слушать и советы агронома.

Таким образом, Г. Николаева явно облегчает, вопреки жизненной правде, трудности, стоящие перед Настей Ковшовой, в той части повести, где её деятельность простирается на колхозы.

В чём причина такого «облегчительства»? Г. Николаеву невозможно заподозрить в умышленной лакировке, в нарочитом сглаживании острых углов. Мы видим в той же повести, как смело она ставит свою героиню в наимуднейшие положения. Вероятно, причина всё же в недостаточном знании колхозной жизни. МТС — огромный, сложный организм, и изучать его надо в плотной взаимосвязи с колхозами зоны МТС. А Г. Николаева, собирая материал для этой повести, видимо, больше времени провела на самой усадьбе МТС, нежели в колхозах. В описанном ею отстающем колхозе «Октябрь» — неплохой председатель, хорошие бригады, от МТС этот колхоз тоже обслуживает хороший бригадир, и всё же колхоз — самый отстающий. А отстаёт он лишь потому, что в одной полеводческой бригаде есть там «три Олюшки» — заядлые лентяйки. Но через два месяца по приезде Насте Ковшовой в МТС — благодаря главным образом её личному обаянию — этот колхоз уже работает лучше всех, все колхозники поголовно вышли чистить семена, и даже этих трёх Олюшек полшутя, полусерьёз называют уже лучшими ударницами. Чудеса в решете!..

К. Симонов в докладе на съезде писателей справедливо упрекал С. Бабаевского и Ф. Панфёрова в том, что они своим героям — Сергею Тутаринову, Кириллу Ждаркину, Николаю Кораблёву — придали некоторые черты скаточных «чудо-богатырей», слишком возвеличили их над «толпой» остальных персонажей. Но ведь и в очаровавшем его образе Насте Ковшовой мы тоже имеем дело с признаками «сверхчеловека».

Повесть Г. Николаевой вышла в свет в прошлом, 1954 году, но действие повести начинается зимой 1952—53 года, месяцев за восемь-девять до сентябрьского Пленума ЦК. Настя Ковшова приезжает в МТС сразу после окончания института, агроном она ещё совершенно «зелёный». Она ещё в жизни своей ни одного весеннего сева не провела, ни одного самостоятельного шага не сделала. Правда, автор пишет, что Настя проходила практику в хорошем колхозе, но этого же очень мало, одной институтской практики! Откуда же у неё такая железная, непоколебимая уверенность в своей правоте, когда она спорит с секретарём райкома, секретарём обкома? Что придаёт ей силу и убеждённость, когда она настаивает на ломке севооборотов, новых способах сева, новых культурах? Её собственный опыт? Но ведь нет же у неё ещё никакого опыта! Советы институтских преподавателей? Ничего мы не знаем об этих советах. Партийные решения? Не было в то время ещё решений Пленумов ЦК. Если бы были, многое тогда бы объяснилось. (Хотя осталось бы непонятным, почему все другие люди вокруг неё такие тупицы и одной лишь ей открылся смысл решений!) Но дело происходит в конце зимы и весной 1953 года, а Пленум ЦК по вопросам сельского хозяйства состоялся лишь в сентябре. Каким-то ясновидением, по наитию свыше, Настя Ковшова предугадала решения четырёх Пленумов ЦК. И только она одна.

Мы знаем, что партия принимает свои решения на основе глубокого изучения жизни, её запросов и требований. Многие агрономы и умные председатели колхозов на местах, возможно, ещё раньше сами начинали уже делать то, что потом вошло в решения Пленумов ЦК: сеять пропашные культуры квадратным и квадратно-гнездовым способом, распахивать в неподходящих для травопольных севооборотов местах малоурожайные клевера и заменять их другими культурами и т. п. Сама жизнь этого требовала. Вот такие, выплывающие из гуши жизни вопросы всегда внимательно изучаются и обобщаются в Центральном Комитете перед принятием какого-то нового большого решения.

Но вряд ли можно считать правдоподобным, чтобы совершенно ещё не умудрённая жизнью девочка, не имея никакого опыта работы на земле, не успев ещё ничего как следует увидеть и понять в колхозной жизни, «просто так», в силу сверхъестественной своей прозорливости, что ли, предугадала всё, что будет в дальнейшем сказано в решениях четырёх Пленумов ЦК о прогрессивных приёмах земледелия. Тут мало ска-

зять, что это не похоже на реализм. Тут задумаешься уже и насчёт самого материализма. Не ударился ли автор в мистику? Но мистики здесь, конечно, нет никакой, так как сама-то повесть написана уже тогда, когда автор прочитал исторические решения партии по вопросам сельского хозяйства.

Совершенно ясно, что Г. Николаева при литературном построении образа Нasti Ковшовой переборщила насчёт её гениальности. Косички и бантики девочки, а ум, агрономическая мудрость — в пору по крайней мере такому «взрослому» уже человеку, как Терентий Семёнович Мальцев. А ведь если в поэзии и случается, что всезнающий двадцатилетний юноша пишет уже гениальные стихи, то в агрономии такого не бывает. Здесь совершенно необходим жизненный опыт. И опыт в земледелии накапливается медленно, годами. Урожай созревает один раз в году. Если в этом году ошибся, лишь на будущий год сможешь поправить свою ошибку и научиться новому.

Придав Насте Ковшовой черты такой вот ничем логически не объяснимой мудрости, сделав свою героиню пророчески-правой и непогрешимой во всех её действиях, Г. Николаева тем самым слишком возвысила её над толпой окружающих её «простых смертных». Да на неё в колхозах, собственно, и смотрят, как на святую, готовы на руках её носить. Колхозная Жанна д'Арк!..

На книге Г. Николаевой есть надпись: «Посвящается комсомольцам Алтая и Казахстана». Это означает, что повесть написана для молодёжи, уже работающей в деревне и едущей туда на работу. Но приходится предостеречь молодых читателей, что в жизни они могут столкнуться с более сложными конфликтами, чем те, что даны в этой повести, что не всюду в колхозах молодых агрономов будут носить на руках, что, наконец, не так легко поднять отстающий колхоз, как пишет об этом Г. Николаева, и что прогрессивные агротехнические приёмы сами собой не внедряются: в МТС и в колхозах это дело всегда связано с трудной человеческой борьбой. И пусть молодые читатели не придают слишком много веры словам, вложенным Г. Николаевой в уста директора МТС Алексея Чаликова, о том, что после решений Пленумов ЦК всё как бы с неба валится в машинно-тракторные станции: «Раньше, бывало, какого-нибудь строительного материала не допросишься, теперь сами присылают... Раньше, бывало, с кадрами мученье — зовёшь не дозовёшься, теперь сами пошли!» Хватает трудностей и сейчас, после решений Пленумов, и нет нам никакой необходимости закрывать глаза на эти трудности.

Печать наша чрезмерно, совершенно без всякой оглядки на изъяны хвалила «Повесть о директоре МТС и главном агрономе». Так что если я сейчас в чём-либо «перегибаю», критикуя недостатки повести, то это можно считать как бы компенсацией прошлых перегибов апологетической критики.

Мне кажется, например, что повесть не лишена существенных недостатков и в части художественного решения поднятой темы. Думается, что для горячо влюблённого человека директор МТС Алексей Чаликов слишком большой аналитик. Не зря ведь сказано: любовь слепа. Трудно порой разобраться, почему, за что, когда и как кто-то полюбил кого-то. Со стороны трудно разобраться. А самому в своих собственных чувствах разобраться бывает иногда ещё труднее. Во всяком случае, легче разобраться уже тогда, когда первый жар схлынул, наступило некоторое успокоение и можно оглядываться назад незатуманенными глазами. Так, как рассказывает историю своей любви, женитьбы и всего дальнейшего Позднышев в «Крейцеровой сонате».

Но Алексей Чаликов находится как раз в кульминационном периоде своих чувств. И странно, что он ведёт рассказ так, будто с хронометром в руках проследил и отметил все этапы рождения и развития своей любви к Насте Ковшовой. Это и психологически не совсем верно и накладывает местами на рассказ Алексея налёт литературщины.

Все мы уважаем хорошую, талантливую писательницу Г. Николаеву и ждём от неё новых книг. Видимо, как и многим другим авторам, Г. Николаевой при сборе материала для новых её произведений бесполезно будет поглубже вникнуть в колхозную жизнь, изучить её более усидчиво, ближе познакомиться с людьми, из характера и деятельности которых она берёт кое-что для своих персонажей. Это поможет ей находить самые достоверные, самые жизненные конфликты для своих повестей, делать их ещё интереснее, ещё полезнее для наших читателей.

При всём том, что говорил я сейчас о последней повести Г. Николаевой и что было

сказано о ней раньше другими критиками, вещь эта показывает нам большие пути, большие возможности для создания разнообразной деревенской литературы — и по форме и по выбору тематики.

И в этой связи мне хочется напомнить читателям о недавно опубликованной в журнале «Нева» повести ленинградского писателя С. Воронина «Ненужная слава». Эта повесть написана без всяких шаблонов, очень по-своему, в манере строгой в смысле точности, лаконичности и простоты языка. В повести всего листа два, но когда перевёрнешь последнюю страницу, чувство такоо, будто прочитал роман страниц в шестьсот. Это от большой, раздумчиво взятой темы, от богатства мыслей и чувств, от широты ассоциаций, от умного подтекста. Повесть о любви двух хороших людей — колхозницы Катюши Лукониной и демобилизованного офицера Василия Малахова, остающегося жить в колхозе. Л. Н. Толстой говорил: вот у нас пишут романы о любви и кончают их свадьбой, а надо бы начинать свадьбой — поженились двое, стали жить вместе, и что из этого получается. Вот у Сергея Воронина как раз об этом-то и написано: стали жить вместе Василий Малахов и Катюша Луконина, и что из этого получилось. Повесть выгодно отличается от многих других тем, что до самой последней страницы не можешь предугадать, куда же повернёт автор, чем всё это кончится. Это и от мастерства и от очень правдивого жизненного течения действия. Жизнь ведь никогда не строится у разных людей по одному шаблону.

Доярку Катерину Луконину наградили звездой героини, и с тех пор началось неладное. Ей бы дояркой и быть, не у всякой хорошей доярки ведь есть организаторский талант, но её уже заметили в районе и области, стали выдвигать. Катерина Луконина заменила старого, не справлявшегося с работой председателя колхоза. Спустя некоторое время она уже депутат Верховного Совета, почётный гость на всяких съездах, совещаниях. И пошло и пошло...

А колхоз не очень хороший. И председатель она бесталанней. Усвоила лишь кое-что по верхам: как по телефону на какого-нибудь снабженца накричать, чтобы немедленно были в колхозе концентраты, как выгоднее картошку продать на Кольском полуострове...

Большой, благородной души человек, Василий Малахов, сам оставаясь в тени, старается помогать жене, осторожно поправляет её ошибки, пытается предостеречь от тяжёлых последствий этих ошибок. Но она сама уже уверовала в то, что слава пришла к ней заслуженно, что учиться ей не у кого и нечему, и начинает подозревать Василия в том, что он ей просто завидует.

Когда Василию совсем уже немогут, когда он видит, что и колхоз валится и его Катюша погибает, он едет к секретарю обкома (главному виновнику «выдвижения» Лукониной), разговаривает с ним, пытается убедить его в том, что Катюшу надо вернуть на ферму. Но и секретарь обкома его не понимает, и он тоже подозревает Василия в низком чувстве зависти к жене.

Когда Катерина узнаёт о поездке мужа в обком (от самого секретаря обкома), дело доходит до полного разрыва. Некоторое время они живут, как совершенно чужие друг другу. Потом Василий не выдерживает, собирает свои небогатые офицерские пожитки и, оставив записку, уходит на пристань и уезжает. Вот как кончалась повесть:

«В открытое окно донёся с Волги протяжный гудок парохода. Екатерина Романовна кинулась к окну.

В синем сумраке величественно и строго плыл белый пароход. Вот он зашёл за церковь, скрылся. Потом медленно начал выходить, с освещёнными иллюминаторами. Становился всё больше, больше, оторвался от церкви и, быстро удаляясь, скрылся за маслозаводом. Потом ещё раз показался. И долго Екатерина Романовна смотрела ему вслед, пока он не стал еле различим. Но даже и тогда, когда его уже совершенно не было видно, она всё ещё смотрела ищущим взглядом. Может, на этом пароходе уезжал Василий. И впервые за последнее время она вдруг подумала о муже беззлобно и тут со всей ужасающей ясностью поняла, что он от неё ушёл. И что она никогда его больше не увидит. Где он? Куда ушёл? Велика страна...»

В повести С. Воронина — тяжёлая драма двух людей. И, однако, после прочтения её остаётся светлое чувство. Это от присутствия в повести хороших людей, от сердечного авторского к ним отношения, от большой души Василия Малахова, наконец,

от самого искусства, с которым написана повесть. Я ведь пересказал её сжато и грубо, а в повести этот конспект наполнен богатым художественным содержанием, большой человеческой жизнью. Очень тонко вырисованы характеры Василия и Катюши. Дело не только в том, что у неё не хватило таланта руководить колхозом. Со всей её славой, со всеми внешними знаками заслуг она не по плечу Василию — умному, сердечному, большому человеку, — и не хочет она подняться, чтобы стать с ним вровень, напротив, думает, что ему надо «подтянуться» к ней. Мелка она душой рядом с Василием. Испортили её, да и у неё самой были задатки эдакого «мужицкого карьеризма».

Повесть «Ненужная слава» — драма, и с тяжёлым окончанием, но она многому учит, о многом заставляет подумать.

Видимо, то ли редактор журнальный, то ли редактор «внутренний» понудил Сергея Воронина ещё что-то договорить, как-то «завершить» судьбы героев, дать нужную мораль в конце, и он дописал последние полстранички. И вот этот довесок к повести кажется мне, пожалуй, уж и лишним. Больше можно доверять нашим читателям. И сами они сумеют сделать правильные выводы из прочитанного. Всем понятно, что без Василия Малахова Катюше будет очень плохо, что её, рано или поздно, ждёт провал, — колхозники изберут другого председателя. Не сомневаются читатели и в том, что и для секретаря обкома Шершнёва вся эта история послужит серьёзным уроком, если он способен критически оглядываться на свои поступки. А не способен — что ж, к сожалению, и такие секретари бывают, знаем. Не нужно тут ничего разжёвывать и закруглять. В повести взят кусок из жизни людей. Не обязательно у этого куска все завязанные в начале узлы должны быть развязаны под конец. Если вырвать из жизни человека два-три года и показать их — что ж, разве за этот период в жизни человека так-таки всё уж развязывается и закругляется?

На примере повести Сергея Воронина можно поставить ряд принципиальных для нашей литературы вопросов, в том числе вопрос о праве на существование таких драматических произведений с «тяжёлыми» драматическими финалами. Учить хорошему могут рассказы не только с хорошим окончанием, но и с «плохим».

Кстати, — по поводу финалов наших произведений. Один читатель пишет мне:

«Не надо всё стараться завершать благополучно, товарищи писатели! Когда мы в театре смотрим «Крылья», то знаем: недостатки будут автоматически преодолены и за пределы сцены не уйдут. А надо разозлить зрителя, заставить его сжимать кулаки, уйти из театра расстроенным, и чтобы он на работе дрался с Дремлюгами, а не успокаивался тем, что на каждого такого Дремлюгу обязательно найдётся Ромодан».

Дельный читательский совет, над которым, безусловно, стоит подумать. Я не пытаюсь разбирать здесь пьесы и стихи на колхозные темы, это не моя задача. И привожу я здесь это замечание читателя лишь потому, что применить его можно ко всем видам литературы. Действительно, слишком много вещей у нас заканчивается семейными банкетами, тостами, свадьбами, премиями и всякого рода прочими ликованиями. От этого потока радости становится иной раз очень грустно.

У каждого литератора существует особая творческая манера, особый подход к явлениям жизни, особые методы их изучения. Можно спорить о том, как лучше изучать жизнь: приезжать ли в колхоз инкогнито и не показывать колхозникам своего блокнота или сразу признаться, что ты писатель; ездить ли с секретарём райкома или одному; жить ли месяц в одном колхозе или почаще менять объекты наблюдений. Можно спорить о частностях, но все мы сходимся на одном — на признании необходимости глубоко изучать жизнь.

Ни один здравомыслящий писатель не станет в принципе отрицать, что жизнь надо изучать, что надо стоять к ней поближе. Для писателя иметь в блокноте побольше записей из жизни перед тем, как засесть за письменный стол, это всё равно, как столу перед работой иметь под рукой доски, фанеру, рубанки, клей и всё прочее, из чего и чем он делает стулья, столы, диваны.

Для писателя жизнь — это материал, из которого он делает книги. Я нарочно огрубляю, для того чтобы здесь же самому себе и возразить.

Да, есть писатели, для которых жизнь это не больше, как доска для деревообделочника. Они наблюдают и изучают жизнь лишь потому, что им нужно взять из неё несколько конфликтов и сюжетов для своих произведений.

Это — холодно-профессиональное, ремесленническое отношение к жизни.

Но жизнь надо не только изучать по необходимости — иначе, мол, не имея «материала», книгу не напишешь, — в ней надо участвовать, растворяться в ней, вмешиваться в неё.

И вот те писатели, для которых жизнь не только литературные сюжеты, а нечто большее, которые и сами в какой-то мере являются участниками этих «сюжетов», — те писатели и в произведениях своих несут дыхание подлинной, невыдуманной жизни, большой нашей партийной правды и человеческой борьбы за эту правду.

У такого писателя нет мелочных «конъюнктурных» соображений, робости и нерешительности, когда он садится за письменный стол: «А попаду ли на сей раз в десятку или хотя бы в девятку? Не пойдут ли мои литературные пули «за молоком»?..» Его уверенность идёт от знания жизни и её запросов. И он не задумывается прежде времени — где я это напечатаю? Он думает, садясь за стол, что это надо написать.

Когда автор глубоко убеждён в том, что написал нужное, отвечающее запросам жизни, работающее на коммунизм произведение, когда он стоит на позициях нашей партийной правды, — у него огромная сила. Против него могут выступать люди куда ловче, хитрее и опычнее его в мелких жизненных боях, с более авторитетным положением в обществе и большими правами, до зубов вооружённые учёными степенями и всяким высоким членством, — и всё же они слабее его. Они узнают себя в персонажах этого автора и злятся, теряют хладнокровие. Им в спорах приходится идти в обход правды, юлить, изворачиваться, падать на четвереньки, а что за драка на четвереньках? А автор стоит в нормальном положении, твёрдо, на двух ногах; он может хорошо раз-вернуться.

Нет ничего удивительного в том, что острые книги с муками выходят в свет. Если в книге берутся под рентген какие-то язвы в нашем обществе, то вполне вероятно, что она ещё до напечатания может натолкнуться на бациллоносителей болезней, подобных описанным в книге. Рукопись проходит много рук, пока попадёт в последние руки, в руки наборщика. Вещь написана, скажем, против Молчалиных нынешней формации, против Серебряковых (я имею в виду профессора Серебрякова из «Дяди Вани», всю жизнь писавшего об искусстве, ничего в нём не понимая; тип очень живучий), против «человеков в футляре», против унтеров Пришибеевых — что же тут противоестественного, если она при прохождении разных инстанций наткнётся где-то на такого вот нынешнего Беликова или Серебрякова? Автор писал, будучи уверенным, что есть таковые в нашей жизни, ну вот и получай — в жизни. И не волнуйся, это не может быть неожиданностью для тебя, если ты считаешь себя знатоком жизни, продолжай свои наблюдения. Это тебе лишний тип для описаний. Всё закономерно.

Вот если бы дело пошло гладко с напечатанием книги сразу с начала до конца, тут есть от чего забеспокоиться. Это нехороший признак. Автор считает, что написал острую вещь, возмнил себя уже советским Гоголем и Щедриным, а вещь-то, оказывается, никого не задевает.

Только давайте, товарищи, выясним до конца, что мы считаем нашей большой правдой, которая всего дороже нам в наших книгах; выясним для того, чтобы никто не смог спекулировать этим святым словом.

Если смотреть в квартиру, где живут люди, через замочную скважину, тоже что-то увидишь и узнаешь о жизни этих людей, но много ли увидишь? Есть правда широко распахнутого окна на жизнь, и есть «правдочка» вот таких замочных скважин.

Есть большой хозяйский гнев на всё, что мешает нам лучше жить, на недостатки наши; есть страстное желание убрать с нашего пути строительства коммунизма все препятствия, чтобы двигаться по этому пути быстрее. И есть обывательское смакование наших промахов и недостатков. Есть критика недостатков с целью устранить их, и есть брюзжание, от которого этим недостаткам, собственно, «ни холодно ни жарко», а слушать это брюзжание противно.

«Водовоз и ассенизатор, революцией мобилизованный и призванный», Владимир Маяковский подходил к этому нужному, но не очень приятному делу просто, по-рабочему: вычистил одну яму — и дальше. А есть любители покопаться в её содержимом, вытащить оттуда что-то палочкой, надев очки, рассмотреть его поближе и даже понюхать.

Всё в нашей жизни, когда она переносится в книги, может автором обобщаться и типизироваться. В том числе и плохое в нашей жизни следует типизировать, чтобы легче было распознать то или иное явление, добраться до его корней, причин. Но некоторые авторы типизацию отрицательных явлений подменяют собирательством, коллекционированием всякой дряни, которая попадает на глаза в нашей жизни. И глаза-то у них так устроены, что видят только дрянь. И вот иной раз такие тряпичники содержимое своей сумки вываливают в книги и выдают это всё за «правду» нашей жизни. Гнать из редакций таких «коллекционеров гадостей» той же самой палкой, которой они ковырялись в помойных ямах!

Но объёмное, перспективное и, как бы сказать, широкоэкранное видение, ощущение и понимание жизни, при котором ни плохое не заслоняет хорошего, ни хорошее не мешает трезво оценивать вред от плохого, приходит к писателю опять же в результате большого знания жизни, очень пристального её изучения, близости писателя к людям, о которых он пишет. Откуда бы мы ни пошли, а придём опять сюда же — к тесной связи писателя с жизнью.

И надо нам, пожалуй, вот ещё что уяснить себе:

Если берёшься за какую-либо острую тему, надо подходить к ней смело, без робости. Если робеешь — лучше не берись. Если заранее опасаясь: ох, трудно будет это напечатать! — не пиши совсем, не мучайся, и эту тему не мучай. Робость непременно где-то скажется в твоих писаниях, недвусмысленная и откровенная критика перейдёт в нудное брюзжание и действительно эту вещь трудно будет потом печатать, а может, и совсем не нужно будет её печатать. Это, во-первых. А во-вторых, если уж поднимаешь острые вопросы, то, предвидя всякие возражения и разнотолки, договаривай всё сам до конца. Не оставляй возможностей для разнотолков. Есть у нас одна-единственная правда — правда коммунизма, правда нашей партии, строящей коммунизм, правда нашего огромного общечеловеческого дела. И вот с позиции интересов партии и всего советского народа, полемизируя в душе с теми, против кого пишешь, договаривай уж в своих писаниях сам всё до конца. Пиши так густо в смысле оценки существа явлений и выводов, чтобы, как говорят, пальца не всунуть между строк. Чтобы никакой злопыхатель не мог вложить иное толкование, иной смысл в написанное тобою. Острота темы требует прежде всего ясности её изложения. И, само собою разумеется, правильного анализа и синтеза.

Партия ведёт огромную работу по подъёму сельского хозяйства страны на такой уровень, чтобы в ближайшее время нам получить и 10 миллиардов пудов хлеба и избыток продуктов животноводства, чтобы всех этих продуктов хватало в избытке и для растущих потребностей городского населения, и для сырьевых нужд промышленности, и для широкой внешней торговли, и чтобы сами производители хлеба, — наши колхозники — жили всюду в достатке и довольстве.

Нелёгкая это работа. Большое внимание сейчас со всех сторон устремлено к вопросам сельского хозяйства.

В годы сталинских пятилеток советская Россия превратилась в могучую индустриальную державу. И всё же города у нас по территории лишь острова в огромном море деревень.

Когда летишь в самолёте, а ещё лучше — передвигаешься по самой земле всякого рода наземным транспортом, видишь наши безбрежные поля, бесчисленное количество русских, украинских, белорусских, казахских, узбекских, башкирских, татарских сёл. Где называют их деревней, где аулом, где кишлаком. Проехать от Москвы до Казани — часа два будешь ехать по городам, остальное время, часов двадцать, — по полям, по деревням.

У нас в стране девяносто с лишним тысяч колхозов, около десяти тысяч МТС, тысячи совхозов.

Ни с чем несравнимы масштабы того, что сделано нами в деревне, по социалистическому её переустройству, по коллективизации сельского хозяйства. Пожалуй, лишь Китаю предстоит проделать в этом смысле ещё более грандиозную работу. Коллективизация деревни — труднейшая задача социалистической революции в стране с преимущественно крестьянским населением.

Колхозный строй за время своего существования у нас блестяще оправдал как самую идею коллективизации, так и формы её претворения в жизнь. Половина победы в Отечественной войне была в прочности нашего тыла. А прочность тыла в деревне заключалась, в свою очередь, в колхозах. И в глубоком тылу война давала себя знать. Сотни мужчин из каждого села ушли на фронт, всё было брошено на войну, заводы не выпускали тракторов, деревня несколько лет не получала новых машин, часть лошадей была мобилизована в армию, но в глубинных колхозах посевная площадь не сокращалась ни на гектар. Так ли было в первую мировую войну, когда вдовы и сироты погибших солдат хозяйствовали в одиночку? А послевоенное восстановление хозяйства? Все мы знаем, как были разорены фашистскими оккупантами Украина и Белоруссия. Во многих сёлах ни головы тягла не осталось, и коров не осталось, и самые сёла были сожжены дотла. Что было бы с жителями этих сёл в старое время, без колхозов? Разбрелись бы нищенствовать по всей земле. В батраки бы пошли к тем изворотливым хозяевам, которым как-то удалось уцелеть и, может быть, даже нажить на войне. Во всяком случае, понадобились бы десятилетия, чтобы в этих местах затянуло хоть немного раны, нанесённые войной. А в советских условиях, при колхозном строе, большинство колхозов освобождённой Украины и Белоруссии уже на второй-третий год стало засеять довоенную площадь.

Огромные силы и возможности заложены в колхозном строе. Нам есть что критиковать в смысле недостатков нашей работы в деревне, но есть чем и гордиться, есть чем восхищаться, есть что показать и своему народу и всему миру.

Задача наша сейчас — раскрыть до конца все возможности колхозного строя, двинуть в ход все его силы, резервы, добиться того, чтобы все колхозы давали государству столько продукции, сколько дают сейчас лучшие колхозы страны, и чтобы люди в них жили всюду так, как живут люди в лучших наших колхозах.

Может помочь в этом деле партии наша литература? Может, и крепко может помочь.

Книги, претворяясь через сознание человека-труженика, воздействуя на его сознание, становятся материальной силой. Книга может войти в наше строительство таким же вещественно осязаемым вкладом, какой вносят своим трудом люди производственных профессий. Но таким вкладом становятся лишь хорошие книги.

Зовут людей вперёд, волнуют душу, закаляют человека в борьбе с трудностями, облагораживают его, окрыляют, открывают перед человеком новые манящие горизонты лишь хорошие книги.

Много вбирает в себя это понятие — хорошая книга. Здесь и высокая идейность замысла, и правдивость, и богатство мыслей. Здесь и совершенство формы, чистота языка, художественная отточенность образов и мыслей. Большое мастерство приходит к писателю в результате большой, трудной, упорной работы. Всем нам нужно многому и многому учиться независимо от возраста и литературной бороды. И учиться нам есть у кого. И в современной и в старой литературе народов Советского Союза есть крупнейшие мастера художественного слова. Мы дети великих отцов. Наследство нам оставлено богатое. Надо уметь не только сохранить и не растратить, но и приумножить его. Лишь в таком случае нас назовут достойными наследниками наших отцов.



Н. НОСОВ

★

О ЛИТМАСТЕРСТВЕ

Заметки сатирика

Всё, что относится к писателям, к их жизни и творчеству, живо интересует читателей. Как читатель, так и писатель — звенья одной и той же цепи. На одном конце этой цепи сидит писатель и пишет, на другом конце сидит и читает читатель. Писатель пишет, потому что любит делиться с читателями своими глубокими мыслями. Читатель также читает не по обязанности, а потому что любит книгу, увлекается книгой, дня не может прожить без книги. Следует учесть, что многие читатели сами со временем становятся писателями. Достоверно известно, что все существовавшие когда-либо писатели были в своё время самыми обыкновенными, рядовыми читателями и так или иначе вышли из читательской среды. Вот почему вопрос о том, как пишется книга, как работает писатель, как он творит, не может не интересоваться самую широкую читательскую публику. Для того чтобы удовлетворить этот интерес, мы и решили написать настоящее исследование, в котором даём ряд ценных сведений об основах литературного мастерства. Не берясь судить огульно обо всех видах творчества, мы будем говорить сперва только о прозе и прозаиках, то есть о людях, которые пишут главным образом длинные повести и романы, являющиеся, как известно, наиболее ценными для читателя и наиболее трудными с точки зрения литературного жанра.

В основном весь огромный отряд прозаиков делится по методам работы на две большие группы, или на два подотряда. К первому подотряду относятся те прозаики, которые пишут просто из жизни, используя свои наблюдения и жизненный опыт, не подражая никаким литературным образцам, работая как бы наобум, как бог на душу положит. Ко второму подотряду относятся те, которые, наоборот, создают свои произведения на основе заранее изученных правил, законов, приёмов, канонов и рецептов литературного мастерства. Представители первого подотряда — народ часто нескладный, угрюмый, вздорный и неудобоваримый. У этого подотряда скверная привычка — писать о том, о чём другие не пишут; если же они берутся писать о вещах известных, то пишут так, как никто не писал раньше. Это они делают нарочно, чтобы досадить критикам, с которыми находятся в постоянной и неусыпной вражде. Читая произведения подобных авторов, критики обычно становятся в тупик и только руками разводят, не зная, с какой меркой подойти к ним. Поэтому мы создавали предлагаемое руководство лишь на основе анализа произведений второго подотряда прозаиков, так как только здесь оказались налицо кое-какие общие признаки, которые можно было анализировать, классифицировать и систематизировать, чтобы представить в конце концов в виде определённой методологии.

Спешим, однако, оговориться, что на практике между представителями той и другой группы нет определённой и чёткой границы и в действительности существует, выражаясь научно, перманентная, то есть непрерывная, миграция из одной группы в другую. Если у писателя первой группы не хватит жизненных наблюдений, то он также может пойти по проторённой другими дорожке и выдать, так сказать, на-гора произведение, типичное для представителей второй группы. И, наоборот, часто бывает так, что у представителя второй группы вдруг прорежется собственный голос, и то-

гда автор, изменив своему творческому методу, неожиданно создаст совершенно новое и оригинальное произведение, достойное первой группы. Такие литературные миграции — явление очень распространённое, что не должно никого удивлять, поскольку творческий процесс — дело сложное и зависит не только от знания жизни и литературных правил, но также от мировоззрения и даже характера автора. Иной автор и рад бы писать по-своему, но его ни на минуту не оставляет забота о критиках: как же, мол, они, бедные, критиковать будут, а вдруг не разберутся и обругают... Иногда такой слишком осторожный автор проделывает в угоду критикам довольно извилистый путь, напоминающий след улитки на дне пруда. Начав довольно храбро переползать границу между двумя группами, он вдруг пугается и, ещё не закончив миграцию, пускается в эмиграцию, то есть лезет назад. На протяжении одного и того же произведения он претерпевает целый ряд метаморфоз, то и дело перескакивая из одной группы в другую. Этот процесс весьма затрудняет отнесение подобных авторов к той или иной разновидности, что даёт основание сторонникам так называемой диффузионной теории утверждать, будто никаких двух подотрядов на свете нет и что все прозаики, дескать, пишут одинаково. Нелепость этого утверждения совершенно очевидна, и поэтому мы, не вдаваясь в ненужный спор, приступим к практическому изучению вопроса, руководствуясь вышеизложенным принципом.

1. ИСКУССТВО ПОРТРЕТА

Основной фигурой художественного произведения, будь то повесть или роман, является человек, поэтому первое, на что следует обратить внимание прозаика, — это изображение человека, то есть его портрет. Главных героев, как известно, необходимо изображать во весь рост, иначе говоря, с ногами и руками, но начинать для порядка всё-таки надо сверху, то есть с головы или с лица. Наиболее важной деталью лица являются у героя глаза, которые в качестве зеркала человеческой души имеют самый большой набор эпитетов. Чаще всего встречаются глаза мутные, пустые, выцветшие, поблёкшие, тусклые, водянисто-серые, подслеповатые, бутылочные, неподвижные, плутоватые, с хитрым прищуром, подозрительные, испуганно бегающие, холодные, с лихорадочным блеском, большие, широкие, маленькие, узенькие, жадные, глубоко спрятавшиеся в подлобье, ясные, добрые, лучистые, озорные, колючие, точно шилья, сверлящие, как буравчики, вдумчивые, отражающие внутренний мир, смешливые, вьедливые, хитрые, лисьи, хорьковые, свиные, раскосые и многие другие. Пример: «Глазки старика, точно буравчики, ввинтились в лицо мужика».

Описывая глаза, необходимо тут же упомянуть о веках, бровях и ресницах. Веки большей частью бывают тяжёлые, припухшие, красноватые, иссеченные прожилками и мигающие; ресницы — обычно длинные, короткие, белые, чёрные, золотистые, густые, облезлые и телячьи; брови — седые, нависшие, торчкастые, взъерошенные, редкие, сросшиеся на переносице, широковатые, яркочерные, ехидно играющие и весело прыгающие: «Широковатые яркочерные брови весело прыгали на её белом мясистом лобике».

После бровей идут лбы, которые, как показано на предыдущем примере, могут быть белые и мясистые, а также низкие и высокие, маленькие и большие, узкие и широкие, выпуклые, бугристые, костлявые, шишковатые и покатые. За лбами следуют волосы: жёсткие, прямые, волнистые, кудрявые, темнокаштановые, муруго-пегие, копной и щетиной. Затем идут губы: тонкие, сосредоточенные, смело очерченные, пересохшие, брюзгливые, капризноватые, с непреклонными складками вокруг, свежие, алые, пунцовые, толстые, мокрые, мягко шлёпающие: «Мягко шлёпали одна о другую мокрые толстые губы». Ещё у героев бывают уши. Они обычно маленькие или большие, острые, сморщенные, оттопыренные, серые, сизые, волосатые и хрищеватые: «Его длинные волосы были зачёсаны за большие серые уши, маленькие глазки, окружённые короткими белыми ресницами, насторожённо мигали».

Теперь о носах. Носы, как показал опыт, бывают прямые, кривые, классические, хищные, крючковатые, облупившиеся, загорелые, изъеденные красноватыми жилками, мягкие, хлюпающие, лоснящиеся, шершавые, пористые, багровые, картофельные, а также сочные, толстые и цветущие: «Пётр Петрович раскрыл объятия, толстый нос его

цвёл». Носы обычно помещаются среди щёк, которые, в свою очередь, бывают одутловатые, круглые, полные, бархатистые, с нежным румянцем, с багровыми пятнами, вялые, отвислые, потерявшие свежесть, покрытые сетью морщин, просвечивающие тонкими синеватыми жилками. Кстати сказать, всякие жилки, прожилки, просвечивающие на щеках, на носу, на ушах и прочих деталях, очень оживляют портрет. Закончить описание лица можно подбородком: острым, тупым, круглым, квадратным, тяжёлым, мужественным, упрямым, волевым, безвольным — какой кому больше подходит по характеру.

Описав лицо, можно дать себе передышку, выкурить папиросу, а кто не курит, может просто поваляться на диване, после чего с новыми силами приступить к шее и остальным деталям портрета. Шеи могут быть длинные и короткие, жирные и худые, красные, наливающиеся кровью, со складками, как у свиньи, с фиолетовыми пятнами, жилистые, бычьи, медвежьи. Шеи постепенно переходят в плечи, которые бывают остренькие, худые, круглые, овальные, пухлые, голые, розовые, мерно колышущиеся и пышные: «Здоровой ногой он нащупывал дорогу, а глазами следил за мерным колышанием пышных плеч Дарьи Гавриловны, за взлётами её широчайших юбок над сонной, праздничной улицей». Плечи, в свою очередь, переходят естественным образом в грудь, которая может быть широкая, молодецкая, богатырская, высокая, открытая, узкая, впалая и чахоточная. За грудью следуют животы: сытые, тугие, весёлые, гладко круглящиеся и мягко вываливающиеся. К животам непосредственно примыкают ноги, но не следует забывать и о руках, без которых портрет был бы неполным. Согласно выработанной номенклатуре, руки бывают сухонькие, костлявые, жилистые, пухлые, безмускулатурные, белые с рыжими светящимися волосиками, сильные, холёные, шероховатые, корявые, загрубевшие, жёлтые, с узловатыми, прозрачными, тонкими, нервными пальцами. Ноги же бывают худые, без икр, мёрзнувшие даже летом, не гнувшиеся в коленях, тощие, волосатые, голенастые, стройные и высокооткрытые: «На ней было тёмное строгое платье, серебристые чулки обливали высокооткрытые ноги».

Для завершения портрета требуются окончательные удары кистью в виде веснушек, весёлых огоньков в глазах, ямочек на подбородке, широкой окладистой или курчавой бороды, мягких шелковистых усиков над красиво очерченной верхней губой, вертикальной складки на лбу, устремившейся к переносице, или же, наконец, большой плещи с остатками рыжеватых волос, напоминающих изъеденный молью воротник от пальто.

2. БЕГЛЫЕ ЗАРИСОВКИ

Изображать во весь рост необходимо только главных героев. В основном же романы и повести заселены второстепенными и даже третьестепенными, так называемыми проходными персонажами, которые появляются на две-три минуты, скажут полдесятка фраз и тут же исчезнут с лица земли, словно их и не бывало. На изображение таких героев не следует затрачивать лишних слов. Рисовать их надо не целиком, а лишь обозначать головы или лица. Головы у этих персонажей обычно бывают круглые, длинные, бочковатые, лохматые, тыквообразные и шишковатые. Лица же могут быть плоские, вытянутые, узкие, лошадиные, лопатовидные, несколько поношенные, отёкшие, испитые, заплывшие, сморщенные, как печёное яблоко или сухая груша, сердитые, холёно-нежные, скұластые, грубоватые, подобранные, с жиринкой и без жиринки, а также будничные, усталые, прыщеватые и тупые.

Иногда попадают и вовсе незначительные людишки, которых можно изображать совсем без лиц, рисуя только какую-нибудь приметную деталь, например: «Сидор Иванович был широкоплечий, чуть грузный мужчина в очках». Больше ничего о Сидоре Ивановиче сообщать не следует, а читатель пусть сам догадывается, было ли у этого симпатичного, чуть грузного Сидора Ивановича что-нибудь для прикрытия своей наготы, кроме очков. Такие проходные мужчины могут быть не только чуть грузные, но и грязные, с рябоватым лицом или с бычьей зашейной, большеушные, сутуловатые, в белых косоворотках или поношенных пиджаках, угрюмые, замкнутые, молчаливые, тучные, коренастые, домовитые и худые.

Женщины тоже бывают худые, смуглые, лет тридцати с лишком, чёрные, не выпускающие изо рта папиросы, увядшие, с холодными серыми глазами, крупнокостные, с

широким и сильным тазом, большие, дородные, с гладкой белой спиной, хорошо сохранившиеся и крикливые.

Девушки, напротив, бывают обычно сочные, свежие, крепкие, упругие, как огурцы, уверенные в себе, прочные, как сама жизнь, румяные, крупчатые, белобрысенькие в очках, круглощёкие со вздёрнутым носиком, веселоглазые, чернявые, пухлявенькие, хрупкие, тоненькие, с острыми локотками, невысокие, светловолосые, с удивлённым лицом.

А вот парни, эти всегда молодцеватые, долговязые, щекастые, конопатые, чубатые, сухопарые, а также с вытянутыми бледными лицами, тарзанными причёсками, в длинных, до колен, пиджаках и с походкой паралитиков (стиляги).

Кроме вышеуказанных, попадают ещё старики и старухи. Это персонажи крайне дряхлые и слабые, разбитые жизнью, хилые, кряжистые, жилистые, облезлые, лысоватые и даже совсем плешивые. Они не ходят, а с трудом переставляют свои согнутые в коленях ноги.

Наконец, есть ещё дети: белокурые девочки с яркими бантиками и курносые вихрастые мальчишки. Впрочем, детей можно совсем не описывать, ограничившись указанием возраста: «Вере было одиннадцать лет, Наде — восемь».

3. ИСКУССТВО ПЕЙЗАЖА

Покончив с маленькими детьми, если они уже успели появиться в произведении, автор обычно переходит к описанию обстановки, в которой надлежит действовать героям. Если герой находится на работе, то описываются окружающие его станки, пульты, краны, лебёдки, блумсы, блюминги, тьюбинги и прочие механизмы. Если герой у себя дома или зашёл к приятелю, то даётся описание комнат, которые бывают большие, светлые и уютные, а также маленькие, тесноватые, сыроватые, со стенами, покрытыми унылыми пятнами серо-зелёной плесени. Тут же приводится опись всей мебели, включая и то, что висит на стенах: ковры, часы, картины, фотографии любимой женщины и т. п. Такими описаниями можно наполнять целые страницы, так как читатель ужасно любит читать про всё, что так или иначе относится к герою произведения. С такой же лёгкостью описываются зубо-врачебные кабинеты, гастрономические и бакалейные магазины, театральные залы и прочие помещения. Гораздо сложнее обстоит дело с описаниями природы, так как тут требуются особенно оригинальные краски, которые не у каждого имеются в запасе. Приводим здесь для общего пользования некоторые пейзажные зарисовки, полученные нами путём анализа.

Самым распространённым является так называемый календарный пейзаж, который существует в четырёх видах:

1) Весенний пейзаж. Весной природа просыпается, как ото сна. С мокрых, ещё не просохших крыш и от парной сыроватой земли поднимаются голубоватые дымки испарений. Небо глубокое, синее. Облака рыхлые, клочковатые и косматые. На груди легко, на сердце радостно, из земли пробивается молодая зелёная травка. Воздух крутой, густой и бодрящий, напоённый влагой, прохладой, солнечными лучами, весенней свежестью и журчанием талой воды. Дышать становится трудно. Не будет также ошибки, если сказать, что дышать становится легко.

2) Летний пейзаж. Летом обычно жарко. Воздух знойный, удушливый, расслабляющий и давящий. Небо ровное, белое, безоблачное. Если бывают облака, то по большей части редкие, лёгкие, неподвижные, тающие: «Лето стояло знойное... Белое, как бумага, небо неистово пылало... Жаркий неподвижный воздух давил».

3) Осенний пейзаж. Осенью неуютно на душе и тревожно. Небо тяжёлое, плотное, сырое, обложено тучами. Тучи мрачные, угрюмые и свинцовые. Воздух мглистый, сыроватый, упругий. Мелкий, словно сквозь сито, дождь заряжает всегда с утра. Мокрые воробьи скачут по покрытой лужами мостовой.

4) Зимний пейзаж. Зимой, как известно каждому по личному опыту, холодно. Небо низкое, затянутае, сизое. Снег мокрый, густой, липкий, мелкий, пушистый, сухой и иглистый. Воздух жгучий. Но хуже всего мороз: «А мороз рвал и метал... Рвал дико, свирепо и бессмысленно... Воздух был жгуч, как самогон, из ноздрей рвал пар, снег сверкал, скрежетал, взвизгивал». Вот какие бывают страсти!

Помимо календарного, существует ещё так называемый тематический пейзаж, например, колхозный. В него входит описание колхозных сараев, топкой навозной жижи, сеялок, веялок, борон, культиваторов, сенокосилок и других механизмов, вытасненных для ремонта. Мелькают пиджаки, шапки, бороды, загорелые лица и пористые носы. Греются на солнышке куры, гуси, свиньи, собаки, большие синие мухи и прочая живность. Кроме колхозного, бывает степной пейзаж, над которым с самого раннего утра и до позднего вечера струится тяжёлое марево; лесной пейзаж с деревьями, стоящими в торжественном спокойствии, с лесным воздухом, пропитанным смоляным духом или горьковатым запахом осины, рябины, ольхи, тополевых почек или перестоявшихся грибов. У всего этого всегда всегда один и тот же горьковатый запах. Речной пейзаж с постоянно извинаящейся серебряной или голубой лентой реки, с заливыми лугами, полными сырых пьянящих запахов свежей и сочной травы. Сюда относится также и болотный пейзаж с земснарядом и багерской кабиной у края карьера. В общем, в тематическом пейзаже можно описывать всё, что придёт в голову, начиная с голубовато-серых сумерек, которые сглаживают контуры домов и деревьев, и кончая голубовато-зелёным морем, которое глухо ворчит, бросаясь на берег и царапая его своими широкими когтистыми лапами.

4. РЕЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Читатели очень любят знать, о чём говорят герои. Некоторые из них даже пропускают описания природы, чтобы поскорее добраться до разговоров, которые принято называть диалогами. Писать диалоги очень удобно в пьесах, так как у драматургов существует очень простое правило, согласно которому слева всегда пишется, кто говорит, а справа — что говорит. Писать диалоги в романе — дело более сложное, так как здесь нет такого чёткого правила. Если в одном случае романист напишет, кто говорит, слева, то в другом случае он должен поступить как раз наоборот, так как в беллетристике требуется большое разнообразие приёмов. Кроме того, недопустимо писать просто: «сказал такой-то», нужно обязательно написать, как он сказал, например: «Прошу садиться,— энергично сказал Тихон Иванович». Или: «Прошу садиться,— добродушно сказал Тихон Иванович и широким жестом подвинул собеседнику кресло». Или: «Прошу садиться,— ледяным тоном сказал Тихон Иванович и кривовато усмехнулся». При этом сразу видно, что первый Тихон Иванович — человек энергичный, второй Тихон Иванович — человек добродушный, широкий, услужливый, третий же Тихон Иванович — человек ледяной, насмешливый, кривоватый и вообще, должно быть, отрицательный персонаж. Однако нельзя также писать из разу в раз: сказал, сказал, сказал... Это очень однообразно и может наскучить читателю. Слово «сказал» необходимо разнообразить, заменяя его другими. Это не представляет больших трудностей, в чём каждый может убедиться на примере, который мы составили, взяв по одной фразе из различных произведений:

«— Придёшь ко мне нынче? — спросил он противным, курлыкающим голосом.

— Договорились,— улыбнулась Юлия Борисовна, ласковс потрепав его за волосы. Но в переднюю уже входил крепкий, чуть грузный мужчина в очках.

— Под чужими кроватями хоронишься? — страшным шёпотом сказала Дарья Гавриловна.

— Богиня! — шептал сн, сидя на полу в тёмном коридоре и потирая колени, больно ушибленные о высокий порог.

— Ничего, за дело! — уверенно бросила Татьяна.

— Ты что, папа, опять улетаешь?.. — догнал его Саша на велосипеде.

— Нет, нет,— крутила головой Агния.— Тут что-то другое.

— Сложное дельце,— погладил свой «ёжик» Танцура».

Слово «сказал» можно заменять также словами: вспыхнул, всхлинул, вспылл, буркнул, брякнул, проямлил, прошепелявил, прошлёпал губами, прлубнил, прогнусил, промычал, хрюкнул и многими другими.

Необходимо учесть, что женщины говорят нежными, мягкими, мелодическими, журчащими, вкрадчивыми, грудными, протяжными и воркующими голосами; старики — старческими, скрипучими, окающими, надтреснутыми и расколотыми; старухи и пья-

ницы — силпыми, глуховатыми, заплетающимися и истошными; подростки — ломающимися; взрослые мужчины — низковатыми, густыми, раскатыстыми и, как было выше указано, противными и курлыкающими; турки, афганцы, греки и вообще южане — гортанными; остальные — кто как придётся. Кроме этого, говорить можно посапывая, побрякивая, почёсываясь, нервно покашливая, натужно кряхтя, гмыкая, хмыкая, вздрагивая, пришепётывая, поёживаясь, хлюпя носом, нечленораздельно мыча и т. д. Слушать можно поддакивая, кивая головой, сокрушённо или сочувственно вздыхая, сдвигая на лоб очки, закуривая папиросу, постукивая пальцами по столу или по своему собственному носу, позёвывая, нетерпеливо поглядывая на часы, ероша на голове волосы от досады, сжимая от злости под столом кулаки, морща лоб и двигая всклокоченной шевелюрой на голове.

Следует учесть, что герои не могут говорить безостановочно. Иногда они должны и помолчать, например: «Я сегодня уже пообедал, — сказал он и, помолчав, добавил: — А погода-то, кажется, портится». Обычно герой, помолчав, добавляет какой-нибудь пустяк, вроде вышеуказанного умозаключения о погоде. Ведь и умолкать-то ему приходится, когда совсем уже нечего говорить. Каждый раз, когда герой испытывает затруднение в разговоре, для автора формула «и, помолчав, добавил» является своего рода спасательным кругом. Не будь её, повествование прекратилось бы на том месте, где герою в первый раз захотелось бы помолчать. Благодаря же этой спасительной формуле повествование отнюдь не прекращается, а движется как ни в чём не бывало дальше. Случается иной раз, что герой как начнёт добавлять чуть ли не на первой странице, так и добавляет, пока не дойдёт до последней. Не лишне напомнить, что и тут нужно чувство меры. Эту фразу тоже необходимо разнообразить, то есть, написав раз: «Сказал он и, помолчав, добавил», в другой раз писать: «Сказал он, помолчал, потом почесался и полушутливо добавил», или: «Сказал он, крикнул и, помолчав, добавил, позёвывая». Варьируя таким образом эту фразу, можно достичь огромного разнообразия, чем, однако, некоторые авторы довольно легкомысленно пренебрегают, что ведёт к снижению качества их продукции.

Диалоги называются речевыми характеристиками именно потому, что по речи героев мы узнаём об их характерах, как это было указано на примере с тремя Тихонами Ивановичами. Совершенно естественно, что герои охарактеризуются полнее, если их речь будет строго индивидуализирована. Для индивидуализации речи употребляются такие слова, как: дык, аль, аж, хучь, чать, энтот, куды, може, кубыть, надоть, тольки, задарма, сумленье, чаво, чижолый, обнакновенно, маманя, опчиство, дохтур, гумага (гумага всё терпит), жисть, ндрав, вчирась, полкила, пушай, повсегда, выпимши и другие. Эти слова тоже надо употреблять не сплошь, а с разбором. Каждый без труда поймёт, как может получиться нехорошо, если в романе из жизни учёных профессора и доценты начнут употреблять выражения, вроде: съездить по рылу, наше вам с кисточкой, кругом шестнадцать, идол дубовый, или такие слова, как карактер и булгахтерия. Для примера, каким слогом должны говорить учёные в художественных произведениях, мы приведём здесь рассказ одного академика о том, как он присутствовал на собрании и слушал доклад:

«...Нас в президиум пригласили. Сидим. Смотрим, лица у присутствующих радостные. Праздник: выбирать собираются. Докладчик Фомин — представитель обл-исполкома. Как же! Руководит праздником, тоже радостный. Книга у него в руках — отчёт обл-исполкома... И пошёл: что, дескать, творится по области в разрезе народного образования... и давай, и давай... с него тоже пот льёт, но он раздумячился, улыбается и шпарит, шпарит, шпарит...»

Эта цитата, которую мы выписали из одного романа, вышедшего из печати в прошлом году, очень наглядно показывает, какое значение имеет слово для характеристики героя. Сам академик, высоко ценя силу слова, делает в этом же романе следующее заявление: «Желал бы я иметь у себя в запасе сотняжку таких слов, которыми кое-кого поучивать бы».

5. МЕТОД ФИЗИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ЛИТЕРАТУРЕ

В театральном искусстве имеется вполне разработанная теория, по которой актёрам полагается не только произносить заученный текст, но и как-то двигаться по сцене, то есть физически действовать. Эта теория имеет отношение не только к театру, но и к литературе, поскольку литературных героев тоже можно уподобить актёрам, волею автора двигающимся по жизненной сцене. Как известно, двигаться легче всего при помощи ног, поэтому для выявления характера героя огромное значение имеет его походка. Походка может быть лёгкая и тяжёлая, спокойная и напряжённая, быстрая, бодрая, энергичная, твёрдая, решительная, резвая и, наоборот, медленная, задумчивая, мечтательная, меланхолическая, безвольная и усталая. У одних героев походка упругая, эластичная, гибкая, у других она шаткая, спотыкающаяся, заплетаящаяся, прыгающая, негнушащаяся и даже деревянная. Вот пример, как внутреннее состояние и характер героя отражаются на его походке: «Как только Пахом Никитич чувствовал на себе взгляд Наденьки, его походка становилась тяжелой, он спотыкался и готов был провалиться сквозь землю». Ходить можно широко, ровным и ритмическим шагом, но можно ходить мелко, сбивчиво, угловато, можно и не ходить, а просто семенить ногами, некоторые даже не семят, а только шевелят конечностями, и всё тут. Можно шагать смело, уверенно, гордо, но можно шагать трусливо, стыдливо, вкрадчиво, подобо-страстно, заносчиво, с ехидством выделяя ногами какие-то совсем уж непотребные мерзости. Походка может быть утиная, когда человек переваливается на ходу, словно жирная утка, журавлиная, когда герой выдёргивает свои длинные ноги, словно журавль из болота, и высоко поднимает их кверху, куриная, когда герой или героиня на каждом шагу двигает вперёд головой, словно что-то клюёт своим носом. Человек может ходить, как бегемот, как слон, как медведь, может топтать, как лошадь, но может ходить и вполне прилично, изящно, мягко и даже пружинисто. «Скажи мне, как ты ходишь, я скажу тебе, кто ты». Это мудрое изречение рекомендуется запомнить каждому, кто берётся за изображение человеческих нравов, всё равно, будет это актёр или писатель.

Однако не только в походке, но и во всём, что бы ни делал герой — плачет он, улыбается или смеётся, — сказывается его характер. Одни герои плачут громко, навзрыд, всхлипывая и вздрагивая плечами, другие плачут беззвучно, украдкой, как бы стыдясь своих слёз. Одни улыбаются ласково, нежно, доверчиво, широко и радушно, другие — робко, неловко, застенчиво. Вообще улыбки могут быть разные: светлые и тусклые, грустные и весёлые, сладенькие, даже приторные, и горькие, кислые, едкие, ехидные, хитроватые, кривоватые, угрюмые, змеящиеся, саркастические и застывшие. Смеяться тоже можно по-разному. Одни могут смеяться сочно, заразительно, густо, раскатисто, хлопая себя руками по бёдрам и колыхая плечами. Другие смеются жиденько, неслышно, мелко трясясь дородным телом или одним животом. Одни герои глядят насторожённо, испытующе, умоляюще, другие и глядеть-то не могут просто, а обязательно упираются в собеседника своими тяжёлыми, стеклянными, ледяными, недобрыми взглядами, есть ещё и такие, которые пронзают друг друга острыми, скрещивающимися, сверкающими взорами или мечут, бросают, швыряют эти взоры в лицо друг другу. Одни герои едят скромно, не делая из процесса еды никакого особенного события, другие едят так, чтобы всем было заметно, громко хрустя зубами, икая, двигая острыми скулами или тяжёлой челюстью. Есть герои, которые ужасно любят во что-нибудь погружаться. Они то и дело погружаются то в кресло, то в ванну, то в сон, то в чтение, то в разврат, то в спячку. Другим очень нравится застывать. Чуть отвернёшься от него — он уж застыл: «Он повернулся к застывшему у двери дежурному чиновнику». «Покосившись на испуганно застывшего у стола чиновника, он доложил тихим голосом...» и т. д.

В общем, у каждого героя свои привычки и интересы. Однако все интересы сходятся, как только герои очатятся за столом с хорошей закуской. Впрочем, закуска может быть и так называемая нехитрая, лишь бы было что выпить. Пьют герои главным образом водку. Без водки невозможно обойтись ни в повести, ни в романе. Даже в рассказе должна наличествовать выпивка, хотя бы лаконично и скупо описанная, вроде:

«Вечером пришёл Вериков, принёс бутылку спирта.

— Выпьём? — спросил он.

— Выпьём,— кивнул Светлов...

Сни пили почти до утра, а когда стали гаснуть звёзды, Светлов сказал Верикову, чтобы тот уходил. Вериков, перебирая руками по стенке, добрался до двери и скрылся».

Вот и всё. Очень симпатичные ребята, не правда ли? Заметьте: пили всю ночь и сказали друг другу всего два слова: «Выпьём?» — «Выпьём». Зато уж назюзюкались так, что пришлось перебирать руками по стенке.

Многие полагают, что если писатель описывает выпивки и попойки, то его замысел состоит в том, чтобы читатель почувствовал пагубность употребления алкоголя и пришёл к соответствующим выводам. Но это неверно. По установившейся традиции попойки изображаются для полноты передачи жизни. К тому же некоторые писатели воображают, что как только у кого-либо из героев появится в руках пол-литровка, кусок колбасы и головка луку, читателя от книги уж и не оторвёшь, поскольку подобные сцены возбуждают жажду к чтению. Главное же для писателя, конечно, не в этом, а в выявлении характера героев. Вот пример, какой благодарной почвой для яркой обрисовки героев может явиться хорошая домашняя вечеринка. Пример этот также составлен из разных произведений и является своего рода обобщением в этом вопросе:

«На хирургически-чистой клеёнке было наставлено множество яств: копчёный сиг, холодное мясо, холодные цыплята, кильки, огурцы, клубника. Всё было аккуратно разложено по тарелкам, хлеб нарезан ломтиками. В центре стояла (ну, конечно!) бутылка водки.

— По одной для начала,— сказал Войнаровский, наполняя рюмки...

— Да будет так...

Они чокнулись...

Как-то сразу стол покрылся поверх всего мандариновыми корками и конфетными бумажками, а в тарелке у Дорофеи оказалось вино и окуроч, хотя она и не курила...

После третьей чарки Никифор повеселел...

— А давайте выпьем за ассенизаторов!

Все засмеялись, зашумели, задвигались, заговорили вразнобой. Мясников пил больше всех, но не пьянел, а только становился задумчивей. У Андрея кружилась голова, и сердце растворялось в блаженном довольстве... Геннадий выпил ещё рюмку и стал куражиться, заявляя, что плевал на всех, кто его не ценит, пусть они провалятся... Много ли они выпили и из-за чего поссорились, неизвестно, только отец вернулся домой избитый, в синяках и крови. Мать поливала водой его всклокоченную голову, положила ему примочку к носу».

Герои могут выпивать не только дома, но также и в ресторане или пивной. Это даже интереснее получается:

«В пивной густо сидел народ...

— Демократически, хорошо, красиво,— сказал Мукосеев, окидывая взглядом дымное помещение, в котором в один мощный гул сливались сотни голосов.

Подняли стаканы, чокнулись... Стали запивать пивом, закусывать угрём, рассуждали о качестве водки и о том, что угри — это те же змеи, только живут в воде...

— Ну как, ещё пропустим? — предложил Мукосеев...

Все заговорили разом. В сумятице Липатов окончательно утратил ощущение времени и пространства и положил голову на стол, прямо в тарелку с объедками... Хватаясь за Липатова, Борис Владимирович повалился со стула на пол. Липатов бессильно и радостно отдался этому влечению и тоже рухнул под стол. Через полчаса на соседнем с пивной пустыре, среди сухого бурьяна, стояли Мукосеев и Семён Никанорович. В бурьяне, вынесенные с помощью официантов и любителей-добровольцев, лежали Липатов и Борис Владимирович... Мукосеев плюнул и попал на воротник пальто Бориса Владимировича, и так достаточно извоженного всем, чем только возможно извозиться на нашей планете».

Но довольно примеров о пьянстве. Поговорим теперь о любви, от которой, судя по некоторым сочинениям, человек дурее не хуже, чем от вина. Когда герой встре-

чается с любимой девушкой, на него по всем установившимся литературным канонам должна нападать необъяснимая робость. Самые обыкновенные глаза девушки начинают казаться влюблённому такими большими, что в них хватает места и для радости, огромной, как небо, и для печали, глубокой, как море, и для хитрой лукавинки, и ещё для чего-то, чего и не разобрать. Пределом мечтаний каждого влюблённого является взять «её» руки в свои. Героиня же в это время обычно любит улыбаться, но улыбается она не как все люди, а лишь одними глазами. Способность улыбаться одними глазами так же редка, как умение шевелить ушами или дёргать кончиком носа. Лично мы несколько часов подряд вертелись перед зеркалом, стараясь воспроизвести на своём лице улыбку одними глазами, но у нас ничего не получилось. Каждый раз, когда мы готовы были уже улыбнуться одними глазами, губы сами собой неожиданно разъезжались в стороны и получалась самая пошлая, заурадная усмешка, не имеющая ничего общего с той поэтической улыбкой, которая так часто описывается в книгах. Потренировавшись с неделю, мы научились, однако, довольно сносно улыбаться одной переносицей, всё же, к сожалению, не глазами.

После того, как герой научился брать «её» руки в свои, наступает период более активных физических действий, в чём легко убедиться на примере, который мы занимаем из одной повести, также появившейся в прошлом году:

«Я погладил ладонью её нежную руку и наклонился к ней так близко, что услышал запах волос. Голова моя всё ниже склонялась к её плечу, а Леночка точно не замечала этого. Меня начала пробивать мелкая дрожь. Ладонь моя медленно скользила вверх по холодной, как мрамор, девичьей руке и задержалась где-то повыше локтя». Это «где-то повыше локтя» очень верно передаёт состояние рассказчика, который даже не замечал, где задержалась его рука. Однако дальше: «Поддавшись неожиданно нахлынувшим чувствам, я обнял Леночку и крепко поцеловал её в самые губы. Девушка замерла. Она не оттолкнула меня, не вскрикнула. И тогда её прижал ещё сильнее к своей груди. Её губы раскрылись навстречу моим. Они были прохладные, точно родник. Наконец я выпустил Леночку из объятий».

На этом мы заканчиваем описание метода физических действий в литературе.

6. ИСКУССТВО СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ

Теперь о сюжетах. Сюжеты бывают двух родов: 1) сюжеты, где главный герой — мужчина, и 2) где женщина. Сюжет первого рода строится примерно так. Директор колбасной фабрики Семён Семёнович Бочкин влюбляется в тоненькую светловолосую девушку с удивлённым лицом, которую зовут Наденькой. Они женятся, и Наденька превращается в большую, крупнокостную, кряжистую женщину с маленькими серыми холодными глазами, глубоко упрятавшимися под крепкой лобной костью. Семён Семёнович молча страдает. У него появляются культурные запросы, а жене попрежнему нравится устраивать семейное гнёздышко, священнодействовать у плиты и нянчиться с детишками. Потом Семён Семёнович уезжает в командировку. Там он приятно проводит время с некой Мирандолиной Кондратьевной, а по окончании командировки захватывает её с собой, подыскав для неё квартиру в городе. Вернувшись домой, он навещает Мирандолину Кондратьевну в этой квартирке и наконец совсем переселяется к ней. Дома остаётся жена, мальчик Алёша двадцати трёх лет и дочь Алептина, окончившая консерваторию и временно находящаяся на иждивении родителей. Мирандолина Кондратьевна оказывается нехорошей женщиной. Её интересуют только деньги. Бедному Бочкину приходится придумывать разные побочные статьи доходов. Мирандолина Кондратьевна знакомит его со своим бывшим любовником, юристом Похлёбкиным, который учит Семёна Семёновича приписывать проценты к плану и получать незаконные премиальные, а также выписывать зарплату на подставных лиц. Пустившись в аферы, Семён Семёнович перестаёт думать о производстве. План выпуска колбасы систематически недовыполняется. Качество колбасы катастрофически ухудшается. Рабочие на собрании резко критикуют директора. Главный инженер предлагает ввести новый технологический процесс набивки колбас, но директор добивается увольнения главного инженера. Главный инженер доказывает в министерстве необходимость введения новой технологии. Нагрянувшая ревизия обнаруживает злоупотреб-

ления. Бочкину дают по шапке. Мирандолина прогоняет его, а ставшая на ноги семья не принимает его обратно. Как бездомный пёс, он бродит по улицам. Главного инженера восстанавливают на работе. Производственное колесо вертится. Качество колбасы налаживается, и на этом — конец.

В изложенном нами сюжете могут быть разные вариации. Бочкин может встретить свою Мирандолину не в командировке, а у себя на фабрике. Он может незаслуженно прибавлять ей зарплату, что должно возмущать честных сотрудников и разваливать дисциплину. Уйдя от Мирандолины, он может вернуться к жене, и жена не прогонит его, а, наоборот, даже обрадуется, но, возможно, она всё-таки и прогонит, потому что уже успела выйти замуж за одного своего знакомого, которого любила в молодости. Бочкин же, уйдя от Мирандолины Кондратьевны, вовсе не обязательно должен вернуться к жене, а, войдя во вкус, может переселиться к какой-нибудь очередной Сирене Карповне, потом к Афродите Дементьевне и т. д. Он по очереди обманывает всех женщин, обещая жениться, но ни на ком не женится. Проходит время, и он начинает чувствовать себя одиноким и уже сам не прочь жениться, но теперь никто не хочет выходить за него замуж. Будучи уволенным с колбасной фабрики, он переходит с места на место, пока не доходит до директора пивной палатки. Там он сидит, горько жалуется на судьбу и терзается угрызениями совести. Но может быть, ревизия обнаруживает такие большие хищения, что нашего бедного Семёна Семёновича сразу сажают в кулузку, а может быть, ничего криминального нет, и Семён Семёнович отделяется лишь строгим выговором и лёгким испугом.

Возможен и такой вариант, когда Бочкин и не директор вовсе, а обыкновенный молодой шофёр, комбайнер, экскаваторщик, а Мирандолина Кондратьевна — не Мирандолина Кондратьевна, а просто Катенька — молодая колхозная трактористка, тоненькая и с удивлённым лицом. Влюбившись нечаянно в Катеньку, Семён Семёнович назначает ей свидание, но, во-время спохватившись и вспомнив, что он уже женат, возвращается домой и смотрит, как его крупнокостная Наденька священнодействует у плиты. «Что ж, — вздыхает Семён Семёнович. — Придётся тянуть лямку. Жизнь разбита, зато не поколебались основы семьи». Если он этого не сделает и подчинится железным законам колбасного сюжета, то неизбежно докатится до директора пивной палатки, получит строгий выговор или попадёт в тюрьму.

В качестве примера сюжета второго рода, то есть такого, где главным героем является женщина, можно привести следующий. Муж Зои Кирилловны, которого она горячо любит, уезжает в командировку. Бедная женщина первые дни ужасно скучает по мужу и с тоской оглядывает опустевшую квартиру, где всё так живо напоминает ей о нём, но потом начинает понемножку изменять ему с одним знакомым мужчиной. Этот мужчина, кстати сказать, геолог, большой друг её мужа. Он помогает ей писать диссертацию. Дальше — больше. Постепенно она входит во вкус, а мужу пишет так, будто ничего такого не происходит. Наконец она даже устаёт лгать мужу в письмах и хочет признаться ему во всём. Назревает ужасная катастрофа, так как в результате признания могут поссориться два таких прекраснейших человека и друга, как её муж и любовник. Однако к приезду мужа любовник успевает ей наскучить. Горячее чувство любви к мужу поднимается в груди Зои Кирилловны, и она решает не признаваться ему. Счастливый муж так ничего и не узнаёт об измене. Трогательнейшая дружба двух замечательнейших друзей остаётся крепкой и нерушимой. Устой семьи не поколебались, и колесо вертится дальше.

Этот сюжет также имеет множество вариантов. Дело может кончиться и не так счастливо. Зоя Кирилловна может разойтись с мужем и уйти к своему геологу, от геолога перекочевать к актёру, от которого может потихоньку катиться дальше, пока не докатится до директора пивной палатки. В описанном варианте жена изменила мужу просто потому, что его не было дома. В других вариантах она действует более осмысленно и изменяет только тогда, когда замечает, что муж не работает над собой и не растёт или, наоборот, слишком сильно растёт, но не заботится о культурном росте своей жены.

Мы описали только по одному сюжету первого и второго рода, хотя как тех, так и других множество, но зато дали описание многочисленных вариантов, из чего видно, что сюжет не является чем-то стабильным, а весьма легко может быть изменён, пере-

делан на любой лад. Отсюда видно, какую большую ошибку делают авторы, которые пишут, не признавая никаких образцов. Им приходится постоянно присматриваться к жизни, ездить, ходить, бегать, рыскать, буквально охотиться за новыми сюжетами, что очень трудно, хлопотно и беспокойно. Когда же ценой времени, трудов и лишений такой автор добудет из гущи жизни новый сюжет, его сейчас же подхватят любители готовых образцов, начнут его переделывать, перекраивать, перелицовывать и перелицуют в конце концов так, что родная мама не узнает.

Не следует забывать, что сюжет — это только внешняя форма, так сказать, оболочка произведения, и, как таковая, нуждается в хорошей начинке. В качестве начинки употребляются описания героев, комнат, квартир, пейзажей, производственных процессов, объяснений в любви, ночных прогулок, поездок за реку, вылазок на охоту, свадеб, крестин, разных непредвиденных случаев в виде наводнения, нашествия саранчи или смерти старого, никому не нужного дедушки с похоронами и поминками и т. д.

Чтобы произведение не оказалось каким-нибудь куцым или кургузым, описание героини надо начинать не с того момента, когда уехал в командировку её муж, а с момента её рождения или лучше с момента рождения её бабушки, с крепостных времён. Рассказывая последовательно, как рождалась бабушка, потом мать героини, потом сама героиня, как она росла, развивалась, как начала, наконец, изменять мужу, можно дать очень содержательное и объёмистое произведение. Чем длиннее в данном случае оболочка, тем длиннее окажется и само произведение.

7. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Для писателей, которые не признают образцов, творческий процесс, то есть процесс писания произведения, — это сплошная мука. Пишут они, то и дело вымарывая написанное, и переписывают по двадцати раз наново. Некоторые из них от злости рвут свои рукописи и дают клятву никогда не писать больше и тут же садятся и пишут снова. Всё-то им кажется, что получилось не так, как нужно. Оно и не мудрено, потому что, встав утром и садясь за свой писательский стол, такой автор не знает, куда заведут его герои к вечеру.

Иное дело писатель, который следует изложенным нами приёмам литмастерства. У него всё само собой получается. Ему даже думать не надо. Единственное, над чем ему приходится задумываться, — это имена, отчества и фамилии своих героев. Если имя героя есть, остальное можно черпать из неисчерпаемых речевых богатств, которые всегда в изобилии под рукой. Сидит такой литмастер, которого мы для удобства пользования назовём Иваном Ивановичем, у себя за столом перед стопой чистой бумаги и крепко думает. Он ещё не знает, о чём будет писать, зачем будет писать, но уже придумывает имя героя. Минута глубокой задумчивости — и вдруг его мозг, словно сверкающая молния, прорезывает мысль: а что, если героя назвать Виталием Аркадьевичем Погорельским? Идея! Виталий Аркадьевич Погорельский — очень звучное и красивое имя и, кажется, ещё ни у кого из писателей не фигурировало. «Здорово это я!» — с удовлетворением думает о себе Иван Иванович и, подвинув поближе стопу бумаги, начинает писать:

«Виталий Аркадьевич Погорельский сидел за столом у себя в кабинете и читал книгу. Его вдумчивые голубые глаза глядели рассеянно, красиво очерченные капризные губы были плотно прижаты одна к другой, на высоком бугристом лбу пролегла вертикальная складка, устремившаяся к переносице, мягкие, шелковистые, темнокаштановые волосы были гладко зачёсаны за большие хрящеватые уши...» Следует пять страниц описания лица Виталия Аркадьевича, его туловища, верхних и нижних конечностей, в результате чего весь Виталий Аркадьевич предстаёт перед нами, как живой, со своей манерой зябко поёживаться и потирать одна о другую руки. Далее на десяти описывается комната со всеми столами, стульями, коврами, занавесками на окнах и всем прочим. Виталий Аркадьевич подходит к окну. Следует описание улицы, которая видна из окна, чёрной тучи, загрозившей всё небо, дождя, зарядившего с утра, мокрых воробьёв, которые прыгают по покрытой лужами мостовой. Это занимает ещё четыре страницы. Затем мы узнаём о внутреннем состоянии

Виталия Аркадьевича, вызванном скверной погодой, которая помешала намеченной поездке на пляж со знакомой девушкой Зиной, которая работает на заводе, где Виталий Аркадьевич директором, и живёт на окраине города со своей бабушкой. Неожиданно открывается дверь и входит... минута глубокой задумчивости... Виктор Васильевич Скрежетов, главный инженер завода, который зашёл поговорить о проекте переоборудования литейного цеха. Три страницы описания Скрежетова, тридцать пять страниц описания проекта переоборудования. Погода разгуливается, и Виталий Аркадьевич улетучивается к Зиночке. Скрежетов остаётся, чтобы рассказать о своём проекте жене Виталия Аркадьевича... минута задумчивости... Лире Яковлевне, на которой Виталий Аркадьевич женился одиннадцать лет назад. В то время это была тоненькая девушка с удивлённым лицом, а теперь это большая, крупнококтовая женщина с сильным тазом. Пять страниц Лире Яковлевны — какие уши, какая спина... Количество страниц быстро растёт и уже перевалило за сто. Иван Иванович с удовольствием поглядывает на довольно пухленькую пачку исписанных листов, лежащую перед ним. Его работу можно было бы уподобить работе художника, который смело орудует своей кистью, если бы художнику не приходилось всё же подбирать краски, смешивать их на палитре, добываясь нужных оттенков, то и дело отходить от холста, чтобы охватить всю картину в целом, и время от времени переписывать заново ту или иную деталь. Нет, работу Ивана Ивановича скорее можно уподобить работе штукатура, который уверенно бросает известковый раствор при помощи специальной лопаточки, или даже работе штукатурной машины, которая брызжет из брандспойта известковым раствором прямо на заранее подготовленную драпку, в результате чего после затирки получается вполне доброкачественная, ровная серая стенка.

Итак, быстро бежит по бумаге перо — брызжет известковый раствор. Скрежетов давно влюблён в Лире Яковлевну и считает, что Виталий Аркадьевич не заслуживает обладания такой замечательной женщиной. Двадцать девять страниц непотребного поведения Виталия Аркадьевича. Скрежетов ничего не говорит Лире Яковлевне о своих чувствах, но она догадывается сама. Бескорыстная любовь этого человека является единственной отрадой в её жизни, и она с интересом слушает изложение его проекта, хотя ничего и не понимает в нём. Ещё десять страниц проекта. «Ловко я этого Скрежетова сюда подпустил! — самодовольно думает Иван Иванович. — Обычно у других начинается с того, что инженер приезжает на завод со своим проектом, а я его прямо на квартиру к директору!» Дальше следует свидание Виталия Аркадьевича с Зиной, описание этой прелестной девушки, реки, солнечного заката и приятной вечерней свежести. Потом идёт разговор Скрежетова с председателем завкома Бушлатовым. Бушлатов направляет проект в министерство. Виталий Аркадьевич находит дома письмо, которое Скрежетов написал Лире Яковлевне ещё до её замужества. Он устраивает сцену жене, а Скрежетова обвиняет в том, что он нарочно придумал свой проект, чтобы подсадить его на работе и отбить жену. Лира Яковлевна узнаёт о существовании Зиной. Чаша терпения её переполнена, и она решает изменить мужу, но не желает этого делать со Скрежетовым, так как ей хочется, чтобы он сохранил чистоту своих чувств к ней. Она решает влюбиться в актёра, с которым случайно знакомится у своей тётки на именинах. Описание именин — двадцать страниц. После долгих колебаний она решает изменить мужу с актёром, но потом раздумывает, а потом всё-таки изменяет — пять страниц. Актёру хочется, чтобы она развелась с мужем, но Лира Яковлевна не хочет лишать детей отца... Иринушку пяти лет и Додика шести... или, нет, лучше десяти. Мальчик сможет уже ходить в школу и приносить двойки, Виталия Аркадьевича могут вызвать в школу, а он не пойдёт и скажет, что не обязан воспитывать своих детей. Тогда учительница сама придёт к нему, а он примет её, жуя котлету, что вызовет возмущение всего педагогического коллектива. У актёра есть жена и прелестная дочка-крошка. Жена актёра узнаёт о существовании Лире Яковлевне и идёт, чтобы объясниться с ней, но не застаёт дома, а застаёт Виталия Аркадьевича. В это время возвращается домой Лира Яковлевна. Увидев мужа с незнакомой женщиной, она устраивает бурную сцену. Муж прогоняет и ту и другую, а сам идёт к Зиночке, но не застаёт её и разговаривает с бабушкой. Следует описание бабушки: выцветшие, поблёкшие, пустые глаза, тяжёлые, красноватые, припухшие веки, вялые, задумчивые, аморфные уши, тусклый, узловатый, неподвижный, жилистый нос, жёст-

кая курчавая борода клинышком. Стоп, машина! Что-то не то в известковый раствор попало! Откуда у бабки вдруг борода взялась? Да и к чему вообще здесь эта старуха? Не похоронить ли её? Э! Зажилась на свете! Кстати, можно описать похороны, поминальный обед... И вот уже тащатся погребальные дроги, жалобно свищет ветер, качая деревья на кладбище, а вечером длинный стол сверкает тарелками с колбасными дискарами, пупырчатými огурцами, пирогами с нежно хрустящей корочкой. В центре — блюдо с копытным сегом (никуда от него не денешься!) и, конечно, бутылка водки.

— Ну, детушки, да будет так, — сказал Сверлизубов, наполняя рюмки.

Все выпили и заговорили. Бушлатов сразу утратил ощущение времени и пространства и положил голову в тарелку с обедками. Виталий Аркадьевич свалился под стол. Он пил больше всех, но не пьянел, а только становился задумчивей. У Филиппа сердце растворялось в блаженном довольстве. Зиночка улыбалась одними глазами. Димка крикнул и улыбнулся носом. Он стал мрачно доказывать, что сиви — это те же змеи, только живут в воде. Аркашка дернул целый стакан и стал плевать на всех. Аксинья долго поливала водой его всклокоченную голову, положила ему примочку на нос. Один глаз у него не открывался, другой не закрывался. Через полчаса во дворе позади дома стояли Виктор Савельевич и Бушлатов. В сухом, пыльном бурьяне, на земле, покрытой всякой всячиной, валялся Виталий Аркадьевич. Виктор Савельевич плюнул и попал на воротник пальто Виталия Аркадьевича... «Стоп! — шепчет увлеченный было Иван Иванович. — Кажется, это уже у кого-то было. Я где-то читал, что плевок попал на воротник пальто. Надо исправить. Напишем так: плюнул и попал на лысину старику. Так даже интереснее будет. Однако откуда тут ещё старик взялся? Опять известковый раствор подвёл! В романе ведь никакого старика нет. Ну, нет — так будет! Значит, там ещё пьяный старик валялся. Он мог из деревни приехать. Старуха-то померла, вот он, значит, и приехал в освободившуюся комнатушку».

Иван Иванович улыбается, довольный своей находчивостью. Он чувствует себя чародеем, вершителем человеческих судеб. Захочет — поженит своих героев, захочет — и разведёт, захочет — пустит их вниз по матушке по Волге на пустом баркасе за селёдками в Каспийское море, захочет — заставит торговать колбасой. Между тем вызванный к жизни посредством неосторожного плевка старик уже ворочается на земле, нечленораздельно мычит и, натужно кряхтя, пытается встать на свои не гнущиеся в коленях ноги. «А, чёрт! — шепчет в восторге Иван Иванович. — Здорово это у меня со стариком получилось! Ведь никакого старика и в помине не было. Вот что значит искусство, то бишь — тьфу! — известковый раствор!»

Иван Иванович бросает довольный взгляд на стопу исписанной бумаги и, определив на глаз, что стопа уже стала примерно толщиной с кирпич, решает на этот раз свою работу закончить.

Последуем и мы его примеру. Думаем, что сказанного вполне достаточно для понимания творческого процесса той группы писателей, работу которой мы подвергли рассмотрению. Мы вовсе не претендуем на исчерпывающую полноту изложения. Наша цель — дать толчок мыслям читателя, надеясь, что читатель, заинтересовавшись предметом, догадается сам обратиться к первоисточникам и изучит вопрос во всей его глубине.

Ознакомившись со статьёй, редакция предложила автору указать, из каких произведений взяты приведённые им в тексте примеры. Автор сказал, что, выступая в своей статье против шаблона, то есть явления в какой-то мере распространённого, он мог привести цитаты подобного рода и из других произведений. В этом случае пришлось бы назвать совсем другие фамилии. Между тем смысл статьи — заострить внимание на литературном явлении, а не на отдельных авторах.

Кроме того, невозможно каждый раз оговаривать, у кого взято в качестве примера то или иное слово. Это очень загрузило бы текст и затруднило бы чтение.

Доводы, высказанные автором, оказались убедительными, и редакция не настаивала на своём предложении, ограничившись проверкой приведённых в тексте цитат.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЕРМИЛОВ

★

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ*

ВВЕДЕНИЕ

Великий русский писатель, о котором Горький сказал, что по силе художественной изобразительности его талант может быть равен только Шекспиру, Ф. М. Достоевский выразил своим творчеством безмерность страданий униженного и оскорблённого человечества в эксплуататорском обществе и безмерную боль за эти страдания. И, вместе с тем, он яростно сражался против каких бы то ни было поисков реальных путей борьбы за освобождение человечества от унижения и оскорбления.

Раздвоенность терзала Достоевского, становясь для него и его героев источником своеобразного мучительного и мстительного наслаждения — болезненной формой признания безвыходности мучений.

Он сам был жестоко унижен и оскорблён страшной действительностью, превращавшей его героев в изломанных людей. Его жизненный и литературный путь представляет собой один из наиболее глубоких вариантов трагедии, содержанием которой является подавление и уродование человеческой души действительностью, враждебной гению, свободе, искусству, красоте. В произведениях этого субъективнейшего писателя, всегда являющихся его личной исповедью, с их угрюмой тревогой, лихорадочными метаниями и колебаниями, неизбывным страхом перед хаосом и тьмой окружающей жизни, запечатлелась скорбная история великой, но больной души, заболевшей человеческими страданиями и отчаявшейся — в буквальном значении этого слова, то есть изжившей свои чаяния, мечты, надежды молодости, — души, полюбившей боль, потому что ей нечем стало жить, а значит, и нечего стало любить, кроме боли.

В беспокойной атмосфере его произведений отразились и подавленный, искажённый протест против действительности, раздавливавшей миллионы людей, — подобно тому, как был раздавлен насмерть несчастный Мармеладов, — и непрочность, обречённость, близость краха самого общества, построенного на человеческих мучениях, чреватого неведомыми потрясениями, грозными катаклизмами.

Творчество Достоевского было порождено переходной, кризисной эпохой распада феодально-крепостнических отношений в России и замены их новыми, капиталистическими отношениями.

Ломалась, трещала по всем швам так называемая «патриархальная», крепостническая Россия. Человек, от имени которого говорил Достоевский, оказывался всецело предоставленным самому себе, беспредельно, поистине совершенно одиноким в новой, непонятной ему, раздирающей его действительности. Маленький чиновник; захудалый дворянин, брошенный в капиталистический водоворот и терпящий все бедствия деклассации; разночинец, интеллигент и полунинтеллигент, оторванный от жизни народа, от передовой разночинной, демократической интеллигенции и от того процесса трудной выработки передовых общественных идеалов, ценой которого Россия, по словам Ленина, выстрадала марксизм; вчерашний «патриархальный» мещанин, стоящий на грани люмпенства; — человек, одиноко ютящийся в каморках, похожих на шкаф, или сундук, или гроб, в сумрачных закоулках городских трущоб, где «фонари мелькают, точно факелы на похоронах», — герой Достоевского сгибался под двойной социальной тяжестью.

* Главы из монографии.

Его угнетали крепостнические порядки, полный произвол и самовластие начальствующих, гоголевских значительных лиц; его подавлял и рост новых отношений, повсеместный разгул хищничества, цинизм откровенно волчьих законов жизни. Достоевский выразил страх перед победоносным шествием капитализма этих социальных слоёв, неустойчивых, социально и психологически ничем не вооружённых, не защищённых, доступных для всевозможных реакционных и упадочнических влияний, их судорожные попытки найти хоть какую-нибудь социальную опору.

Новый, устанавливавшийся социальный уклад ужасал раздвоенного героя Достоевского, страшил угрозой нищеты, полного вытеснения из жизни, но вместе с тем и манил возможностями выдвинуться вперёд, стать над другими; манил — и жестоко обманывал. Со стыдом и отвращением открывает в себе сам герой Достоевского внутреннюю возможность преисполниться буржуазным аморализмом, чувствует, как в него самого проникают яды «дьявольских» соблазнов, как разрастается в нём «паучья» душа. И он с омерзением отшатывается от этих соблазнов, обнаруживая в них улыбающуюся человекоподобную свидригайловскую маску. Это отвращение часто оказывается смешанным и с другим стыдом — за свою неумелость, неловкость, слабость, неприспособленность к удачливости, грубой силе, к роли хищника, преуспевающего в мире хищников. «Или рабство, или владычество» — встречаем мы знаменательные слова в записях Достоевского (к предполагавшемуся роману «Житие великому грешника»). Эти слова могли бы быть поставлены, может быть, эпиграфом ко всему его творчеству.

В этих терзаниях и колебаниях отражён закон буржуазного общества: либо ты рабовладелец, либо раб, либо ты давишь других, либо они давят тебя! Из двух возможностей: «мораль господ» или «мораль рабов» — герой Достоевского «избирает» вторую. Он не обладает никакими данными для роли «господина»; «мораль господ» органически претит ему, противоречит всей его человечности. — Лучше быть жертвой, чем палачом! Лучше быть раздавленным, чем давить других!

Никаких иных возможностей Достоевский не хочет знать. Звериная сущность новых законов жизни обнажалась перед ним, а относительно прогрессивные стороны укладывавшегося и в России капиталистического порядка были непонятны ему. «Язва пролетарства» представлялась столь же ужасной, как и самый капитализм: «пролетарство» отождествлялось то с ненавистной буржуазностью, то с люмпенством. Исход, заключающийся в революционной борьбе, был отвергнут писателем. Достоевский страшится и капитализма и революции, — а для него было ясно назревание пролетарской революции на Западе, постигнутое им в многолетних наблюдениях над западноевропейской жизнью.

В России, как указывал Ленин, силы демократии и социализма были смешаны воедино в утопической идеологии, — они начали расходиться лишь с девяностых годов, в связи с переходом от революционной борьбы одиночек к борьбе самих революционных классов. Пытаясь вести политические атаки в своих художественных произведениях и публицистике против революции, Достоевский выступал против революционной демократии и утопического социализма, идеи которого были так близки ему в молодости.

Разрыв с передовыми общественными силами, лишив писателя каких бы то ни было реальных социальных надежд, мог лишь укрепить идеологию и психологию тупика, заставшей, вечной раздвоенности.

Передовые представители городской мелкой буржуазии, разночинной интеллигенции искали для себя выход в опоре на крестьянскую революцию. Достоевский был с ними в сороковых годах и ушёл от них, вернее — его увели, отрезали от них стеною Омского острога.

Он начинал свой литературный путь как продолжатель лучших традиций и ученик Гоголя, союзник Белинского. Его духовное и литературное развитие и далее могло бы продолжаться в том же направлении, вопреки очень серьёзным противоречиям, обнаружившимся уже в произведениях первого периода его творчества, если бы это развитие не было прервано так чудовищно-грубо, деспотически-жестоко, таким отвратительно преступным глумлением над его личностью. На целых десять лет он был выбро-

шен из жизни тем самым николаевским режимом, который убил Пушкина, убил Лермонтова, затравил Гоголя.

Тяжёлый идейно-психологический процесс происходил в нём за эти годы, с его болезненно впечатлительной, обнажённой душой (болезненной в буквальном смысле слова: в молодости он был на грани душевного заболевания; каторга усилила его эпилепсию). Он вернулся к общественной и литературной жизни не тем, кем уходил на каторгу. Он разуверился в возможности улучшить действительность путём борьбы, усомнился в самой «природе человека», в способности человека «своими силами» своей разумной волей перестроить жизнь. Он начал искать поддержку в религии, — в постоянной жестокой борьбе с самим собою, религия до конца его дней слишком не твёрдо укладывалась в его душе, склонной к бунту, возмущению, вынужденной подавлять бунтарские и атеистические устремления. Очень точно сказал он о себе в письме к Н. Д. Фон-Визиной (в феврале 1854 года), уже пережив свой отход от лагеря революции:

«Я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных»¹.

По возвращении в Петербург, после десяти лет глубочайшего, мало кем с такой совершенной полнотой испытанного одиночества — душевного, духовного, социального, — на него нахлынула, со всеми её пёстрыми противоречиями, язвами, соблазнами, жизнь большого капитализирующегося города. А вскоре к этому бурному рою впечатлений, хаотичность которых была впоследствии так ярко выражена в «Под-ростке», присоединились шедшие по тому же руслу, но неизмеримо усиленные впечатления от поездок за границу, от картин вполне развёрнутого капитализма. И он ещё более утвердился в своей проповеди того, что только в страдании сможет очиститься современный человек от эгоизма, от соблазнов сатанинской власти денег над всем, — проповеди, способной лишь усилить гнёт жизни униженных и оскорблённых.

Дикий хаос буржуазно-анархического своеволия, насилие одного над другим, война каждого против всех и всех против каждого, ничем не ограниченная игра жестоких, мучительских сил, всеобщее развращение, развал моральных устоев, торжество презренного и пошлого буржуа, нищета, проституция, голод — кроме этого, Достоевский ничего не видел в жизни Запада.

В борьбе рабочего класса он увидел только проявление всё тех же грубых материальных интересов, всё то же служение маммоне, которое отвращало его от «третьего сословия». Он был не в силах понять, что именно в рабочем классе сосредоточивалась духовная красота современного человечества, всё лучшее в мировом гуманизме. Поистине, «рассудку вопреки, наперекор стихиям», он слил «третье» и «четвёртое» «сословия» в общем ненавистном ему понятии буржуазности.

Уйдя от новой, передовой России — России Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Некрасова, Шедрина, — Достоевский потерял единственную возможность помочь униженным и оскорблённым в их стремлении разобраться в хаосе действительности, выбраться из мрака. Впитав в свою душу страдания человечества, Достоевский склонился перед их беспредельностью, якобы «непостижимой» для человеческого разума и сердца, в раскольниковском земном поклоне. Он пришёл к той христианской страдательной любви, о которой А. И. Герцен сказал суровые и правдивые слова: «Страдательная любовь может быть очень сильна, — она плачет, она говорит, потом утирает слёзы, и, главное, она ничего не делает»². М. Е. Шедрин, полемизируя с Достоевским (в статье «Наша общественная жизнь»), подчеркнул, что сочувствие униженным и оскорблённым должно выражаться в призыве их к борьбе с насилием, а не в «оскорбительной жалостливости». Достоевский в «Бедных людях» устами героя выразил замечательный протест против оскорбительной жалостливости к беднякам. Да и в последующих его произведениях многие образы бунтуют против оскорбительной жалостливости! Но всё же она входит не только

¹ Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, 1928, стр. 142.

² А. И. Герцен. Сочинения, изд. Лемке, т. IV, стр. 387—388.

в его проповедь, но и в ткань произведений, вступая в противоречие с мотивами протеста и возмущения, стремясь погасить, подавить эти мотивы.

Отвергнув поиски выхода на пути объективного исторического развития действительности, не усматривая никаких проблесков надежды впереди, Достоевский начал искать спасение в идеализации тогдашней социально-политической и экономической отсталости страны. Он пришёл к славянофильской проповеди «особого пути» России, той зосимовской «елейной тишины» (по его собственному выражению!), которой «предназначено» спасти весь мир и от ужасов капитализма и от революционных потрясений.

Его разоблачение язв капитализма было критикой с позиций реакционной утопии; объективно то была попытка повернуть историю вспять.

Достоевский нередко признавался, что он никогда ни в чём не знал удержу, всегда и во всём переходил меру. Он писал в письме к одному из своих ближайших друзей, А. Н. Майкову (1867):

«...А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная. Везде-то и во всём я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил». Другой его друг, С. Яновский, вспоминал в письме к его жене А. Г. Достоевской после смерти писателя: «... в самом его характере было что-то утрирующее...»

С ним всегда бывало так, что чем глубже он сомневался в чём-либо, тем отчаяннее, надрывнее убеждал самого себя в том, что верит в это, верит со всеми вытекающими, пусть самыми невероятными, выводами и последствиями, вопреки всему, вопреки самой действительности! Это свойство субъективизма, доходящее до грани маниакальности, принадлежало к числу характерных особенностей всего облика Достоевского, накладывало отпечаток на всё его творчество. Щедрин особенно глубоко понял эту черту, охарактеризовав автора «Записок из подполья» как одного из искренних утопистов обуздания. Черта индивидуального характера — крайний субъективизм — оказывалась вместе с тем типичной для социального характера реакционного утописта, чьи воззрения идут вразрез с объективным ходом истории. Пытаясь оборониться от движения жизни вперёд, где ему чудились только разгул смердяковщины, только хищничество и насилие над человеком, только буржуазность, Достоевский превратился в утрированного защитника православия, самодержавия, «народности».

Позиция критики капитализма справа не влекла, однако, защиту и идеализацию в его произведениях дворянства как возможной опоры против буржуазности, призыв вернуться к крепостному праву и т. п. Если собрать воедино образы аристократии и дворянства всех мастей и калибров из его произведений, то получится уничтожающая характеристика мерзости гниения целого паразитического класса. В Достоевском мы чувствуем облик интеллигента-разночинца с инстинктивной ненавистью и презрением к барину и денежному мешку.

Всё это ещё острее подчёркивало поистине утопический характер социально-политической позиции писателя, презиравшего и барство и буржуазность и пытавшегося найти защиту и от того и от другого, так же как и от «пролетарства» и революции, в самодержавии, то есть в аппарате помещичьей диктатуры, приобретавшем и всё более буржуазный характер. Конечно, только отчаяние, безнадежность, соединённая с наивной верой в абсолютную, непроницаемую, как острожная стена, силу самодержавия; только вымученная, горевшая тусклым фанатическим огоньком вера в возможность трогательно-идиллического единения царя-батюшки с народом, в «надсословность», надклассовость самодержавия могли привести писателя к такому реакционному докличотству. Образ «Идиота», беспомощного и не могущего никому помочь князя Льва Николаевича Мышкина, чья позиция и взгляды особенно близки и дороги самому писателю, Достоевский считал родственным образу Дон-Кихота. В глубине души он догадывался об утопической сущности своей «программы»... Для её отстаивания ему приходилось закрывать глаза на слишком многое в реальной действительности, постоянно вновь и вновь успокаивать, заговаривать свою совесть.

Достоевский восторженно приветствовал крестьянскую реформу 1861 года, увидев в ней подтверждение своей веры в «народность», внесословность самодержавия и в его способность спасти Россию от капиталистического пути. Нужно, впрочем, не забывать

о том, что не только Достоевский, но и народники в гораздо более позднее время — в девяностых годах! — усматривали в крестьянской реформе залог некапиталистического развития России на том основании, что, дескать, реформа, узаконяя «наделение производителя средствами производства», давала санкцию «народному производству» в отличие от капиталистического. Между тем крестьянская реформа, по определению Ленина, представляла собой «один из эпизодов смены крепостнического (или феодального) способа производства буржуазным (капиталистическим)»¹. Ленин отмечал, что «это изменение было шагом по пути превращения феодальной монархии в буржуазную монархию»². И от этой, превращающейся в буржуазную, монархии Достоевский ждал защиты против буржуазии! Да, недаром его любимейший герой сближался в его сознании с «рыцарем печального образа»...

Вопреки присущей ему иронии, Достоевский оказывался способным к маниловским идиллиям, над которыми, видимо, сам горько смеялся. В своих статьях он развивал сладостные картинки единения всех сословий под сенью престола, — и буржуазии-то, мол, у нас «настоящей» нет, и «пролетарства» нет, и все отлично могут обняться друг с другом и благоденствовать. И в то же время его произведения полны ужаса перед всеильным ходом капитализации страны, а в своих письмах он трезво писал и о кулачестве в деревне, и об усилении буржуазии в городе, и о росте рабочего класса, с горечью признавая, что Россия идёт по тому же пути исторического развития, что и Запад. Кажется, ни один художник не терзался таким обилием самых разнообразных противоречий, как Достоевский! Защита дела реакции и вместе с тем отвращение к господствующим классам, составлявшим лагерь реакции! Все эти противоречия означали, разумеется, борьбу в творчестве великого художника живой жизни против лживых реакционных схем.

Известный своим мракобесием публицист К. Леонтьев, восхвалитель дворянства, сказал в одной из статей, что для него «Дневник писателя» неизмеримо дороже всех художественных произведений Достоевского. То было ценным признанием врага. В «Дневнике писателя» Достоевский пропагандировал свои реакционные взгляды, а в художественных произведениях он, «кроме того», создавал художественные образы. Но именно в художественных образах и раскрываются вся душа художника и его истинное мировоззрение со всеми реальными противоречиями, в то время, как в публицистике может выражаться порою и лишь та или другая сторона мировоззрения «подчищенная», приглаженная, искусственно изолированная от противоречий Н. А. Добролюбов отлично развил ту мысль, что мировоззрение художника нужно искать именно в его образах, и, в частности, блистательно применил эту мысль в своём разборе творчества Достоевского.

К концу своей жизни Достоевский был вхож в царский дворец, его ласкали великие князья, в том числе наследник престола, будущий царь-городовой Александр III. Он стал другом лидера дворянской реакции К. Победоносцева, обер-прокурора «Святейшего синода», выходя из разночинцев, превратившегося в злобного и коварного душителя всего живого и честного на Руси. Достоевский писал свой последний роман, «Братья Карамазовы», прислушиваясь к вкрадчиво-елейным советам этого обер-лакея царей. Победоносцев хвалился в письме к И. Аксакову тем, что Достоевский своего Зосиму задумал по его указаниям. Автор «Братьев Карамазовых» считал своей целью в романе как можно больше поразить богопротивный лагерь революции, «нигилизма». Но он создал в этом романе образ смертельного разложения помещичьего класса в лице мерзкого старичишки Фёдора Павловича Карамазова. А в образе Смердякова писатель навеки заклеил всяческое лакейство — порождение и отражение барства. Оба эти образа принадлежат к классическим достижениям мировой литературы.

Уже одно это делает вполне понятным предпочтение, которое оказывали господа вроде К. Леонтьева публицистике Достоевского перед его художественными произведениями. Таково отношение реакции к искусству; она боится искусства, потому что боится правды. Искусство по природе своей не желает служить реакции, ибо оно несовместимо с ложью. Борьба между правдой и ложью идёт во всём творчестве Достоевского.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 84.

² Там же, стр. 88.

Как обрадовался,—даже «увизжался от восторга», употребляя выражение Достоевского, тот же К. Леонтьев, когда неожиданно натолкнулся в романе «Подросток» на одно место, где сказано что-то сравнительно лестное для дворянства! И сказано-то это было одним из десятистепенных персонажей, к тому же не о настоящем и будущем, а о далёком прошлом, уже невозвратимом — по всему смыслу и контексту этого высказывания, — в романе, одной из тем которого является моральное падение дворянства, его капитуляция перед властью денежного мешка! Как нищий несъедобным крохам, так и К. Леонтьев обрадовался тому, что у Достоевского, вообще отрицательно изображающего дворянство, да ещё как раз в таком именно романе, где это отрицательное изображение особенно сильно, вдруг нашлось что-то и в пользу дворянства. Надо признать, что в этом месте статьи неглупый К. Леонтьев походил на чудака, блаженно улыбающегося показываемому ему кукишу... Впрочем, он деловито попытался тут же извлечь классовый барыш: если, мол, «даже» Достоевский увидел что-то положительное в дворянстве, то извольте ценить дворянство, оберегать и приумножать его привилегии! Мы остановились на этом эпизоде не только из-за его забавности, но и замечательной характерности.

Достоевский далеко не достаточно осуществил в своих произведениях заключённые в нём блистательные возможности художника-эпика, социального романиста, ставящего своей главной задачей объективное воспроизведение жизни общества, художественное исследование социальных процессов, социальных пружин, управляющих поведением людей. Полному осуществлению этих возможностей помешало устремление писателя к субъективистскому преломлению действительности в изолированно взятой душе одинокого человека, к тому же больной душе. Но в таком сугубо индивидуальном, субъективистски-психологическом преломлении художник ставит, однако, большие социальные темы — такие, как проблема буржуазного «сверхчеловека» — и аполлоновская тема в образе Раскольникова, ротшильдовская тема в «Подростке», тема буржуазного аморализма, дилемма: палач или жертва, возникающая перед колеблющимся, социально межеумочным героем Достоевского, и другие, не менее важные и значительные социальные проблемы.

Его герой «примеривает» к себе моральные законы и нормы нового общества, «пробует» стать настоящим человеком этого общества — и отшатывается от одолевающих его соблазнов в тем более глубоком ужасе и потрясении, чем глубже чувствует в себе самом внутреннее тяготение к «паучьему», жестокому, хищническому началу. Он бежит от ужасных обольщений в «потустороннюю» пустоту, прикрытую умилением, под сень церкви, готовый совсем отказаться, начисто отречься от собственной души, пугающей его тёмной бездной, — только чтобы избавиться от скверны! Но религиозные «защепки», по своей сути иллюзорные, мнимые, не могут спасти от паучьего кошмара, от мерзости тарантула, фаланги и даже каких-то особенных, как будто нарочито изготвленных, неслыханно отвратительных насекомых, вроде того гада, который появляется в уже явно психопатологическом кошмарном сне Ипполита из романа «Идиот». С образом мерзкого насекомого соединилось в сознании писателя всё то хищное, жестоко-эгоистическое, что порождала в душе человека действительность, враждебная всему человеческому.

Герой Достоевского живёт с чувством того, что он всегда не в своей среде. Он никак не умеет приспособиться к реальным силам действительности; тема социального одиночества является одной из главнейших в произведениях писателя. — Некуда пойти человеку! В этом трагическом вопле Мармеладова выражена вся тоска Достоевского, выражено главное в социально-психологическом самочувствии его межеумочного героя. В этих словах звучит и ещё более широкая тема творчества Достоевского, смысл которой заключается в том, что человек вообще живёт не в своей среде! Эту тему в первом периоде своего творческого пути он пытался решать социально; во втором же периоде склонился к перенесению её в мистическую, «потустороннюю» сферу, в которой, дескать, только и возможно для человеческой души найти свою «среду». Ибо, мол, только «там» и сможет проявиться божественная сущность этой души, на грешной же земле даже и сама «натура человека» противоположна «божскому» идеалу. Конечно, Достоевского и во втором периоде развития его творчества не могло успокоить такое метафизическое решение: слишком чув-

кой была его социальная совесть — б о л ь ш а я совесть, по характеристике Горького. Религиозное решение означало лишь попытку хоть хилой свечечкой осветить тяжело нависший мрак безвыходности и отчаяния. Но всё же в склонности к метафизическому решению социальных тем сказывались мистификация и субъективизм преломления действительности в произведениях Достоевского, вступавшие в непримиримое противоречие с реалистическим устремлением его творчества.

Борьба в душе его персонажей между влечением к соблазнам буржуазного хищничества и отвращением к этим соблазнам и ядам трактовалась в его произведениях как извечная борьба дьявола с богом за душу человека. Социально-психологическая раздвоенность героя рассматривалась как проявление всё той же метафизической борьбы; здесь, на земле, силы борющихся сторон оказываются равными, к несчастью и проклятию для человека, слепого и беззащитного игралища всемогущих страстей. Раздвоенность выступает, как неразрешимая в пределах «земного», ограниченного разума и чувства, извечная и, в сущности, неподвижная борьба «добра» и «зла» в человеке. Это и есть карамазовское «созерцание двух бездн разом», мучительное сочетание в одной и той же душе «идеала Мадонны» и «идеала Содомы», — «роковое», «непреодолимое» противоречие.

Борьба между добром и злом в душе человека потому так мучила Достоевского и его героев, занимала такое огромное место в его произведениях, что была неразрывно связана с коренной темой всего его творчества. То была тема распада старых, авторитарных социальных и моральных норм и скреп в переходную эпоху, страх перед буржуазным аморализмом и цинизмом, перед низменностью, звериным эгоизмом буржуазного человека. Кризисная эпоха ломки представлялась Достоевскому страшной эпохой утери всех моральных критериев, эпохой «свободы» для всего — для любых преступлений, для попирания всего святого. Именно в этом, и только в этом, — объективный смысл и значение всех проблем, связанных с образами Раскольникова, Дмитрия и Ивана Карамазовых и других персонажей Достоевского.

Вот эта-то реальная тема Достоевского и представала в его произведениях нередко как бы в зашифрованной, мистифицированной форме. Мистификация проявлялась, в частности, в том, что автор нередко путает социальные адреса. Насильственно, вопреки объективной социально-психологической природе образа, он приписывает ему черты и свойства, совершенно не вяжущиеся с ним, с нарочитой целью посрамления зловердных «нигилистов». Фактически изображая различных помещичьих и буржуазных моральных нигилистов, социальных отщепенцев, Достоевский стремился, однако, представить их «нигилистами» в том политическом смысле, какой был придан этому слову в связи с образом тургеневского Базарова. Путаница социальных адресов и проявлялась в том, что автор пытался «подсовывать» революционному лагерю такие идеи, действия и побуждения, которые по своей объективной сущности являлись глубоко реакционными, в корне враждебными революционной демократии и социализму. Циников и аморалистов, отщепенцев, продукты социального распада, подобные Ставрогину, — или людей, соблазнившихся буржуазным индивидуалистическим «своеволием», подобных Раскольникову, писатель хотел бы нарядить в такие одеяния, чтобы эти фигуры хотя бы отдалённо напоминали читателю атеистов, революционеров. Но фантастические одеяния слетают с этих персонажей, и они оказываются в своей подлинной социальной натуре.

В этой путанице социальных адресов сказалось и характерное для Достоевского реакционно-тенденциозное отождествление, слияние в одно целое, без разграничения, всего исторически нового, всего, что пришло на смену старому, оппозиция ко всему новому, как одинаково буржуазному. Абсолютная утопичность социально-политической позиции Достоевского лишь подчёркивается тем, что и в старом он видел очень мало хорошего. Он идеализировал «смирение» народа (в стране Разиных и Пугачёвых!), «смирение», в котором видел нравственную чистоту, опору против «гордыни» буржуазного индивидуализма, против разгула звериного эгоизма.

Огульное, сплошное отрицание капитализма «с порога», когда вместе со всеми бедствиями и ужасами буржуазного строя отвергалось и всё прогрессивное, что он нёс с собой на смену «старому порядку», настроения отчаяния, апелляция к религии,

беспомощное цепляние за идеализируемые остатки старых, пройденных, изжитых человечеством формаций, метания и колебания — всё это принадлежало, разумеется, не только к индивидуальным свойствам Достоевского, но и к настроениям более или менее широких социальных слоёв в кризисную, переходную эпоху, в том числе и тех межуточных слоёв, чьи образы Достоевский воплотил с особенной силой в страданиях семьи Мармеладовых — в своём наиболее замечательном произведении — романе «Преступление и наказание».

Ленин указывал:

«Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу» есть идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «переворотился», и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, как о в «укладывающийся» новый строй, как и е общественные силы и как именно его «укладывают», какие общественные силы способны принести избавление от неисчисли- мых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам «ломки»¹.

Достоевский отрезал от себя все возможности прорваться к догадке о том, как и е общественные силы способны избавить Мармеладовых от их особенно острых бедствий. В протесте Достоевского против капитализации страны было немало вредного, враждебного движению вперёд. Но вместе с тем в этом протесте было много жизненной правды, много сострадания и сочувствия к униженным и оскорблённым.

Рост капиталистических отношений в России происходил неизмеримо быстрее, чем в своё время на Западе. Ленин указывал, что «после 61-го года развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых странах Европы целые века»². Быстро развивались новые, страшившие явлений жизни воспринималась Достоевским катастрофически, как распространение неизвестной смертельной эпидемической болезни или обвал, наводнение, бесовское наваждение, дьявольский кошмар, от которого Россия должна «проснуться» во что бы то ни стало! Можно сказать без преувеличения, что Достоевский был болен капитализмом, видя в нём только ужас.

Некрасов, так восторженно, вместе с Белинским, приветствовавший никому не известного нелюдимого юношу, создавшего поэму в честь всех преодоленных — «Бедные люди», — великий поэт русской революционной демократии умел видеть в развитии капитализма не только зло и прокля т и е. Сквозь все старые и новые бедствия и страдания народа он прорывался и к догадке о том, что стоит за этими бедствиями, — persistence в а з а в т р а, в п е р ё д! Это особенно ясно прозвучало в стихотворении «Свобода», заканчивавшемся словами:

Знаю: на место сетей крепостных
Люди придумали много иных.
Так!.. но распутать их легче народу.
Муза! с надеждой приветствуй свободу!

Это небольшое стихотворение изумляет богатством содержания. В нём было и предостережение от идеализации новой исторической формы, от ложных «фантазий»; в нём звучала и уверенность в том, что народ распутает новые, капиталистические «сети» и грудью проложит дорогу к подлинной свободе. Стихотворение было проникнуто историческим оптимизмом пафосом движения вперёд, к новому, лучшему. Идеологическая и политическая позиция Достоевского обрекала его на глубокий социальный пессимизм. Логика этой позиции влекла за собою замалчивание или идеализацию тяжёлых пережитков крепостничества в тогдашней действительности, несмотря на отрицательное отношение Достоевского к помещицкому классу, к крепостному праву.

Социальная совесть заставляла его постоянно касаться таких язв действительности и страданий широких масс, которые другие писатели «охранительного» лагеря предпочитали замалчивать, обходить.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 31.

² Там же, стр. 95–96.

Достоевский звал к покорности, терпению, примирению, но никогда не мог примириться с существовавшей действительностью! Он имел действительное право, заработанное всем его трудом, высказать обобщающую формулу своего творчества:—Мне не нравится лик мира сего! Он поставил в своих образах немало больших, острых вопросов перед человечеством. Он ввёл в литературу целый неизученный мир — мир трушоб, тёмных углов большого города, мрачную жизнь их обитателей.

Тревога, составлявшая воздух его произведений; самое обилие в них человеческих мучений; постоянное острое недовольство его героев всем окружающим; вечные поиски и метания; множество персонажей, стоящих на грани безумия; ненормальность, болезненная искажённость всех человеческих отношений; беспредельность одиночества и тоски, беспомощность, безнадежность; ужас утраты критериев «доброе» и «злого»; потеря моральных авторитетов, распад моральных скреп; унижения и оскорбления на каждом шагу — всё это в творчестве Достоевского вопиет о колоссальном неустойчивости человека и человеческой жизни! Не очень-то вязалось всё это с «охранительными» задачами. И если Победоносцевы рассчитывали на то, что всеми этими ужасами Достоевский сможет запугать людей, утратить хаосом, заставить поверить в необходимость застыть, присмиреть перед единственным авторитетом господ бога и батюшки-царя, — К. Леонтьев считал необходимым «подморозить» Россию, — то самый расчёт реакции на столь обоюдоострое средство «укрепления порядка» свидетельствовал о её внутренней слабости, обречённости.

Горький в статье «О литературе» (1930), коснувшись вопроса о растущем влиянии Достоевского в Западной Европе, сказал: «Я предпочёл бы, чтобы «культурный мир» объединялся не Достоевским, а Пушкиным, ибо колоссальный и универсальный талант Пушкина — талант психически здоровый и оздоравливающий. Но не возражаю и против влияния ядовитого таланта Достоевского, будучи уверен, что он действует разрушительно на «душевное равновесие» европейского мещанина».

Творчество Достоевского не может внушить мещанину необходимое для последнего душевное «спокойствие», уверенность в прочности и благополучии.

Достоевскому присуще свойство, которое можно назвать едкостью, в едливостью в стремлении обнажить всякое низменное, эгоистическое душевное движение. Ему присуще презрение к филистерски-благодушному, пошлому, мещанскому желанию не касаться ничего такого, что могло бы, как говорят парикмахеры, «обеспокоить». Преуспевающему мещанству с его тупоумно-самодовольной «цельностью», чёрствостью, душевной грубошёрстностью не нужна ни здоровая, ни больная совесть. Для того чтобы совесть могла заболеть, она прежде всего должна быть! У преуспевающего мещанства вместо совести такое же ровное гладкое место, какое было вместо носа на физиономии гоголевского майора Ковалёва...

Но ненависть Достоевского к бездушной «цельности», грубости, которой он противопоставляет тонкость чувств, переплетается с недоверием ко всякой ясности, цельности человека. А это, разумеется, связано с любованием «сложностью», противоречивостью, раздробленностью.

Достоевскому представлялось, что муки раздвоенности оправдываются тем, что свидетельствуют о непрестанном голосе совести в душе. Но если идеализируется именно раздвоенность, то это означает идеализацию и всего того, что мешает торжеству совести, всего того, что приглушает, ослабляет её голос! Недаром Достоевский стремился к тому, чтобы даже такие совершенно расщеплённые, опустошённые персонажи, как Ставрогин, Версиков, проклинаемые писателем, были и обаятельны и отвратительны.

Идеализация раздвоенности в произведениях Достоевского была связана с тем, что он никак не мог представить возможность сочетания цельности, ясности, законченности, твёрдости характера с тонкостью чувств и совестливостью. Вот почему Достоевский приукрашивает ту самую раздробленность души, о которой Горький писал:

«Сложность — печальный и уродливый результат крайней раздробленности «души» бытовыми условиями мещанского общества, непрерывной, мелочной борьбой за выгодное и спокойное место в жизни. Именно «сложностью» объясняется тот факт, что

среди сотен миллионов мы видим так мало людей крупных, характеров резко определённых, людей, одержимых одной страстью, — великих людей».

Герой «Записок из подполья» высказывает своё выношенное «сорокалетнее» убеждение: «Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель, — существом по преимуществу ограниченным». Деятель для Достоевского отождествлялся с буржуазным дельцом, с людьми типа Лужина в «Преступлении и наказании», господина Быкова в «Бедных людях», князя Валковского в «Униженных и оскорблённых», с честолюбцами «наполеоновского» склада или же, наконец, с теми фантастическими «нигилистами» вроде Петра Верховенского в «Бесах», который сам о себе говорит, что он «никакой не социалист», а просто политический мошенник.

Определённость человека связывалась Достоевским с бездушностью, поэтому он и писал, характеризуя одного из своих любимых героев, Алёшу Карамазова: «Странно бы требовать в такое время, как наше, от людей ясности». В этих представлениях Достоевского сказывалось и присущее ему исключительно острое чувство своей эпохи, как эпохи ломки, кризиса, перехода к чему-то новому, неясному, хаотическому, тёмному, злему. Сама эпоха представлялась ему раздвоенной, и человек, казалось ему, неминуемо должен быть раздвоенным в такое время.

Л. Толстой писал Н. Страхову об ошибочности «ложного, фальшивого отношения к Достоевскому», о неправильности «преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророки и святого, — человека, умершего в самом горячем процессе борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь — борьба». Л. Толстой, разумеется, имел в виду раздвоенность между добром и злом, недостаточное их разграничение, соблазн и смакование зла, соединённые с отвращением, — свойства, характерные для атмосферы произведений Достоевского. Непротивление в политике, Л. Толстой был могучим противником в области морали!

Противоречия в творчестве Достоевского, с точки зрения эстетики и поэтики, выступают как противоречия между реализмом и антиреалистической тенденцией. Стремление к социальному решению всех тем, к социальному объяснению, и противоположное этому стремление к уходу от социальных решений и объяснений в метафизическую область, или в «подполье» одинокой и больной души, не могли не вести к борьбе реалистических и антиреалистических тенденций в произведениях писателя. Субъективистски-идеалистическая мистификация преломления действительности, в частности путаница социальных адресов, влекла за собою ослабление социальной типизации. Под влиянием реакционного субъективизма художник иногда не замечает несообразностей в самом замысле, в самой природе, внутренней логике образов.

Щедрин сказал о Достоевском: «...С одной стороны, у него являются лица, полные жизни и правды, с другой — какие-то загадочные и словно во сне мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева...»¹ О встречающемся у Достоевского насильственном навязывании персонажам мыслей, чувств и поступков, не оправданных их художественной природой, говорил и Горький, подчёркивая, что реакционные тенденции Достоевского влекли за собою «страшные натяжки, которых никому другому не простили бы...».

Достоевский — создатель глубоко реалистических картин людского горя, классических по своей художественной правде и неотразимой силе, мастер реалистической типизации, введший в литературу новые социальные типы, новый социальный пласт. Вспомним хотя бы образ, вдохновлённый нежной и страстной любовью к «последним людям» городских низов, — величавый трагический образ горя в лице Катерины Ивановны из «Преступления и наказания». Достоевский достигает здесь такой силы художественной изобразительности, пластичности, которая является вершиной мирового искусства. Мы слышим каждое слово Катерины Ивановны, каждый вздох, её чахоточный кашель, все особенности её интонаций, видим всю её фигуру, лицо, походку, каждый жест. Мы знаем её, как одного из самых близких нам людей. Образ Катерины

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Сочинения, т. VIII, стр. 436.

Ивановны заключает в себе испепеляющую силу протеста, боли и гнева! Он встаёт в ряд вечных образов мировой литературы. Столь же художественно закончен незабываемый образ Настасьи Филипповны в романе «Идиот», этот трагический образ надломленной красоты.

И такую своей художественной силой Достоевский не так уже редко пренебрегал во имя служения суете и лжи реакционной субъективистской тенденции! Жестоко часилуя свой гений, он оказывался способным создавать образы, разъедаемые ложью.

Гоголь сказал, что у него любой фальшивый образ вызывает такое же отвращение, как к трупу или скелету. Потому он и сжёг вторую часть «Мёртвых душ». Насилье над собою, как над художником, навязанное ему реакцией, явилось главной причиной психического расстройств Гоголя, приведшего его к самоубийству. По художественно-психической структуре своей личности Гоголь был совершенно неподатлив к каким бы то ни было компромиссам с искусством. И если он оказался способен к реакционной проповеди в своей публицистике, то был органически не способен пойти на фальшь против искусства, против образов. Недаром с такую силой ненависти он проклял в «Портрете» сделки с искусством, отождествив их с продажей души дьяволу. Реакция травила его за то, что он оказывался не способным превратиться в Кукольника — фамилия, наделённая символическим смыслом: реакция всегда стремилась превратить художников в кукольных мастеров, изготавливающих марионетки вместе живых образов.

Вымученный фанатизм реакционного проповедничества настолько ослеплял и оглушал порою Достоевского-художника, что, видимо, мешал ему чувствовать фальшь деревянных или ангельски-фарфоровых кукол, которых он иной раз выпускал из своей мастерской художника. Более того: он сознательно готов был в некоторых случаях стойти от требований художественности во имя реакционной тенденции. Приступая к «Бесам», он прямо заявлял, что его меньше всего интересует в этом романе художественность, он хочет только «идейно» высказаться, хотя бы в ущерб художественности. Он, конечно, был далёк от понимания смысла этого своего фактического признания несовместимости истинной художественности с защитой реакции!

И в самом деле, в числе персонажей романа «Бесы» есть просто марионетки, как Кириллов и Шатов, эти деревянные резные коньки с взвихренными полемически друг против друга сердитыми гривками цитат из прямо противоположных рассуждений господина Ставрогина. Эти персонажи были изготовлены по удивительно наивному для большого художника рассудочному рецепту. Раздвоенный Ставрогин разделён на две противоположные «идеологические» половинки, одну из которых представляет Шатов, а другую — Кириллов. Две фигуры возникли отвлечённым, ложно-идеологическим путём, имеющим очень мало общего с живой индивидуальной психологией.

Мировоззрение Гоголя, при всех своих противоречиях, было прочно связано с прогрессивным национальным подъёмом, движением родной страны вперёд. Демократические идеи гоголевского творчества отражали нарастание народного гнева. С этим сливался и пафос строгой, неподкупной художественности, высокого служения искусству. Пафос правды жизни, пафос народности, если это истинный пафос, всегда неразрывен с пафосом высокой художественности. Так было и есть у всех больших русских писателей — от Пушкина, Гоголя, Некрасова. Толстого до Горького, Маяковского, Шолохова, Фадеева.

Достоевский оказывался способным жертвовать художественностью — порой сознательно, а иногда и не отдавая себе в этом ясного отчёта. Это было всегда непосредственно связано с реакционно-тенденциозными отступлениями от пафоса правды жизни.

Могучая художественная сила Достоевского ослаблялась его субъективизмом.

Нельзя не согласиться с правильной самой по себе и энергически выраженной Достоевским мыслью о тенденциозности искусства:

«В поэзии нужна страсть, нужна в а ш а и д е я, и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличное же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное — ничего и не значит. Такая художественность нелепа:

простой, но чуть-чуть наблюдательный взгляд гораздо более заметит в действительности»¹.

Эти положения, вскрывающие всю бессмысленную ненужность объективистского списательства, нуждаются лишь в одной поправке: они верны только в применении к передовой, правдивой, жизненной идее и тенденции. Только тогда идея и образ являются единым целым.

Отличавшийся особенной, обнажённой впечатлительностью, лёгкой уязвимостью, противоречивостью мышления и чувствования, Достоевский по всему своему душевному складу оказывался особенно чувствительным к давлению действительности, к её атмосфере, к тем её влияниям, которые воспринимались им как преобладающие.

В сороковых годах он испытал сильное воздействие антикрепостнических, демократических идей, смешанных с концепциями утопического социализма, главным образом, Фурье. То было влиянием кружка Белинского, кружка Петрашевского, явившегося передовым центром революционного движения в России второй половины сороковых годов. В сороковых годах усиление эксплуатации крестьянства помещиками, обострение классовой борьбы в стране, рост крестьянского движения, назревшая необходимость отмены крепостного права, сказывавшаяся во всём, подъём общественного самосознания, революционной мысли — всё это увлекло молодого Достоевского. Он остро чувствовал общую обстановку, дышал её воздухом. Это отразилось в его произведениях.

Он не обладал ни устойчивой революционной страстью, ни цельной верой в силу революционного движения, ни последовательностью революционного, демократического мышления. Его демократизм был неопределённо-мечтательным, так же как его социализм. То была сфера чувств, а не глубоко продуманной мысли. Он колебался между атеизмом Белинского и своим устремлением к «христианскому социализму». Он любил бедных людей. Он мечтал об уничтожении крепостного права. Он хотел свободы для печати, для литературы. Вот в чём и была его реальная вина перед царским правительством.

В 1849 году он был приговорён к каторге.

Мечтатель, живший в мире своих образов, он испытал потрясение, которое навсегда осталось в его душе, отзывалось в его произведениях (особенно описание переживаний приговорённого к смертной казни в романе «Идиот»). 22 декабря правительство, действуя с садистской жестокостью и холодным расчётом, поставив задачей психически сломить революционеров, инсценировало на Семёновском плацу смертную казнь двадцати одного петрашевца. На осуждённых были накинута белая балахона. Петрашевскому и ещё двоим осуждённым завязали глаза, поставили к столбу для расстрела. Раздался бой барабанов. Достоевский, считая минуты, оставшиеся ему в жизни, попрощался с друзьями. И лишь в самый последний момент подсказал флигель-адъютант и объявил о замене смертного приговора каторгой и поселением.

Смертная казнь Достоевскому была заменена четырьмя годами каторги, а затем солдатчиной и ссылкой. Но смертная казнь состоялась: над мечтами молодости. То была не мгновенная, а медленная казнь, совершавшаяся во тьме каторги.

Насилие было настолько свирепым и неожиданным: ведь Достоевскому вменялось в вину, в сущности, лишь чтение вслух письма Белинского к Гоголю; тьма каторги, в которую был свергнут он, уже завоевавший большое литературное имя, лелеявший множество новых замыслов, была настолько беспросветной, что потрясение оказывалось сверхмерным. Сила самодержавия представилась непобедимой, вечной. «Сверху», если можно так выразиться — «с воли», — сюда, в яму каторжного острога, доносилось свирепое рычание реакции, тем более «победоносное», чем глубже была внутренняя обречённость николаевского режима, «фасадной империи» (А. И. Герцен). Достоевскому представилось, что наступившая новая эпоха покончила раз и навсегда с «беспочвенными утопическими мечтаниями».

Одним из наиболее мучительных впечатлений, постоянно угнетавших Достоевского на каторге, было чувство полной отъединённости, отрезанности маленькой группы ин-

¹ ЦГЛА. Фонд Ф. М. Достоевского. № 1/2, стр. 167.

теллигентов от массы каторжан, презрение и ненависть этой массы к барам. — Вы, дворяне, железные носы, народ заклевали! — в этих словах каторжников отражалось отношение народа к господам. В сознании Достоевского презрение народа к дворянам слилось воедино с отдалённостью от народа той горстки интеллигентов-разночинцев и выходцев из дворян, которая отстаивала в тогдашней тьме николаевской России освободительные идеи. Именно эта отдалённость от народа стала в глазах Достоевского наиболее убедительным доказательством нежизненности, утопичности «интеллигентских» надежд.

Народ предстал в его сознании как противник «барского» безбожия, «вольномыслия». Стремление сблизиться с народом предстало как необходимость отказаться от всех «ненародных», «горделивых» идей.

При том предельном унижении его личности, какими были николаевская каторга и солдатчина, Достоевский, с его огромным самолюбием, мог остаться жить, то есть сохранить уважение к себе, возможность смотреть в глаза самому себе, лишь при одном из двух условий: либо остаться при своём протесте, при прежних убеждениях, гордо сносить все унижения; либо как-то так оправдать перед самим собою своё унижение, чтобы оно представилось даже благодеянием, ниспосланным свыше. Он склонился ко второму пути.

Христианское смирение оказалось чрезвычайно эластичной формой облегчения от мук уязвлённой гордости, которые, не находя выхода и разрешения, способны ведь разорвать душу!

Достоевский великолепно раскрыл в своих произведениях психологию смирения па ч е г о р д о с т и. Он показал, сколько подавленного гнева, сколько глубоко загнанной внутрь, но непереносимой, вопреки всякому смирению, непримиримой обиды, гордости, сколько жажды мести клокочет под крышкой подобного смирения!

Но, так или иначе, подавленный протест есть всё же именно п о д а в л е н н ы й протест.

«Воздух» первой половины пятидесятых годов в стране и на Западе, где революция потерпела поражение, отождествился для Достоевского с воздухом каторги.

От революционного подъёма в стране во второй половине пятидесятых годов, после происшедшего, наконец, краха николаевского режима, Достоевский был оторван — и своим сибирским одиночеством и теперь уже своими новыми, складывавшимися у него взглядами.

Он вернулся в Петербург в разгаре революционной ситуации. Эта ситуация была неожиданной для него, уже утвердившегося в неколебимости самодержавия. На его произведениях конца пятидесятых — начала шестидесятых годов лежит отпечаток переходности, н е й т р а л ь н о с т и. В них уже нет протеста молодого Достоевского, но ещё и не выражены те реакционно-утопические идеи, которые, в переплетении с яростной критикой капитализма, со страстным сочувствием обездоленному большинству человечества, предстанут перед нами в последующих произведениях писателя.

Конец революционной ситуации, начавшийся период реакции, которой удалось отбить сильный революционный натиск, укрепил представление Достоевского о несокрушимой мощи самодержавия.

Так разные периоды развития современной писателю социально-политической действительности окрасили его творчество своей окраской.

Но всегда на протяжении пути Достоевского, сквозь искажения и ложь реакции, вопреки надуманным, фальшивым схемам, вопреки фанатическому ослеплению злобой и ненавистью к передовым общественным силам, в его произведениях звучит ничем не заглушимый вопль измученного человечества: т а к н е л ь з я, н е в о з м о ж н о ж и т ь! Достоевскому не удалось заглушить стихию протеста и бунта в художественной конкретности его образов. Слезинка замученного ребёнка, из-за которой писатель устами героя отказывается от «божественной гармонии», п е р е в е ш и в а е т в «Братьях Карамазовых» ханжеское оправдание страданий человечества!

Беспощадно-резво отсекая всю реакционную ложь, идеализацию страдания, идеализацию раздвоенности, всю достоевщину в Достоевском, мы чтим суровую правду о жизни человечества в насильническом обществе, с такою страстью и мукой

выраженную в противоречивых, бунтующих и смиряющихся, изумляющих своей художественной мощью и вместе с тем порой резко отступающих от художественности, взволнованных, ищущих, страдальческих творениях гениального русского и мирового художника.

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

«Преступление и наказание» — книга великой боли за человечество, одно из сильнейших произведений мировой литературы, раскрывающих бесчеловечность капиталистического общества. Объективным содержанием романа является полная невозможность найти какие-либо человеческие выходы, если оставаться на почве этого общества, в пределах его действительности и его сознания. В страшных картинах нищеты, надругательства над человеком, одиночества, невыносимой духоты жизни, кажется, дышит и прямо смотрит вам в лицо всё горе людское. Жить в таком обществе человеку невозможно! Вот главный вывод из романа, определяющий всё его настроение, все образы и положения.

В полном противоречии со всеми своими теориями о том, что преступления нельзя объяснять социальными причинами, автор, кажется, постарался собрать все социальные причины, толкающие людей на преступления в капиталистическом мире.

Безвыходность — лейтмотив романа. Перед нами на каждом шагу тупики, в которых погибают люди. Речь идёт в первую очередь не о каких-либо душевных тупиках, а о самых реальных, материальных, социальных тупиках, последствиями которых являются тупики душевные. Ни в одном произведении Достоевского, за исключением «Бедных людей» и «Подростка», не выдвинуты так прямо на первый план именно социальные обстоятельства.

Стоит приглядеться к этим страшным тупикам, изображаемым в романе, и мы убедимся, что в каждом из них человек оказывается так или иначе перед вопросом о преступлении, в том числе о моральном преступлении над самим собой.

Родион Раскольников «задавлен бедностью». Он вынужден оставить университет из-за отсутствия средств на оплату учения. Он «оборванец». Его матери и сестре грозит голод. Единственный реальный путь, ожидающий сестру Дунечку, Раскольников отождествляет с судьбой Сони Мармеладовой: это путь проституции, отличающийся только узаконенной формой брака. Семья Мармеладовых, чахоточная Катерина Ивановна, её дети живут только потому, что Соня торгует собой. Дунечка соглашается на ту же жертву, что и Соня, во имя свято любимого единственного брата: она даёт согласие выйти замуж за Лужина. Образ Лужина — классический образ буржуазного дельца, мерзавца, подло оклеветавшего беззащитную Соню, самовлюблённого пошляка, тиранящего и унижающего людей, карьериста, скряги и труса. Дунечка и её мать готовы закрыть глаза на всю мерзость Лужина, только чтобы их Родя мог окончить университет. Гордый, бесконечно любящий сестру и мать, Раскольников не способен принять от них такую жертву.

Он хорошо знает свою сестру: «...будь даже господин Лужин весь из одного чистейшего золота или из цельного бриллианта, и тогда не согласится стать законною наложницей господина Лужина! Почему же теперь соглашается? В чём же штука-то? В чём же разгадка-то? Дело ясное: для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти себя не продаст, а для другого вот и продаст! Для милого, для обожаемого человека продаст! Вот в чём вся наша штука-то и состоит: за брата, за мать продаст! Всё продаст! О, тут мы, при случае, и нравственное чувство наше придавим; свободу, спокойствие, даже совесть, всё, всё на толкучий рынок снесём. Пропадай жизнь! Только бы эти возлюбленные существа наши были счастливы! Мало того, свою собственную казуистику выдумаем, у иезуитов научимся и на время, пожалуй, и самих себя успокоим, убедим себя, что так надо, действительно надо для доброй цели... О милые и несправедливые сердца! Да чего: тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй, не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит! Жертву-то, жертву-то обе вы измерили ли вполне?.. Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? «Любви тут не может быть»,—

пишет мамаша. А что если, кроме любви-то, и уважения не может быть, а, напротив, уже есть отвращение, презрение, омерзение, что же тогда?»

«Вот в чём вся наша штука-то и состоит». Здесь глубоко раскрыты причины, толкающие в капиталистическом обществе даже и такие прекрасные, гордые, романтические существа, как Дунечка Раскольниковка, на страшные моральные компромиссы. Как и Соня Мармеладова, Дуня никогда бы не продала себя ни за какие блага в мире, предпочла бы просто умереть, покончить самоубийством. Но, как прекрасно сказал Д. И. Писарев в статье «Борьба за жизнь», посвящённой «Преступлению и наказанию», даже и самоубийство является недоступной роскошью для бедняка: «...Может быть, Софья Семёновна также сумела бы броситься в Неву; но, бросаясь в Неву, она не могла бы выложить на стол перед Катериной Ивановной тридцать целковых, в которых заключается весь смысл и всё оправдание её безнравственного поступка.

Бывают в жизни такие положения, которые убеждают беспристрастного наблюдателя в том, что самоубийство есть роскошь, доступная и позволительная только обеспеченным людям. Очувтившись в таком положении, человек научается понимать выразительную поговорку: куда ни кинь, всё клин».

Положения безвыходности, тупика, когда даже исход самоубийства невозможен для бедного человека, и толкают людей на моральные преступления против самих себя, ставят перед ними вопрос: нарушить нравственность — преступно; не нарушить — тоже преступно по отношению к близким. Не пойдя Соня Мармеладова на такое страшное нарушение нравственности, на которое она пошла, — и дети умерли бы с голоду. В тупике и Дунечка Раскольниковка.

«Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!» Какая сила тоски за человечество в этом раздумье! Вечная Сонечка Мармеладова, пока мир стоит, — вечная жертва, вечный легион отверженных, презрительно отброшенных в грязь, вечное поругание человечности!

Раскольников терзается сознанием полной безвыходности: «Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать! Не принимаю!»

Он вдруг очнулся и остановился.

«Не бывать? А что же ты сделаешь, чтоб этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты им можешь обещать в свою очередь, чтобы право такое иметь? всю судьбу свою, всю будущность им посвятить, когда кончишь курс и место достанешь? Слышали мы это, да ведь это буквы, а теперь? Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать, понимаешь ты это? А ты что теперь делаешь? Обираешь их же... чем ты их убережёшь, миллионер будущий, Зевес, их судьбою располагающий? Через десять-то лет? Да в десять-то лет мать успеет ослепнуть от косянок, а пожалуй что и от слёз; от поста исчахнет; а сестра? Ну, придумай-ка, что может быть с сестрой через десять лет, али в эти десять лет? Догадался?»

Так мучил он себя и поддразнивал этими вопросами даже с каким-то наслаждением. Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые, наболевшие, давнишние. Давно уже, как они начали его терзать, и истерзали ему сердце. Давным-давно, как зародилась в нём вся эта теперешняя тоска, нарастала, накапливалась и в последнее время созрела и коцентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения. Теперь же письмо матери вдруг как громом в него ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно, одними рассуждениями о том, что вопросы неразрешимы, а непременно что-нибудь сделать, и сейчас же, и поскорее. Во что бы то ни стало надо решиться, хоть на что-нибудь, или...

— Или отказаться от жизни совсем! — вскричал он вдруг в исступлении, — послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе всё, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!»

«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?» — вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова. — «Ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти...»

Поистине, в этих словах Мармеладова выражен весь пафос произведения.— Ч е л о в е к у н е к у д а и т т и! В этом вся суть романа Достоевского. В мировой литературе нет другого произведения, которое с такой силой выразило бы одиночество человека в волчьем мире.

Некуда итти Мармеладову, Катерине Ивановне, Соне, Дуне. Некуда итти Родиону Раскольникову. Вопрос поставлен перед ним действительностью очень прямо. Нужно отказаться от жизни, от права любить сестру и мать, нужно принять от сестры её жертву, задушить в себе все человеческие чувства, принять милостивые благодеяния г. Лужина, стать его приближённым лицом, делать под его покровительством адвокатскую карьеру, иными словами, убить в себе самого человека точно так же, как убьёт в себе человека его сестра, продавшись г. Лужину. Оба они должны продаться г. Лужину. Образ г. Лужина возникает в широком, обобщённом значении буржуазного «делового мира», покупающего людей за гроши и раздробляющего при покупке толстыми пальцами человечность, как нечто ненужное, мешающее деловому человеку.

Пойти на продажу себя и сестры означало бы для Родиона Раскольникова пойти на моральное самоубийство и моральное убийство.

Так сказала характернейшая особенность всего мышления, всего творчества, всего душевного склада Достоевского: мучительское и мученическое стремление к предельному, до дна, обнажению тупиков, — с мстительным злорадством горечи и наслаждения именно от сознания полной, с о в е р ш е н н о замкнутой безвыходности.

«Так мучил он себя и поддразнивал этими вопросами даже с каким-то наслаждением...»

Присущее Достоевскому мстительное наслаждение сознанием безвыходности здесь, в «Преступлении и наказании», обращено против законов общества, поставившего героев романа перед «выбором» таких путей, которые по-разному ведут к у б и й с т в у ч е л о в е ч н о с т и. Бесчеловечное общество предъявляет к человеку требование о т к а з а от ч е л о в е ч н о с т и — вот истина, открывшаяся Раскольникову. «Преступление и наказание» раскрывает положение человека, вынужденного выбирать между разными видами бесчеловечности. Это и выражено в словах Раскольникова, обращённых к Дуне: «и дойдёшь до такой черты, что не перешагнёшь её — несчастна будешь, а перешагнёшь, — может, ещё несчастнее будешь...» Не перешагнуть черту, то есть примириться с тем, на что обрекла тебя жизнь, означает быть несчастным. А перешагнуть, то есть попытаться посредством тех способов, которые применяются удачливыми господами, сильными мира сего, изменить свою рабскую жизнь, — означает для тех, кто не способен совсем отказаться от человечности, неизмеримо большее несчастье.

Перед читателем развёртываются, сгущая общую атмосферу до удушья, всё новые и новые картины социальных тупиков, беспредельного одиночества человека. В сущности, весь ход, всё движение романа заключается в смене картин различных тупиков, разнообразных форм безвыходности. Сцена знакомства Раскольникова с Мармеладовым даёт тон всему роману, и фраза Мармеладова о том, что ч е л о в е к у н е к у д а п о й т и, сразу поднимает и всю эту сцену в трактире, и фигуру маленького Мармеладова, и всю тему романа на высоту трагической думы о судьбе человечества. Мы сразу чувствуем себя в патетически-трагической атмосфере страдания миллионов людей. И простые слова говорит Мармеладов, совсем простые слова, нет в них никаких ужасов «созерцания двух бездн» и всего подобного. «Теперь же обращаюсь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным», — говорит Мармеладов в своём несколько торжественно-вигеватом, отчасти канцелярском стиле и в своём, так сказать, беспредметно-язвительном, неопределённо-обвинительном тоне, ибо он никого ни в чём не обвиняет, разве только самого себя, а может быть, и жизнь, в которой, конечно, никто не виноват:—«много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши! Да и то статский советник Клопшток, Иван Иванович,— изволили слышать? — не только денег за шитьё полдюжины голландских рубах до сих пор не отдал, но даже с обидой прогнал её, затопав ногами и обозвав неприлично, под видом, будто бы рубашечный ворот шит не по мерке и косяком. А тут ребяташки голодные... А тут Катерина Ивановна, руки ломая,

по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают,— что в болезни этой и всегда бывает. «Живёшь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьёшь, и теплом пользуешься, а что тут пьёшь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видят!»

Предоставить слово отцу для того, чтобы отец рассказал всему человечеству, как и почему его дочь не могла не стать проституткой,— для этого нужно было именно горькое и мстительное, всегда устремлённое к предельному, окончательному обнажению безвыходности, проникнутое болью за человека дарование Достоевского. Такой степени обнажения горя, страдания, стыда и ужаса жизни человечества редко достигала мировая литература. Только художник, глубоко чувствующий горе обездоленных низов, мог создать такие образы и картины.

Каждое слово Мармеладова не может не найти глубокого отклика в душе Родиона Раскольникова. Ведь и он мог бы спросить, думая о судьбе Дунечки: «много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?» И если у Сони обидчики, подобные статскому советнику Клопштоку, то у Дуни обидчики, подобные Свидригайлову.

Развёртывается картина тупика семьи Мармеладовых, возникает действительно грандиозный образ униженных и оскорблённых в лице Катерины Ивановны. Идут и идут новые и новые картины унижения и оскорбления человека, и каждая не может не отдаваться болью в самой глубине души Раскольникова. Вот на бульваре, днём, он встречает девочку лет шестнадцати-пятнадцати, совсем пьяную: «кто её знает из каких, а не похоже, чтоб по ремеслу. Вернее же всего, где-нибудь напоили и обманули... в первый раз... понимаете? да так и пустили на улицу...» А около неё вьётся жирный франт.

«— Эй вы, Свидригайлов! Вам чего тут надо?» — крикнул Раскольников, «сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от злобы губами».

Он смеялся только губами, глаза его не могли смеяться, — то был смех от бешенства злобы. Он назвал франта Свидригайловым. Так же Свидригайлов кружил над жизнью Дунечки. Так и эта случайная встреча Раскольникова оказывается наполненной и глубоким обобщающим, и особенно больным для него личным значением: это его, Родиона Раскольникова, сёстры распяты на бульварных скамейках, в угрюмых переулках у входов в пивные и весёлые заведения, это его сестёр так обижают всевозможные Свидригайловы,— всюду его сёстры, его любимые, Дунечки, Сонечки,— вечная Сонечка Мармеладова, пока мир стоит! Художник стремится во всех воспроизводимых им ужасных картинах жизни к широкому обобщению. Раскольников раздумывает о своей встрече на бульваре:

«...Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год... куда-то... к чёрту, должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, ну, тогда... было бы, может быть, спокойнее... А что коль и Дунечка как-нибудь в процент попадёт!.. Не в тот, так в другой?»

Буржуазная объективистская наука в лучшем случае ограничивается констатацией фактов. Равнодушие этой науки к человечеству ужасало Достоевского. Апологеты капитализма, рассматривающие его как «вечный» общественный строй, стараются лишь преуменьшить процент обездоленных, отброшенных людей, но необходимость, а то и особая мудрость процента не вызывает у них сомнений. Раскольникова страшат тупики, он хочет вырваться из них, а буржуазная наука своими процентами утверждает тупики. И опять мысль о Дунечке одновременно возникает, как мысль обо всех сёстрах.

Обыкновенный ужас повседневной жизни большого города, будничные, примелькавшиеся кошмары этой жизни наполняют весь роман. Вот раздавлен копытами Мармеладов. Вот какая-то женщина бросилась с моста в темневшую воду канавы, в которую собирался было броситься Раскольников. Вот Катерина Ивановна, после того как Лужин оклеветал Соню, мечется по квартирам высокопоставленных лиц в поисках защиты, и важный генерал, которому она помешала обедать, затопав на неё ногами, прогоняет её прочь. Вот она же, обезумевшая от оскорблений, устраивает нечто вроде демонстрации нищеты на улицах столицы, заставляя детей петь и плясать на потеху

толпы. И так же, как в других произведениях Достоевского, возникает образ города-гиганта, фантастически прекрасного и вместе с тем фантастически чуждого и враждебного обездоленным людям.

Образ приснившейся Раскольникову замученной, надорвавшейся от непосильного груза клячи, которую, насмехаясь, секут по глазам, по самым глазам, и забивают до смерти,— один из обобщающих лирических и трагических образов романа. В этом страдальческом сне, достоевская надрывность которого была оправдана невыносимой правдой жизни, как бы сосредоточены судьбы всех измученных людей, чьи образы возникают перед читателем со страниц «Преступления и наказания». Слова, с которыми умирает Катерина Ивановна: «...Уездили клячу!.. Надорвала-а-сь!» — крикнула она отчаянно и ненавидя и грохнулась головой на подушку», — перекликаются через сотни страниц с образом сна Раскольникова.

«Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и приподнялся в ужасе

— Слава богу, это только сон! — сказал он... глубоко переводя дыхание. — Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается: такой безобразный сон!»

Таковы были безобразные сны самой действительности.

Вот ещё тунки, возникающие перед читателем.

Раскольников ставит перед Соней вопрос, представляющийся ему неотразимым: «Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне? То как бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спрашиваю?»

Лужин — смертельный враг Катерины Ивановны. Именно он и является в её жизни тем Миколкой из сна Раскольникова, который добил, доконал клячу. Жизнь Лужина означает смерть Катерины Ивановны. Точно так же жизнь старухи-ростовщицы означает смерть для множества людей. Как же быть? В пределах сознания Раскольникова вопрос представляется неразрешимым.

Лужин обвинил Сою Мармеладову перед всеми в воровстве и собирался вызвать полицию, если Соня «не сознается». Только случайное обстоятельство: Лебезятников заметил, как Лужин подбросил Соне сторулёвую бумажку, — спасло её. — Ну, а если бы не было этого совершенно случайного обстоятельства? — спрашивает Раскольников Сню. Тогда её обязательно отправили бы в острог. Кто же не поверит такому солидному господину, как Лужин, и кто же поверит ей? Но если бы Сою отправили в острог, то голодная смерть Катерины Ивановны и детей была неизбежной. А малолетнюю Полечку, если бы она не умерла с голоду, ожидала только сонина участь.

Автор показывает чистейшую случайность спасения от гибели детей Мармеладовых. То обстоятельство, что они оказались спасёнными только благодаря Свидригайлову, покончившему самоубийством и распорядившемуся в завещании в пользу семьи Мармеладовых, особенно остро подчёркивает случайность спасения.

Вся эта широкая, написанная могучей, суровой кистью картина действительности и показывает ту реальную почву, которая взращивает преступления, подобные преступлению Раскольникова. «Идеи», руководившие героем романа, действительно «носятся в воздухе» буржуазного общества. Автор подчёркивает характерность подобного рода «идей» и настроений для самого «воздуха» времени. Порфирий называет поступок Раскольникова «фантастическим», но вместе с тем возможность таких «поступков», настроений и «идей», лежащих в их основе, объясняет довольно реалистически: «Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое, когда цитруется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедует в комфорте».

На почве буржуазного общества, буржуазного сознания и возникают «идеи», подобные раскольниковской: убить, потому что «владыки», «Наполеоны», те, кого в этом обществе уважают и ставят в пример, богачи, удачники, успешники, счастливы (господа Голядкины-младшие!) не останавливаются ни перед чем во имя успеха! Если, мол, такова и стина вашего общества, то почему бы и мне, такому-то, не «попробовать» вступить в число тех, у кого рука не дрогнет ни перед каким чёрным делом, когда речь идёт об утверждении их Я, их права господствовать, властвовать?! Или: убить одну несчастную, злую, мерзкую старушонку, паука, сосущего соки из людей,— для того, чтобы на её деньги устроить счастье тысячам гибнущих людей. Оба эти варианта моти-

виновки преступления Раскольникова являются в одинаковой степени разновидностями индивидуалистической буржуазно-анархической логики.

Первый вариант, преобладающий в романе при объяснении мотивов преступления Раскольникова, совершенно совпадает с «идеей» буржуазного сверхчеловека, которому «всё позволено!», — он не знает никакой морали, стоит по ту сторону добра и зла, являясь истинным господином, призванным к господству. Вкладывая эти наполеоновские идеи, — в романе они связываются с образом Наполеона, — в сознание Раскольникова и проклятая их всей силой своего ужаса и отвращения перед разгулом буржуазного индивидуализма и аморализма, осуждая их всей эмоциональной логикой своего романа, Достоевский обнаруживал замечательную прозорливость. Он предугадал, как бы заранее заклеил проклятием наиболее отвратительные формы сверхиндивидуализма, проявившиеся в последовавшем ниществе.

Второй вариант — убийство одной ничтожной, злобной твари во имя жизни тысячи достойных существования людей — представляет собою характерную форму буржуазно-анархического протеста против буржуазного общества, протеста гнилого, столь же аморального и преступного, как и первый вариант. Мотивы, которые приводят людей в буржуазном обществе к подобным «вариантам», различны. Второй «вариант» нередко может быть связан с чувствами горечи, обиды, унижения, оскорбления, ненависти, попранного достоинства, отчаяния, невыносимости жизни. Но во всех случаях, при всех мотивах оба указанных пути «спасения» от гнёта действительности — и подавление всех во имя своего владычества, и анархическое отчаяние, анархо-индивидуалистический протест — одинаково остаются на почве буржуазного общества, в пределах буржуазного сознания. Буржуазно-анархический протест во всех его формах всегда приносит только вред униженным и оскорбленным. Очень значительным представляется то, что Раскольников совершает и второе, неожиданное, «попутное» преступление; убийство кроткой Елизаветы. Если убитая ростовщица была одним из палачей, то Елизавета была жертвой, одною из обездоленных. Какими бы субъективными мотивами ни руководствовался писатель, вводя в роман это второе убийство, он объективно отразил и тут большую жизненную правду. Да, анархический индивидуалистический «бунт» несёт лишь несчастья обездоленным людям!

Такова объективная правда, нашедшая выражение в наиболее глубоком и реалистическом произведении Достоевского. Автор дал читателю замечательно правдивую картину страданий человечества под гнётом насильнического общества и показал, какие уродливые, антигуманистические идеи и настроения порождаются на почве этого общества.

В мотивах, приведших Раскольникова к его преступлению, переплелись и «наполеоновская» тема и тема люмпенского «бунта» отчаяния. Автор в ходе работы над романом испытывал сильнейшие колебания между этими двумя вариантами, двумя мотивировками преступления. Само собой разумеется, эта дилемма, выбор между двумя вариантами, возникала перед художником в иных терминах, в ином субъективном понимании, чем наша терминология и наше понимание объективного социального смысла всего того, что изображено в романе. В сознании Достоевского дилемма была такая: совершил ли Раскольников преступление для того, чтобы «стать Наполеоном», «пауком, сосущим кровь из человечества», или же Раскольников совершил преступление для того, чтобы стать филантропом, «благодетелем человечества». Писатель остро чувствовал необходимость отдать окончательное предпочтение тому, или другому варианту; в конечном итоге он склонился к наполеоновскому варианту, но всё же в романе сохранилось многое и от второго варианта. Соне Раскольников излагает первый вариант, Дуне — второй.

«Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил... Это их закон... закон. Соня! Это так!.. И я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет! Только слепой не разглядит!»

Важнейшим пунктом всей «теории» Раскольникова и являлась мысль о том, что «все люди... разделяются на «обыкновенных» и «необыкновенных» Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права преступать закон, потому что они, видите ли,

обыкновенные. А необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески преступать закон, собственно, потому, что они «необыкновенные». Так излагает Порфирий идею Раскольникова. Последний подтверждает, что Порфирий изложил эту «идею», выраженную Раскольниковым в его статье; «совершенно верно», и уточняет свою «главную мысль». «Она именно состоит в том,— говорит герой романа,— что люди по закону природы разделяются в о б щ е на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей...» Всё это совершенно совпадает с последующими ницшеанскими идеями «сверхчеловека».

Второй вариант,— буржуазно-анархический, люмпенский протест против законов буржуазного общества,— вариант, который, если придерживаться представлений Достоевского, можно было бы назвать: «благодетель человечества», — находит концентрированное выражение в разговоре Раскольникова с сестрой.

«— Брат, брат, что ты это говоришь! Но ведь ты кровь пролил! — в отчаянии вскричала Дуня.

— Которую все проливают,— подхватил он чуть не в иступлении,— которая льётся и всегда лилась на свете, как водопад, которую льют, как шампанское, и за которую венчают в Капитолии и называют потом благодетелем человечества. Да ты взгляни только пристальнее и разгляди! Я сам хотел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых дел... я хотел только поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, и там всё бы загладилося неизмеримо, сравнительно, пользой... Ну, я решительно не понимаю: почему лупить в людей бомбами, правильно осадой, более почтенная форма?..»

На поле он представлялся Достоевскому одновременно и воплощением буржуазно-индивидуалистического «всё позволено!», и — в характерном «патриархально-мещанском восприятии,— символом «безбожия» и «бунта» против вековых устоев. В сознании Раскольникова желание «сделаться Наполеоном» причудливо переплелось с протестом против законов такого общества, в котором по приказу «Наполеонов» стирают с лица земли города, лупят в людей бомбами, мучают детей..

Достоевский ощущал это переплетение двух вариантов в образе героя своего романа как противоречие, неправильность, может быть, фальшь, которую он хотел устранить.

Однако в переплетении «наполеоновских» и «антинаполеоновских» настроений в бунте Раскольникова, при всей противоречивости такого сочетания, была отражена писателем и социальная правда. Ведь и «наполеонство» и буржуазно-анархический протест Раскольникова являются лишь различными видами индивидуалистического своеволия. Это своеволие всегда страшило Достоевского. Объективно он отразил в своём романе ту истину, что буржуазное общество порождает и буржуазные же формы протеста против него, возникающие на почве безвыходности. Иных, настоящих форм социального протеста, революционной борьбы Достоевский не хотел видеть и признавать.

В чём заключается смысл, внутренний пафос сюжета «Преступления и наказания»?

Раскольников производит чудовищный «эксперимент», который должен решить: кто такой он сам? Может ли он «преступить принцип»? Является ли он необыкновенным, избранным, способным без каких бы то ни было укоров совести совершать всё, что требуется для владычества, для успеха в том обществе, в котором он живёт, в том числе и любые преступления? Сделан ли он из того материала, из которого делаются настоящие владыки, истинные господа этого мира? Убийство ростовщицы и должно было дать ему ответ на этот вопрос.

Автор связывал «идею» Раскольникова со своими представлениями о буржуазии, о природе и «вождях» буржуазного общества. Придя после преступления к выводу, что он сделан не из того материала, Раскольников говорит о настоящих властелинах:

«Нет, те люди не так сделаны: настоящий властелин, кому всё разрешается... ставит где-нибудь поперёк улицы хор-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удастая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь, и — не желай, потому, — не твоё это дело!»

В черновиках есть запись о Раскольникове: «В его образе выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Его идея: взять во власть это общество (зачёркнуто: чтоб делать ему добро). Деспотизм — его черта». «Он хочет властвовать и не знает никаких средств. Поскорее взять власть и разбогатеть. Идея убийства и пришла ему готовая».

В черновых записях имеется и такое высказывание героя: «Чем бы я ни был, что бы я потом ни сделал, — был ли бы я благодетелем человечества или сосал бы из него, как паук, живые соки, — мне нет дела. Я знаю, что хочу властвовать, и доволен».

Эта запись очень интересна в том отношении, что она подчёркивает одинаково индивидуалистическое своеволие в обоих вариантах: и в варианте «паука, сосущего кровь из человечества», и в варианте «благодетеля человечества». Дескать, хочу — «соки сосу», хочу — благодетельствую! Важно, что это Я хочу, что это — моё желание, моё своеволие!

Итак, реальная тема романа — что такое законы буржуазного общества и чего они требуют от человека — определяет и содержание раскольниковского «эксперимента»: гожусь ли я, Родион Раскольников, в «господа» буржуазного мира, которые «миллионами людей изводят»? Ход сюжета и заключается в развёртывании этого страшного эксперимента.

Ницшевский Заратустра говорит: «Человек — это то, что надо преодолеть!» Объективный смысл, внутренний пафос сюжета «Преступления и наказания» можно выразить в следующих словах: нет, не преодолевается человек! Не потому Раскольников не смог стать настоящим властелином, что оказался по-голядкински слишком слаб Раскольников, по Достоевскому, силен. Автор подчёркивает, что и Родион Раскольников и сестра его, с которой у него так много общего во всём складе характера, принадлежат к породе людей, которые, раз избрав какую-либо идею, будут до конца служить ей, примут все муки за неё. Раскольников потому донёс сам на себя, что — хотя и не разумом, но всей своей натурой — разуверился в своей бесчеловечной «идее». Достоевский писал Каткову, что Раскольников «принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединённости с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его».

В горьковской сказке старухи Изергиль о Ларре, сыне орла, рассказывается, что после того, как Ларра убил девушку, не полюбившую его, жители селения «долго говорили с ним и, наконец, увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери... ни жены, и он не хотел ничего этого».

У Раскольникова после его преступления тоже ничего этого не остаётся. Он уходит от всего человеческого. Сознание этого ухода пронизывает его, как чувство смерти. Он словно «ножницами отрезал себя от всего и всех». Когда Разумихин понял, что пережил Раскольников, прощаясь с матерью и сестрой, ему стало страшно за него. «Понимаешь теперь? — сказал вдруг Раскольников с болезненно искривившимся лицом». Больше всего на свете любил он мать и сестру, — и вот, с отвращением и к ним и к себе, почувствовал, что начинает ненавидеть их, «физически ненавидеть». Он с ужасом наблюдает за тем, как для него утрачивается самое право на человеческие чувства, самая возможность человеческих чувств. Ему отвратительно происходящее в нём запустение души, мерзко развивающееся в нём человеконенавистничество.

В образе хищника Ларры, навеянном народным творчеством, молодой Горький развенчивал отщепенца, которого пытались поэтизировать реакционные идеологи буржуазного индивидуализма. Шпенглер воспевал примитивного человека, одиноко ютящегося, подобно коршуну, лишённого какого бы то ни было чувства общности и человечности.

«Я принцип убил!» — говорит Раскольников. Он хотел убить принцип гуманизма. Волчьих законы и нравы буржуазного общества отрицают, убивают гуманизм — такова истина, раскрывающаяся в образах Достоевского.

Писарев сказал, что в намерении Раскольникова отказаться от убийства «...выразилось... последнее содрогание человека перед поступком, совершенно противным его природе».

Можно расширить эту мысль и сказать, что в «Преступлении и наказании» выразилось содрогание перед законами жизни, совершенно противными человеку и человечности.

Некоторые буржуазные литераторы, пытавшиеся представить Достоевского сторонником антигуманистических индивидуалистических идей, проповедовавших впоследствии Ницше, Шпенглером и прочими идеологами социальной дегенерации, утверждали, что в романе «Преступление и наказание» есть преступление, но нет наказания. Достоевский в своём романе, мол, не осудил «сверхчеловеческую», наполеоновскую «идею» Раскольникова. Раскольников, по мнению этих литераторов, раскаивается не в том, что «идея» его была неправильна и бесчеловечна, а только в том, что он сам, Родион Раскольников, оказался слепленным не из того теста, из которого выпекаются истинные «сверхчеловеки», «коршуны», летающие по ту сторону добра и зла. Раскольников, по утверждениям идеологов декаданса, раскаивается только в том, что он оказался слаб. Эта мысль развивается, например, в книге «Достоевский и Ницше» декадента Л. Шестова, которого Л. Толстой назвал «модным парикмахером». Мысль эта любопытна как свидетельство того, что буржуазным апологетам даже и в голову не приходит пытаться натягивать какую-то «связь» Раскольникова с революционным лагерем. Л. Шестов всю свою пухлую книгу посвятил защите двух утверждений: первое — Раскольников является сторонником таких идей, которые затем разовьёт Ницше; второе — Достоевский сочувствует этим «идеям» Раскольникова. Вот почему, мол, в романе и нет наказания, нет морального осуждения «идеи» Раскольникова, а есть только осуждение «слабости» самого Раскольникова, его непригодности к роли «владыки».

Если против первого утверждения Л. Шестова спорить не приходится, то второе представляет собой декадентское измышление. «Преступление и наказание» всё целиком, от первой до последней строки, объективно и субъективно карает буржуазный эгоизм и эгоцентризм.

Да, Раскольников действительно до самого конца романа не может понять логически неправильность своей «идеи», она продолжает казаться ему арифметически точной. И всё-таки всей своей натурой он уже не верит более в свою «идею». Наказание дано в каждом положении, в каждом переживании героя после его преступления. Весь ход сюжета, который внешне выглядит только как борьба двух сильных логических умов — Раскольникова и Порфирия, борьба преступника со следствием, — служит выражению невыносимых мук Раскольникова, мук отщепенства, пытки разъединённости с человечеством, терзаний разрыва с человечностью. Раскрыта вся невыносимость для человеческого сознания разрыва с гуманизмом, ужас и пустота индивидуализма, означающего агонию и смерть человеческой души. Последовательно, шаг за шагом, раскрывает художник постепенное нарастание в душе героя всего ужаса разрыва с человечеством.

Раскольников жадно цепляется за любую соломинку надежды на то, что можно жить, чувствуя себя человеком, после совершённого им преступления. После смерти Мармеладова он вдруг, как ему показалось, почувствовал эту возможность! Он взял на себя заботу о семье, о детях, он ощутил было связь с человечностью.

Но Раскольников действительно слишком поспешил с заключением о том, что у него ещё остаётся возможность человеческой жизни! Вернувшись домой, он застаёт у себя в комнате мать и сестру, приехавших в Петербург.

«Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Они бросились к нему. Но он стоял как мёртвый; невыносимое внезапное сознание ударило в него как громом. Да и руки его не поднимались обнять их: не могли. Мать и сестра сжимали его в объятиях, целовали его, смеялись, плакали... Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол в обмороке».

Действительность сразу же показала ему всю иллюзорность вспыхнувшей было надежды на то, что можно жить с преступлением... Сознание полной невозмож-

ности человеческой жизни, полной утраты человеческих связей сразило его. Далее развернётся невыносимая пытка разговора с матерью и сестрой, в котором каждое произнесённое слово — удар, рана, боль. Вся жизнь Раскольников превращается в непрерывную пытку. Борьба его за возможность чувствовать себя человеком действительно представляет собой лишь судорожное цепляние утопающего за соломинку, потому что это борьба против самого себя, против своей совести. Это и есть наказание за преступление. Каторга должна представиться раем по сравнению с такой мукой.

Если попытка зацепиться за заботу о семье Мармеладовых, за детскую чистоту была попыткой жить после преступления по-человечески, то была у Раскольникова и попытка обратная: нельзя ли ему жить не по-человечески, утвердиться в праве на преступление, на полный аморализм? В этом — внутренний смысл его смутной тяги к Свидригайлову, неясной ему самому надежды на то, что он может что-то получить, что-то узнать, чем-то «морально», вернее — аморально подкрепиться в сближении с ним. И Свидригайлов, со своей стороны, говорит ему, что у них есть общее, намекая на то, что оба они — убийцы. Но, приглядевшись к этому совершенно выпотрошенному субъекту, на которого цивилизация оказала влияние только тем, что воспитала в нём «многосторонность ощущений», способность и любовь к преступлению и одновременно к «доброте», поняв зловонный омут свидригайловской «души», Раскольников окончательно убеждается в полной невозможности для себя утвердиться на пути аморализма. Кстати, в этом заключён и исчерпывающий ответ всевозможным «модным парикмахерам».

Всё сгущается тема тупика. Жить по-человечески Раскольникову нельзя было до преступления. Жить по-человечески нельзя после преступления, с той разницей, что добавилась такая пытка, по сравнению с которой все прежние страдания померкли...

Нет, не удалось Раскольникову убить принцип, преодолеть в себе человека! На это, кажется, намекает и сон Раскольникова, в котором он вновь убивает старуху, вновь и вновь опускает на её голову топор обухом, а она всё остаётся невредимой и смеётся над ним. Или, может быть, она смеётся лишь над его слабостью, над тем, что он сделан не из того материала? Так могло казаться Раскольникову. Но вся художественная конкретность романа говорит именно о том, что нельзя убить принцип гуманизма! И нельзя не отметить в этой связи одного характерного противоречия Достоевского. Мы знаем, что он утверждает невозможность человечности без бога. Но герои его — Раскольников, Иван Карамазов — испытывают все муки раскаяния, всю боль от нарушения принципа человечности без какого бы то ни было обращения к господу.

Конечно, настоящие властелины насильнического мира сделаны совсем из другого материала! Но роман и подчёркивает их полнейшую бесчеловечность, отсутствие у них того, что замучило Раскольникова: совести.

Много ужасных картин жизни, много невыносимых человеческих переживаний развёртывается перед читателем романа Достоевского. Но есть нечто, может быть, ещё более ужасное, что относится уже не к картинам действительности, не к переживаниям людей, развёртывающимся перед читателем, а к самому роману. Это — отсутствие какого-либо намёка на катарзис в трагедии, созданной Достоевским, полное отсутствие какого-либо просветления, какой-либо надежды на возможность выхода. Перед нами картина человечества в тупике! А такая картина не может быть верной. Человечество никогда не было и не могло быть в тупике. Оно могло быть в тюрьме, но оно разрушало тюрьмы!

Осудив «бунт» Раскольникова, Достоевский хотел тем самым осудить и всякий социальный протест.

Если читатель — современник Достоевского — был недостаточно идейно вооружён, подвергнут колебаниям, он входил в этот тупик, к которому вёл его автор, для того, чтобы задохнуться, застыть в безвыходности. Если читатель был идейно сильнее вооружён, он жадно вбирал в себя всю ту критику мира насилия и угнетения, которую так широко и правдиво развернул художник; и, вместе с тем, отвергнув преступный раскольниковский люмпенский бунт отчаяния, бунт усталости, такой читатель ещё

настойчивее, ещё мужественнее продолжал поиски на а с т о я щ е г о пути борьбы против мира насилия и жестокости.

Самый главный и самый страшный тупик и заключался в той логике, в том выводе, к которому подводил автор читателя: нет реального выхода из безмерных страданий человечества!

Стремление к предельному, мы сказали бы, отчаянному обнажению тупиков жизни оказывалось у Достоевского фактически абсолютным, главным, всеисчерпывающим и всеисключающим. Мучительная, жестокая логика, стремящаяся обнажить до конца именно и прежде всего безвыходность любого данного положения, переживания, и гораздо шире: безвыходность самой жизни человечества на земле! — вот к чему приводила глубоко-упадочническая реакционная тенденция Достоевского.

В образе Раскольникова содержится немало намёков, ориентировавших на то, чтобы читатель так или иначе сблизил Раскольникова с революционным, «нигилистическим» лагерем. В самой логике романа, в той картине общества, которая вставала со страниц произведения, в расположении сил Раскольников является единственным представителем протеста против законов этого общества. Достоевский изображает Раскольникова представителем молодёжи, русского студенчества, наделяет героя романа привлекательными чертами — глубоким сочувствием к обездоленным, прямотой, смелостью, гордостью, презрением к пошлости и подлости. Во всём этом сказывалось стремление автора «прописать» своего героя по революционному адресу, желание войти в доверие к молодёжи, продемонстрировать свою объективность, своё уважение к её благородным качествам и тем вернее отвлечь её от «гибельного» бунтарского пути.

Стремление изобразить отщепенца в виде представителя молодёжи, русского студенчества, означало, конечно, клевету на молодёжь. В самый образ Раскольникова вошла нетерпимая фальшь: получалось что-то вроде обаятельного убийцы. Достоевский стремится всячески «смягчить» самое убийство. Раскольников находится на грани сумасшествия. Он одичал от одиночества. Совершая своё преступление, он действует, как во сне. Сны вообще играют огромную роль в романе. Автор порой применяет в «Преступлении и наказании» приём, близкий приёму «Двойника»: такое переплетение бреда с явью, снов с фантастикой, при котором трудно провести грань между ними. В конечном итоге создаётся впечатление, что автор не очень настаивает на том, что Раскольников действительно совершил убийство. Автору важно, что его герой совершает преступление в своём сознании, что он «преступил принцип».

Достоевскому страшно хотелось уязвить «гордыню» передовой интеллигенции, «рассудочность» этой интеллигенции, «оторванную от живой природы», от сферы чувств. А разум, дескать, с а м п о с е б е, оторванный от христианской любви к людям, исповедуемой Соней Мармеладовой, способен завести в самые страшные дебри.

Однако реалистическое чувство художника, правда жизни вступили в противоречие с фальшивым стремлением связать героя романа с «нигилистическим» лагерем. Прямое насилие над правдой жизни и искусства оказывалось невозможным! Автор вынужден отмежевать своего героя от лагеря революции и социализма. Раскольников прямо противопоставляет себя социалистам:

«За что давеча дурачок Разумихин социалистов бранил? Трудолюбивый народ и торговый; «общим счастьем» занимаются. Нет, мне жизнь однажды даётся и никогда её больше не будет: я не хочу дожидаться «всеобщего счастья». Как нельзя более резко подчёркивался этим высказыванием анархический индивидуализм Раскольникова. Интересен для понимания всей безграничности идеологических колебаний Достоевского один вариант в записях автора «Преступления и наказания», не воплотившийся в романе. Этот вариант показывает, что Достоевский чувствовал полную несовместимость раскольниковского преступного индивидуалистического «бунта» с социалистическими идеями. Согласно этому варианту, Раскольников решил донести на себя именно потому, что понял чуждость и враждебность своего преступления человеческому счастью, з о л о т о м у в е к у. Словами з о л о т о й в е к Достоевский часто заменял слово с о ц и а л и з м. Вот эта запись раздумья Раскольникова, которое писатель предполагал включить в роман: «NB. О зачем не все в счастье? Картина золотого века. Она уже носится в умах и в сердцах. Как ей не настать—и проч. NB. Но какое право имею я, я подлый убийца, желать счастья людям и мечтать о золотом веке.»

Я хочу иметь на это право.

И в следствиие того (этой главы) он идёт и на себя доказывает¹.

Вот какие раздумья колебали Достоевского! Если бы в роман была введена подобная мотивировка признания Раскольникова в преступлении, то, быть может, в атмосфере мрака, безвыходности прозвучал бы хоть какой-то намёк на существование и других видов социального протеста, исключаящих раскольниковский индивидуалистический «бунт»; может быть, прозвучал бы хоть слабый намёк на возможность реального улучшения жизни человечества...

Однако Достоевский во что бы то ни стало хотел сохранить хотя бы косвенную «связь» между Раскольниковым и революционным лагерем: если, мол, революционеры допускают насилие, то они должны допустить и раскольниково-карамазовское «всё позволено!». Но даже реакционная критика, которой, конечно, очень хотелось бы выдать Раскольникова за выразителя революционных устремлений демократической молодёжи, представить его «нигилистом», не могла не считаться с реальностью. Н. Страхов, политический единомышленник Достоевского, потративший немало усилий на доказательство принадлежности Раскольникова к «нигилистам», в забавном противоречии с самим собою вынужден был признать, что Раскольников не есть тип нигилистический, никак не является видоизменением типа «настоящего нигилиста». Страхов подчёркивал молодую неопределённость, неустановленность Раскольникова, как социального типа, появившегося совсем недавно, и связывал именно с этой неопределённостью его фантастический, по характеристике Порфирия, поступок. Таким образом, Страхов скрепя сердце всё же твёрдо отделил Раскольникова от лагеря революции.

Прогрессивная, демократическая критика, разумеется, со всей определённою указала на полную чуждость Раскольникова и его «идеи» передовой молодёжи и тому кругу идей, в котором жила эта молодёжь. Писарев подчёркивал, что «Раскольников не мог заимствовать свои идеи ни из разговоров со своими товарищами, ни из тех книг, которые пользовались и пользуются до сих пор успехом в кругу читающих и размышляющих молодых людей».

Критик решительно отмежевал «теорию» Раскольникова о праве «необыкновенных людей» на кровопролитие и насилие, если, мол, того требуют интересы «истины», от идей и представлений демократического лагеря. Писарев резко возражал против «того права, которое Раскольников присваивает необыкновенным людям. Произвольное устрание живых людей и бесцеремонное шагание через препятствия во всяком случае остаётся делом очень вредным и, следовательно, в высшей степени преступным, т. е. совершенно предосудительным. Кровопролитие становится неизбежным вовсе не тогда, когда его желает устроить какой-нибудь необыкновенный человек, вовсе не тогда, когда какое-нибудь живое препятствие мешает этому необыкновенному человеку осуществить свою личную идею или фантазию...» Писарев подчёркивает что «виновниками кровопролитий бывают везде и всегда не представители разума и правды, а поборники невежества, застоя и бесправия». Остроумно замечание, что Раскольникову «хочется превратить всех великих людей в уголовных преступников и всех уголовных преступников в великих людей»...

В словах Писарева о том, что насилие и кровопролитие исходят от представителей реакции, заключалось зерно очень глубокой и правильной мысли. Энгельс писал:

«...Когда нет реакционного насилия, против которого надо бороться, то не ставится вопрос и о революционном насилии...»²

Ленин указывал, что «реакционные классы прибегают обыкновенно первые к насилию, к гражданской войне, «ставят в порядок дня штык...»³

Приписывать революционерам уголовщину, таинственные заговоры, стремление к своеволию, произволу — излюбленный приём реакции. Она наделяет своих противников своими собственными свойствами, своими невежественными субъективистскими представлениями о ходе истории, якобы зависящем от личного произвола. Достоевский применял этот приём и в «Преступлении и наказании» и в последующих произведениях.

¹ Из архива Ф. М. Достоевского. «Преступление и наказание». Неизданные материалы. Подготовил к печати И. И. Гливенко. ГИХЛ, М. 1931, стр. 89.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIX, стр. 147.

³ В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 319.

Но истина есть истина, она умеет постоять за себя. Осталось непреложным, что автор «Преступления и наказания» вывел тип оторванного от народа, враждебного средовым движениям своего времени эгоцентриста, предвосхитившего «идею» буржуазного «сверхчеловека». Осталось непреложным, что автор, верный своему отвращению к буржуазному индивидуализму, осудил этот тип.

В «Преступлении и наказании» автор продолжает начатую им в «Записках из подполья» попытку полемики с идеями утопического социализма и романа «Что делать?». Эта полемика оказывается столь же жалкой и убогой, сколь жалка и убога карикатурная фигура Лебезятникова, в уста которого автор вкладывает нелепейшие рассуждения о будущем «социалистическом» обществе с «общностью жён» и прочими благоглупостями, распространяемыми и поныне наиболее бездарными и пошлыми буржуазными пропагандистами.

Противопоставление в романе образов Раскольникова и Сони Мармеладовой является, по авторскому замыслу, противопоставлением разума и сердца, рассудка и чувства. Раскольников, дескать, живёт только по законам разума,— и вот куда привёл его разум! Достоевский вновь развёртывает «наглядное доказательство» суждения, высказанного героем «Записок из подполья» о том, что сознание — это болезнь. Значение образа Сони для Достоевского заключается в том, что Соня живёт по законам сердца, по законам любви к людям. Соня тоже совершила преступление над собой, но она совершила его не по разуму, а по любви, принесла жертву своей жизнью во имя любимых ею людей. Мы вновь встречаемся с вариантом идеи о том, что лучше рабство, чем владычество. — Лучше насилие над собой, чем над другими! Таково значение противопоставления образов Раскольникова и Сони Мармеладовой, противопоставления «разума» — «сердцу».

Сближение Раскольникова с Соней — это, по Достоевскому, отказ от разума в пользу сердца, а тем самым и обретение истинного разума... При всей фальши и реакционности этой христианской концепции, этой нигилистической упадочнической критики разума, Достоевский оказывается часто удивительно метким, острым, глубоким критиком буржуазной морали. Лужин, чей образ представляет собой блистательное достижение антибуржуазной сатиры Достоевского, кокетничает в разговоре с молодёжью — Раскольниковым, Разумихиным, Заметовым — своей «образованностью», близостью к «новым веяниям», «прогрессу», ко «всему передовому» и развивает целое credo буржуазного эгоизма. Он критикует прежние, устаревшие, по его мнению, моральные нормы. «Если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби», и я возлюблял, то что из того вышло?.. Выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы остались наполюину голы... Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроены частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твёрдых оснований и тем более устраивается в нём и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем, и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более ровного кафтана, и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспевания».

Эта софистика настолько типична — за исключением разве антихристианских «выпадов», — что кажется, будто Лужин просто излагает Бентама. Маркс иронизировал над этим апологетом буржуазного преуспевания, указывая, что в области обмена товаров, в том числе купли-продажи рабочей силы, всё совершается «по Бентаму». «Ибо каждый заботится лишь о себе самом. Единственная сила, связывающая их вместе, это — стремление каждого к своей собственной выгоде, своекорыстие, личный интерес. Но именно потому, что каждый заботится только о себе и никто не заботится о другом, все они в силу предустановленной гармонии вещей или под руководством всехитрейшего провидения осуществляют лишь свою взаимную выгоду, свою общую пользу, свой общий интерес»¹.

¹ К. Маркс. Капитал, т. I, стр. 183.

Чем Лужин — не Бентам и чем Бентам — не Лужин? Оба они типичные представители так называемого «просвещённого эгоизма».

Можно представить себе весь мрак духовной жизни Достоевского, если тот «разум», та «наука», которую излагает Лужин, и были для автора «Преступления и наказания» воплощением, итогом, единственным выводом всей «передовой» науки, всего «прогрессивного» развития разума! Теорию «разумного эгоизма» Чернышевского он представлял лишь как более тонкое видоизменение лужинских теорий! Да, он себя, словно ножницами, отрезал от всего процесса развития современной ему действительной научной и передовой мысли человечества, и его отношение к разуму было окрашено лишь ужасом перед безграничными возможностями казуистики, софизмов, способных оправдать любую мерзость, в том числе и кровопролитные войны и необходимость истребления людей под флагом «просвещённого эгоизма». Человечески-наивистические теории, подобные теории Мальтуса, усиливали до отвращения его страх перед разумом, не связанным с сердцем, с любовью: перед буржуазным разумом, буржуазной «наукой». Никакой другой науки он не знал.

Образ Сони Мармеладовой был единственным светом для него в общем мраке безнадежности. Соня Мармеладова — сплошное сердце, сплошная любовь к людям. Именно поэтому она сохранила нетленную чистоту в той грязи, в которую бросила её жизнь. Соня Мармеладова — образ всего страдания человеческого. Страдание сливалось для Достоевского с любовью. Это и было христианской идеализацией страдания.

В образе Сони содержится и мрачный ответ Достоевского на вопрос: что же делать измученному человечеству? Этот ответ таков. Разум человеческий настолько слаб и, так сказать, неразумен, а страдания человеческие бездонны, и вся жизнь остроена настолько неразумно, чудовищно-жестоко, что разумом, мол, невозможно и охватить эти страдания, понять неразумность жизни (этот мотив будет особенно подробно развит писателем в связи с «бунтом» Ивана Карамазова). Оставалась только любовь-страдание за всех, и больше не на что надеяться человечеству! Сама беспредельность страданий человечества превращалась в произведениях Достоевского в «аргумент» против разума!

Да, «Преступление и наказание» — не только одна из самых скорбных книг мировой литературы. Это книга безвыходной скорби, идеализирующая безвыходность.

И всё же решающее при оценке её значения — глубокая правда о невыносимости жизни в насильническом обществе, где царствуют господа Лужины с их злобой, тупостью, эгоизмом. В сердце нашем остаётся не проповедь примирения со страданием, не безвыходность и безнадежность, а непримиримая ненависть ко всему миру угнетения человека.

«ИДИОТ»

В романе «Идиот» Достоевский уже и в самом названии и в образе героя полемически подчеркнул своё противопоставление разума сердцу. Герой — человек необразованный, ничему толком не учившийся, больной, в течение ряда лет находившийся в состоянии даже полной потери сознания. И вот именно он и оказывается умнее всех образованных, цивилизованных, горделивых! Он решает все самые трудные вопросы человеческих взаимоотношений пронзительно, в то время как они всё путают, ничего не могут решить, руководствуясь лишь эгоизмом. Может быть, художник чувствовал какую-то близость образа своего героя к народному сказочному образу Иванушки-дурачка. Князь Лев Николаевич Мышкин — с точки зрения, так сказать, пошлого здравого смысла — в лучшем случае чужак. Он бескорыстен, глубоко чужд каким бы то ни было эгоистическим страстям и прежде всего денежным; он искренен, говорит только правду; он носит в душе своей всечеловеческое страдание и любит людей; он обаятельно наивен, и если ошибается, то только в сторону преувеличения достоинств людей; он чуток; он всегда готов пожертвовать собой целиком, без остатка, для других. Если сознание — болезнь, то князь Мышкин — воплощение душевного здоровья! Его болезнь, в чисто достоевской парадоксальности, не мешает, а, наоборот, помогает его душевной ясности и превосходству над здоровыми. Ибо все эти здоровые больные сознанием, — князь Мышкин не страдает этой болезнью! Они, здоро-

в ы е, больны э г о и з м о м, мерзкой жадной денег, утопают в грязи мира сего,— князь Мышкин свободен от всего этого. Он чист и прост, как дитя, у него детская душа: потому он и оказывается умнее всех. В отличие от рационалистических героев Достоевского, всегда раздвоенных, р а с с т р о е н н ы х, расщеплённых, князь Лев Николаевич Мышкин не знает борьбы между разумом и чувством, между «добром» и «злом» в своей душе.

Начиная работу над романом, художник писал своей племяннице А. С. Ивановой (ей был посвящён роман в первом издании): «Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение п о л о ж и т е л ь н о-прекрасного — всегда пасовал. Потому что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы ещё далеко не выработался».

В размышлениях над образом своего положительного героя Достоевский сопоставлял его с образом Дон-Кихота Ламанчского, определяя источник обаяния и героя Сервантеса и своего князя Льва Николаевича в том, что они представляют собой п р е к р а с н о е, н е з н а ю щ е е с е б е ц е н ы. Отсюда и атмосфера светлого юмора вокруг них.

Глубокая и острая характеристика тайны обаяния Дон-Кихота, данная Достоевским, действительно может быть отчасти применена к князю Льву Николаевичу Мышкину. В нём есть своя обаятельность, исходящая из источника, указанного Достоевским. Но не только это даёт основание для сближения обоих образов. Есть общее в их чуждости реальной действительности, в их у т о п и з м е...

Князь Мышкин — всеобщий примиритель. Он носитель идеи объединения всех «сословий», всех враждующих групп: он противостоит всеобщему разъединению, тому р а з л о ж е н и ю о б щ е с т в а, которое Достоевский считает главной характерной чертой своей современности (идею романа «Подросток» он определит как и д е ю р а з л о ж е н и я общества).

Есть, однако, один образ, более важный для Достоевского, чем образ Дон-Кихота. С этим образом князь Лев Николаевич Мышкин сопоставляется лишь в глубоком п о д в о д н о м т е ч е н и и романа. Это образ Христа. В записях автора к роману прямо говорится: князь Мышкин — Христос. Самое «явление» князя Мышкина после многих лет, прожитых где-то высоко в горах, далеко от людей, должно напомнить шествие Христа к людям, в их кипящую злыми страстями, дьявольски запутанную жизнь, предсказанную в Апокалипсисе, как царство м е р ы: деньги царят над всем; все настаивают на с в о ё м праве, на своём эгоизме; все разъединены и взаимно враждебны; нет никакой связующей общей идеи; всё чистое гибнет в этом мире; в нём оскверняется, разрушается Красота.

Что же пришёл миру новоявленный Христос? Сможет ли он очистить и утишить злые страсти, соединить людей любовью и страданием, как и «полагается» ему по сущности его образа? Иными словами, в переводе на конкретность художественного произведения: в каком д е й с т в и и, в каких отношениях с людьми проявятся характер и миссия положительного героя Достоевского, п р е к р а с н о г о ч е л о в е к а?

Сюжетную основу романа составляет трагическая судьба Настасьи Филипповны. Роль князя Мышкина в этой судьбе велика, но всё же не он является носителем движущего начала в развитии сюжета, а именно Настасья Филипповна. К нему, Льву Николаевичу, с х о д я т с я разные сюжетные линии, но он всё же стоит н а д н и м и, как и полагается «высокому» лицу, явившемуся к людям чуть ли не с неба. Он не может, так сказать, по самой «небесной» природе своей, быть прямым участником земной грешной борьбы, активно ввязываться в земные страсти.

«Идиот» — это прежде всего трагедия Настасьи Филипповны. История её судьбы и образует непреходящую ценность произведения. Это — настоящее ядро всего романа. И здесь перед нами возникает бунтарская сила, заложенная в Достоевском, подавлявшаяся им в угоду е л е й н о й реакционной тенденции. В истории жизни и гибели героини романа, рассказанной с такой любовью и грустью великим художником, мы чувствуем силу протеста, презрение и гнев к верхам дворянско-буржуазного общества, к

законам, управляющим этим обществом. Перед нами возникает и Достоевский-трагик, и Достоевский-лирик, и Достоевский-сатирик.

Образ Настасьи Филипповны принадлежит к числу сильнейших трагических женских образов, созданных русской и мировой литературой. Художнику, вдохновлённому живой любовью к прекрасной женщине, возникшей в его творческом воображении, удалось воплотить её образ с той пластичностью, живостью, когда мы видим все жесты, походку, глаза, лоб, брови, улыбку, всю смену выражений лица восхитительной женщины, умницы, талантливой, изящной, красавицы и по внешнему и по внутреннему облику: настоящей королевы, как сказано о ней в романе. Гордая, оставшаяся чистой, несмотря на всю грязь, в которую бросила её жизнь, презирающая пошлость, своекорыстие, ложь, подлость окружающего её общества рафинированных подлецов высшего полёта, дельцов, карьеристов, себялюбцев и честолюбцев, низменных сладострастников, деньголюбов,— она высится над всей толпой, стремящейся сделать её игрушкой мерзкой похоти, предметом купли-продажи, как единственный человек над скопищем гадов, тарантулов, пауков, сцепившихся в вечной смертельной драке между собой. Но прекрасное лицо её, тронутое глубоким страданием, кажется, готово страшно исказиться, зловещающая угроза нависла над нею...

Мы знакомимся с нею впервые по портрету, который сразу так глубоко, на всю жизнь, поразил князя Мышкина. «На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в чёрном шёлковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, повидимому, темнорусые, были убраны просто, по-домашнему; глаза тёмные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна...»

Л о б з а д у м ч и в ы й — сказать так мог только действительно необыкновенной силы художник, глубоко чувствующий прелесть женской красоты, сказавший устами одного из своих героев: ж е н щ и н а — ц а р и ц а м и р а. Л о б з а д у м ч и в ы й — эпитет, неожиданный и прекрасный сам по себе своей нежностью и беспредельным уважением к женщине, удивительно подходит для портрета Настасьи Филипповны, для всего её облика; её глаза освещены глубокой мыслью, она много думала с очень ранних лет. Её растлитель, любитель и знаток женской красоты, изящнейший господин Тоцкий, который приобрёл её в свою собственность, когда она была ребёнком, круглой сиротой, одна во всём свете,— утончённейший господин Тоцкий и предполагать не мог, что она так много и так глубоко думала! Выражение лица её страстное и высокомерное. Она человек больших, трагических страстей, её требования к жизни, к людям, к себе высоки и человечны, и это необычайно усиливает резкую противоположность её всей окружающей низменной действительности. Высокомерие — самозащита от подлецов и пошляков. В глубине души она проста, детски-застенчива.

«— Удивительное лицо! — говорит князь. — ...и я уверен, что судьба её не из обыкновенных. Лицо весёлое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щёк. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!»

Да, впоследствии оказывается, что она не только горда, но и добра,— и всё-таки ничего не спасено!

Затем, опять вместе с князем, уже в обществе Лизаветы Прокофьевны и барышень Епанчиных, мы вновь всё пристальнее вглядываемся в её портрет. И тут уже звучит трагическая тема Настасьи Филипповны.

«Ему как бы хотелось разгадать что-то, скрывающееся в этом лице и поразившее его давеча. Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте и ещё почему-то лицо ещё сильнее поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щёк и горевших глаз; странная красота!»

Вглядевшись пристальнее в портрет, мы увидели то же, что и при первом взгляде, но увидели это глубже; высокомерие оказалось уже необъятной гордостью и презре-

нием, почти ненавистью. Мы почувствовали контраст этого выражения с выражением простодушия, и контраст вызвал в нас сострадание к этой красоте. Мы почувствовали надрыв в этой красоте, её ослепляющая сила показала нам даже невыносимой. Но это и есть музыкальная, поэтическая, трагическая тема Настасьи Филипповны! Это тема красоты, знающей, что она поругана и оскорблена, красоты не утвердившейся, не победившей, а беспокойной, гордой собою, как и всегда горда собою красота, но вынужденной к презрению, почти ненависти. Как важно это почти! Настасья Филипповна, с её простодушием и, при всей гордости, полнейшей беззащитностью, не способна до конца, смертельно ненавидеть; ей хочется прощать и любить. Тема Настасьи Филипповны — тема красоты, не принятой миром злобы и вражды, красоты поруганной, высмеянной, осквернённой. Вот почему это — невыносимая красота. Это красота-страдание, страдание красоты за самоё себя, красоты, оскорбляемой в этом мире. В невыносимости этой красоты есть тень обречённости, сиротство красоты в мире, есть какой-то призыв к защите и вместе с тем вызов, презрение и гнев красоты за себя; есть грозная тема несовместимости красоты с подлым денежным миром. Это красота, зовущая к мести за себя, презирующая жалость и, вместе с тем, кажется, просящая о жалости и готовая оттолкнуть её. Можно назвать это бунтующей красотой, хотя у неё и нет не прощающей ненависти, необходимой для настоящего бунта. Может быть, это скорее укор красоты, может быть, её мольба, скрытая за гордостью, — укор, пронзивший сердце князю Льву Николаевичу, пронзающий сердце нам.

Аделаида Епанчина говорит, рассматривая портрет Настасьи Филипповны:

«— Такая красота — сила... с этакою красотой можно мир перевернуть».

Не этой благополучной барышне, генеральской дочке, с её прекрасными плечами, превосходным аппетитом и, в общем, куриными мозгами, понять красоту Настасьи Филипповны; как художница-любительница, маракующая что-то на холсте, она оказалась способной почувствовать, так сказать, размах красоты...

Красота спасёт мир! Такова одна из мыслей героя романа, князя Льва Николаевича Мышкина.

Но, как многие его мысли, и эта опровергается действительностью. Красота не спасла мир, а оказалась погубленной им.

Все эти мотивы и развёртываются перед нами в трагической истории Настасьи Филипповны, истории того, как миром, глухим и слепым к красоте, видящим в ней только то, что могут увидеть в красоте пошлость, низменное сладострастие, жадность собственника, — была погублена прекрасная женщина. Бунт Настасьи Филипповны, её попытка мстить обществу по распространённому у героев Достоевского способу «харакери» — этот бунт бессилён и поэтому жалок. Но тема бунтующей красоты со страстной силой звучит в романе!

Настасья Филипповна кончает безумием.

Невыносимое соединение красоты и безумия, данное в образе Настасьи Филипповны, отдаётся в сердце князя Мышкина и в сердце читателя особенной мукой и болью. Даже и красота становится безумной в мире, обезумевшем от злобы!

Настасью Филипповну довели до безумия и убили все окружавшие её. Начал убийство барин Афанасий Иванович Тоцкий. Завершил купец Рогожин. В финальной сцене мы видим Рогожина и Мышкина у кровати убитой. Смерть передана в этой картине особенной неподвижностью. Мышкин в темноте «уже пригляделся, так что мог различать всю постель; на ней кто-то спал совершенно неподвижным сном; не слышно было ни малейшего шелеста, ни малейшего дыхания. Спавший был закрыт с головой, белою простыней, но члены как-то неясно обозначались; видно только было, по возвышению, что лежит, протянувшись, человек... В ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнажённой ноги; он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен».

Убита красота, равная красоте прекрасных строгих статуй, гениальных картин.

Достоевский поднял гибель Настасьи Филипповны до трагической темы красоты, убиваемой безобразным паучьим миром, миром мерзких снов Ипполита. Недаром в сне Ипполита образ Рогожина сближается с образом тарантула. Рогожин — воплощение тёмной стихии собственничества. Его характер сливается с обликом его

зловеще-угрюмого дома, мира амбаров, тяжёлых замков, угрюмого мира купли и продажи.

Всё то в романе, что непосредственно связано с темой Настасьи Филипповны, с её судьбой, наполнено глубоким социальным значением, всё дышит правдой жизни, высокой правдой искусства. Художник вновь обнаруживает свой замечательный дар создания настоящих социальных типов. Лица, участвующие в интриге, которая плетётся вокруг Настасьи Филипповны, написаны великолепной, часто сатирической кистью острого наблюдателя и исследователя объективной действительности. Каждое лицо здесь — тип; взятые вместе, они дают замечательно точную картину послереформенного дворянско-буржуазного общества. Кто они, эти лица, каждое из которых является и претендентом на обладание красотой Настасьи Филипповны?

Изящный барин, любитель и тонкий знаток всего прекрасного, благовоспитаннейший джентльмен, воплощение благопристойности. Будучи как-то наездом в своём имени, он заприметил там прелестного ребёнка, девочку-сиротку лет двенадцати, обещающую необыкновенную красоту. О, «в этом отношении Афанасий Иванович был знаток безошибочный!» Высоко развитое эстетическое чутьё подсказало ему деловую, так сказать, хозяйственную, довольно широко поставленную подготовку для обеспечения своего будущего наслаждения. Девочку начали воспитывать гувернантки, а затем, к шестнадцати годам, она была уже устроена в отдельном, специально отстроенном деревянном доме, где всё убранство отличалось необыкновенным вкусом: тут были «музыкальные инструменты, изящная девичья библиотека, картины, эстампы, карандаши, краски, удивительная левретка»... Афанасий Иванович в течение целых четырёх лет постоянно навещал этот райский уголок, приют его чисто художественных усад.

А потом до неё дошёл слух, что Афанасий Иванович женится в Петербурге на богатой, на знатной, как и полагается подобным господам.

И тут-то Афанасию Ивановичу пришлось вполне неожиданно убедиться в том, что девочка, превращённая им в предмет изящного потребления наряду с другими предметами роскоши и комфорта, окружавшими его, — что эта его игрушка, оказывается, в продолжение всех четырёх лет не имела к нему, по её признанию, «в своём сердце ничего, кроме глубочайшего презрения, презрения до тошноты, наступившего тотчас же после первого удивления». Он приезжал в райский уголок, распалая, развращая юную девушку, а затем оставлял её на целый год в полном одиночестве, чтобы её холили для него...

И вот она переселяется в Петербург для мести — не позволить ему благопристойный брак, вообще постараться осложнить ему жизнь. О, как фраппирован, как неприятно изумлён корректнейший Афанасий Иванович!

Перед ним вместо красавицы-куколки оказалась «фантастическая женщина», которую не купишь никакими деньгами, никакими блестящими женихами. Пришлось Афанасию Ивановичу очень серьёзно обдумать сложившееся положение.

«...Разумеется, с богатством и со связями Тоцкого можно было тотчас же сделать какое-нибудь маленькое и совершенно невинное злодейство, чтоб избавиться от неприятности. С другой стороны, было очевидно, что и сама Настасья Филипповна почти ничего не в состоянии сделать вредного, в смысле, например, хоть юридическом; даже и скандала не могла бы сделать значительного, потому что так легко её можно было всегда ограничить. Но всё это в таком только случае, если бы Настасья Филипповна решилась действовать, как все, и как вообще в подобных случаях действуют, не выскакивая слишком эксцентрично из мерки. Но тут-то и пригодились Тоцкому его верность взгляда: он сумел разгадать, что Настасья Филипповна и сама отлично понимает, как безвредна она в смысле юридическом, но что у неё совсем другое на уме. в сверкавших глазах её. Ничем не дорожа, а пуще всего собой (нужно было очень много ума и проникновения, чтобы догадаться в эту минуту, что она давно уже перестала дорожить собой, и чтоб ему, скептику и светскому цинику, поверить серьёзности этого чувства), Настасья Филипповна в состоянии была самоё себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, к которому она питала такое бесчеловечное отвращение. Афанасий Иванович никогда не скрывал, что он был несколько трусоват, или, лучше сказать, консервативен».

Так или иначе, Афанасий Иванович воздержался в тот раз от благопристойного

брака. Тут сыграло роль и ещё одно обстоятельство. Настасья Филипповна так похорошела, стала такой ослепительной. «...Афанасий Иванович, прельщённый новизной, подумал даже, что он мог бы вновь эксплуатировать эту женщину». Слово-то какое употребил Достоевский! Да, именно эксплуатировала женскую красоту, как и всю красоту человечества, лощёная мразь старого мира.

Таков глубоко «просвещённый» эгоист Афанасий Иванович Тоцкий. Как ненавидит этого respectable, невозмутимого, солидного человека Достоевский, как презирает его приличности! Как наслаждается тем, что, хотя, к сожалению, и в слабой мере, но всё-таки нарушено его спокойствие! Как сочувствует презрению и ненависти Настасьи Филипповны!

Другое лицо, участвующее в интриге, завязавшейся вокруг Настасьи Филипповны, — Иван Фёдорович Епанчин, из новых, пореформенных типов, генерал-делец, воплощение пошлости и посредственности.

Третье лицо — Гаврила Ардалионович Иволгин, секретарь генерала, молодой человек с наполеоновской бородкой, подчёркивающей его претензию на оригинальность, но являющийся представителем той же ординарности, посредственности, что и его шеф. Ганечка Иволгин мечтает во что бы то ни стало, любыми средствами, стать крупным дельцом и богачом. Его отличие от шефа заключается в сочетании ординарности с постоянно уязвлённым самолюбием. У него совсем нет той благодушной пошлости, которую в таком призытке обладает генерал Епанчин. Гаврила Ардалионович, по словам Настасьи Филипповны, — нетерпеливый нищий.

Образ Ганечки Иволгина очень важен для понимания некоторых главнейших мотивов творчества Достоевского. В этом образе воплощены тема власти денег над всем человеческим в буржуазном, «дьявольском» обществе и непосредственно связанная с этой темой другая большая тема Достоевского — власть посредственности в этом обществе. Неразрывная связь между всемогуществом денег и властью бездарности в буржуазном обществе выражена, в частности, в признаниях самого Ганечки, высказываемых им в откровенном разговоре с князем Мышкиным: «Вы мне говорите, что я человек не оригинальный... Нажив деньги, знаете, — я буду человек в высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают».

Достоевский поднимается в своей ненависти к законам капиталистического общества до высоты замечательных социальных обобщений, метко схватывая самую сущность власти денег. В буржуазном обществе деньги дают и оригинальность, и ум, и красоту, и любовь, заменяют все человеческие качества.

Четвёртое действующее лицо, претендующее на Настасью Филипповну, — Рогожин. Страсть отца к деньгам стала у сына страстью к женщине, но осталась тою же угрюмой собственнической страстью. Конечно, только великий художник мог дать нам такое глубокое ощущение того, что любовь Рогожина пропахла тяжёлым запахом денег. Рогожин хочет перекупить Настасью Филипповну, набавляя, как на аукционе, цену и выставляя против семидесяти пяти тысяч, предложенных Тоцким, свои сто тысяч. Незабвенна эта «большая пачка бумаги, вершка три в высоту и вершка четыре в длину, крепко и плотно завёрнутая в Биржевые Ведомости и обвязанная туго-натуго со всех сторон и два раза накрест бечёвкой, вроде тех, которыми обвязывают сахарные головы»; эта грязная пачка, где завёрнуты сто тысяч, — цена, предложенная за Настасью Филипповну. Художник передал нам запах денег и образом мрачного рогожинского дома — денежного ящика — и мрачным колоритом рогожинской горящей всё тем же зловеще-тупым отблеском палаческой власти денег, убивающей всё живое, всё прекрасное, всё человеческое.

Грязь вихрится вокруг Настасьи Филипповны — грязь денежного общества! Афанасий Иванович Тоцкий хочет жениться на одной из дочерей генерала Епанчина. Но он боится Настасьи Филипповны: однажды она уже не позволила ему жениться угрозой какого-то неслышанного, особенного скандального грома! И вот теперь Афанасий Иванович хочет иметь гарантию. А гарантией, с его точки зрения, может быть только замужество Настасьи Филипповны. Только тогда она «угомонится».

Так возникает проект у Тоцкого и Епанчина: купить Настасью Филипповну семидесять пятью тысячами и женитьбой на ней Ганечки, подчинённого человека генерала Епанчина. Для Тоцкого это выгодная сделка: браком с дочкой Епанчина он выиграет больше семидесяти пяти тысяч. Генералу Епанчину сделка тоже представляется выгодной. Он рассчитывает одним выстрелом убить двух зайцев: получить солидного супруга для своей дочери; получить вместе с тем такую роскошную любовницу, как Настасья Филипповна: он не сомневается в том, что такое, облагодетельствованное им ничтожество, как Ганечка, не только станет глядеть сквозь пальцы, но даже и за честь почтёт, что его супруга будет любовницей генерала Епанчина. Генерал даже жемчуг подарил ко дню рождения Настасьи Филипповны в качестве залога грядущих удовольствий...

Ганечке сначала действительно нравилась Настасья Филипповна, и он не был совсем противен ей. Но с той поры, как его отношение к Настасье Филипповне связалось со сделкой, оно стало только денежным. Настасья Филипповна, конечно, понимает, что не любовная, а денежная страсть руководит Ганечкой. Так в их отношения вошли взаимная ненависть и презрение, внесённые деньгами.

Вот какой приличный светский брак готовят Настасье Филипповне.

К числу замечательнейших страниц Достоевского, где блистает, как меч, его острый сатирический дар, торжествуют его вежливое презрение и отвращение к самовлюблённой подлости-пошлости дворянско-буржуазного общества, принадлежат страницы, изображающие «пети-жэ» («маленькая игра») на вечере у Настасьи Филипповны по поводу дня её рождения. Игра состоит в том, что каждый должен рассказать про себя «такое, что сам он, по искренней совести, считает самым дурным из всех своих дурных поступков в продолжение всей своей жизни; но с тем, чтоб искренно, главное, чтоб было искренно, не лгать!». Так формулирует условия игры нелепый человек Фердыщенко, любящий играть в обществе роль грубого шута: Настасья Филипповна пускает его в свою гостиную из-за присущей ему едкости. Каждый рассказывает свой самый дурной поступок, и в каждом из этих рассказов, в сюжете, колорите, тоне, силе, манере, блистательно передана вся сущность характера рассказчика. Фердыщенко оказался единственным искренним, но зато и отвратительным участником игры; он рассказал о том, как он украл три рубля. Он наивен, Фердыщенко! Он действительно допустил, что и другие участники отнесутся к условиям игры так же серьёзно. Не тут-то было! Генерал Епанчин рассказал характернейшую армейскую, прапорщичью историю из своей первой молодости: ему довелось ругать на чём свет стоит, последними, отборными армейскими словами старушку, тихо отходящую под его ругань на тот свет. О, конечно, вспыльчивый мальчишка-прапорщик и думать не мог о том, что со старушкой творится этакое! Но Иван Фёдорович Епанчин не мог простить себе этого своего поступка во всю свою жизнь и не успокоился до тех пор, «покамест не завёл, лет пятнадцать назад, двух постоянных больных старушонок на свой счёт в богадельне с целью смягчить для них приличным содержанием последние дни земной жизни. Думаю обратить в вековечное, завещав капитал... Повторяю, что, может быть, я и во многом в жизни провинился, но этот случай считаю, по совести, самым сквернейшим поступком из всей моей жизни.

— И вместо самого сквернейшего ваше превосходительство рассказали один из хороших поступков своей жизни; надули Фердыщенка! — заключил Фердыщенко.

— В самом деле, генерал, я и не воображала, чтоб у вас было всё-таки доброе сердце; даже жаль, — небрежно проговорила Настасья Филипповна.

— Жаль? Почему же? — спросил генерал с любезным смехом и без самодовольствия отпил шампанского.

Как великолепно это самодовольство! Генерал совершенно искренно считает себя добрейшим, порядочным человеком. И он в самом деле добр. Даже жаль — небрежно говорит по этому поводу Настасья Филипповна. Его доброта лишь подчёркивает его пошлость. Особую сатирическую остроту его добродетельный рассказ о своём «самом дурном поступке в жизни» приобретает от того подтекста, который окрашивает всё это «пети-жэ». Ведь рассказывает человек, который и на самом-то этом вечере у Настасьи Филипповны присутствует потому, что стремится обделать своё дельце: женить на ней своего подчинённого, чтобы сделать её своей лю-

бовницей. Это он не считает не только «самым дурным поступком в своей жизни», но и вообще не видит в этом ничего дурного: это общепринято, все так поступают в свете, в обществе.

А Афанасий Иванович Тоцкий! Очередь была за ним, и он «тоже приготовился...» рассказа его, по некоторым причинам, ждали с особенным любопытством и вместе с тем посматривали на Настасью Филипповну. С необыкновенным достоинством, вполне соответствовавшим его осанистой наружности, тихим, любезным голосом начал Афанасий Иванович один из своих «милых рассказов». (Кстати сказать: человек он был собою видный, осанистый, росту высокого, немного лыс, немного с проседью, и довольно тучный, с мягкими, румяными и несколько отвислыми щеками, со вставными зубами. Одевался широко и изящно и носил удивительное бельё. На его пухлые, белые руки хотелось заглядеться. На указательном пальце правой руки был дорогой бриллиантовый перстень.) Настасья Филипповна во всё время его рассказа пристально рассматривала кружево оборки на своём рукаве и щипала её двумя пальцами левой руки, так что ни разу не успела и взглянуть на рассказчика.

— Что всего более облегчает мне мою задачу,— начал Афанасий Иванович,— это непрменная обязанность рассказать никак не иначе, как самый дурной поступок из всей моей жизни. В таком случае, разумеется, не может быть колебаний: совесть и память сердца тотчас же подскажут, что именно надо рассказывать. Сознаюсь с горечью, в числе всех, бесчисленных, может быть, легкомысленных и... ветреных поступков жизни моей есть один, впечатление которого даже слишком тяжело залегло в моей памяти...»

И Афанасий Иванович действительно очень мило и изящно, как признанный в свете очаровательный рассказчик «милых рассказов», повествует о совершенно пустом и невинном случае. Но самый рассказ исключительно характерен для него. Если в истории, рассказанной генералом Епанчиным, была, так сказать, густопсовая армейская, прапорщицкая атмосфера, с денщиками, солёной бранью и пр. и т. п., то в истории, рассказываемой Афанасием Ивановичем Тоцким, всё другое, в его духе. Тут цветы, цветы, цветы, букеты, дамы, их мужья и поклонники, волокитство, — всё в самом лучшем тоне, всё в стиле приличий самого высшего общества. Всё совершенно *compte à fait*. Если в истории его превосходительства генерала Епанчина — армейская пошлость, то в истории Афанасия Ивановича Тоцкого — в высшей степени изящная светская пошлость.

При рассказе Тоцкого с особенной сатирической силой действует подтекст, о котором не может всё время не помнить читатель, о котором помнят и все слушатели Афанасия Ивановича. Недаром его рассказа «ждали с особенным любопытством и вместе с тем посматривали на Настасью Филипповну». Все знают один из «поступков» Афанасия Ивановича, все знают о его истории с Настасьей Филипповной, и если и не ждут от него какого-то признания, относящегося к этому его «поступку», то во всяком случае все чувствуют нечто особенное в том обстоятельстве, что Афанасий Иванович Тоцкий будет рассказывать самый дурной поступок своей жизни в присутствии Настасьи Филипповны. Её волнение во время рассказа Афанасия Ивановича, её презрение к рассказчику, живое напоминание читателю о том, что здесь не просто, безотносительный к обстановке действия, рассказ светского *sausage*'а, говоруна, что между рассказчиком и одной из слушательниц существует совсем иная история, — всё это передано посредством лишь одной детали: во всё время её рассказа Настасья Филипповна пристально рассматривала кружево оборки на своём рукаве и щипала её двумя пальцами левой руки, «так что ни разу не успела и взглянуть на рассказчика». Как будто дело только в том, что у Настасьи Филипповны не было времени взглянуть на рассказчика! Настолько она была погружена в рассматривание и пощипывание кружева на оборке рукава. Это явно неверное, косвенное объяснение того, как держала себя Настасья Филипповна во время рассказа Тоцкого, именно своею косвенностью подчёркивает сдержанность Настасьи Филипповны, не желающей показать свои истинные чувства к рассказчику. Поэтому она не смотрит на него и не поднимает лица, делая вид, что целиком ушла в своё занятие. А внутри у неё всё клопочет от презрения, отвращения, в горле сдавливается обида, гневная ирония над

его благопристойностью. Она-то очень хорошо знает, в чём состоит один из действительно мерзких поступков Афанасия Ивановича, которых так много бывает на совести у «просвещённых эгоистов». Вся мера его ничтожества видна из сопоставления пустоты его рассказа с теми торжественными, достойными, такими благородными словами, которые он предпосылает своему рассказу. Видите ли, трудность его задачи: рассказать о самом дурном поступке в жизни — облегчается для него тем, что совесть и память сердца — слова-то какие высокие! — не могут не подсказать ему, что именно надо рассказать! Вот его совесть и подсказала ему рассказать о светской белиберде в то время, как рядом с ним находится погубленная им женщина.

Классична, опять-таки, своюю сдержанностью фраза, идущая вслед за окончанием рассказа Тоцкого:

«Афанасий Иванович примолк с тем же солидным достоинством, с которым и приступал к рассказу. Заметили, что у Настасьи Филипповны как-то особенно засверкали глаза и даже губы вздрогнули, когда Афанасий Иванович кончил».

Губы вздрогнули и глаза засверкали у неё от новой обиды, нового оскорбления, нанесённого ей этим рассказом, от ненависти, которую стало невозможно сдерживать. И всё-таки она не сказала ни слова, только опять небрежно проронила, что «пети-жэ» прескучное...

Вот где сказывается то высокомерное выражение, которое уловил князь в её портрете! Она не нарочито, а искренно небрежна с этими ничтожествами, с Епанчиным, Тоцким, она презирает их. Но она и ненавидит их, а там, где ненависть, там презрение не может быть спокойным.

И она бунтует, как может. Её бунт больной, надрывный. Читатель никак не может забыть словечка: почти, стоящего рядом со словом ненависть. В этом смягчении, ослаблении её ненависти есть что-то щемяще-тоскливое: ведь в этом — её женственность, её слабость, её одиночество, её незащитность, её доброта, её нежелание ненавидеть... И всё же её бунт — это бунт против всего общества, против фальши и лжи этого общества, лицемерия, проклятой респектабельности, прикрывающей подлость, против власти денег, против всего этого безобразного мира пауков во фраках и мундирах! Это бунт оскорблённой красоты, попранной человечности, поруганной женственности. И Достоевский бунтует вместе с нею!

Кульминация бунта Настасьи Филипповны — в той сцене, где она бросает в огонь рогожинскую пачку со ста тысячами рублей. Это вместе с тем и кульминация антикапиталистической темы в творчестве Достоевского. И это, вне всякого сомнения, генеральнейшие страницы мировой литературы.

Стоит лишь вдуматься во всё содержание романа и в историческую обстановку, в которой происходит действие, чтобы понять всю значительность этой сцены, почувствовать силу пламени, уже охватившего рогожинскую пачку, обвязанную грубой бечёвкой.

Толкователь Апокалипсиса Лебедев толкует эпоху, изображаемую в романе, как царство меры, всеобщего разъединения, проклиная власть денег и вместе с тем сам — ярый служитель этой власти, способный за пятьдесят рублей защищать в суде не старуху, ограбленную ростовщиком, а ограбившего её ростовщика. Таково всё это заражённое дьявольской властью денег общество. И Настасья Филипповна бросает в лицо всему этому обществу своё проклятие! Вот типичнейший человек этого общества, корректный молодой господин Иволгин. Как великолепно унижает его Настасья Филипповна! «Да неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой жемчуг дарит чуть не накануне твоей свадьбы, а я беру? А Рогожин-то? Ведь он в твоём доме, при твоей матери и сестре меня торговал, а ты вот всё-таки после того свататься приехал, да чуть сестру не привёз? Да неужто же правду про тебя Рогожин сказал, что ты за три целковых на Васильевский ползком доползёшь?»

— Доползёт, — проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения.

— И добро бы ты с голоду умирал, а то ведь жалованье, говорят, хорошее получаешь! Да ко всему-то впридачу, кроме позора-то, ненавистную жену ввести в дом! (потому что ведь ты меня ненавидишь, я это знаю!) Нет, теперь я верю, что этакой за деньги зарежет! Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги,

что они словно одурели. Сам ребёнок, а уж лезет в ростовщики! А то наматает на бритву шёлку, закрепит, да тихонько сзади и зарежет приятеля, как барана, как я читала недавно...»

Власть денег закрепляется, триумфально шествует по стране. Жажда денег обуяла, кажется, всех. Кругом ростовщики. «Сам ребёнок, а уж лезет в ростовщики» — в этой фразе содержится тема романа «Подросток». Власть денег плодит и множит кровавые преступления. Всё продаётся и покупается за деньги — и слава, и доблесть, и честное имя, и сама красота.

И вот прекрасная женщина, одна, среди волков, скалящих на неё зубы в жажде купить её, продать, нажить на её красоте деньги, сожрать красоту, — в страшной тьме зловецей, всесильной власти денег, — встаёт перед миром, погрязающим в деньгах, и, проклиная власть денег над человеком, предаёт всю эту дьявольскую власть огню!

— Красота неподкупна! Красота не продаётся и не покупается! Красота спасёт мир!

Унижение Ганечки Иволгина принадлежит к числу наиболее острых унижений денежного человека из всех, какие только знает мировая литература. Страсть к деньгам, мечта о капитале — вся цель и страсть его жизни. И вот он может, по условию, поставленному Настасьей Филипповной, выхватить сто тысяч из огня, как только огонь обхватит всю пачку, и тогда все сто тысяч — его! Что победит в человечке с наполеоновской бородкой — самолюбие или жажда денег? Если бы он ринулся в огонь за этой пачкой, он был бы слишком примитивной фигурой, из его образа ушло бы наполеоновское самолюбие. Но вот так — выдержать отчаянную внутреннюю борьбу при виде огня, подползающего к деньгам, не броситься за ними в огонь, а потом ему, молодому, здоровому, сильному человеку, грохнуть на пол в обмороке — это унижение куда более сильное! Здесь действует закон искусства, сформулированный К. С. Станиславским: показывая злого, ищи, где он добрый; его доброта сильнее подчеркнёт главное, определяющее в нём: злобу. По той же причине, показывая доброго, ищи, где он злой: его злость сильнее подчеркнёт доброту. Показывая денежного человека, Достоевский показал такой момент в его жизни, когда он устоял перед соблазном огромных денег, — но то, как он устоял, что он выдержал в этом испытании, с гораздо большей силой подчеркнуло всю его одержимость денежной страстью, чем если бы он бросился в огонь за деньгами.

Уже одно то, что он вообще способен был так мучиться, колебаться при столь унижительном, презрительном испытании, глубоко подтверждает правильность существования того, что он способен за деньги человека зарезать. Он оказался неспособным себя «зарезать», бросить в огонь своё самолюбие, чтобы взамен вынуть из огня деньги, — но это другое дело! Иначе он не был бы человечком с наполеоновской бородкой...

Как и другие произведения Достоевского, роман выражает глубокое отчаяние и безвыходность.

Тут и безвыходность трагического бунта Настасьи Филипповны, как, в конечном итоге, безвыходность и всякого бунта в произведениях Достоевского. Тут и гибель красоты. Весь роман окрашивается лейтмотивом — темой гибели всего прекрасного в мире. Природа бессмысленно жестока и дьявольски насмешлива. Она создаёт самые лучшие существа для того, чтобы погубить их. Так гибнут три прекрасных существа: Настасья Филипповна, князь Лев Николаевич Мышкин, Аглая, чья судьба тоже оказывается судьбою потерянной женщины. И общество и сама природа олицетворяются в образе мерзкого насекомого из кошмара Ипполита, поедающего всю красоту жизни. Взаимное поядение — таков единственный закон и общества и природы, и истинный хозяин всего на свете — чудовищный гад, живущий и в душе Рогожина и в душе самолюбцев, подобных Гане Иволгину, Ипполиту. И сам князь Лев Николаевич Мышкин не избежал общего закона гибели и поядения всего прекрасного. Рогожин убил не только Настасью Филипповну, он убил и душу князя Льва Николаевича, вернув его вновь, и на этот раз уже навсегда, в мрачную пучину болезни: не какого-нибудь идиотизма в переносном, поэтическом смысле, а самого настоящего, безобразного идиотизма, превращающего человека в животное. Достоевский проводит во всём романе идею тождества звериных законов природы со звериными

законами общества: и там и здесь — кошмар хищного насекомого! Эта идея терзала Достоевского. Образ Христа он связал с нею. Картина Гольбейна, изображающая Христа, снятого с креста, подчёркивающая физические муки, играет в романе значительную роль; частое упоминание об этой картине призвано усилить идею бессмысленной жестокости и насмешки природы, губящей лучшие существа на земле, идею всемогущества хозяина всего сущего — фантастически отвратительного гада. Безысходный социальный пессимизм оборачивается в романе и как безысходный вселенский, космический пессимизм.

Приход к людям «положительно-прекрасного» существа в образе Льва Николаевича Мышкина ничего не смог изменить, улучшить в жизни, подобно тому как и возвращение Христа на землю явится бесплодным в «Легенде о великом инквизиторе». Жестокой насмешкой над самим автором оказывается то, что его «положительно-прекрасный» человек не только ничего не смог улучшить, облагородить в жизни, но, наоборот, оказался способным лишь к содействию гибели людей, сблизившихся с ним.

Настасья Филипповна помещалась с того самого мгновения, когда князь предложил ей выйти за него замуж. Она уже решила погубить себя, пойти на этот, единственно доступный для неё способ протеста и мести кому-то. В её решении пойти с Рогожиным, стать рогожинской, — презрение к лицемерию, фальши общества: правда, какою бы грубой она ни была, лучше лжи, какою бы благопристойной ни была ложь! Правда в том, что она была наложницей Тоцкого, что её покупают и продают. — Так лучше открытая рогожинская покупка её красоты, честнее прямо стать рогожинской, личной, чем та купля-продажа, прикрытая приличием светского брака, которую предлагает ей общество! Тоцкий, навязываемый им и генералом Епанчиным брак с Ганечкой — всё это ложь общества, прикрытая цветами. Цветы, прикрывающие ложь, — это пошлость. Рогожин — грубая, открытая правда этого общества. Трагедия несовместима с пошлостью. Настасья Филипповна предпочитает пошлости открытую грубость.

И вот неожиданно князь делает ей предложение.

Он единственный чистый человек, встретившийся ей в жизни. Он единственный, понявший и уважающий её.

Но может ли она, с её гордостью, принять любовь-жалость? И — если поставить тот же вопрос во внутреннем, подводном, поэтически обобщённом значении её образа: может ли красота, гордая собою, — как и всегда красота горда собою! — принять жалость?

Та самая любовь-жалость, любовь-страдание, которая была столь близка сердцу Достоевского, обнаружила в отношении к Настасье Филипповне своё полное бессилие, моральное банкротство. Жалость к ней князя ещё сильнее подчеркнула в глазах Настасьи Филипповны всю унижительность её положения.

Если бы князь был способен дать ей настоящую любовь!

Но он не может никому дать простую, земную, настоящую, человеческую любовь. Кажется, к Аглае у него более земное и человеческое чувство. Но и в судьбе этой хорошей, чистой, обаятельной девушки, искавшей какого-то выхода из окружающей её пошлости, каких-то идеалов и поэзному полюбившей князя, Лев Николаевич Мышкин тоже сыграл фатальную роль, дав толчок к её гибели.

Художник вынужден признать всем ходом своего романа полный жизненный крах своего самого любимого героя. Не только в отношениях с двумя женщинами, но и во всех своих отношениях с людьми князь Мышкин оказался неспособным внести хоть какой-то свет в жизнь, хоть что-то противопоставить обуйавшему всех безумству денег, власти слепых и злобных разрушительных страстей. Наоборот, он сам погиб в схватке чужих страстей, сам повержен гадом, воплощающим бессмысленную вселенскую злобу...

Автор переносит проблемы в метафизическую сферу. Дескать, «царствие моё не от мира сего!» В этом ключ к объяснению жизненного банкротства князя Льва Николаевича. Он идеал той жизни, тех отношений, которые и не могут воцариться на земле...

Всесильной представлена в романе безобразная, безголово-бессмысленная злобная власть невообразимого уроды над всем миром. Отвращение и ужас перед безобразием

социальной действительности переплелись у Достоевского с отвращением к самой природе, к некоему, так сказать, вселенскому закону всеобщего взаимного поядения.

Разрыв с передовой общественной мыслью, утеря какой бы то ни было опоры в объективном развитии действительности не могли не привести к полному пессимизму...

В романе «Идиот» больше света, чем в «Преступлении и наказании» и последующих романах Достоевского: вспомним пронизанное мягким ласковым светом свидание князя Льва Николаевича с Аглаей на зелёной скамейке; в этом романе много — для Достоевского много! — милых, обаятельных людей: Аглая, Коля, Вера Лебедева, Лизавета Прокофьевна, чистый сердцем ребёнок, на которого так похожа во многом её дочь Аглая: тут много неотразимого юмора, связанного с классическим образом вруна — генерала Иволгина. Есть светлый юмор и в отношении автора к герою романа. И всё же это книга отчаяния и безысходности...

Но, так или иначе, роман «Идиот» являлся бы художественно законченным произведением, если бы он оставался романом: о трагической судьбе Настасьи Филипповны; о князе Мышкине, глубоко сочувствующем ей в её страданиях и своею детскою простотой и чистотой противостоящем вместе с нею обществу, против которого она по-своему бунтует; о милой девушке Аглае, неудачно полюбившей этого странного князя; о Тоцких, Епанчиных, о человечке с наполеоновской бородкой, о купце Рогожине, — словом, если бы роман оставался той глубокой социальной трагедией, которую он и является в этом, главном своём содержании и значении. Сюда же, к этой социальной трагедии, примыкает и ряд других образов: и генерал Иволгин, в котором вследствие его падения с особенной ясностью обнажается вся пустота и пошлость той жизни, которая в Тоцком, Епанчине и прочих прикрыта респектабельностью, и который вместе с тем неизмеримо симпатичнее многих других, потому что врёт бескорыстно, живёт, как ребёнок; и толкователь Апокалипсиса, бывший судейский, частный ходоатай Лебедев, в котором всё взболтано, перемешано — хорошее и дурное, ибо сама действительность, с её денежными и страстями, так «взбалтывает» людей. Нужно было бы говорить о пессимистичности этого романа, о его мистической тенденции, о других идейно-художественных слабостях.

Но нельзя было бы говорить о чрезвычайно странном, уникальном феномене, который получился в романе «Идиот»!

Нельзя было бы говорить о двух романах в одном романе, из которых первый — истинно-художественный, представляющий собою социальную трагедию, разоблачающую дворянско-буржуазное общество, а второй — антихудожественный, фальшивый «антинигилистический» памфлет, защищающий то самое дворянско-буржуазное общество, которое так правдиво разоблачалось в «первом» романе!

Такое могло произойти только с автором «Двойника»! Постоянная раздвоенность Достоевского проявилась поистине в неожиданном виде. Внутренний пафос вёл писателя к глубокому сочувствию бунту против подлости и пошлости буржуазно-дворянского мира. Реакционная тенденция вела к поддержке и защите этого мира. Социальная раздвоенность художника проявилась в прямо противоположном освещении одних и тех же образов в «первом» и во «втором» романах.

«Второй» роман образуется вследствие введения вставной, добавочной по отношению к развитию сюжета и темы произведения истории «нигилистической» компании Бурдовского, Ипполита, всей этой выдуманной, угрюмой, анекдотически-глупой оравы марионеток. Никакого отношения к реальному сюжету романа Бурдовский и Ипполит не имеют, никакого, хотя бы косвенного влияния на судьбы героев, движущий сюжет, эти, да же не побочные, персонажи не оказывают. Есть внутренняя ирония в том, что Бурдовский, претендующий на признание себя побочным сыном Павлищева, на деле не оказывается даже и побочным сыном. Таково положение Бурдовского, Ипполита и всей компании в самой структуре романа.

Именно они-то и образуют основу «второго» романа, представляющего собой самую настоящую злокачественную опухоль в художественной ткани. Их вторжение и перекосило весь роман, искривило все его образы до неузнаваемости, так что все знакомые нам лица вдруг стали совсем иными, предстали в новом свете, в ином положении, в совсем иной логике!

Какое же перемещение сил произошло в романе вследствие неожиданного вторжения «антинигилистического» памфлета?

Всё дело в том, что в «первом» романе обществу противопоставлена Настасья Филипповна, а во «втором» романе обществу противопоставлены «нигилисты». В «первом» романе автор сочувствует Настасье Филипповне, противостоящей обществу, и общество дано резко отрицательно. Во «втором» романе автор не только не сочувствует «нигилистам», противостоящим обществу, а, наоборот, «обличает» их, и общество изображено уже не отрицательно, а скорее сочувственно. Автор настолько увлечён своим памфлетом против «нигилизма», что не замечает, как совсем по-иному начинают выглядеть у него люди из общества. А они начинают тут выглядеть очень порядочно, ибо сравниваются с мрачнейшими, сочинёнными авторской фантазией ублюдками! Так, генерал Епанчин во «втором» романе — уже солидный, почтенный, заслуживающий известного уважения, по-своему даже благородный человек, справедливо возмущающийся поведением безобразных молодых людей. Та самая благопристойность, корректность, чинность, внешнее благообразие, прикрывающие пошлость и бездушие, — всё то, что ненавидит и презирает, против чего бунтует Достоевский в «первом» романе вместе с погубленной Епанчиными и Тоцкими прекрасной женщиной, — всё это здесь, во «втором», — предстает уже скорее в положительном освещении! О генерале Епанчине автор теперь уже говорит, что у того доброе сердце. Когда генерал заявляет о клеветнической статье против князя Мышкина: «точно пятьдесят лакеев вместе собирались сочинять и сочинили», — то автор сочувствует этому меткому, умному и, конечно, совершенно справедливому замечанию. Но, сочувствуя замечанию генерала о «пятидесяти лакеях», Достоевский забывает, что сам генерал есть не кто иной, как воплощение пятидесяти лакеев! Если бы писатель не забыл об этом, то и не вложил бы в уста генерала эту реплику о лакеях. Перед читателем встает вопрос: когда же писатель был серьёзен, какому из двух обликов генерала Епанчина следует верить? Такой вопрос возникает в отношении каждого из персонажей, представляющих людей общества. И это неизбежно, коль скоро кто-то в романе должен возмущаться выдуманными автором «нигилистами», противостоять последним в качестве порядочных людей. А такими людьми тут только и могут оказаться люди из общества! Так и пошляк Епанчин предстает во «втором» романе симпатичным, немного «пошаливающим», но достойным человеком, уважаемым гражданином и деятелем.

Конечно, он при этом становится вдвойне противным для читателя, но не по-прежнему противным, не так, как в «первом» романе, когда читатель в союзе с автором презирал этого дельца! Во «втором» романе нам уже противен не только генерал Епанчин, но и то, как изображён генерал Епанчин.

Светский хлыщ Евгений Павлович, пустейший франт с темноватыми обстоятельствами биографии, во «втором» романе получает от автора неожиданное поручение представлять авторскую идейную позицию, высказывать очень умные, по мнению автора, и глубокие мысли; мы должны теперь относиться к Евгению Павловичу уже не как к воплощению светской пустоты, каким он являлся в «первом» романе, а как к идеологу, что ли, во всяком случае серьёзному человеку. Какие странные превращения! Автор не замечает, что он совершает насилие над читателем, заставляя последнего перестраивать всё своё отношение к персонажам.

Ганечка Иволгин тоже оказывается во «втором» романе порядочным человеком, скромным, прекрасно воспитанным, защищающим справедливость и права князя Мышкина против нелепых, возмутительных клеветнических вымогательств Бурдовского и его друзей и вместе с тем достаточно широким и справедливым для того, чтобы подчеркнуть субъективную чистоту Бурдовского. Умница, достойный, справедливый, добропорядочный Ганечка! Это тот самый, который за деньги человека зарежет... Какой поистине ряд волшебных изменений отнюдь не милых лиц! Возникает уверенность, что если бы и Афанасий Иванович Тоцкий не «выбыл» из романа к моменту вторжения компании Бурдовского, то и Тоцкий теперь предстал бы истинно порядочным человеком!

Получается вместо той определённости, социальной типизированности образов, с которой мы встретились в «первом» романе, какая-то каша, что-то вроде благодушной

амнистии, снисходительности к пошлости-подлости всех тех людей из общества, которых мы презирали в «первом» романе в таком дружном союзе с автором. Конечно, мы продолжаем презирать их и во «втором» романе, меняется не наше отношение к этим персонажам. Но наше отношение к автору изменилось. Союз читателя с писателем разорван.

Достоевский выступает в качестве снисходительно-благодушного изобразителя пошлого «общества», «высшего света»! Как это странно! Но такова логика фальшивой позиции. Реакционная тенденция не есть что-то при ш и т о е, внешнее: она проникает в самоё художественную ткань, разъедавая её, подобно раку.

Если те персонажи, которых в «первом» романе нам предлагалось презирать и ненавидеть, амнистируются во «втором» романе, то, наоборот, те герои, которых мы любили в «первом» романе, теперь предстают перед нами — увы! — в ином свете... И автор оказывается способным не заметить этого изменения!

Мы, например, полюбили Лизавету Прокофьевну за её прямодушие, непосредственность, за её любовь к князю, к Коле, за её детскую простоту, за её душевную близость к чудесной Аглае, за то, что она и хотела бы жить, как все, в этом обществе, но не умеет, вы б и в а е т с я из тона и стиля своей непосредственностью и простодушием. В «первом» романе мы чувствовали некоторую отдалённость в отношениях между супругами Епанчиными. А тут, во «втором» романе, какая идиллическая трогательность и согласие между пожилыми воркующими голубками! И как тут вдруг р а с с ч а с т л и в и л с я, употребляя его выражение, как умягчился сам автор во всём тоне, во всём колорите своего описания! После супружеских ссор, когда, по свойственной ей экспансивности, Лизавета Прокофьевна уже готова чуть ли не к р а з р ы в у со своим генералом, —

«Иван Фёдорович спасался немедленно, а Лизавета Прокофьевна успокаивалась после своего р а з р ы в а. Разумеется, в тот же день к вечеру она неминуемо становилась необыкновенно внимательна, тиха, ласкова и почтительна к Ивану Фёдоровичу, к «грубому своему грубияну» Ивану Фёдоровичу, к доброму и милому, обожаемому своему Ивану Фёдоровичу, потому что она всю жизнь любила и даже влюблена была в своего Ивана Фёдоровича, о чём отлично знал и сам Иван Фёдорович и бесконечно уважал за это свою Лизавету Прокофьевну».

Какая сладость! Сладость и в этой любовной иронии над милыми ссорами и примирениями любящих супругов, сладость и во всей интонации и в самом построении фразы с этим четырёхкратным повторением «Ивана Фёдоровича», с этим нагнетанием умилительных эпитетов...

А какую нравоучительную речь произносит Лизавета Прокофьевна против «нигилистов» и, в частности, против «женского вопроса», и как глубоко сочувствует этой речи автор! Но ни Лизавета Прокофьевна, ни автор не замечают глубокой внутренней иронии над ними самими, которая тут возникает.

Лизавета Прокофьевна упрекает компанию Бурдовского в безобразии и хаосе. Когда один из этой компании отвечает ей, что безобразия и хаос везде можно встретить, —

«— Да не такие! Не такие, батюшка, как теперь у вас, не такие! — с злорадством, как бы в истерике, подхватила Лизавета Прокофьевна». И далее она выражает возмущение в духе всем известной, старой, как мир, обывательщины, — р а с п у щ е н н о с т ь ю н ы н е ш н е й м о л о д ё ж и. «Тьфу! Всё навыворот, все кверху ногами пошли. Девушка в доме растёт, вдруг среди улицы прыг на дрожки: «Маменька, я на днях за такого-то Карлыча или Иваныча замуж вышла, прощайте!» Так это и хорошо так по-вашему поступать? Уважения достойно, естественно? Женский вопрос?.. Сумасшедшие! Диким и бесчеловечным общество признают за то, что оно позорит обольщённую девушку. Да ведь коли бесчеловечным общество признаёшь, стало быть, признаёшь, что этой девушке от этого общества больно. А коли больно, так как же ты сам-то её в газетах перед этим же обществом выводишь и требуешь, чтоб это ей было не больно? Сумасшедшие! Тщеславные! В бога не веруют, в Христа не веруют!»

Да, вот какой грозный обличитель Лизавета Прокофьевна! У нынешней молодёжи, дескать, слишком самостоятельно выходят замуж: это — безобразия и хаос. А вот то обстоятельство, что эта сурово морализирующая Лизавета Прокофьевна отлично знает

и о жемчуге, подаренном «добрым её Иваном Фёдоровичем» бывшей любовнице Тоцкого; и о плане «милого её Ивана Фёдоровича» женить Ганечку на бывшей любовнице Тоцкого для того, чтобы сделать её своей, Ивана Фёдоровича, любовницей; знает обо всём этом и прощает всё это своему «грубому грубияну» Ивану Фёдоровичу, — «потому что она всю жизнь любила и даже влюблена была в своего Ивана Фёдоровича, о чём отлично знал и сам Иван Фёдорович и бесконечно уважал за это свою Лизавету Прокофьевну», — всё это, изволите видеть, лучше, благороднее, чем «у вас», у нынешней молодёжи. Какая, однако, пошлость! Да, нельзя безнаказанно защищать пошлое общество...

Итак, в подтексте и здесь, как и в сцене «пети-жэ», оказывается Настасья Филипповна. Но в первом случае Достоевский видел подтекст. Там Настасья Филипповна была живым укором людям из «общества». А во втором случае невольно образующийся подтекст видит только читатель. И Настасья Филипповна является здесь живым укором самому автору. Он забыл о Настасье Филипповне. Он не слышит гнусности и лицемерия охранительной речи Лизаветы Прокофьевны, речи, являющейся, в сущности, защитой права обожаемого Ивана Фёдоровича и всех подобных ему безнаказанно совершать любые мерзости. Лишь бы всё было шито-крыто! И не дай бог, если в левой газетё появится сообщение о том, как подобный милый и добрый Иван Фёдорович или изящнейший Афанасий Иванович развратил какую-нибудь девушку. Как можно, ведь писать об этом в газетах — значит бесчестить оболщённую девушку! Пусть Тоцкие растлевают девочек, мы будем молчать об этом, потому что не хотим бесчестить девочек. Вот она, подлая охранительная софистика подлого общества!

Забыта Настасья Филипповна. Начисто забыта автором!

Да что же, её все казнят тут, в этом романе, в том числе и сам автор?

Ведь и князь Лев Николаевич — единственная её защита — смотрит теперь на неё глазами общества. Об этом говорит сцена в Павловском вокзале. Он, князь, чувствует теперь уже лишь ужас перед Настасьей Филипповной, как перед безумной. Он с Епанчинными, с Евгением Павловичем, в приличном светском обществе. А она, отверженная, неприличная, презираемая всеми этими людьми...

Она хлопчет о его счастье теми средствами, какими умеет. Она хочет во что бы то ни стало устроить его брак с Аглаей. Она не может принять его любовь. Она убеждена в том, что недостойна его чистоты. И вот она устраивает скандал в этом благопристойном обществе Евгению Павловичу, претенденту на руку Аглаи. До неё дошли сведения о некоторой жуликоватости Евгения Павловича, безупречного джентльмена.

В этой сцене в Павловском вокзале, среди лощёных пошляков и их дам, есть момент, который как будто возвращает нас к «первому» роману. «Офицер, большой приятель Евгения Павловича, разговаривавший с Аглаей, был в высшей степени негодования:

— Тут просто хлыст надо, иначе ничем не возьмёшь с этой тварью! — почти громко проговорил он. (Он, кажется, был и прежде конфидентом Евгения Павловича.)

Настасья Филипповна мигом обернулась к нему. Глаза её сверкнули; она бросилась к стоявшему в двух шагах от неё и совсем не знакомому ей молодому человеку, державшему в руке тоненькую плетёную тросточку, вырвала её у него из рук и изо всей силы хлестнула своего обидчика наискось по лицу».

О, мы сочувствуем этому удару по физиономии светской пошлости! Кстати, фраза в скобках значительна: офицер и прежде был лицом, которому Евгений Павлович всецело доверял и которого посвящал в свои дела. В этой фразе содержится намёк на то, что офицер в качестве конфидента знал секреты Евгения Павловича и, следовательно, знал и то, что в скандальных словах Настасьи Филипповны по адресу его приятеля содержится правда. Это делает его негодование, хамскую фразу о хлысте особенно подлыми.

Да, мы как будто возвращаемся к «первому» роману, когда мы в такой настоящей дружбе с автором, так сочувствуем трагическому, беспомощному, одинокому бунту Настасьи Филипповны против лощёных подлецов.

Но как всё изменилось! По каким бы то ни было причинам, а князь теперь не с нею, он с этим обществом...

Во «втором» — охранительном, «антинигилистическом» романе князь Лев Николаевич Мышкин вообще оказывается с этим обществом!

Да, простодушный князь Мышкин, который, со своей детской чистотой и прямо-той, в «первом» романе так или иначе противостоял пошлости «света», казался странным, чуждым в этом изъеденном ложью и фальшью обществе, — здесь, во «втором» романе, целиком и полностью сливается со всеми этими Евгениями Павловичами, генералами Епанчиными, говорит их голосом, их словами. Он их антинигилистический идеолог. Он теряет какую бы то ни было оригинальность, дававшую ему своеобразную привлекательность в глазах читателя. Он теперь такой же, как все эти люди из общества.

Задавшись целью изобразить героя, противостоящего своей чистотой и простотой грязной власти денег и всему обществу, пропахшему запахом денег, Достоевский не заметил, что он вывел во «втором» романе, в лице своего героя, охранителя «устоев» общества Тощих и Епанчиных!

Получается, что «вторым» романом автор заглаживает, смягчает резкости «первого» романа, как бы говорит читателю: в сущности, всё это не так уже страшно — все эти генералы Епанчины, Ганечки и прочие! Это даже довольно милые люди, с такими простительными человеческими слабостями!..

И произошло всё это изменение только вследствие вторжения в роман группы нелепых людей, которых автор во что бы то ни стало пожелал выдать за «нигилистов». Мы уже сказали о субъективистском произволе в обращении со своими персонажами, характерном для Достоевского. Ипполит со всей своей «исповедью» — это герой «Записок из подполья», заболевший смертельной болезнью. Именно так вёл себя перед смертью герой «Записок», как и полагается вести себя предельному эгоцентристу, убеждённому в том, что если он умирает, то всему свету следовало бы умереть. Ипполит — это герой «Записок из подполья», который корчится перед смертью, как перерезанный червяк. «Пусть весь мир провалится, а мне чтобы чай пить!» — говорил герой «Записок из подполья». «После меня — хоть потоп!» — ставит Ипполит эпитафией к своей «исповеди». Обе «исповеди» обнажают гнилое нутро индивидуализма. Герой «Записок из подполья» и Ипполит и думают и выражаются совершенно одинаково. Если герой «Записок из подполья» утверждал, что человек — деспот по своей природе и любит быть мучителем, то Ипполит пишет в своей «исповеди»: «люди и созданы, чтобы друг друга мучить». Словом, налицо тождество образов. И «только» лишь одно различие между двумя образами: первый — антинигилист, второй, по воле автора, — один из представителей «нигилистической» молодёжи. С предельной ясностью тут видна вся произвольность приклеивания различных идейно-политических этикеток к персонажам. Образ получается, что дышло: куда повернёшь, туда и вышло. Poleмика Достоевского с революционным лагерем ничего не принесла писателю, кроме глубочайшего вреда для художественной, моральной, идейной ценности его произведений.

В романе «Идиот» социальная раздвоенность Достоевского, раздвоенность его души, его мировоззрения выступает с особенной ясностью именно потому, что выступает в самой образной ткани и совершенно незаметно для автора. Это родственно голядкинской истории. Там было двое в одном. Здесь два романа в одном романе, прямо противоположные по своей идейной направленности и художественному значению. «Первый» роман — трагедия одинокого бунта против денежного общества. «Второй» роман — идиллия благопрстойности этого же общества. «Первый» роман велик и по идейному и по художественному значению, хотя в нём и немало упадочнического, мистического. «Второй» роман мелок, пошл, антихудожественен.

В нашем литературоведении всё ещё приходится встречаться с отзвуками механического разделения писателя на мыслителя и художника. Дескать, мировоззрение и художественная правда — разные вещи: можно быть правдивым художником и одновременно лживым, реакционным мыслителем. Разумеется, нет прямолинейного тождества между мировоззрением и художественной правдой. Реализм может взять своё и вопреки тем или другим ложным взглядам художника. Но мировоззрение художника — это, в конечном итоге, и есть его творчество. То подо-

жительное, что было в мировоззрении Достоевского,—ненависть к дворянско-буржуазному обществу, глубокое сочувствие страданиям обездоленного большинства человечества,—именно это и давало силу художественной правды его произведениям. А всё то, что связывало Достоевского с реакцией, его страх перед революцией, религиозно-мистические устремления, отрицание каких-либо положительных моментов в объективном движении исторического процесса,—всё это ослабляло, грубо искажало, уродовало художественную правду.

В романе «Идиот» Достоевский и возвысил и снизил Настасью Филипповну. Он возвысил её образ над подлостью и пошлостью дворянско-буржуазного общества. Но, сам того не замечая, он если не простил это общество, то дал ему послабление; и не заметил, как этим снизил образ Настасьи Филипповны. Если это общество не так уже плохо, то и Настасья Филипповна начинает выглядеть всего лишь помешанной скандалисткой. Такою мы и видим её в Павловском вокзале, глазами респектабельной толпы. Такою видит её и князь, слившийся с этой толпой. Он просит прощения за неё у пошляка-офицера! Дескать, она помешанная... Такое унижение граничит с предательством.

Роман Достоевского ушёл в песок. Он измельчал. Он колеблется, шатается. Социальный протест и охранительство не вяжутся между собой. Одно ослабляет другое. Бесхарактерность страшна в искусстве так же, как и в жизни, в политике.

Невольно приходит на память, что Л. Толстой в письме к Н. Страхову сравнивал Достоевского с рысаком, у которого заминка: «рысак, да куда на нём не уедешь, если ещё не завезёт в канаву».

Раздвоенность Достоевского приводила к «чудесам», невозможным ни у одного другого большого художника: неожиданное искривление, искажение характеров всех героев, смещение всей идейно-художественной основы произведения, остающееся незаметным для автора.

Образ рысака, способного завезти с дороги в канаву, оказывался точным.

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

«Братья Карамазовы», «Записки из подполья», «Бесы» — наиболее тенденциозные произведения Достоевского. В этих романах художник наименее свободен, наиболее связан реакционной тенденцией. «Братья Карамазовы» перенасыщены откликами на злободневность, борьбой против всего прогрессивного в современности. Гласный суд, институт присяжных, недавно введённый, берётся в романе под обстрел. Весь судебный процесс над Дмитрием Карамазовым, столь подробно изображаемый, призван доказать несостоятельность нового суда. В первой части романа предварительно «обосновывается» превосходство суда церкви: только она-де способна проникнуть в душу преступника, привести его к искреннему покаянию и избежать ошибок, неизбежных для «мирского» суда. Подвергается очернению прогрессивная печать. Автор превращает своё произведение в рупор шовинистических идей. Влияние Победоносцева сказывается во всём романе. «Братья Карамазовы» писались в большой степени по прямому заказу правительственных кругов. В ценной работе Л. П. Гроссмана «Достоевский и правительственные круги семидесятых годов» («Литературное наследство», № 15, 1934) рассказано о связях Достоевского с высшей бюрократией, с царским двором, прослежено, в связи с какими именно актуальными политическими потребностями правившей реакции автор вводит в роман те или другие мотивы.

Более чем в каком-либо другом произведении, Достоевский скован здесь не только узкополитическими злободневными задачами реакционного лагеря, но и прямой проповедью теократии. Это церковнический роман. Автор утверждает, что спасение только во власти православной церкви; дескать, только она может предохранить человечество от торжества смердяковщины. Так же как и в «Бесах», Достоевский напрягает все свои силы для борьбы с лагерем революции и, так же как и в «Бесах», фактически поражает не революцию, а буржуазный или дворянско-помещичий аморализм.

Место семьи Мармеладовых заняла семья Снегирёвых: попытка писателя повторить самого себя! Кипение жизни, настоящая социальная трагедия, страшная правда

действительности, эпический образ Катерины Ивановны — образ проклятия всему царству бесправия и нищеты; и — некоторая приторность, нарочитая жалкость в изображении семьи Снегирёвых, ослабляющая трагизм образов Илюшечки и его отца.

Место «инферальной» Настасьи Филипповны занимает в «Братьях Карамазовых» Грушенька. За Настасьей Филипповной была огромная, трагическая жизненная тема; вставали образы поруганной красоты, образы бунта. Настасья Филипповна противостояла обществу.

В Грушеньке есть черты привлекательности, но всё же насколько мелок её образ по сравнению с образом Настасьи Филипповны! Грушенька не противостоит обществу, а сливается с ним. Толковая выученица своего «благодетеля», купца-миллионщика, отлично умеющая зашибить деньгу, скупая, ловкая, бойкая мещаночка, очень смазливая, влюблённая, как кошка, в своего благородного зверя Митеньку, готовая за ним в огонь и воду, — в какое же сравнение может идти Грушенька с Настасьей Филипповной! Настасья Филипповна предаёт власть денег огню. Грушенька накапливает деньги.

Алёша, заменивший здесь князя Мышкина, тоже несравненно мельче своего предшественника. Тот был символом любви и чистоты, «сошедшей» в заражённый властью денег, нечистый мир; он противостоял этому миру и, в конечном итоге, был погублен им.

Алёша Карамазов — полнейшая безличность. За ним нет никакой большой темы, никакой индивидуальности, он только слащавый рупор слащавых церковнических идей. Он занят с утра до ночи хлопотами и беготнёй по грязным карамазовским делам, способен притерпеться и совершенно свободно дышать любой душевной грязью, не чувствуя её.

В романе произошёл тяжёлый самообман писателя.

Автор видит свои образы далеко не такими, какими они получились на деле.

Прав Л. П. Гроссман, отмечающий некоторое увядание художественного таланта писателя в «Братьях Карамазовых». Конечно, творческий гений Достоевского живёт, а в кульминационном моменте романа поднимается до высоты огромного события мировой литературы! Но это относится именно лишь к великолепным кульминационным моментам. Во всём остальном хотя и сохраняется та изобразительная сила таланта Достоевского, которую отмечал Горький, всё же коренную фальшь романа, искажающую весь его облик, невозможно скрыть какой бы то ни было убедительностью подробностей. И тут дело не только в увядании таланта: самое это увядание находится в прямой связи с ложью тенденции, со страшным усилением реакционного субъективизма, с активным, так сказать, программно-разработанным церковничеством, инспирированным Победоносцевым. Тихие беседы в субботние вечера под церковный звон с елеиним колдуном — по характеристике А. Блока, — простёршим над Россией свои совиные крыла, — беседы, в которых тонкий и фанатичный православный инквизитор, первый ханжа и святоша, умел находить тропы к сердцу писателя, используя его страх перед разгулом хищных страстей, «всеобщим» аморализмом, — эти беседы не прошли бесследно. Над душой Достоевского, над его романом тоже были простёрты совиные крыла...

Писателю кажется, что он достиг того, чего хотел, вызвал симпатии читателя к своим любимым героям.

Но весь «актив» Грушеньки, всё, что должно вызвать читательские симпатии к ней, — её самозабвенная любовь к Дмитрию Карамазову. Однако этого мало хотя бы уже потому, что мал Дмитрий.

Весь роман построен так, что читатель должен считать Дмитрия Карамазова невинно пострадавшим и, жадно следя за всеми, занимающими чуть ли не весь объёмистый второй том перипетиями следствия и судебного процесса, замирать от тревоги за судьбу «хорошего человека», невинного, но против которого — поди ж ты! — так несчастливо сошлись все улики, что его неминуемо должны осудить. И действительно, при первом чтении это очень захватывает. Автор, кажется, блистательно развил противопоставление взаимоисключающих, не могущих быть понятыми одна другою, двух логик — юридической правды и человеческой правды. Художник играет

непрерывными противопоставлениями одного другому и заставляет нас при этом жалеть бедного «Митеньку».

Дмитрий Карамазов способен в безумстве своих страстей убить любого, кто подвернется под руку. Да, он способен убить. Недаром на протяжении всего романа от него только и слышишь: убью отца, убью такого-то или такую-то, если бы не то-то, обязательно бы убил; словом, убью, убью, убью...

И вот нам предлагают жалеть и любить «Митеньку» так, как если бы речь шла о его трагической вине. Весь роман ориентирован на такую нашу симпатию к Дмитрию, как если бы перед нами развёртывалась судьба действительно невинно осуждённого. Весь роман написан в расчёте на наше глубоко сочувственное переживание каждой детали митиных мучений, на наше возмущение несправедливостью, бездушным следователей, прокурора, присяжных. Мы должны жалеть Митю, беззащитного перед лицом страстей, потому что, с точки зрения автора, ведь это не зависит от Дмитрия, это дьявол с богом борется, а поле битвы — ничем не защищённые сердца людей.

Да, при первом чтении, думается, над многими читателями господствует гипнотическая сила Достоевского, и мы поддаёмся убедительности художественных подробностей, склонны принять художественно-психологическую позицию автора. Но и при первом, чаще всего юношеском чтении что-то упрямится в нашем сознании, какое-то несогласие упорствует в нас и мешает до конца принять за правду всё предлагаемое нам художником. А при последующих чтениях мы уже яснее понимаем, в чём причина нашего несогласия с писателем.

Автор настаивает на двух правдах: юридической и человеческой, стремится обнажить внутреннюю неправду юридической правды. Он расходует бездну таланта для того, чтобы со свойственным ему стремлением заострять всё до самого предела и вести спор на высоком уровне, предоставить противнику возможность самой сильной аргументации. Он нарочито подбирает, складывает все обстоятельства таким образом, чтобы юридическая правда предстала во всём своём блеске, со всей силой убедительности. Доказательства в пользу обвинения Дмитрия безупречны, неопровержимы: действительно, как можно не обвинить человека, если в числе многочисленных доказательств его вины есть, например, его сообщение в собственноручном письме к Катерине Ивановне, что он обязательно убьёт своего отца, — «только бы уехал Иван». Забота о том, чтобы не помешал Иван, ожидание его отъезда как нельзя более убедительно доказывает следствию и суду обдуманность, взлелеянность в воображении Дмитрия преступления. Как не осудить человека после такого свидетельского показания на суде, как показание Катерины Ивановны? Словом, всё подобрано автором с таким расчётом, чтобы мы ни в коем случае не могли сетовать на небрежность следствия и суда, невнимательность, пристрастие и т. п. Нет, с юридической точки зрения всё обстоит блистательно, и ничего другого и ожидать нельзя! Безупречность юридической правды нужна автору для того, чтобы подвести читателя к выводу: даже и безукоризненная, единственно возможная, до предела убедительная юридическая правда всё-таки сказывается неправдой с человеческой точки зрения! А эту человеческую точку зрения, мол, может постигнуть, своими особыми путями, только суд православной церкви, как высшего и единственного морального авторитета в этом мире, где утеряны все моральные нормы и скрепы. Таков замысел автора.

Достоевский стремится с наибольшей остротой противопоставить юридическую и человеческую правду, показать абсолютную невозможность их схождения, сближения, их органическую взаимную чуждость. Он хочет сказать: то, что важно с юридической точки зрения, совершенно неважно с единственно верной человеческой точки зрения, и наоборот.

Но если так, то почему же мы должны сочувствовать Дмитрию с такой силой симпатии к нему, какую хочет вызвать в нас автор? Как раз с человеческой точки зрения он виновен! Ведь Дмитрий только и делает, что убивает. Ворвавшись в дом отца своего и увидев, что старик Григорий — тот самый Григорий, который вынудил его, заменил отца, — защищает вход в комнату Фёдора Павловича, «Дмитрий не вскрикнул, а даже как бы взвизгнул и бросился на Григория...

...Вне себя от ярости, Дмитрий размахнулся и изо всей силы ударил Григория. Старик рухнул как подкошенный, а Дмитрий, перескочив через него, вломился в дверь».

Затем Дмитрий Фёдорович входит в непосредственное соприкосновение со своим родным отцом. Он «поднял обе руки и вдруг схватил старика за обе последние космы волос его, ушелевшие на висках, дёрнул его и с грохотом ударил об пол. Он успел ещё два или три раза ударить лежащего каблуком по лицу. Старик пронзительно застонал...

— ...Сумасшедший, ведь ты убил его! — крикнул Иван.

— Так ему и надо! — задыхаясь, воскликнул Дмитрий.— А не убил, так приду ещё убить. Не устережёте!»

Конечно, всё это происходит в состоянии крайнего возбуждения, а ф ф е к т а. Кстати, Достоевский издевается над понятием а ф ф е к т а, вкладывая в уста дуры грёпужи Хохлаковой рассуждения об а ф ф е к т е, высмеивающие и самое дуру, и понятие а ф ф е к т а, и склонность либеральных адвокатов оправдывать убийц ссылкой на то, что преступление было совершено в момент а ф ф е к т а.

С юридической и всяческой точки зрения, разумеется, исключительно важно то обстоятельство, что Дмитрий не убил отца. Он почти убил; не убил только случайно. Но с человеческой точки зрения, на которой настаивает Достоевский,— почему же мы всё-таки должны так сильно сочувствовать «Митеньке», если он то и дело почти убивает людей? Получается, что сам автор фактически становится на столь презируемую им и высмеиваемую юридическую точку зрения! Дмитрий, дескать, в конечном итоге, не убил. Следовательно, речь идёт ф а к т и ч е с к и, вопреки воле Достоевского, не столько о противопоставлении юридической точки зрения — человеческой, сколько о противопоставлении более справедливой юридической точки зрения менее справедливой юридической же точке зрения, выразившейся в судебном приговоре. Но в таком случае теряет всё своё значение противопоставление «двух правд», двух логик. Речь, следовательно, идёт просто о судебной ошибке. Но.. интересно ли такая тема для большого романа большого художника?

История судебной ошибки в романе Л. Толстого «Воскресение» насыщена поистине колоссальным социальным, художественным, психологическим значением. Всё бездушие судебной машины эксплуататорского государства встаёт перед нами. Мы с глубокой болью переживаем судьбу Катюши Масловой, потому что страдания её содержательны, глубоко социальны. Страдания же «Митеньки» Карамазова, почти убивавшего подвёртывавшихся ему под руку людей во имя того, что «у Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался», — не могут идти в сравнение по своей человеческой ценности со страданиями Катюши Масловой.

Возникает очень важный вопрос в связи с рассматриваемым внутренним противоречием романа. Это вопрос о снижении моральных критериев, о крайней моральной терпимости. Кстати, она приводит тонкого психолога Достоевского порою именно к психологической неубедительности.

В самом деле, всё поведение Дмитрия в главе под названием «В темноте», история с ударом медным пестиком, нанесённым Дмитрием по черепу старику Григорию, остаётся без убедительного психологического объяснения.

Митя готов убить отца.

«Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана...»

После многоточия, заканчивающего строку, Достоевский ставит ещё строку сплошного многоточия — завесу над происходящим, и описание из настоящего времени переходит в прошедшее, в воспоминание Дмитрия:

«Бог,— как сам Митя говорил потом,— сторожил меня тогда: как раз в то самое время проснулся на одре своём больной Григорий Васильевич».

Понять это можно только так: Дмитрий услышал пробуждение Григория, его выход на крылечко, испугался, оставил мысль об убийстве и изо всей мочи помчался к забору, чтобы перескочить его и убежать от Григория. Но, конечно, это не является причиной, удержавшей Дмитрия в самую последнюю минуту от преступления.

Дмитрий уже выхватил пестик из кармана, чтобы ринуться через открытое окно и поразить Фёдора Павловича. До преступления остаются секунды. Григорий Васильевич «проснулся на одре своём» как раз в то самое время, то есть в эти самые секунды. Он поднимается на постели. Затем он что-то обдумывает. Затем одевается. Затем уже выходит на крылечко и т. д. Словом, тут счёт идёт не на секунды, а на минуты. За эти минуты Дмитрий не раз успел бы размахнуться пестиком.

Но почему же автор разъясняет смысл слов Мити «бог сторожил меня» таким образом, что эти слова можно понять только в одном значении: проснулся Григорий? Самое упоминание о Григории в этой связи неминуемо создаёт впечатление, что Дмитрий мчится изо всех сил к забору именно и только потому, что он испугался Григория. Но ведь это лишь для суда и следствия дело так будет выглядеть, а на самом-то деле Дмитрий не мог бояться Григория!

Далее выясняется, конечно, что пробуждение Григория было ни при чём в удержании Дмитрия от преступления. В главе «Третье мытарство» Дмитрий отвечает на вопросы следствия.

«Митя опустил глаза и долго молчал.

— По-моему, господа, по-моему, вот как было,— тихо заговорил он.— Слёзы ли чьи, мать ли моя умолила бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение — не знаю, но чёрт был побеждён. Я бросился от окна и побежал к забору... Отец испугался и в первый раз тут меня рассматривал, вскрикнул и отскочил от окна,— я это очень помню. А я через сад к забору... вот тут-то и настиг меня Григорий, когда уже я сидел на заборе...»

Итак, в сердце Дмитрия в решающую минуту проникло «светлое начало»: то ли смутный образ матери возник в воображении, какие-то обрывки безмятежных детских впечатлений,— Дмитрий и сам не знает, что именно произошло с ним, но во всяком случае что-то умиротворяющее вошло в душу, удержало в последнюю секунду. Но остаётся неясным: почему же в главе, носящей название «В темноте», в качестве причины, удержавшей Дмитрия от преступления, выдвигалось пробуждение Григория Васильевича? Почему вообще было упомянуто о пробуждении Григория Васильевича именно в связи с отказом Дмитрия от преступного побуждения? Или в душе Дмитрия действовали обе причины, вместе взятые? Но эти причины слишком контрастны для того, чтобы действовать вместе. Одна исключает другую. Если «светлый дух» сошёл на Дмитрия или просто бессознательное отвращение к преступлению сказалось в нём, то это исключает страх перед свидетелем и помехой в лице Григория.

Дмитрий не убил отца. Зачем же ему понадобилось опрометью бежать к забору? От страха преследования со стороны Фёдора Павловича? Но тот совершенно перепугался, отскочил от окна,— следовательно, бояться преследования с его стороны Дмитрий уже никак не мог. Вообще страх не в его характере. Да ему и нечего бояться, даже если бы Фёдор Павлович захотел преследовать его. От минутного преступного помысла Дмитрий отказался. Почему же он опрометью бросается от окна к забору? Может быть, им руководит всё то же нетерпеливое, страстное, ревнивое желание узнать поскорее, где Грушенька? Но автор заранее уничтожил возможность такого объяснения. Автор ещё предварительно обстоятельно рассказал нам о том, что для Дмитрия «весь вопрос, его мучивший, складывался лишь в два определения: «или он, Митя, или Фёдор Павлович»... О близком же возвращении «офицера»... в те дни даже и не думал думать».

Цель его появления перед окном Фёдора Павловича была лишь одна: узнать, тут ли Грушенька. Убедившись досконально, с окончательной ясностью, что Грушеньки у старика нет, Дмитрий, конечно, уже не мог оставаться в том состоянии крайнего волнения и нетерпения, в каком он был тогда, когда мучился ревнивым подозрением. Дмитрий ревновал Грушеньку только к старику, ни о ком другом «и думать не думал». Мысль о том, «роковым» офицере не могла прийти ему в голову, потому что он попросту «не верил» в него. Единственный, как тогда ему казалось, соперник его, Фёдор Павлович, не может похвалиться победой над Грушенькой! Сразу, следовательно, отпала ревность, дикая карамазовская ревность, которая и привела его в состояние возбуждения.

Почему же он всё-таки поступает так, как если бы не отпала причина его чрезвычайного возбуждения? Мчитя от окна, пытается перескочить забор, наносит удар Григорию, несётся по городу «сломя голову»? А затем всё в том же диком, небывалом даже у Дмитрия Карамазова неистовстве, с окровавленными руками появляется перед Феней, Перхотиным.

Может быть, Дмитрий потому стремглав помчался от окна Фёдора Павловича, что отвращение, страх перед возникшей в нём мерзкой тягой к убийству охватили его с такой силой, что он побежал в ужасе от самого себя? Это предположение наиболее правдоподобно. Но оно не вяжется с ударом, нанесённым Григорию.

Это преступление Карамазова было бы вполне в его характере, если бы оно было совершено в состоянии гнева, ревности, азарта, в пылу карамазовских страстей. Но ударить старика медным пестиком по черепу после того, как отпала причина гнева, тревоги, азарта, злости, ударить после того, как карамазовская душа хоть немного успокоилась, после того, как «светлый дух облобызал» её, после того, как эта душа почувствовала освобождение от охватившей её было тяги к преступлению, — для этого уже надо было бы быть человеком, которому просто ничего не стоит убивать направо и налево, даже в сравнительно спокойном состоянии, даже без всяких побудительных причин. Во всяком случае художник не раскрыл психологию своего героя в момент совершения этого преступления, оставил поведение героя без психологического объяснения. Если мотивы, руководившие Раскольниковым при совершении им второго, «попутного» преступления, нам ясны: первое преступление там повлекло за собой второе, то здесь, где и нет первого преступления, это «попутное», мимоходное преступление Дмитрия — увы! — оказывается мимолетным для автора. Автор мало интересуется им, проходит мимо него. Или Григорий настолько незначителен, что не так уже важно и преступление, совершённое над ним?

«— Отцеубийец! — прокричал старик на всю окрестность, но только это и успел прокричать; он вдруг упал как поражённый громом».

Всё дело в том, что так реагировать на крик Григория мог бы только действительно отцеубийца.

По авторской схеме герой во что бы то ни стало должен вести себя так, как если бы он был отцеубийцей. Художник не заметил в азарте, как оказался под властью этой своей схемы, нарушившей психологическую правду.

Где тонко, там и рвётся. Достоевский поставил перед собой труднейшую задачу: изобразить человека, не являющегося отцеубийцей, но ведущего себя совершенно так же, как если бы он был отцеубийцей. И писатель не заметил, как он перешёл в одном — впрочем, важнейшем — пункте тончайшую грань, которая должна, по его замыслу, отделять внешнее поведение от внутреннего чувства героя. Он не заметил, что в рассмотренной главе его герой не только внешне ведёт себя так, как если бы он убил Фёдора Павловича: нет, поведение Дмитрия может быть объяснено только при том условии, что он и чувствует себя так, как если бы убил отца.

Достоевский глубоко погрузился в тёмную душу. Его стремление представить эту душу более светлой, чем она есть, вступило в противоречие с объективно воплощённым характером. Карамазовская душа неудержимо повлекла писателя за собой! Дмитрий действительно способен на преступление: такова непреложная истина его характера. И Достоевский, вопреки своей идеализации Дмитрия, всё же настолько глубоко чувствует своего героя преступником, что не замечает, как он заставляет Дмитрия в рассмотренном случае поступать так, как если бы Дмитрий чувствовал себя убийцей отца. Это и сказалось в истории с бегством от окна, перескакивания через забор, удара и т. д. Ведь именно убийце нужно было бы так стремительно мчаться, устранять свидетеля. Да и всё дальнейшее неистовство Дмитрия, продолжающегося после того, как он поразил пестиком Григория, мчаться сломя голову, теперь уже по улицам, а потом в том же диком возбуждении являющегося перед Феней, Перхотиным, остаётся без объяснения. Почему продолжается всё это неистовство?

Перед нами вновь открываются тёмные стороны творчества Достоевского. Название главы «В темноте» приобретает особое значение...

Художник не заметил, что он раздвоился между двумя образами Дмитрия: между своим представлением о герое и тем образом Дмитрия Карамазова, который возникает перед следствием и судом,—образом убийцы. Достоевский настолько глубоко вошёл в этот в т о р о й образ, что, видимо, порой переставал ощущать твёрдую грань между первым и вторым «образами» своего героя. Властно сказалась карамазовская душа Дмитрия, способная на преступление! Вместе с тем над сознанием художника тяготела схема, стремление собрать как можно больше улики против Дмитрия для безупречности следствия, суда и приговора.

Раздвоение художника, с которым мы встретились в романе «Идиот», проявилось и в отношении образа Дмитрия Карамазова. Подобные исключительные явления свидетельствуют о больной душе писателя. Реакционная субъективистская тенденциозность, удивившая от правды живой жизни, усиливала всё патологическое в Достоевском и нарушала художественность его произведений.

Психологическая необидительность объяснения поведения Дмитрия в истории с ударом пестиком связана и с общей идеализацией фигуры Дмитрия Карамазова в романе. Достоевский и не видит в своём герое слишком многого и слишком многое прощает ему.

О Родионе Раскольникове мы неопровержимо знаем, что он оказался способным на преступление единожды в жизни, под влиянием тлетворной «идеи». О «Митеньке» же мы никак не можем сказать, что он лишь единожды оказался способным бить со всей силой лежащего каблуками по лицу, ударив его предварительно с грохотом об пол; что он лишь единожды оказался способным выволочь за бороду отца семейства; что он лишь единожды оказался способным ударить, тоже со всей силой, медным предметом по черепу старика и т. д. и т. п.

Между тем Дмитрий Карамазов поставлен автором в чрезвычайно выигрышную позицию. Он, дескать, несправедливо пострадавший, грешник, но благородный, покорная жертва страстей! Вот, мол, за эти-то грехи он и должен пострадать, хотя и невинен, должен с о р а с п я т ь с я в страдании со всем человечеством, пострадать за обиженное в мире, плачущее «дитё». По христианской морали, как известно, все друг перед другом одинаково виноваты,—вот и «Митенька», хоть и не виновец, а должен пострадать: «Христос страдал и нам велел». Это его желание пострадать за грехи всех, хотя сам он, мол, и не виновец, создаёт Дмитрию в глазах автора страдальческий ореол.

Всё это, может быть, выражаясь по-зосимовски, и у м и л и т е л ь н о, но ведь на самом-то деле Дмитрий Карамазов никак не соответствует роли «козла отпущения», трагической жертвы, приносимой за вселенские грехи! На самом-то деле суть заключается в том, что Дмитрий всегда готов к насилиям над людьми. Атмосфера сочувствия к невинно-осуждённому, создаваемая писателем, настолько поглощает всё остальное, что все почти убийства, совершённые Дмитрием, меркнут и просто-напросто забываются автором... То обстоятельство, что Дмитрий всё-таки физически не убил или недобил, оказывается морально решающим, исчерпывающим. Моральная виновность Дмитрия подменяется грехами всего человечества. Если бы мы не знали свойства Достоевского — порой не замечать серьёзнейших искажений, смещений, получающихся в его произведениях, то мы могли бы сказать, что имеем дело со своеобразным «манёвром»: незаметно утопить всё реальное личное безобразие героя в общих грехах всего человечества. И не только утопить все почти убийства, совершённые Дмитрием, но и высоко поднять его над всеми в ореоле невинного мученика за вселенские грехи!

Опять-таки мы убеждаемся в том, что на деле для Достоевского, против его воли, оказывается важнее юридическая сторона, чем человеческая. Юридическая невинность Дмитрия в отцеубийстве оказывается важнее его человеческой виновности во многих почти убийствах, в постоянной внутренней готовности к убийству. И это у Достоевского, с его психологической тонкостью и чуткостью!

Эта шаткость, нетвёрдость художественных позиций, когда автор, вопреки своему желанию, постоянно возвращается, фактически становится на точку зрения, которую сам ствергает; эта непрерывная путаница: где — юридическое, а где — человеческое, где — внешнее, а где — внутреннее,— всё это уже само по себе

свидетельствует о коренной неправде, о ложности самой основы, на которой построен весь образ Дмитрия Карамазова.

Достоевский во всё время следствия и суда высоко поднимает «невинного Митеньку» над всей пошлой толпой, над тупыми и грубыми следователями, судьями, прокурором, адвокатом, над всем обществом. Но на каком, собственно, моральном основании автор непрерывно даёт нам чувствовать «величие» Дмитрия по сравнению со всеми этими людьми? Ведь единственный моральный актив «Митеньки» — это то, что он чуть-чуть не убил отца.

Христианская концепция страдания «за грехи всех» оказалась очень удобной для полного утопления в море этих грехов всего личного морального падения Дмитрия Карамазова.

«Братья Карамазовы» наглядно свидетельствуют о крайнем моральном оппортунизме христианской «этики» и о пагубности церковнической идеологии для искусства.

В Дмитрии Карамазове есть простодушие, прямота, устремление к добру, правдивости. Он не мелочен. Ему доступны муки совести. Но те или другие, по-своему привлекательные черты могут быть и у людей, в целом глубоко отрицательных...

В каждом человеке есть ведущее, определяющее, решающее начало за всей пестротой противоречивых побуждений, мыслей, чувств. Только по делам можно твердо судить о человеке. Эту истину не уставал развивать Горький в образах своих произведений. Только в делах, поступках проявляется и проверяется весь человек, как он есть, весь его характер, со всеми живыми противоречиями, вся его объективная сущность. Именно в действиях, поступках и обнаруживается главное, ведущее в человеке, его подлинная стоимость. Главное, ведущее в человеке проявляется и в его ошибках: в характере ошибок, в умении беспощадно осудить себя, в действии, исправляющем ошибку.

Оппортунизм христианской этики проявляется в том, что она целиком остаётся в области намерений, побуждений, мук совести: её критерий моральной оценки человека — лишь искренность в «любви», «раскаянии», лишь субъективно-психологическая сфера. И хотя и говорится, что «вера без дел мертва есть», но самое-то «дела» и сводятся к бездейственной любви, жалости, страданию.

Если мы забудем о необходимости уметь находить главное в каждом человеке за всей борьбой светлого с тёмным, лучшего с худшим в человеческой душе; если забудем о том, что ведущее, главное в человеке проявляется и проверяется прежде всего в реальном действии, то мы и застынем в «дурной бесконечности» сосуществования доброго и злого в человеческой душе. Достоевский проклинал раздвоенность, как страшное бедствие. Достоевщина же, то есть всё дурное в Достоевском, и означает неподвижность раздвоенности, отказ от определения главного в человеке, отказ от единственно надёжного критерия моральной стоимости человека — критерия действия, поступка.

При всех своих индивидуальных особенностях, Дмитрий Карамазов является, в конечном итоге, вариацией постоянного образа произведений Достоевского — человека, способного созерцать «обе бездны разом», чувствовать наслаждение и в подвиге великодушия и в мерзости. Как и Ставрогин, Дмитрий Карамазов говорит о себе, что он — паук, подлое насекомое. Как и Ставрогин, Дмитрий Карамазов, по его собственным словам, не просто развратен, но любит разврат, любит и срам разврата; не просто был ал жестоким, но любит жестокость. При таком сходстве характеров в главном, коренном, отходят на задний план индивидуальные отличия и особенности.

Почему же Ставрогин, Версилов, герой «Записок из подполья», при всей их несовершенной идеализации, всё же осуждены автором, а Дмитрий Карамазов поднят в сиянии мученического венца?

Это происходит, в частности, потому, что Дмитрий, с точки зрения автора, — «обыкновенный», так сказать, массовый современный человек, в котором уживается душа «жестокоего и сладострастного паука» с благородными порывами. Человек, в лице Мити Карамазова, беззащитен перед тёмными страстями, он их слепая игрушка. Обидчик детей, виновник смерти Илюшечки и сам большое дитё, и доброе и злое одновременно, — таков, по Достоевскому, Митя, но таков же, с точки зрения писателя, и вообще «современный» человек, подобный Подростку, не знающему, где добро и где зло.

Если не обуздать человека внешней силой,— Дмитрий так и говорит, что если бы не внешняя сила, то он продолжал бы и впредь всё своё беспутство,— то человек наобихает, избьёт, да и просто насмерть перебьёт всех вокруг себя (вроде того, как приснилось Голядкину в записях Достоевского). Внешняя сила — это религия, церковь. Только она и способна, мол, обуздать современного человека — анархиста по самой своей природе.

Эта глубоко пессимистическая, враждебная гуманизму концепция тёмной природы «человека вообще», или «современного человека», и лежит в основе идеализации Дмитрия Карамазова, она и определяет коренную ложь, фальшь идейно-художественной основы образа, амнистирование всех «грехов», порой слепоту и глухоту художника к реальной сущности своего героя. Сама объективная художественная природа образа Дмитрия опровергла стремление автора представить этого героя «обыкновенным» человеком. Нет, тяга Дмитрия к преступности — это не свойство человека вообще, это — свойство карамазовской, анархической, разрушительной «души», всё той же тёмной души социального отщепенца, которую Достоевский воспроизводил и в ряде других своих образов.

Идеализация «Митеньки», в отличие от осуждения автором Ставрогина, Версилова, героя «Записок из подполья», объясняется также и следующим.

Ставрогин назначен автором представлять так или иначе лагерь «нигилизма», Версилов — лагерь дворянского либерализма, герой «Записок из подполья» — крайний рационализм и связанный с ним крайний эгоцентризм. Дмитрий же Карамазов, при всём своём отщепенстве,— глубоко верующий православный христианин.

О религиозности Дмитрия Карамазова хорошо сказал Д. Овсянко-Куликовский: «Эта негуманная, раздражительная и озлобленная религиозность... Герои романа каются и в своём покаянии ожесточаются; муки совести приводят их к озлоблению. Пуще всего озлобляются они против тех, кто не верит в бессмертие души и загробные возмездия. В озлоблении, обнаруживающемся в отношении к этому отрицанию, ясно сквозит у Достоевского род с а м о б и ч е в а н и я: бичуя отрицателей, Достоевский бичевал самого себя или, точнее, ту часть своего раздвоенного сознания, которая сомневалась, не хотела верить, отрицала»¹.

Дмитрий Карамазов ненавидит науку, он рычит: «Бернары!» Он ненавидит атеизм и атенстов и рассуждает, сидя в тюрьме: если бога нет, «то человек — шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Вопрос! Я всё про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоёт? Ракитин смеётся. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну, это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу».

В. Вересаев очень остроумно заметил по этому поводу: «Ну, а мать, например,— способна ли хоть она-то любить своего ребёнка «без санкции»? (то есть без «внешней силы» религии. — В. Е.) Право, кажется, не удивишься, если где-нибудь найдёшь у Достоевского недоумение: «как это мать может любить ребёнка своего без бога? Это сморчок сопливый может так утверждать, а я понять не могу»².

На вопрос Дмитрия Карамазова: как же будет человек добродетелен без бога? — можно было бы ответить тоже вопросом: а как же сам Дмитрий Карамазов был столь недобродетелен — с богом?

В литературе о Достоевском отмечалось, что идея невозможности добродетели без бога, столь настойчиво пропагандируемая Достоевским, подорвана уже одним тем, что высказывают её персонажи, подобные Дмитрию Карамазову. Людям этого сорта действительно трудно быть «добродетельными» без внешнего авторитета, ибо у них отсутствуют социальные связи, моральные скрепы и нормы.

В качестве истового христианина Дмитрий Карамазов живёт по известному правилу: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасёшься». С этой точки зрения достичь добродетели даже и не в о з м о ж н о, предварительно не наделав грехов.

¹ «Вестник воспитания», год XVIII, март. № 3. М. 1907, стр. 5—6. Статья «Итоги русской художественной литературы XIX века».

² В. В е р е с а е в. Живая жизнь.

причём чем больше грех, тем больше раскаяние и, следовательно, тем выше добродетель. «Братья Карамазовы», церковнический роман, весь проникнут этой «моралью». Вот почему Дмитрий Карамазов и поднят на такую «недосягаемую высоту»!

«Митенька» Карамазов — грешник, но верующий в господа, и по этой причине всё его душевное безобразие, которое вызвало бы гнев и злорадство Достоевского, если бы он наклеил на того же Дмитрия этикетку «нигилиста», сходит «Митеньке» с рук.

И. Е. Репин писал И. Н. Крамскому (16 февраля 1881 года):

«Достоевский — великий талант художественный, глубокий мыслитель, горячая душа, но он надорванный человек, сломанный, убоявшийся смелости жизненных вопросов человеческого и обратившийся вспять. (Чему же учиться у такого человека? Тому, что идеал — монастыри?) От них бо выдет спасение земли русской. А знания человеческие суть продукт дьявола и порождают скептических Иванов Карамазовых, мерзейших Ракитиных, гомункулообразных Смердяковых.

То ли дело люди верящие, например Алёша Карамазов, и даже Дмитрий, несмотря на всё своё безобразие, разнузданность, пользуется полной симпатией автора, как Грушенька».

Репин выражает своё возмущение передового русского человека и художника тем, что в романе содержатся «грубые уколы полякам», «ненависть к Западу», «Глумление над католичеством и прославление православия», «Поповское карание атеизма и неразрывной якобы с ним всеобщей деморализации, сухости и пр. Всё это грубоватые натяжки, достойные московских мыслителей и публицистов с Катковым во главе...»¹.

Достоевский именно по причине церковного благонравия Дмитрия и оказался способным не заметить, что устраивать вселенский шум, затевать гигантский судебный процесс на весь мир из-за «проблемы»: отцеубийца ли Дмитрий Карамазов или почти и отцеубийца, — вряд ли заслуживает расходования сил великого художника...

Дмитрий Карамазов потому и мог представиться Достоевскому если не положительным героем, то, во всяком случае, довольно даже привлекательным человеком, при всех своих страшных грехах и пороках, что в Дмитрии живёт не только страх перед утерей моральных скреп, но и твёрдое признание религии как единственного пути спасения от разгула аморализма.

Нельзя не признать характерным, что церковническая реакция смогла противопоставить атеизму, демократии, революции только образ такого вполне асоциального субъекта, как Дмитрий Карамазов!

Иван Карамазов — носитель аморализма. Он колеблем страшными соблазнами. Его привлекает тот самый «лозунг», который Ницше впоследствии сделает своим: «Всё позволено!» Нет никаких моральных норм, правил, принципов! Достоевский, разумеется, связывает это с тем, что Иван бунтует против религии. Двое братьев Карамазовых противопоставляются один другому. Старший, Дмитрий, — человек грешных страстей, способный к преступлению. Но так как он твёрдо верует в бога, то, мол, сумеет спастись от преступлений. Иван — человек рассудочный; он далёк от каких бы то ни было грешных страстей, далёк и от преступности. Но так как он бунтует против религии и церкви, то неизбежно станет на путь преступлений, хотя они и чужды всей его натуре. *Peccat mundus, sed fiat т е н д е н ц и я!* «Пусть погибнет мир», пусть погибнут правда и логика характеров, зато да здравствует благонамеренная пропись! Дескать, коли ты безбожник, в церкви христовой усомнился, то хочешь не хочешь, хотя бы это и было противно всей твоей природе, полезай в преступники! Убивай отца своего руками соблазненного тобою раба! Иначе какой же ты безбожник?

Злосчастный Фёдор Павлович, и без того уже достаточно посрамлённый за свой «нигилизм» и «вольномыслие», становится чем-то вроде подопытной собаки для своеобразных идеологически-убивочных экспериментов своих сыновей. Дмитрий по природе своей мог убить, но не убил. Иван по своей натуре не мог убить, но убил руками соблазненного его безбожием Смердякова. А почему? Потому что первого в решающую минуту «бог сторожил», «светлый дух облобызал», а второго некому было сторожить, он бога не боялся; он только для того специально и подстрекнул

¹ И. Е. Репин и И. Н. Крамской. Переписка. 1873—1885. «Искусство», М.—Л. 1949, стр. 169.

Смердякова на отцеубийство, чтобы всем доказать, что безбожник или усомнившийся обязательно должен быть преступником..

Но и в «Братьях Карамазовых», в этом своём шатком, колеблющемся построении, Достоевский показывает могущество своего дарования. В главе «Бунт» он, кажется, сосредоточил мотивы мятежа, протеста, возмущения, рассеянные во всех его произведениях, обнаружив, какая бунтарская сила таилась в них! Вопреки всей церковной благонамеренности, так уродовавшей и ослаблявшей и его художественную силу и его совесть, он рвёт путы и вместе с Иваном вступает в бунт против этой благонамеренности. Он вовлекает в стихию мятежа и своего благонадежнейшего Алёшу. Каждая строка в этой главе написана действительно кровью сердца. Достоевский раздуывал вслух перед лицом всего человечества, он спрашивал свою незаглушимую совесть, ставил, по его выражению, у стены коренные вопросы. То был грозный спор писателя с самим собою.

Только такая литература и есть литература, которая пишется кровью сердца.

Навсегда останется в памяти человечества бунт Достоевского! Навсегда останется в памяти и то, что бунт против лжи религии прозвучал в церковническом романе. Литература — это правда. И она возьмёт своё!

В главе «Бунт» Достоевский поднял перед всем человечеством образ человеческого страдания. Он поднял образ детских страданий. Разве способно человечество когда-либо забыть образ ребёнка, которого «один генерал, генерал со связями большими и богатейший помещик», «затравил в глазах матери, и псы растерзали ребёнка в клочки!..» Он поднял образ: вселенское дитё, обиженное в мире, и не побоялся вложить этот образ как сильнейший и неопровержимый аргумент в уста своего героя, взбунтовавшегося против лживой христианской сказки о «божественной гармонии». Не стоит эта «гармония» слезинки хотя бы одного замученного ребёнка.

Логика бунта Ивана отличается тою особенностью, что она как будто принимает все послышки христианской религии и исходит из них. Бог существует, он создал мир, божественная гармония настанет; обиженный примирится с обидчиком; все люди виновны в грехе: они съели яблоко, и с тех пор продолжают есть его, то есть утопают в грехах. За это они все должны страдать. Все эти лживые догматы христианства, на протяжении веков используемые привилегированным меньшинством в эксплуататорском обществе для того, чтобы удерживать в повиновении подавляющее большинство, Иван соглашается принять. Допустим, что все эти послышки правильны, как бы говорит он: но как быть со страданиями и детей?

«В сотый раз повторяю,— говорит Иван Алёше,— вопросов множество, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чём тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж, конечно, правда эта не от мира сего и мне непонятна. Иной шутник скажет, пожалуй, что всё равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его, восьмилетнего, затравили собаками. О, Алёша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда всё на небе и под землёю сольётся в один хвалебный глас и всё живое и жившее воскликнет: «Прав ты, господи, ибо открылись пути твои!» Уж когда мать обвиняется с мучителем, растерзавшим псами сына её, и все трое возгласят со слезами: «Прав ты, господи», то уж конечно настанет венец познания и всё объяснится. Но вот тут-то и запятая, этого-то я и не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алёша, ведь может быть, и действительно так случится, что когда я сам доживу до того момента, али воскресну, чтобы увидеть его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем её дитяти: «Прав ты, господи!» Но я не хочу тогда восклицать. Пока ещё время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребёнка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре

своей неискуплёнными слёзками своими к «боженьке»! Не стóбит, потому что слёзки его остались неискуплёнными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут стомщены? Но зачем мне их отщипение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стóбит такой цены. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим её сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание своё; но страдания своего растерзанного ребёнка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребёнок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всём мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотмщёнными... Да и судишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не бога я не принимаю, Алёша, я только билет ему почительнейше возвращаю.

— Это бунт, — тихо и поступившись, проговорил Алёша.

Да, это бунт, и не только богоборческий, но по существу бунт против самых основ религии, хотя Иван и заявляет, что он «не бога не принимает», а только мир, созданный богом, и грядущую «божественную гармонию» не принимает. Иван раскрывает ложь и фальшь не только христианской религии, он разоблачает безнравственность всякой религиозной морали, которая призывает мириться со всеми страданиями и муками, со всеми преступлениями, совершаемыми над человечеством, во имя будущей небесной «гармонии». — Допустим, говорит Иван, что эта гармония воцарится. Но безнравственно для матери прощать муки ребёнка её! Она не имеет морального права прощать. Допустим, что тогда, в той «божественной гармонии», будет торжествовать какой-то иной, небесный, а не человеческий, ограниченный, эвклидовский, земной разум, и тем, «небесным» разумом можно будет «понять», зачем так страдали люди на земле, «понять», что страдания эти шли на благо, так как ими покупалась истина, искупались грехи и т. д. и т. п. Но как я — человек, с моим, данным мне, с вашей, религиозной точки зрения, самим господом, земным разумом могу примириться с невыносимыми страданиями человечества и особенно со страданиями детей, виновных только в том, что родились на свет!

Иван бунтует против примирения со страданиями человечества, примирения, составляющего сущность всякой религиозной морали. Он берёт тему детских мучений только потому, что на этой теме особенно ярка нелепость, бессмысленность и безнравственность религиозной проповеди примирения со всем злом и неправдой на земле. Он говорит Алёше:

«— Слушай меня: я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля, от коры до центра, я уж ни слова не говорю, я temu мою нарочно сузил».

Религия утверждает, что виновных в страданиях человечества нет, что всё совершается по «благости» божией, что надо терпеть всю грязь, кровь, все муки на земле, ибо «там», на небесах, всё разъяснится и все поймут, зачем «нужно» было, чтобы генерал травил псами восьмилетнего мальчика; зачем «нужно» было, чтобы пятилетнюю девочку запирали на ночь в зловонном месте и обмазывали ей лицо калом; зачем «нужно» было, чтобы умер Илющечка, пронзённый в сердце обидой, которую нанёс Дмитрий Карамазов его отцу; зачем «нужно» было, чтобы по всему свету раздавался плач голодного дитяти; зачем «нужно» было, чтобы вся земля, от коры до центра, была пропитана слезами человеческими! Религия учит, что во всём этом «воля божия», недоступная благодать его, в страдании посещает нас господь. Иван вскрывает капитальную нелепость, являющуюся первоосновой религии: страдания человечества необходимы потому, что ими покупается грядущее блаженство; следовательно, всё, что происходит, в том числе и самые чудовищные унижения и оскорбления человека, представляют собой величайшее благо. Но человеческий разум и совесть не могут мириться

с унижением и оскорблением, не могут мириться с муками детей! И только эта, человеческая мораль высока и свята. Достоевский в своём бунте поднимается до такой моральной высоты, как признание примирения со страданиями людей безнравственным. Это высота истинно человеческой, единственно гуманистической морали. Достоевский заставляет своего христианнейшего, смиреннейшего Алёшу поддержать эту мораль. Когда Иван спрашивает брата своего, мучающегося вместе с ним страданием за всё человечество, что нужно сделать с генералом, затравившим псами мальчика: «Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алёшка!»,—то, кажется, вместе с Иваном миллионы людей во всём мире во внезапно наступающей, всему свету слышной тишине ждут ответа Алёши. И он отвечает тихо, но тихий его ответ гремит громом во всех концах мира, потому что отвечает сам Достоевский.

«— Расстрелять! — тихо проговорил Алёша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата».

Не в том, конечно, тут центр тяжести: расстрелять или не расстрелять генерала, растерзавшего псами ребёнка на глазах матери. Речь идёт о моральной памяти человечества. Имеет ли человечество моральное право забывать такие преступления? Может ли совесть человечества допустить даже мысль о возможности такой «гармонии», при которой подобные преступления могут быть прощены? Может ли совесть человечества забыть и простить слезинку хоть одного замученного ребёнка? А мы можем сказать: способна ли, имеет ли право совесть человечества простить тех, кто и в наши дни, когда дух мира уже веет над миром, стремится затопить всю землю новым океаном детских слёз!

Таково нравственное существо вопроса, поставленного Достоевским перед человечеством.

Тема главы «Бунт» огромна. Здесь объявлено безнравственным забвение и прощение преступлений против совести человечества. Если бы человечество забывало преступления, противоречащие человечности, оно стало бы в моральном отношении на голову ниже, оно начало бы морально мельчать, деградировать, вырождаться. Но жива совесть человечества! И глава «Бунт» в романе «Братья Карамазовы» — одно из неопровержимых свидетельств того, что ничем нельзя заглушить совести человечества и — совести русской литературы! Достоевский, при всех своих отступлениях от традиций и принципов русской литературы, вырос в её духовной атмосфере, он начинал свой путь как ученик Гоголя и Белинского, он преклонялся перед Пушкиным, чтит Лермонтова, Грибоедова, Некрасова, Льва Толстого. В главе «Бунт» его голос звучит вместе с голосами этих великих выразителей совести русского народа и совести человечества.

Один из критиков-современников верно сказал о бунте Ивана Карамазова, что он «поражает читателя глубоко, как крик Прометея, прикованного к скале, видящего страдания и несправедливости человечества и не могущего сделать шагу для помощи ему»¹.

Достоевский впился в себя страдания человечества, но не мог сделать шага для помощи.

Отметим, как курьёз, что реакционная, церковническая критика, обеспокоенная реальной силой, неопровержимостью бунта Ивана, пыталась доказать, что этот бунт направлен, мол, не только против религии, но что он с таким же основанием может быть обращён и против... марксизма. Небезызвестный ренегат, ставший попом, С. Булгаков утверждал:

«Не нужно думать, чтобы этот вопрос (вопрос Ивана Карамазова: стоит ли грядущая «божественная гармония» слезинки хотя бы одного замученного ребёнка? — В. Е.) задавался только религиозным воззрением, он остаётся и для атеистического, с ещё большей силой подчёркивающего гармонию будущего, которая покупается, однако, дисгармонией настоящего. Примером такого мировоззрения может служить современной материалистическое понимание истории и основанное на нём учение социализма: будущая гармония социализма покупается здесь неизбежно жертвой страданий капита-

¹ Л. Оболенский. «Мысль». 1881; цитировано по сборнику В. Зелинского, часть четвертая, изд. 3-е, стр. 227.

лизма; «муки родов» нового общества, по известному сравнению Маркса, неустранимы. Следовательно, с полным правом и с полной силой и здесь можно поставить вопрос Ивана о цене этой будущей гармонии и, конечно, его неизбежно ставит себе каждая сознательная личность... Это есть в полном смысле слова мировой вопрос; особенность его в качестве такового состоит не только в его неотвязности, но и неразрешимости в том смысле, что никакой прогресс науки, никакая сила мысли не может дать ему такого решения, которое уничтожило бы самый вопрос»¹.

Вряд ли можно найти что-нибудь более отвратительное и жалкое, чем эта попытка реакции, бессильной противопоставить хоть что-либо аргументам Ивана Карамазова, «пристегнуть» к делу и марксизм. Дескать, и марксисты «тоже» ставят вопрос о будущей «гармонии», которая «покупается» ценою «дисгармонии настоящего». Нелепость этой попытки ясна хотя бы уже из того, что религия оправдывает все страдания, муки и слёзы человечества, зовёт к примирению с ними, в то время как великое учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, вскрывая реальные социальные причины страданий угнетённого, эксплуатируемого человечества, спланирует людей для борьбы с этими страданиями, для ниспровержения виновников страданий. Религия примирится со слезинкой замученного ребёнка во имя будущей «гармонии» на небесах, в то время как победоносное учение коммунизма вдохновляет человечество на революционную борьбу за то, чтобы не проливалась на земле ни одна слезинка замученного ребёнка!

Для религиозного мышления вопрос Ивана действительно является неотвязным и неразрешимым. Ведь вся суть религии и проявляется в том, что религия по существу отвечает утвердительно на вопрос Ивана. Мир, дескать, создан господом, и всё, что есть в мире, творится по воле божьей; следовательно, всё благо; и страдания детей необходимы для «божественной гармонии»; неисповедимы пути господни, и не дело человека, греховного по самой природе своей, ограниченного своим земным разумом, вольнодумствовать, допытываться, зачем нужны и нужны ли детские страдания! Надо, конечно, облегчать эти страдания по мере возможности, во имя христианского человеколюбия, а всё остальное — от лукавого! «Повинуйся, дрожащая тварь, и молчи!» — таков, по сути дела, ответ религии, в точности совпадающий с тем аморализмом, который прельщал и ужасал Родиона Раскольникова. Аморальность церковной «морали» действительно, может быть, ярче всего проявляется в примирении с мучениями детей. Иван Карамазов обнажает этот цинизм религии.

Конечно, Достоевский ввёл в свой роман бунт для того, чтобы постараться погасить, подавить его, противопоставив ему сильнейшую контраргументацию. Он хотел разбить противника в самом главном, где противник был, как казалось Достоевскому, наиболее силен. Он отлично знал, что иначе невозможно завоевать доверие читателя, молодёжи, отвлечь её от «гибельного» пути бунта и возмущения. Да, бунт в его романе был развёрнут для подавления. Но для того, чтобы развернуть такой бунт, надо было, чтобы в душе писателя был могучий отклик на протест и возмущение, чтобы он всегда держал ответ перед униженными и оскорблёнными, чтобы всегда в нём кипела беспокойная совесть!

Он принял множество мер для того, чтобы погасить бунт Ивана.

Но он сам называл в своей переписке главный аргумент Ивана против лжи религии — детские страдания — неотразимым. И что бы ни старался он сделать для того, чтобы опорочить бунт, этот аргумент оставался неопровержимым. Все судебные усилия Достоевского разбивались об эту скалу. Достоевский поистине оказывался в роли волшебника, вызвавшего духов, с которыми он не в силах справиться!

А реакция между тем не на шутку встревожилась.

Умный Победоносцев, — как указывает А. С. Долинин, — обладавший исключительным нюхом на всё революционное, всерьёз забеспокоился, прочитав пятую книгу романа в журнале, и с тревогой ждал, как же сумеет автор ответить Ивану, опровергнуть его. Он отметил, что в атеистических положениях Ивана — «сила и энергия», и задал ав-

¹ С. Булгаков. «Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья Карамазовы») как философский тип». Публичная лекция, читана в Киеве 21 ноября 1901 года, стр. 19.

тору «необходимейший вопрос»: «будет ли возражение». Достоевский считал главным ответом Ивану з о с и м о в с к у ю часть романа, «Русский иннок». Он работал над этой частью необычно долго: три с лишним месяца. И сам ясно чувствовал неудовлетворительность этого «ответа». В письме Победоносцеву от 29 августа 1879 года он выражает свою неудовлетворённость: «...трепещу за него, будет ли он достаточным ответом». «То то и есть, и в этом — теперь моя забота и всё моё беспокойство: буду ли понятен, достигну ли хоть каплю цели».

Достоевский не решился пойти на прямой ответ Ивану! Он избрал окольный, косвенный путь. В том же письме Победоносцеву он пишет, что «положения, прежде выраженные (в Великом Инквизиторе и прежде¹)», остались не опровергнутыми, а «представляется нечто прямо противоположное выше выраженному мировоззрению... но опять-таки не по пунктам, а, так сказать, в художественной картине».

«Теперь для меня кульминационная точка романа. Надо выдержать хорошо», — писал он Любимову 30 апреля 1879 года по поводу первой половины пятой книги «Рго и сонга», в которую входит глава «Бунт». В письме от 10 мая к Любимову он говорит: «Рядом с богохульством и анархизмом — опровержение их, которое и представляется мною теперь в последних словах умирающего старца Зосимы». И далее в том же письме: «...Основные анархисты были, во многих случаях, люди искренно убеждённые. Мой герой берёт тему, по моему, неотразимую: бессмыслицу страдания детей и выводит из неё абсурд всей исторической действительности».

Так Достоевский подчёркивает, что аргументация Ивана неотразима.

Но тут же он спохватывается: «Богохульство моего героя будет торжественно опровергнуто в следующей (июньской) книге, для которой я работаю теперь со страхом, трепетом и благоговением, считая задачу мою (разбитие анархизма) гражданским подвигом».

Какие колебания переживал Достоевский в связи с этим своим идеологическим сражением... против самого себя, показывает, в частности, следующее. Размах бунта Ивана и неотразимость его аргументации пугали автора до такой степени, что, как пишет он Победоносцеву 19 мая 1879 года, ему стало «мерещиться, вдруг возьмут да и не напечатают»... Может быть, это писалось и в расчёте на заступничество Победоносцева в случае цензурных препятствий? Ясно, что Достоевский, чувствуя себя обязанным дать бой «анархизму», с такой же силой чувствовал и необходимость развернуть бунт Ивана. В том же письме Победоносцеву прорывается признание в том, что тема бунта в романе сильнее, чем контртема погашения бунта. Победоносцев предупреждается автором об этом заранее: «богохульство это взял, как сам чувствовал и понимал, сильнее»... И художник объясняет это тем, что «даже и в такой отвлечённой теме» не хотел «изменить реализму»².

Признание ценнейшее! В самом деле, реализм одержал здесь победу. Контраргументация Достоевского против бунта настолько слаба, что не может идти ни в какое сравнение с силой и размахом бунта. А сколько усилий потратил писатель на свои попытки контраргументации! Рассмотрим эти усилия. Что именно предпринимает Достоевский для погашения бунта?

Прежде всего он пытается опорочить бунт изнутри, представить его порочным в самой своей основе. Он ставит дилемму: приятие или неприятие мира? Если признать волю божию во всём, что творится в мире, признать таинственный, непостижимый человеческим разумом смысл всего сущего — в том числе, разумеется, и человеческих страданий и даже страданий детей, — то в таком случае открывается радость «приятия» всего «мира божия», с «клейкими листочками», со всей красотой природы, со всей радостью жизни. Если же не видеть смысла и оправдания человеческих мучений в таинственном и всеблагом «провидении» и в грядущей «божественной гармонии», то тогда остаётся, мол, лишь пустота, чёрная бездна анархического неприятия мира, сплошная дисгармония, полный хаос. А из этого, дескать, неизбежно вытекает и «всё позволено!», и практика — истина этого «принципа»: смердяковщина.

¹ То есть в главе «Бунт». — В. Е.

² Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Под редакцией А. С. Долинина, Л. 1935, стр. 66, 67, 68.

Да, конечно, «философия», развиваемая Иваном Карамазовым, якобы вытекающая из его бунта, является анархической и глубоко упадочнической. Герон Достоевского знают только анархический протест. Иван не ставит вопроса о борьбе с мучителями угнетённого большинства человечества, с палачами детей. Для него, Ивана Карамазова, тезис о бессмыслице страданий человечества есть вместе с тем и признание бессмыслицы, абсурда всей человеческой истории, всей действительности. Это, разумеется, самый настоящий буржуазный анархизм, идейный и моральный нигилизм. Иван Карамазов, конечно, никакой не революционер. Для Достоевского, так же как и для всего катковско-победоносцевского лагеря, с его идеологической невежественностью, понятия революционер и анархист были однозначными. Но Иван действительно анархист по тем выводам, которые он делает из своего бунта.

Однако разве ивано-карамазовское анархическое неприятие мира может колебать хотя бы в микроскопической степени содержащийся в бунте протест против цинизма примирения с мучениями человечества, со страданиями детей? Разве не остаётся в полной силе разоблачение циничной лжи, заключающейся в оправдании всего зла и неправды потусторонней «божественной гармонией»?

Пусть Иван Карамазов делает из этого протеста и разоблачения свои песимистические упадочнические выводы (кстати сказать, подхваченные последовавшим декадансом, на все лады размазывавшим тему бессмыслицы мироздания и жизни человечества на земле). Ивано-карамазовское «неприятие мира» ещё и ещё раз подчёркивает, что Достоевский никогда не вывел ни в одном своём произведении ни одного типа революционера, а всегда выдавал за революционеров буржуазных анархистов, индивидуалистов, упадочников.

Но тезис о подлости примирения с мучениями детей остаётся в полной силе!

Достоевский, разумеется, не мог доказать, что неизбежным выводом из протеста против морального оправдания мучений детей является признание бессмысленности мироздания и вытекающий отсюда хаос «всё позволено!». Как можно доказать недоказуемое?

Вместо спора по существу с мыслью Ивана о цинизме оправдания детских мучений Достоевский дискредитирует самого Ивана.

Достоевский спорит не с мыслью своего противника (Иван — и его противник и часть его собственной души), а с не обязательными выводами, которые делает из этой мысли противник. Получается спор пудов с аршинными, спор, идущий в совершенно разных, не соприкасающихся направлениях. Получается попытка погасить огонь не водой, а деревьями.

Достоевский потому не может спорить прямо, в лоб, у стены против тезиса о моральной недопустимости оправдания страданий человечества, и в том числе страданий детей, что слишком страшно ему прямо высказать слишком страшную мысль. Если бы он решился на это, то ему пришлось бы сказать следующее: да, если хотите уйти от ивано-карамазовского неприятия мира божия и вытекающего отсюда хаоса, то извольте принять и страдания детей как благодать божью, не смейте сомневаться в непостижимом и непререкаемом провидении, верьте в грядущую божественную гармонию! Иначе, мол, если углубитесь мыслью и совестью в протест против страданий человеческих, должны будете окунуться в такую бездну, в такой страшный тупик, где ожидает вас полная потеря разума, безумие, к которому и приходит Иван Карамазов.

Но страшно, страшно было Достоевскому высказать прямо этот ответ на тезис Ивана! Ведь именно любовь ко всему страдающему человечеству и заставила его поднять в своём романе самый бунт против детских страданий и примирения с ними! Ведь именно страстная любовь его к людям, невыносимость для него детских мучений и вдохновила его бунт против лжи религии!

Вот почему не мог он решиться на прямое выражение мысли о необходимости примирения и со страданиями детей как условия для «приятия мира божьего». Вот почему он решился лишь на окольное, косвенное выражение этой мысли.

Она нашла выражение в образе сна Дмитрия Карамазова о голодном дитяти, о плаче его по всей земле. Этот образ — обиженное «дитё» — наделён большой художественной силой, он сближается с некрасовским пафосом сочувствия горю нищих деревень. Но вывод — необходимость сораспяться со страдающим дитятей, пострадать

за него! Это, и есть форма ханжеского примирения с мучениями человечества и мучениями детей.

Другое выражение той же мысли содержится в поучениях Зосимы. Единственный «ответ по существу», который Достоевский оказывается способным дать на бунт Ивана, заключается в самом обыкновенном кантианстве. Зосима проповедует, что только «там», в грядущей «божественной гармонии», ты, человек, существо греховное и смрадное, которое лишь гноит землю своим появлением на ней, только в царствии небесном «всё узришь правильно и спорить уже не станешь. На земле же воистину мы как бы блуждаем... Многие на земле от нас скрыты, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле».

Вот и всё! Сущность вещей непостижима, а потому живи себе тихо, утешай как можешь «деток» и не допытывайся о том, зачем нужны их страдания. Вот это и есть цинизм религии, проповедуемый благолепным старцем Зосимой: цинизм освященный детских мучений!

Кстати сказать, философские позиции Зосимы и Ивана сходны. Оба они исходят из непознаваемости вещей в себе на земле: только один благолепно умиляется и преклоняется перед этой непознаваемостью, а другой возмущается ею. Это дополнительно подчёркивает, что в лице Ивана, в анархических выводах, которые делает Иван из своего бунта, Достоевский поражал не материализм и атеизм, а одну из форм идеализма. Поразить её он, конечно, не мог, потому что противопоставлял идеализму идеализм. Но в бунте Ивана нас мало интересует его идеалистическая философская сторона. Нас интересует жизненная реальность, высказанная Ивановым, мощный протест против страданий человечества и примирения с ними, вложенный Достоевским в уста своего героя. И на этот протест у Достоевского не нашлось никакого ответа, кроме непознаваемости мира.

Какие ещё усилия предпринимает Достоевский в своей попытке ответить на протест, погасить его?

Он вкладывает в уста Ивана «Легенду о великом инквизиторе», долженствующую опорочить в глазах читателя любовь Ивана к людям, к человечеству. Мы не будем разбирать содержание «Легенды», ибо всё её содержание уже было заключено в шигалевщине. Это всё та же, соблазняющая героев Достоевского концепция неограниченной власти «избранных» над полностью обезличенными рабами. Миллиарды покорного человеческого стада и сотня тысяч «избранников», которые отнимают у «пасомых» и волю и разум, оставляя им только повиновение, — к этому сводятся идеал и программа «великого инквизитора». Разумеется, «избранникам» — «всё позволено!», «Чудо, тайна и авторитет» — вот принципы, при посредстве которых они должны управлять человеческим «быдлом». Всё различие между «утопией» Шигалева и «утопией» Ивана Карамазова заключается лишь в том, что Достоевский примешивает в «Легенде» к своей полемике с «нигилизмом» и свою полемику с католицизмом, фантастически-маниакально смешивая, сливая то и другое в одно целое.

Опять-таки нельзя не отдать должного прозорливости писателя, который и в «идее» Раскольников, и в «утопии» Шигалева, и в «утопии» «инквизитора» объективно указал на совершенно реальную социальную опасность: последовавшего вскоре нищестанства. Кстати сказать, даже реакционнейший апологет реакционнейших идей Достоевского С. Булгаков вынужден был признать совпадение проповеди «инквизитора» о высшей породе людей с нищевским «сверхчеловеком». Совпадение настолько разительное, что, как видно, даже публицисты реакционного лагеря принуждены были отказаться от попыток приписать проповедь ивано-карамазовского «инквизитора» революционному лагерю, что так желал бы сделать Достоевский. В этом желании Достоевского мы, разумеется, опять-таки встречаемся всё с той же мистификацией, всё с той же путаницей социальных и идеологических адресов, с какою мы встречались и в других его произведениях.

Но и «Легенда о великом инквизиторе» тоже никак не может опорочить протест против страданий человечества и примирения с ними.

И, наконец, последний и, может быть, наиболее сильный, с точки зрения Достоевского, аргумент, который он оказался способным выдвинуть против протеста, вложенного им в уста Ивана, это ссылка на Христа. Когда Иван, развивая мысль о недопустимости, бесчеловечности оправдания и прощения мучений детей, спрашивает: «Есть ли во всём мире существо, которое могло бы и имело право простить?», то Алёша отвечает, что «Существо это есть, и оно может всё простить, всех и вся и за всё, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за всё. Ты забыл о нём, а на нём-то и зиждется здание, и это ему воскликнут: «Прав ты, господи, ибо открылись пути твои».

А. В. Луначарский писал:

«Формула Ивана: «Бога-то я приемлю, но мира его не приемлю» несомненно опрокидывает самого бога, ибо бог известен только через посредство мира. Бог — творец, создавший этот самый мир мук, в котором, сладострастно захлёбываясь, в кровавых слезах плавает душа Достоевского, такой бог не может быть им принят как Справедливость. И чем же заслоняется Достоевский от собственной своей критики, вложенной в уста Ивана? Христом, которого выдвигает Алёша. Христос сам страдал. Достоевский прибегает к таящемуся внутри христианства абсурду, что бог сам несовершенен, что он сам страдалец. Дело Христа фактически утверждает, что бог ошибся, создавая мир, создавая Адама, и что для исправления ошибки он вынужден был сына своего единородного, в сущности себя самого, предать унижительной казни. Вот за этот-то христианский абсурд и прячется Достоевский»¹.

К этому необходимо добавить, что привлечение Христа в качестве морального авторитета, имеющего право простить всех и за всё, как подчёркивает Алёша, то есть простить и генерала, затравившего псами на глазах матери её сына, с особенной ясностью подчёркивает аморальность религии. Мифом о неповинной крови, пролитой во искупление всех грехов, оправдывать потоки живой неповинной крови, океан детских слезинок — вот оно, кощунство христианства! Христом куплено право мучить детей, ибо он и скупил все грехи всех, — как цинично сливаются тут, обнаруживая общий смысловой корень, торжественное понятие и скупления и торгашеское понятие покупки!

Но и ссылка на Христа не может зачеркнуть протест, вложенный автором в уста Ивана. Если бы Иван был действительно последователен, он должен был бы ответить, исходя из логики своего бунта, своих посылок: я своим эвклидовским, человеческим разумом не могу постигнуть тайну сию, не могу понять, как можно купить оправдание детских мучений мистической кровью «единого безгрешного», а потому уж лучше я останусь при нестомщённом страдании моём, при земном, пусть ограниченном, но единственно доступном моему разуму непонимании моём... Но вместо этого Иван, подчиняясь воле автора, рассказывает «Легенду о великом инквизиторе», не имеющую прямого логического отношения к предмету его спора с Алёшей или — к спору писателя с самим собой.

Мысль Достоевского была замкнута двумя видами идеалистической философии и двумя видами аморализма и жестокости: аморализм и жестокость буржуазного индивидуализма, идея «сверхчеловека», предугаданная Достоевским, с одной стороны; аморализм и жестокость религии, оправдывающей всё зло жизни, с другой стороны. Мы видим, что писатель чувствовал цинизм обоих видов аморальности, — недаром он вложил столько своей страсти в бунт Ивана, обвиняющего религию именно в аморальности.

Достоевский не смог опровергнуть главное, действительно объективно-верное и ценное в бунте Ивана, так как ушёл от главной магистрали спора в боковые закоулки. Откуда, в самом деле, вытекает, что логическим следствием бунта Ивана является принцип «всё позволено!»? Наоборот, в том позитивном ядре, которое содержится в протесте Ивана, как раз очень многое не позволено! Не позволено мучить детей! Не позволено мучить человечество! Не позволено моральное оправдание мучений детей, мучений человечества! Не позволено прощение мучи-

¹ А. В. Луначарский. Достоевский как художник и мыслитель. «Красная новь», № 4 за 1921 год.

телям, истязателям детей! Против того объективно-ценного, неопровержимого, что содержится в бунте Ивана, или в бунте Достоевского,— Достоевский оказался бессилен. Он показал, с какими океанами зла, жестокости, насилия, мучительства, бесчеловечности призывает мириться религия; показал весь цинизм использования религией образа Христа для оправдания зла на земле,— и, замерев в ужасе перед размахом своей же мысли, начал, как бы опомнившись, отгонять её судорожным крестным знаменем, проклятием, отождествил своего Ивана—то есть свою мысль!— с «умным духом», дьяволом в «Легенде о великом инквизиторе», прилепил к Ивану Смердякова! Но правда осталась правдой.

Внутренняя противоречивость мысли писателя, идейные колебания, терзавшие его, жестокий спор с самим собой— всё это не могло не сказаться и во внутренней противоречивости, художественно-психологической алогичности, нежизненности образа-характера Ивана Карамазова. В отличие от Раскольникова, у Ивана нет даже никакого повода для преступления, совершаемого им руками Смердякова. Смердяковские рассуждения о наследстве после отца, о выгоде для Ивана смерти Фёдора Павловича никак не могут интересовать Ивана. Корысти у него нет. Он вдохновляет Смердякова на убийство отца только потому, что так хочет автор! У Ивана нет, в отличие от Дмитрия, никакой личной ненависти к отцу своему, есть лишь презрение. Поступки Ивана ничем не объяснены. Они вытекают не из характера, а только из «идеологической» абстракции. Вот почему Иван Карамазов— не тип, не живой, реальный художественный образ, а лишь подстановка для тезиса, только грань сомнений и болеваний писателя.

Достоевский не мог жить со своим постоянным чувством страданий человечества и своего бессилия перед ними. Он всегда носил в себе возможность безумия, невыносимость чувства беспредельности человеческих страданий, которое в нём преобладало над всеми другими чувствами. При незнании путей выхода, при отказе от них перед Достоевским действительно вставала страшная дилемма: или полное неприятие мира, или полное его принятие. То и другое было бесчеловечно, безвыходно, то и другое не могло удовлетворить Достоевского!

Потому-то, при всём умиленном сладкогласии Зосимы, Макара Ивановича, при всём отчаянном желании писателя выдать радость перед «миром божим», безисходный пессимизм окрашивает все его романы. Анархическим неприятием мира жить нельзя! Но можно ли было жить Достоевскому— с его постоянной болью за всё человечество— цинизмом зосимовского примирения со всем злом действительности? Этой умиленной пустотой мертвенной бесчеловечной мысли? Нет, конечно! И уже одно то, что под старость, в конце жизненного пути, он, друг Победоносцева, поднял бунт против мертвечины всепримирения и всепрощения, против своей собственной идеализации страдания, развернув этот бунт с неизмеримо большей художественной силой, чем всё то, чем он стремился погасить бунт,— уже одно это показывает, что он не мог жить с натянутым на себя церковным смирением. Да и натура у него была отнюдь не зосимовская! Недаром стихия бунта, возмущения, мятежа привлекала его с юности и с такою силою отозвалась под конец жизни.

Разве можно признать случайным, что в самой композиции его произведений наступавшей стороной является начало бунта, возмущения, а реакционное начало всегда поставлено в положение стороны обороняющейся!

Как и всегда, Достоевский в своей полемике сливал в одно целое противоположные, взаимоисключающие начала. В бунте Ивана Карамазова он слил воедино возмущение против зла, царящего в мире, против гнусности оправдания этого зла— с индивидуалистически-анархическим «бунтом» против морали, социальной этики.

У нас есть полная возможность за всей реакционной ложью, за всей мистификацией трезво увидеть реальную жизненную тему «Братьев Карамазовых». Это, разумеется, всё тот же ужас перед расшатыванием и падением старых моральных скреп в кризисную эпоху, всё тот же страх перед аморализмом. Это, конечно, всё то же, характерное для Достоевского, восприятие эпохи ломки, как эпохи гибели всякой морали.

Насколько глубоко Достоевский занозил весь лагерь реакции своим бунтом против оправдания религией детских страданий и как глубоко этот лагерь чувствовал растерянность, неудовлетворённость «ответом» на бунт, данным в романе,— об

этом можно судить, в частности, по следующему. Много лет прошло уже с тех пор, как прозвучали гневные, непровержимые слова, вложенные писателем в уста своего героя, а публицисты и философы реакции всё изощрялись и изощряются в тщетных усилиях подыскать хоть какую-либо контраргументацию против бунта Достоевского! В этих попытках со всею ясностью обнажается смердяковская сущность апологетов реакционных идей Достоевского, защитников религиозной морали. Как у Ивана Карамазова, так и у самого Достоевского оказывались свои Смердяковы, договаривающие за него весь тот цинизм религиозной «морали» полного примирения с человеческими страданиями, с мучениями детей, который страшил Достоевского не меньше, чем ивано-карамазовское «всё позволено!». Смердяковым при Достоевском был, например, мракобес, изувер, «специалист» по вопросам пола, новременский публицист В. Розанов.

В своей книге «Легенда о великом инквизиторе» (1906) В. Розанов признал тезис Ивана о недопустимости оправдания мучений детей самым грозным,— В. Розанову представлялось: единственно грозным аргументом против религии. Он призывал всех мракобесов мира мобилизовать все свои усилия для ответа на аргумент Ивана, подчёркивая исключительную трудность этой задачи и всю необходимость для церковников дать ответ! Он давал тут же и свой собственный вариант ответа, но, явно чувствуя неудовлетворительность и своего варианта, предупреждал, что это, мол, даже ещё и не попытка создать необходимое философское «пострррение», а так, лишь некоторые первоначальные соображения, материал для будущей постройки. Поразителен цинизм рассуждений этого ревнителя православной церкви, открыто и прямо благословляющего страдания детей как проявление высшей справедливости божией! Вот что писал он о «диалектике» Ивана:

«Построить опровержение этой диалектики, столь же глубокое и строгое, как она сама, без сомнения, составит одну из труднейших задач нашей философской и богословской литературы в будущем,— конечно, если эта последняя сознает когда-нибудь свой долг разрешать тревожные сомнения, бродящие в нашем обществе, а не служить только удостоверением в немецкой грамотности нескольких людей, которые почему-либо обязаны действительно быть с ней знакомы. Не делая попытки к такому построению, мы выскажем только... замечания».

Как ясно прорвались тут тревога и раздражение против, так сказать, бюрократизма идеалистической и богословской литературы, бессильной «разрешать тревожные сомнения, бродящие в нашем обществе»! Какой же вклад пытается внести сам В. Розанов в общее церковническое дело? Он берётся не более и не менее как поучать Достоевского с истинно церковной точки зрения тому, что в страданиях детей не только нет ничего невыносимого для человеческой мысли и совести, а что, наоборот, детские муки глубоко справедливы и полезны. В. Розанов пишет, что «страдания детей, столь несовместные, повидимому, с действием высшей справедливости, могут быть несколько поняты при более строгом взгляде на первородный грех, природу души человеческой и акт рождения».

Итак, Фёдору Михайловичу Достоевскому предлагается усвоить более строгий церковный взгляд, и тогда он поймёт, в чём тут дело с мучениями детей. В чём же дело? А вот в чём, видите ли:

«Дело в том, что душа человеческая порочна».

Вот этого-то Фёдор Михайлович Достоевский, как говорится, в данном случае недопонял! Ведь с точки зрения истинно христианской, ребёнок уже родится на свет порочным! — Первородный-то грех, этот важнейший догмат истинного христианства, изволили забыть-с, Фёдор Михайлович,— со смердяковской улыбкой обращается к «согрешившему» писателю его почтительный ученик.— Вот, извольте-с, я вам всё объясню.— Душа человеческая порочна? — Порочна. А вы, Фёдор Михайлович, говорите о беспорочности и невинности деток! Деточки-то тоже, знаете ли... Посмотрите строгом взглядом истинного христианина, и вы увидите, что «беспорочность» детей и, следовательно, невинность их есть явление только кажущееся: в них уже скрыта порочность отцов их, и с нею — их виновность; она только не проявляется, не выказывается в каких-нибудь разрушительных актах,

т. е. не ведёт за собою новой вины; но старая вина, насколько она не получила возмездия, в них уже есть. Это возмездие они и получают в своём страдании.

Видите, как просто! А вы-то, Фёдор Михайлович; терзались, жить не могли от мысли о том, что обижено в мире «дитё!» По заслугам и обижено. Оно, дитё-то, уже тем виновато, что родилось на свет. Видите ли, в чём тут высшая-то справедливость, божественная-то тайна: «Проступок, совершённый отцом, может быть настолько тяжёл, что и не может быть возмещён на нём, ни даже посредством его смерти... Но вот проходят поколения, и возмездие является — в страдании, которое, повидимому, непонятно и разрушает законы правды. В действительности же оно восполняет её».

Итак, страдания детей есть торжество истинной правды. Вот он, человеконенавидящий бред истинной религии! Конечно, В. Розанов вполне последователен с религиозной точки зрения, он отстаивает догмат первородного греха, распространяя его и на детей. И Достоевский понимал, что религия учит именно этому; но он страшился этого цинизма и жестокости религиозной морали, бунтовал против её бесчеловечности, а когда пытался погасить свой бунт, то высказывал церковную мысль о необходимости примирения со страданиями лишь обиняками. Язык у него не поворачивался, перо не могло сдвинуться! А Смердяковы, его обступившие, — о, вовсе не какие-то фантастические «нигилистические», а самые настоящие Смердяковы религий, — всё и выговорили. Софизмы истинно-верующего В. Розанова, оправдывающие мучения детей, в точности воспроизводят весь стиль «мышления», всю софистическую растленную манеру лакея Смердякова. Увы! — Ф. М. Достоевский мог бы сказать о себе то, что сказал об Иване Карамазове: «в душе его сидел лакей Смердяков и... именно этого-то человека и не может вынести его душа». В софистике старца Зосимы сидел В. Розанов...

«Одно очень глубокое явление, — со смердяковским самодовольством развивал В. Розанов свою софистику, — в духовной жизни человека получает здесь своё объяснение: это — очищающее значение всякого страдания. Мы несём в себе массу преступности, и с нею — страшную виновность (у-у-у! страсти-то какие! — В. Е.), которая ещё ничем не искуплена; и хотя мы её не знаем в себе, не ощущаем отчётливо, она тяготит нас глубоко, наполняет душу нашу необъяснимым мраком. И всякий раз, когда мы испытываем какое-нибудь страдание, искупляется часть нашей виновности, нечто преступное выходит из нас, и мы ощущаем свет и радость, станем более высокими и чистыми. Всякую горесть должен человек благословлять, потому что в ней посещает его бог. Напротив, чья жизнь проходит легко, те должны тревожиться воздаянием, которое для них отложено».

Возможность такого объяснения не приходила на мысль Достоевскому, и он думал, что страдания детей есть нечто абсолютное, прившедшее в мир без всякой предшествующей вины; отсюда понятен его вопрос: кто может простить виновника этого страдания?»¹

Достоевский-то просто не дорос до понимания того, что дети должны с часа своего рождения отвечать за грехи! А вот В. Розанов... дорос. Конечно, В. В. Розанов куда более последователен с точки зрения всех церквей мира, чем Ф. М. Достоевский. Точно так же Смердяков был более последователен, чем Иван Карамазов.

Мысли В. Розанова об «очищающем значении всякого страдания» содержались в идеях произведений Достоевского. Но то, что Достоевский переживал, как боль, трагедию, у Розановых превратилось в самодовольную софистику пошляков. Если Достоевский мучился вместе со страдающим человечеством, то его Смердяковы — все эти Розановы, Булгаковы, Мережковские и прочие ревнители истинной веры — явились уже бюрократами страдания, бухгалтерами «одновременного созерцания двух бездн». «захватывающей преступности человеческого духа» и прочего подобного. Т. е. что было живой мыслью; живой страстью, живым страданием Достоевского, превратилось у мракобесов разных мастей, декадентов и т. п. в набор кокетливых штампов.

Предвидел ли Достоевский такую лакейскую пошлость?

Да, предвидел! Иван говорит: «Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах

¹ В. Розанов, Легенда о великом инквизиторе. СПб. 1906, стр. 104—108.

отцов, то уж конечно правда эта не от мира сего и мне непонятна. Иной шутник скажет, пожалуй, что всё равно дитя вырастет и успеет нагрешить; но вот жё он не вырос, его, восьмилетнего, затравили собаками».

Так выясняется, что «философ» и «мыслитель», претендовавший на то, чтобы учить Достоевского последовательности, был в добавление ко всему и невеждой в отношении к писателю, перед которым он по-смердяковски и преклонялся и посмеивался над его «наивностью». «Возможность такого объяснения (ответственность детей за грехи отцов.— В. Е.) не приходила на мысль Достоевскому»,— утверждал В. Розанов. Но Иван Карамазов прямо и непосредственно отвергает возможность именно такого объяснения, заявляя, что такая «правда» — солидарность детей в грехах с отцами — человеку непонятна. «Шутников» вроде В. Розанова Достоевский предвидел с презрением и отвращением к их растленной софистике...

Правда, объективно выраженная в произведениях Достоевского, должна быть очищена от лжи, страшной путаницы, от всего того, что делало великого художника пленником старого мира, губившего его художественный гений.

Правда в произведениях Достоевского была искажена злобой реакции, безвыходным пессимизмом, культом страдания, идеализацией «извечной» раздвоенности, которую Достоевский приписывал «человеку вообще», неверием в возможность победы над всем тёмным в реальной действительности, бессильным ужасом перед злом жизни, который мог ослабить у неустойчивых, колеблющихся социальных слоёв волю к борьбе, веру в победу. Связь с реакцией губительно сказывалась на художественной силе, на жизненной правде произведений писателя.

Мы, советские люди, гордимся нашей идейной преемственной связью с великими прогрессивными русскими писателями и мыслителями, в том числе с нашими прямыми предшественниками, гениальными революционерами-демократами. Мы гордимся нашей неразрывной связью со всеми передовыми, прогрессивными художниками и мыслителями всех времён и народов. И мы не можем «забыть», «простить» Достоевскому, как бы мы ни ценили его художественный талант, ослеплявшую его мрачную злобу против лучших, демократических сил его эпохи, выраженную в наиболее реакционно-тенденциозных его произведениях. Мы не можем забывать и о том, что и в наше время реакция, церковники и иные мракобесы пытаются использовать его произведения в своих тёмных целях.

Идеализация Достоевского способна лишь помешать пониманию ценного, большого, жизненно правдивого, что заключено в его произведениях. А мы хотим, чтобы это ценное и большое было понято, зазвучало в полный голос! Ибо мы чтим суровую правду о жизни человечества под гнётом насильнического общества, воплощённую в трагических образах горя, нужды, обиды — образах, отражавших протест и гнев обездоленного большинства человечества,— в тех образах Достоевского, которые по праву входят в ряд вечных образов мировой литературы.

Достоевский боялся, что хаос, насилие, смердяковщина под маской «просвещённости» воцарится на свете, дух звериной вражды, ненависти, себялюбия, цинизма воцарится над всем, и ничтожной горстке насильников будет всё позволено над подавляющим большинством. Он страшился того, что у человечества не хватит сил для одоления зверя, и восторжествует закон взаимного поядения, истребления. В содрогании Достоевского перед бесчеловечными законами жизни было немало правды.

Но мы знаем: наступит время, когда не будет проливаться ни одна слезинка замученного ребёнка на всём белом свете. Победа будет не за тёмными силами хаоса, истребления, разрушения, звериного эгоизма. Победа будет за теми, кто ведёт героическую борьбу против всякого унижения и оскорбления человека!



КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ник. Пяшев. Публицистика В. Воровского.— **А. Кондратович.** Сильные духом.— **Анатолий Алексин.** На баррикадах Пресни.— **Ф. Молон.** «Бурный 1905 год».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Александр Жаров. Величие и простота.— Кандидат исторических наук **Е. Черняк.** Новые работы о 1905 году.— **Л. Никулин.** Горький в бурях первой русской революции.— Кандидат исторических наук **Ю. Шарапов.** Из истории нелегальных библиотек в России.

Литература и искусство

Публицистика В. Воровского

В 1913 году в статье «О большевизме» В. И. Ленин поместил имя П. Орловского среди имён тех писателей-большевиков, которые своей работой в газетах и журналах способствовали победе большевистской партии над русским и международным оппортунизмом. П. Орловский — это наиболее распространённый в то время литературный псевдоним Вацлава Вацлавовича Воровского — выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, ученика и соратника В. И. Ленина.

В. В. Воровский — пламенный публицист и вдумчивый, тонкий литературный критик — оставил большое литературное наследство. К великому сожалению, это наследство до сих пор ещё полностью не собрано и в достаточной степени не изучено. Недавно выпущенный Госполитиздатом сборник избранных произведений В. В. Воровского о первой русской революции обогащает наших читателей и представляет живой интерес для историков, пропагандистов марксистско-ленинской теории, наконец, для каждого, кому дорого великое революционное прошлое нашей страны. Литературная деятельность В. Воровского в годы первой русской революции нача-

лась в газете «Искра» и проходила под непосредственным руководством В. И. Ленина.

После измены Плеханова, кооптировавшего в «Искру» всех старых редакторов и тем самым нарушившего решение II партийного съезда, В. Воровский принял сторону Ленина и занял твёрдую, непримиримую позицию по отношению к меньшевикам: «Не забираться же в это болото и квакать там вволю. Конечно, надо всем помогать Владимиру Ильичу», — ответил В. Воровский, когда его спросили, с кем он думает работать.

Свои слова он подкрепил делом. В ряде брошюр, написанных не без ведома В. И. Ленина, В. Воровский разоблачал дезорганизаторскую деятельность меньшевиков, их махинации, предпринятые для того, чтобы сорвать очередной съезд партии. Тогдашний Совет партии, который мог бы по уставу созвать съезд, всячески тормозил и срывал его, ибо большинство в Совете, из-за предательства Плеханова, принадлежало меньшевикам. Факт срыва Советом партии очередного съезда доказал В. Воровский в брошюре «Совет против партии» (1904). (Жаль, что она не включена в этот сборник. — *Н. П.*) Он показал подлоги и махинации меньшевиков, засевших в Совете, указал на то, что «примиренцы» (Гальперин, Красин, Носков) пошли на

В. В. Воровский. «Избранные произведения о первой русской революции». Редактор **И. Верховцев.** 400 стр. Госполитиздат, М. 1955.

поводу у дезорганизаторов. В. И. Ленин высоко оценил эту брошюру, рекомендовал её местным комитетам.

В статьях «Пора кончить», «Наши Тартюфы», «Кого они хотят обмануть?» и т. д. В. И. Ленин отмечал главное достоинство брошюры Орловского «Совет против партии» — её убедительность. «...Совет врет устав и обманом уклоняется от обязательного для него созыва съезда. Именно этот «случай» и доказан давно партией по отношению к Совету (см. Орловский: «Совет против партии», где, между прочим, показано, что по арифметике «Совета» $16 \times 4 = 61!$)»¹.

Летом 1904 года В. Воровский был вызван Лениным в Женеву и принял участие в совещании 22-х, на котором было подписано программное обращение «К партии». В это время в России назревала революция. Партии большевиков необходимо было возглавить её, руководить пролетариатом при помощи массовой литературы. И вот в конце 1904 года была создана газета «Вперёд». В состав редакции вошли лучшие публицисты-большевики: В. В. Воровский, М. С. Ольминский, А. В. Луначарский. Главным редактором газеты, её руководителем и вдохновителем был В. И. Ленин. В восемнадцати вышедших номерах газеты «Вперёд» В. Воровский написал около пятнадцати заметок и статей. Кроме того, он редактировал материалы других авторов, заменяя одно время Ольминского в роли ответственного секретаря редакции.

В статьях «Плоды демагогии», «Изобретатели разногласий» и других В. Воровский разоблачал демагогические приёмы меньшевиков, которые на словах были за революцию, а на деле тормозили её развитие.

Весной 1905 года состоялся III съезд партии. В. Воровский присутствовал на нём как делегат от Николаевской парторганизации. Он активно участвовал в работе съезда, определившего большевистскую тактику по вопросам революции: выступал много раз в прениях; принимал участие в работе разных комиссий, был докладчиком по вопросу об отношении к либералам. Вместе с Крупской и Обуховым В. Воровский был выбран в комиссию по редактированию протоколов съезда.

После съезда, как известно, большевики стали выпускать свой Центральный орган—

«Пролетарий». Состав редакций остался прежним. Воровский редактировал материалы, много писал сам. В августе 1905 года он выехал из Женевы по партийным делам, но и вдали от редакции продолжал писать, давал оценку статьям других авторов. В письме к Ленину от 7 августа 1905 года он сообщал: «Посылаю Вам статью для передовицы. Вышла неважно — посмотрите, пускать ли; как-то эту неделю не писалось... Посылаю обратно статью «Петуха» — настоящий петух. Статья, собственно говоря, ерундовая, — разве что на затычку. Набростил я к ней несколько ругательных слов».

В. Воровский был строг и требователен не только к другим, но и к себе. Он был самокритичен и скромнен в своей работе, принципиален и трудолюбив. В период первой русской революции он трудился чрезвычайно настойчиво и много: выполнял работу одного из редакторов газеты, переводил труды Маркса, осенью 1905 года участвовал в переговорах с А. Бебелем, Р. Люксембург и К. Каутским, выступал с докладами перед русскими политэмигрантами в разных городах Европы.

В газете «Пролетарий» В. Воровским было написано около двадцати статей, определяющих тактику в период революции. Исходя из партийных решений, принятых III съездом, В. Воровский пропагандировал большевистскую тактику по вопросам вооружённого восстания, отношения к буржуазии, крестьянству, правительству и т. д.

В статьях «Революция и контрреволюция», «Буржуазия и монархия», «Страничка из истории» и многих других В. Воровский горячо призывал русский пролетариат к свержению царской деспотии. «...только в гражданской войне может быть разрешён спор между царём и народом, — писал он, — только в ней может быть завоёвана народная свобода». Опровергая взгляды меньшевиков, В. Воровский показывал трусость, неспособность русской буржуазии довести революцию до конца. На примере революции 1848 года в Германии он предупреждал пролетариат России о предательстве буржуазии, о том, что ей доверять нельзя, что надо брать дело революции в свои руки. Говоря о прусской буржуазии, В. Воровский вместе с тем ясно указывал, почему и ныне русская буржуазия так же пойдёт на сделку с царизмом: «...страх перед подрастающим врагом пересилил ненависть к врагу дряхлеющему. Буржуазия в страхе

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 8, стр. 199.

отшатнулась от решительной и последовательной революции и пошла на соглашение с монархией».

Воровский пропагандировал ленинскую идею о диктатуре пролетариата и революционного крестьянства. Он считал, что «только в том случае решительная победа русской революции может быть вполне обеспечена, если судьбы её возьмёт в свои руки пролетариат, поднимая и присоединяя к себе крестьянскую массу».

Осенью 1905 года в России назревало вооружённое восстание. Для того, чтобы непосредственно руководить им, В. И. Ленин, М. С. Ольминский и другие большевик-литераторы вернулись в Россию. Таким образом, В. Воровский остался единственным редактором Центрального органа партии большевиков — газеты «Пролетарий». Под его руководством вышли два последних номера газеты (25 и 26).

Напуганное быстрым развитием революционного движения в стране, царское правительство решило пойти на некоторые конституционные уступки, чтобы задуть революцию. Одной из таких подачек самодержавия было создание куцега, покорного царизму парламента — «булыгинской» Государственной Думы. Большевики решили объявить тактику активного бойкота, чтобы парализовать влияние Думы на массы, развеять конституционные иллюзии в народе. Пропаганда тактики активного бойкота Думы Воровский посвятил свою брошюру «О Государственной Думе» (1905), вышедшую в Женеве. Написанная в виде вопросов и ответов, простым и ясным языком, эта брошюра предназначалась для широкого круга русских читателей. В ней разоблачался куцей избирательный закон, дарованный народу летом 1905 года. Путём нехитрых расчётов В. Воровский наглядно показал, что ни рабочие, ни беднейшее крестьянство не смогут избирать и быть избранными, так как система проволочек лишает их возможности участвовать в выборах. Со всей страстью пламенного сердца В. Воровский призывал русский пролетариат и крестьянство встать под знамя РСДРП и с оружием в руках добиваться всеобщего избирательного права и созыва на его основе Учредительного собрания.

В конце ноября 1905 года В. Воровский выехал в Петербург, где начала выходить легальная газета «Новая жизнь». В ней он

также был членом редколлегии и заведовал иностранным отделом. В 1906 году большевики издавали газеты «Волна», «Вперёд», «Эхо», журнал «Вестник Жизни» и т. д. В них В. Воровский принимал непосредственное участие и как член редколлегии и как активный публицист. Его статьи против меньшевистской соглашательской тактики, по вопросу участия в выборах в Думу, о разоблачении буржуазных партий пользовались широкой известностью среди рабочих.

Всю силу своего яркого дарования В. Воровский направлял на то, чтобы отстаивать чистоту и монолитность партийных рядов, крепить силу и мощь своей партии. Он был истым певцом ленинской партии.

«Мы будем всеми силами отстаивать и партию, и чистоту наших принципов, — писал В. Воровский. — Партия, работающая в самой гуще пролетарской массы, кость от кости и плоть от плоти этой массы, живущая её радостями и страданиями. Партия — просветитель и организатор этой массы, вечно впитывающая её лучшие соки, но впитывающая с тем, чтобы тотчас же отдавать их массе. Партия — классовый фермент, как дрожжи, вызывающая классовое брожение и дающая исход этому брожению в организованной борьбе за социализм. Партия, наконец, в которой рабочая масса видела бы своего признанного вождя и руководителя, свою партию, своё лучшее будущее...»

Во всех большевистских газетах и журналах, издававшихся в период первой русской революции в Петербурге или Москве, в числе постоянных сотрудников неизменно значилось имя П. Орловского, и это не случайно, ибо это была подпись одного из самых талантливых, самых активных публицистов-большевиков. Глубина мысли в статьях В. Воровского сочеталась с шуткой и сарказмом. Большие теоретические познания В. Воровский умел облекать в сверкающую форму. В его передовицах бил пульс живой мысли и играла подчас злая ирония. В фельетонах Фавна¹ (один из псевдонимов В. Воровского. — Н. П.) разящий сатирический смех убивал врагов. Обстоятельные, хорошо аргументированные статьи дышали полемическим задором. В брошюрах, написанных В. Воровским, всегда чувствовался глубокий и всесторонне развитый ум автора, умение по-марксистски анализировать и

¹ Жаль, что ни один из этих фельетонов не включён в сборник.—Н. П.

обобщать, ярко и убедительно аргументировать свою мысль. Каждое общественное явление, которому В. Воровский посвящал статью или брошюру, он рассматривал диалектически, а не исходя из заранее определённых догм.

Но главная примета публицистики В. Воровского — это красочность, яркость, — та особенность стиля, которую хорошо охарактеризовал в своё время А. Луначарский: «...на нас, на всех тогдашних марксистов, статьи Воровского сразу произвели впечатление каких-то ярко развернувшихся красных цветов на фоне довольно чахлая литературной критики».

И это действительно так. Достаточно прочесть очерк В. Воровского «Корабль-скиталец», посвящённый восстанию на броненосце «Потёмкин», чтобы получить представление о мастерстве публициста-ленинца. В нём удачно использована старая легенда о «летучем голландце»: «На заре туманной юности европейской буржуазии, когда мрак первоначального накопления озарился приветливым блеском американского золота, сложилась легенда о голландском моряке, обречённом на муки вечного скитания. Гонимый и терзаемый злыми демонами буржуазии — демонами, возникшими из потоков крови и слёз, пролитых ради нового божества — золота, злополучный корабль носился по бесконечному простору морей, не видя исхода своим страданиям». Со временем легенда развеялась, а преступления буржуазии остались. И вот, чтобы искупить их, вновь появился на волнах моря корабль-скиталец, «на борту его красовалось ненавистное имя «Князь Потёмкин Таврический». В. Воровский пел настоящий гимн броненосцу революции, веруя, что он победит: «Корабль-скиталец русской революции исполнит свою задачу, только победив, только одержав верх в борьбе. Он несёт на

★

себе светлые надежды трудящихся и угнетённых масс, и этот ценный груз не может поглотить пучина моря. Море вольнолюбиво, оно не будет могилой надежд революции». В образе корабля-скитальца В. Воровский видел символ всей революции. Поэтому, несмотря на то, что броненосец сдался румынским властям, В. Воровский не считал это поражением революции. Он призывал к борьбе: «Нет, вся кампания этого первого революционного броненосца была сплошной победой революции. Разве она не раскрыла бессилия противника? Разве она не разоблачила революционного брожения в самой, казалось, прочной опоре трона — флоте и армии? Разве она не заставила Николая унижаться до просьбы о помощи у иностранных держав? Разве она не сорвала отрепьев порфиры, прикрывающих наготу самодержавия? Нет, не на этом одном судне покоились надежды русской революции. Его история была лишь одним из эпизодов, одним из многочисленных эпизодов её. Тот могучий броненосец, которому суждено освободить Россию, корабль-скиталец русской революции, — он жив, он цел, грозной громадой надвигается он на врага, зловеще сверкают жерла пушек, жадной боя сгорают команда, а высоко в воздухе радостно бьётся и трепещет красное знамя свободы».

Публицистическая деятельность В. Воровского высоко ценилась В. И. Лениным. В 1905 году в письме к А. Луначарскому Ленин писал о В. Воровском: «...пишет он... усердно и хорошо...»¹ Эта немногословная оценка сильнее любых эпитетов характеризует публицистическую деятельность В. Воровского, выдающегося литератора-большевика, сыгравшего особенно большую роль в годы первой русской революции.

Ник. ПИЯШЕВ.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 34, стр. 277.

Сильные духом

Баку. Конец 1904 года. Только что закончилась всеобщая стачка бакинского пролетариата. Насмерть перепуганные нефтяные магнаты вынуждены были подписать так называемую «Мазутную конституцию»,

П. Бляхин. «На рассвете». Повесть. Редактор В. С. Иванов. 356 стр. Таткиноиздат, Казань, 1954.

содержавшую требования рабочих. Финал бакинской стачки был поистине победным и грозным. Тысячные массы бастующих, окружив здание, где заседали стачком и комиссия нефтепромышленников, диктовали свои бескомпромиссные требования, а осаждённая комиссия довольно покладисто «выражала свою солидарность», «соглашалась на всё»...

Не одни бакинцы — весь рабочий класс России одержал новую замечательную победу. Впоследствии о бакинской стачке в «Кратком курсе истории партии» было сказано образно и сильно: «Эта стачка была как бы предгрозовой молнией накануне великой революционной бури».

Герой автобиографической повести П. Бляхина «На рассвете» — юный подпольщик, совсем недавно приобщившийся к великому делу революции. Нетрудно представить, какой энтузиазм подняла в нём победа бакинцев! И не потому, что и он готовил её, овладевая опасным, но трижды благородным ремеслом революционера. Разве дело в себе?.. Декабрьская победа укрепила веру в общие силы народа; она с неопровержимостью значительного исторического факта свидетельствовала: курс, взятый молодой ленинской партией большевиков, правилен, надо готовиться к новым битвам. Они будут.

И вот, возбуждённый победой, герой повести идёт ночью со своим другом Ибрагимом по голой степи, «как по золотому ковру, усыпанному цветами». Он идёт, незаметно ускоряя шаг, словно торопится к ожидаемому впереди счастью.

«Ибрагим чему-то светло улыбался.

— Победа, — вслух сказал он, видимо, отвечая на свои мысли. — Рабочий народ поднял голову... Хорошо, товарищ!

— Хорошо, йолдаш!..

Мы зашагали ещё быстрее: как жаль, что нет у нас крыльев!

Ибрагим поднял руку, показывая на багряный восток:

— Уже светает...

— Светает, — повторил я тихо. — Но ведь это только ещё рассвет, мой друг, а солнце...

И далеко перед нами, из глубины вдруг вспыхнувшего моря, торжественно поднялось солнце.

Доброе утро!..»

Так кончается повесть. Наверное, «намётанный глаз» без особого труда уловит в этой картине некоторую условность и совсем не обязательную прямолинейность, даже нарочитость самой символики, к стати говоря, уже побывавшей в литературе и публицистике. Но, странное дело, об этом совсем не думаешь, когда закрываешь книгу, а начинаешь размышлять, уже несколько отойдя от неё. И это, очевидно, потому, что при чтении всё время воспринимаешь повесть не только как литературный факт,

но и как документ, волнующий документ современника больших событий, юность которого счастливо совпала с юностью нашей революции. Да, конечно, именно так — приподнято-восторженно думали и говорили эти двое юношей; ведь то, что для нас стало незабываемой историей, для них было сокровенным смыслом их жизни.

В повести как бы существуют две атмосферы. Одной из них уже нельзя дышать. Это спёртый воздух домостроевского кулацкого быта дядюшки-«благодетеля», готового кормить «сиротинку» за то, что «сиротинка» с утра до ночи на него батрачит; воздух астраханских лабазов и душегубочных лежек; чад нефтяных промыслов, сквозь который не всегда пробивалось солнце. И другая — свежая, бодрящая атмосфера приближающейся революции. Именно эта атмосфера, словно бы разлитая по всей повести, придаёт ей оптимистическое звучание, делает её светлой, несмотря на все описанные в ней «свинцовые мерзости» старой жизни.

Новый мир — это новые люди. За ними моральная чистота братских отношений, истинное благородство, выраженное прежде всего в самоотверженном подвиге служения народу. Встреча с таким новым человеком, молодой учительницей-большевицкой Верой Сергеевной, решила судьбу героя повести. Чем-то напоминает Вера Сергеевна гладковскую учительницу из его повести «Вольница». Она такая же лучезарная, почти сказочная, автор так и пишет о ней: «голубая, воздушная, царевна...» И это восхищение — не от одного детского восприятия. Как и у Ф. Гладкова, у П. Бляхина с образом учительницы в деревенскую глушь вошёл новый человек, и вместе с ним — свет пробуждающегося сознания, первые проблески собственной беспокойной мысли.

Разумеется, каждая биография индивидуальна. Но есть в биографиях людей и общее, то, что связано с движением «большой жизни», истории. Встреча с учительницей была первым толчком, а дальше были другие встречи, другие события, и все они вели подростка к одному — к активному революционному делу. проясняли его разум и наполняли мускулы энергией, требовавшей разрядки в реальном действии. Отлично, что в повести эта связь простых людей с революцией выявлена как закономерность самой жизни. Очень хорошо поэтому, что в автобиографической повести есть несхожие, но подобные в главном биографии

других людей — тёмного деревенского парня Никиты, подавшегося в Баку в поисках «рая земного» и не нашедшего там ничего, кроме ада, азербайджанца Ибрагима и многих других. При этом они не «народный фон», не иллюстрации широты, массовости революционного движения, а живые, чётко очерченные образы.

Автор не «выпрямляет» собственного пути, не упрощает биографий других персонажей своей повести. Были и ошибки, и срывы, и блуждания, и сомнения, кто прав: эти или те?.. Были незрелость мысли и неопытность молодости. Обо всём этом писатель рассказывает то с улыбкой, то с досадой, а то и с грустью. Он беседует с нами, мы слышим естественные интонации его речи, придающие повести особое обаяние живого человеческого документа.

Это особенно ощущаешь там, где на страницы повести входят лица исторические — бакинские комиссары Шаумян, Джапаридзе, Азизбеков, Фиолетов, где описывается Коба—Сталин. В Баку, в центре города, есть улица Фиолетова; имя его, так же как имена всех 26 бакинских комиссаров, стало легендой, оно высечено на обелисках. И вот Фиолетов появляется в повести, все зовут его нежно и уважительно — Ванечка, и уже от одного этого он сразу же теряет свою легендарную бронзовость и становится милым, неунывающим и очень смелым любимцем бакинских нефтяников. Нигде и никого не приподымает автор на пьедестал, и в то же время мы чувствуем величие духа этих солдат революции, потому что ему удалось передать их идейную чистоту, бесстрашие, граничащее с самоотречением, беззаветную, рыцарскую преданность революции.

Этим прежде всего и привлекает книга.

Есть в повести и просчёты и недоглядки. Налёт примелькавшегося штампа лежит на образах сельского учителя — дьякона, — конечно, выпивоха, сизый нос, громовой голос; жандарма — «селёдка» на боку, толст, дураковат; шпика — бегающие глазки, золотой набалдашник, оттопыренные уши. Иногда стиль повести становится чрезмерно сух, в особенности там, где автор бегло сообщает о том, что происходило в стране: эти краткие исторические справки лишены публицистических красок.

Можно бы в новом издании расстаться и с некоторыми вялыми эпизодами.

Но всё это частности. Главное же удалось. Удалось старому большевику и писателю Павлу Андреевичу Бляхину создать интересную и очень нужную автобиографическую повесть о рассвете своей сознательной жизни и о большом рассвете, занимавшемся в начале века над всей нашей страной. Читая книгу, всё время завидуешь её автору не мелочной завистью: он видел то, что мы уже никогда не увидим, он делал то, к чему мы уже не приложим своих рук. Но с этой завистью соседствует столь же не мелочная гордость: новые поколения — свидетели и творцы новых замечательных дел. И как знать, может быть, будущее посмотрит на нас теми же восхищёнными очами, какими смотрим мы на рубеж двух веков, на годы первых революционных сотрясений, на сильных духом людей, строивших тогда по плану Ленина великую Коммунистическую партию. Мы высоко держим факел, зажжённый этой партией.

А. КОНДРАТОВИЧ.

★

На баррикадах Пресни

Лучшие детские писатели всегда видели специфику детской литературы не в каких-либо тематических рамках и ограничениях, а в особой ясности, простоте и доходчивости художественной формы. В той самой простоте, которой художнику так не просто добиться! И есть ещё одно качество, непременно для детской литературы, — сюжетность, динамичность действия. Без этого ни одно произведение — будь то романтически приподнятая поэма или лиричнейший

рассказ — не привлечёт внимания юных читателей. Н. Г. Чернышевский писал: «Посмотрите, любит ли ребёнок растянутость, водянистость рассказа? Нет, он беспрестанно понукает вас: «Ну, что же дальше? Ну, что же дальше?». Говорите скорей, скорей ведите к концу сказку; говорите только самое существенное».

Маленьким поэмам Юрия Яковлева («Шёл отряд», «Подарок», «Высотный змей», «Посылка из Москвы») как раз свойственна та напряжённость сюжета, которая накрепко приковывает ребят к книж-

Ю. Яковлев. «Петрушна». Поэма. «Юность» № 5 за 1955 год.

ке, заставляет их, нетерпеливо забегая вперёд, спрашивать: «А что же дальше? А чем кончится?!» Построение сюжета в этих маленьких поэмах весьма своеобразно: от занимательного факта, от интересного события — к большим и серьёзным обобщениям.

Новая поэма Ю. Яковлева «Петрушка» начинается с того, что старый большевик, дедушка Егор, находит на самом дне глубокого сундука тряпичную куклу — некогда бойкого и весёлого, но уже столько лет молчавшего Петрушку. Юным читателям сразу интересно: как Петрушка попал сюда, почему так бережно хранит его старик? И как бы ответом на этот вопрос звучат воспоминания дедушки Егора...

Полвека назад довелось дедушке Егору, а верней сказать, мальчишке-подмастерью Егорке, впервые увидеть столь любимое народом зрелище — театр Петрушки. Много весёлых минут доставил простому люду «народный артист» — в колпачке и в красной косоворотке. Но в конце представления произошло самое неожиданное: вдруг из-за ширмы взвилась белая стая листовок. Жандармы схватили петрушечника, а сам Петрушка, брошенный на снег, умолк, раскинув недвижные руки. Егорка поднял с земли своего маленького кумира и бережно спрятал его.

Это было в канун грозных декабрьских дней! А когда грянули эти дни, Егорка снова встретился с петрушечником. На этот раз он увидел его уже не за ширмой весёлого театра, а на гребне баррикады, со знаменем в руке. Весёлый артист оказался дружинником-революционером. Вражеская пуля сразила бойца, а подмастерье Егорка, ещё недавно забытый и тёмный, пошёл его путём.

Вот о чём напомнил дедушке Егору Петрушка, найденный на дне глубокого сундука. Дедушка дарит своего старинного друга ребятам на кремлёвской ёлке. Таков свиратце сюжет новой поэмы Ю. Яковлева.

Нелегко было оживить перед юными читателями события пятидесятилетней давности. Но поэт переносит ребят в незабываемые дни, когда в Москве, на Пресне, шёл первый бой за власть Советов. Поэт показывает большие события через романтический сюжет, через судьбу маленького героя поэмы — подмастерья Егорки.

Мы говорили о сюжете, как об одном из средств поэтической выразительности. Но

сюжет мёртв и бездействен, если он не подкреплён поэтически-образным языком. В поэме «Петрушка» Ю. Яковлев достигает большой поэтической выразительности. Вот, например, как дедушка Егор «оживляет» умолкшего Петрушку:

...Смахнул рукою с колпака
Снежинки нафталина.

И, как перчатку, натянул
Он на руку Петрушку,
Как будто жизнь свою вдохнул
В тряпичную игрушку.

Два ловких пальца — две руки,
А третий палец — шея,
Петрушка ожил...

А вот описание Петрушки после разгрома театра: маленький артист лежит на снегу —

Лежит, как раненый боец,
Без шуток и без смеха.
Молчит латунный бубенец.
Колпак с макушки съехал.

И лишь смеющийся зрачок
Глядит, не зная страха.
Как будто знамени клочок,
Из кумача рубаха.

Образно и точно показывает поэт движение времени:

С тех пор немало декабрей
С морозами дружили.
И пятьдесят календарей
Нам службу сослужили.

В поэме привлекателен образ маленького Егорки. Его жизнь наполнена событиями — и потому интересна юным читателям. Очень точно показан психологический перелом, который происходит в сознании Егорки после разгрома кукольного театра. Избитый и одинокий, он начинает читать скомканную в кулаке прокламацию. «Долой царя!» — эти слова заставляют содрогнуться забытого подмастерья. Как это можно?! Но вот перед мальчишкой проходит вся его безрадостная жизнь — и он постепенно, своим путём приходит к этим смелым словам:

Долой царя!
За то, что бьют
Жандармы ребятшек.
И в шоры шорники берут
Таких, как он, мальчишек.

За то, что мамка на селе
Который год батрачит.
Долой царя!
Чтоб на земле
Все зажили иначе.

В поэме много светлых, весёлых строк. И вместе с тем она драматична. Центральный эпизод — гибель петрушечника на баррикаде, его прощание с Егоркой — вызывает большое волнение. Образ подпольщика, который занимается революционной пропагандой под видом весёлого артиста, хотя и дан всего несколькими штрихами, но очень легко домысливается читателем.

И наконец — Петрушка! Яркий, живой, с речью, построенной в традициях народного театра, он верный помощник революционера, гневный и смелый обличитель самодержавия. В красном колпачке он проходит

через всю поэму и приходит в наше сегодня, на ёлку в Кремль...

Будет хорошо, если в отдельном издании поэма несколько сократится, избавится от некоторых неточных рифм («бьют—берут»), от излишне патетичных восклицаний.

И тогда ребята с ещё большим интересом и волнением прочтут книгу о далёких, но незабываемых днях первой русской революции — книжку, с обложки которой им будет хитро улыбаться весёлый маленький «народный артист».

Анатолий АЛЕКСИН.

★

«Бурный 1905 год»

Первая русская революция имела широкий отклик во всех странах Запада и Востока.

О том, какое большое влияние она оказала на рост революционного движения рабочих Чехии, входившей в то время в состав Австро-Венгрии, повествует книга «Бурный 1905 год», написанная виднейшим деятелем рабочего движения, одним из основателей Коммунистической партии Чехословакии, президентом Чехословацкой Республики Антонином Запотоцким.

Роман «Бурный 1905 год» является второй книгой трилогии, в которую входят также романы «Встанут новые бойцы» и «Красное зарево над Кладно». Трилогия эта была задумана Антонином Запотоцким, когда он находился в концентрационном лагере Ораниенбург-Саксенгаузен, откуда был освобождён Советской Армией.

Три романа А. Запотоцкого на широком историческом фоне показывают, как росло и развивалось рабочее движение в Чехии, как из небольшой группы передовых рабочих-социалистов семидесятых годов XIX века это движение выросло в мощную силу, которая в 1921 году создала свой передовой отряд — коммунистическую партию.

В первой книге трилогии А. Запотоцкий рассказывает о начале рабочего движения в чешских землях в семидесятых—девяностых годах XIX века. Мы узнаём о благородной деятельности первых социалистов, которые, несмотря на полицейские преследования, звали трудовой народ к борьбе за

свои экономические и политические права. С особой теплотой автор рисует образ одного из первых чешских социалистов — портного Ладислава Будечского. Знакомимся мы в этом романе и с сыном Будечского — школьником Тондой, старательно выполняющим все поручения, связанные с революционной деятельностью отца. Тонду Будечского — уже не мальчиком, а взрослым юношей — встречаем мы и во второй книге трилогии — «Бурный 1905 год».

С первых страниц романа автор представляет нам обитателей доходного дома колбасника Пивоньки в одном из пражских рабочих районов — в Жижкове. Разные люди живут в этом доме. Здесь и старый рабочий папаша Габан — инвалид, вынужденный с утра до вечера бродить по Праге с торговым лотком в руках, здесь и забитая деревенская девушка Марьянка, над которой надругался хозяин дома, и разорившийся владелец ателье мод Чехр, сделавшийся портным потому, что «тут не запачкаешься. И руки останутся нежными. Сошьёшь себе костюм по последней моде и, пожалуйста, — выглядишь, как барин». Здесь же мы вновь встречаемся и с Тондой Будечским, который является главным героем романа. Впервые мы видим обитателем дома Пивоньки в тот июньский воскресный день 1905 года, когда в Праге было получено известие о восстании на броненосце «Потёмкин». Автор показывает, как отдалённые революционные события отразились на судьбах жителей Жижкова. «...Я пытался, — пишет А. Запотоцкий в послесловии к роману, — показать в книге, как каждый человек во время исторических революционных событий становится участником — хочет он этого или нет».

Антонин Запотоцкий. «Бурный 1905 год». Перевод с чешского. Редактор С. А. Шмераль. 384 стр. Государственное издательство художественной литературы, М. 1954.

Каменотёс Тонда — энергичный руководитель молодёжной секции социал-демократической партии в своём районе. Узнав о восстании русских матросов, он призывает молодёжь выразить симпатию развивающейся русской революции и серьёзно изучит опыт её борьбы.

«...Без революционных боёв русского пролетариата в 1905 году в нашей стране не было бы борьбы за всеобщее избирательное право, не было бы того мощного движения, которое впервые пробудило наш пролетариат и привело его к массовому политическому выступлению», — пишет А. Запотоцкий в том же послесловии. И о чём бы они ни рассказывал в книге: о выступлениях ли Богумира Шмерала (будущий основатель Чехословацкой компартии) или о мощных демонстрациях рабочих Праги, всё это отголосок тех великих исторических событий, которые происходили в России в 1905 году.

Под влиянием всеобщей забастовки, успешно проведённой в России, народные массы Чехии решают применить тот же метод борьбы.

Забастовали металлисты на заводе «Умрат», формовщики на «Рустонке», кирпичники в Дейвицах, рабочие Высочанского резинового завода. Осенью 1905 года по всей Чехии прокатились многотысячные демонстрации, на которых народные массы требовали введения избирательного права. Этого добивались и горняки Кладно, и металлисты Пльзена, и рабочие других городов чешской земли. Революционные события наполнили радость сердца молодых рабочих — жителей известного нам дома в Жижкове и вместе с тем испугали его буржуазных обитателей.

С волеением читаются страницы книги, в которых рассказывается о генеральной забастовке в Чехии 28 ноября 1905 года. «Никто нигде не работал. Весь город, все предместья вышли на улицу. В колоннах собралось до двухсот тысяч человек...» «Рабочий класс и все трудящиеся поднялись. Сплотились в единую массу... И теперь ждали только сигнала: «Вперёд!»

Вместо этого со стороны руководства социал-демократии последовал предательский приказ о прекращении забастовки.

Остро переживает подавление революционного движения Тонда Будечский. Он осознаёт предательскую роль, которую сыграло в этой борьбе руководство социал-демократии. Русский пример подсказывает

Тонде, какой путь он должен избрать для того, чтобы продолжать борьбу за новый подъём революционного движения, за создание настоящей партии рабочего класса. Он принимает решение поехать в Кладно, чтобы быть ближе к рабочим массам. «Да, Франта, — говорит Тонда своему товарищу, — там — большая стройка. Там строят партию и организацию. И там — масса строительного материала: тысячи горняков и металлургов. Я буду им помогать». Противоположный вывод делает другой герой романа, Франта Габан, весёлый и остроумный рабочий парень. Под влиянием Тонды он стал во время событий активистом молодёжной секции социал-демократической партии. Но Франта, в отличие от Тонды Будечского, не имеет твёрдых политических взглядов. И едва революционная борьба в Чехии пошла на убыль, Франта становится анархистом; он проповедует стихийные бунты и собирается заняться контрабандой. Образ этот типичен для неустойчивой части рабочих, участвовавших в революционной борьбе, но не сумевших сделать правильный вывод и отошедших от революционного движения.

«Бурный 1905 год» — роман-хроника. Автор использует в своей книге много документальных материалов; выдержки из статей органа социал-демократии «Право Лиду», воззвания Исполкома социал-демократической партии, распоряжения пражского полицейского управления. Исторические документы, смело введенные автором в текст, помогают читателю с большей полнотой представить острую политическую борьбу, проходившую в Чехии в бурный 1905 год.

О новом подъёме революционного движения в Чехословакии в 1918—1920 годы рассказывает А. Запотоцкий в третьей части трилогии — в романе «Красное зарево над Кладно». Здесь мы вновь встречаемся с полюбившимся нам Тондой Будечским, который в дни революционных боёв стал боевым руководителем кладненских рабочих и одним из основателей Коммунистической партии Чехословакии. Верой в грядущую победу рабочего класса проникнута и эта последняя часть трилогии А. Запотоцкого.

Ныне сбылось то, за что боролся рабочий класс Чехословакии, и страна Тонды Будечского зажила счастливой жизнью страны, строящей социализм.

Ф. МОЛОК.

Политика и наука

Величие и простота

Каждая новая книга, рисующая чёрточки живого, бесценного для всех нас облика Владимира Ильича Ленина, — прекраснейший подарок читателям. Такой подарок сделало нашей молодёжи издательство «Молодая гвардия», выпустив сборник «Воспоминания о В. И. Ленине». Сборник составлен из непосредственных свидетельств людей, знавших, видевших или слышавших Ильича, и был приурочен к исполнившемуся в октябре тридцатипятилетию выступления Ленина на Третьем Всероссийском съезде комсомола со знаменитой речью «Задачи союзов молодёжи».

Среди рядовых представителей первого поколения комсомольцев, которым посчастливилось присутствовать на историческом съезде, происходившем в Москве, на Малой Дмитровке в доме № 6, был и я. И снова, как в те незабываемые дни, испытываешь глубоко волнение, читая и перечитывая страницы, воскрешающие дорогой образ вождя.

В книгу включены далеко не все существенные материалы, могущие характеризовать Ленина-вождя, Ленина-человека. Однако и того, что дано в сборнике, достаточно для сильной характеристики.

Речь И. В. Сталина, произнесённая на вечере кремлёвских курсантов 28 января 1924 года, служит как бы прологом к книге.

«Я не знаю, — сказал товарищ Сталин, — другого революционера, который так глубоко верил бы в творческие силы пролетариата и в революционную целесообразность его классового инстинкта, как Ленин.. Ленин был рождён для революции. Он был поистине гением революционных взрывов и величайшим мастером революционного руководства».

Нам, юнцам-комсомольцам, казалось, что Ленин — глашатай новой эры человечества, любимый вождь рабочего класса, властитель дум и надежд революционной молодёжи — должен появиться перед нами в ореоле необычайности. Многие из нас предполагали, что товарищ Ленин голосом возвышенно-торжественным позовёт нас от имени партии и всемирного пролетариата на бой

с бароном Врангелем, на битву с Пилсудским, на «последний решительный бой».

Но всё было по-иному. В облике Ильича ничего необычайного не было. И речь свою он начал без помпезных приветствий, без громких фраз. Простой, родной человек...

О мужестве и принципиальности Ленина, о скромности его сказано много замечательно точных и волнующих слов. Сказано и об удивительной силе логики в выступлениях Ильича. Об этой черте очень ярко заметил в своих воспоминаниях А. М. Горький:

«Его рука, протянутая вперёд и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса итти своим путём, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией, — всё это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории».

Читаешь эти строки — и видишь руку Владимира Ильича, протянутую вперёд, помогающую слову быть разящим, мысли — стать неопровержимой.

Именно так, взвешивая слова, рассеивая туман в наших головах, обнажая точный смысл сложных понятий, Владимир Ильич внушал нам мысль о необходимости учиться, чтобы строить и построить коммунизм.

В воспоминаниях А. Безыменского живо рассказывается о том, как Ленин раскрывал перед нами богатейшее содержание слова «учиться»: «Ленин произнёс это слово особому, он сделал на нём такое ударение, что оно приобретало новый смысл». Да, великий Ленин в речи 2 октября 1920 года открыл нам огромный секрет всех наших будущих успехов в строительстве нового общества и в личной жизни каждого из нас. Слово «учиться» звучало в речи Ленина неотрывно от слова «коммунизм».

Очень важно то, что, призывая молодёжь овладевать всей суммой знаний, накопленных человечеством, Ленин подчеркнул в речи и в ответах на записки необходимость сочетать знания с пониманием практических нужд трудящихся.

Я уже привёл однажды в своих воспоминаниях ответ Ленина на такую записку: «Товарищ Ленин! Скажите, а почему в де-

«Воспоминания о В. И. Ленине». Редактор Ю. Коротков. 215 стр. «Молодая гвардия», М. 1955.

ревне нет колёсной мази?» Когда Владимир Ильич огласил эту записку, многие делегаты засмеялись. Очень уж наивным и неуместным показался этот вопрос. Но Ленин сказал, что ничего смешного здесь нет, что это очень хороший, дельный вопрос. Быть коммунистом — это значит, в частности, уметь ответить на насущный вопрос о колёсной мази, о керосине, о гвоздях и спичках — обо всём, в чём у народа нехватка. И, понизив немного голос, Ильич как-то мечтательно добавил, что настоящий коммунист — тот, кто не только умеет правильно объяснить причины наших недостатков, но и готов работать, чтобы устранить эти причины, чтобы у народа нашего было всё, что ему необходимо.

Трогательно рассказано в статье С. Сенькина «Ленин в коммуне Вхутемаса» о внимании Ильича к студентам и огорчившим его обстоятельствам тогдашней студенческой жизни. Уходя поздно вечером от вхутемасовцев, он сказал, чтобы гасили свет.

«— Плохо питаетесь, учитесь, да ещё долго не спите — так вы совсем растеряете свои силы... Куда же вы будете годиться?»

Силы молодёжи Ленин назвал государственным имуществом, которое преступно растрачивать.

Эта большая мысль, характеризующая ленинскую заботу о молодёжи, пронизывает интереснейшие записи Клары Цеткин, в которых содержатся мудрые высказывания Ильича о коммунистической морали и нравственности, по вопросам пола и брака.

В воспоминаниях Н. Крупской и Е. Стасовой, Н. Семашко и В. Бонч-Бруевича читатель найдёт драгоценные свидетельства ленинской любви к народу, к человеку, строящему коммунизм. Он найдёт в них и свидетельства жгучей ненависти и непримиримости ко всему, что мешает движению вперед, заслоняет чудесные горизонты.

Сборник «Воспоминания о В. И. Ленине» должен стать настольной книгой каждого молодого человека нашей страны. Он ещё больше приблизит к нему облик вождя, ещё раз напомнит неумирающие, пророческие ленинские слова о строительстве счастливого будущего, становящегося ныне нашим настоящим.

Александр ЖАРОВ.

★

Новые работы о 1905 годе

Первая русская революция была мощным ударом по всей системе мирового империализма. Она знаменовала собой начало непрерывного революционного процесса, вскоре охватившего большинство населения земного шара.

О международном значении первой русской революции, преисполнявшей мировой пролетариат верой в свои силы, ускорившей пробуждение Азии, рассказывают новые работы, появившиеся у нас и за рубежом.

Тысячи стачек, демонстраций и митингов солидарности начались в странах Востока, Европы и Америки. Революция послужила толчком к серьёзному подъёму стачечного движения в Германии, к развёртыванию борьбы германского пролетариата за свои

политические права. По всей стране разносились призывы следовать примеру русского рабочего класса. Карл Либкнехт назвал русскую революцию поворотным пунктом в истории Европы. Франц Меринг писал в январе 1905 года: «Русская победа есть победа немецкая, европейская, интернациональная победа. Русская революция — интернациональная революция, и, так как в ней русский пролетариат играет руководящую роль, он ещё позовёт пролетариат цивилизованного мира на баррикады». Съезд германской социал-демократической партии, собравшийся в Иене в 1905 году, приветствовал русскую революцию как «величайшее всемирно-историческое событие».

Под влиянием революционных событий в России началось мощное забастовочное движение в Австро-Венгрии. «Пора и нам заговорить по-русски», «то, что произошло в России, должно произойти у нас», — звучали призывы на рабочих митингах в Вене, Праге, Будапеште и в других городах. Навысшего подъёма борьба трудящихся масс Австро-Венгрии достигла в октябре и ноябре 1905 года. Правящие круги вынужде-

И. Кривогуз, Р. Мнухина. «Международное значение революции 1905 — 1907 годов». Редактор Г. Худякова. 72 стр. Госполитиздат, М. 1955.

Статьи **М. Домнича, С. Овнаняна, Жун Мэн-юаня** («Вопросы истории» №№ 1, 4, 6 за 1955 год).

W. S. Adams. «British Reaction to the 1905 Russian Revolution» (**У. Адамс.** «Британские отклики на русскую революцию 1905 года»). «Marxist Quarterly» № 3, London, 1957

ны были пойти на введение всеобщего избирательного права.

Рост рабочего движения имел место во Франции, Англии, Италии, Испании и многих других европейских и американских странах. В США учредительный съезд новой революционной организации «Индустриальные рабочие мира» объявил, что исход борьбы русского пролетариата «будет иметь решающее значение для рабочего класса всех стран в их борьбе за освобождение».

В 1905—1911 годах происходила революция в Иране, в 1908 году — революция в Турции. Расширялась национально-освободительная борьба египетского народа. «Пример России и влияние соседнего Кавказа были безусловно решающими факторами», — писал в 1907 году лондонский журнал «Нейшн».

Живой отклик нашла русская революция в Индии. Недаром газета «Таймс оф Индия» уже 28 января 1905 года вынуждена была признать: «Внутренние события в России имеют столь непосредственное отношение к спокойствию во всём мире, что весть о серьёзных потрясениях в Петербурге была всюду встречена с тревогой». Осенью 1905 года Бенгалия стала ареной широкого народного движения против колониального гнёта. Руководитель индийских демократов Тилак призывал «следовать методам» революционеров России и указывал на общность целей индийских и русских революционеров (Б. Г. Тилак. «Сочинения и речи». Мадрас, 1919). В 1906 году на съезде партии Индийский национальный конгресс его председатель также ссылался на пример России, где народ принудил к уступкам «крупнейшего самодержца на свете», и говорил, что в условиях, когда «Россия борется за освобождение» и пробуждаются страны Азии, Индия не может остаться в стороне.

В 1907 году по Индии прокатилась волна крестьянских восстаний. В июле 1908 года разразилась всеобщая политическая забастовка в Бомбее (её история была подробно рассказана в индийском прогрессивном журнале «Новый век», № 6 за 1953 год). Десятки тысяч рабочих Бомбея вели упорную уличную борьбу против полиции и войск, широко применявших огнестрельное оружие. Народные массы Индии пробуждались к активной политической жизни. По словам журнала «Банде матарам» (1909), «нельзя и сравнивать Индию 1904 и 1909 годов.

Это разные страны. Они отличны, как жизнь и смерть, как свет и тьма».

Огромное воздействие оказала первая русская революция на Китай. В августе 1905 года великий китайский демократ-революционер Сун Ят-сен создал революционную организацию «Тунменхой» («Союзная лига»). Её орган газета «Миньбао» («Народ») писала: «Революционная буря в России потрясла весь мир». Китайские революционеры внимательно изучали русский опыт. Рассказывая о революционных боях в России, газета спрашивала: «Почему же Китай не может ринуться в бой?»

Уже осенью 1905 года влияние русской революции непосредственно сказалось на народных массах Китая. В начале декабря корреспондент английской газеты «Таймс» сообщал из Шанхая: «После семимесячного отсутствия я нашёл повсюду свидетельства примечательного изменения духа нации. Отчётливо проявила себя и новая политика «Китай для китайцев» и сознательное, организованное сопротивление всякому иностранному влиянию. По стране проходят митинги, требующие «защиты суверенных прав Китая против иностранной агрессии».

Быть может, ничто так не продемонстрировало единства борьбы великих народов России и Китая, как то, что во время московского восстания начались всеобщая стачка и антиимпериалистические выступления в Шанхае. Этот важный факт, почему-то не упоминаемый в исторической литературе, заслуживает, чтобы о нём сказать несколько слов особо.

Утром 18 декабря 1905 года в Шанхае начались стычки между китайским населением и иностранной полицией. Военные корабли империалистов, стоявшие в Шанхайском порту, стали с лихорадочной быстротой высаживать десантные войска. Иностранный селтльмент был превращён в военный лагерь, тысячам его резидентов роздали оружие. Из Гонконга на всех парах шёл в Шанхай английский крейсер «Андромеда». Туда же спешили американские крейсера «Балтимора» и «Виллалобос», японские, итальянские, германские военные корабли.

Несмотря на то, что было убито много китайских патриотов, дух сопротивления народа не был сломлен. На следующий день борьба между почти безоружной толпой и войсками возобновилась с новой силой в разных районах Шанхая. Империалистическая печать угрожала китайскому на-

роду новой интервенцией. «События времени боксёрских волнений, — писала газета «Шанхайский меркурий», — покажутся детской игрой сравнительно с мезгиею, которая обрушилась бы на всех жителей Шанхая и окрестностей. Виновные и невинные в равной мере были бы сметены с лица земли...»

Однако ни угрозы, ни репрессии колонизаторов и их ставленников не остановили развёртывания антифеодальной и антиимпериалистической борьбы китайского народа. Уже в 1906 году вспыхнуло восстание, руководимое организацией «Тунменхой». Начавшиеся в Китае революционные события переросли в буржуазную антифеодальную революцию 1911—1913 годов.

В рецензируемых работах и вообще в новой литературе о 1905 годе, к сожалению, мало исследуется вопрос об усилении международного значения русской литературы и культуры в результате революции.

Первая русская революция и начатый ею новый период революционных бурь оказали разностороннее влияние на таких писателей, как Бернард Шоу, призывавший в январе 1905 года английский пролетариат вооружаться для борьбы за власть, Томас Манн и Генрих Манн, Герберт Уэллс, Джон Голсуорси. В их произведениях усиливаются разоблачения современной капиталистической цивилизации.

Глубокое воздействие оказала первая русская революция на Анатоля Франса. Рабочий класс России «даёт миру уроки социальной революции», повторял не раз А. Франс, считавший, что на берегах Невы и Волги решаются судьбы человечества. Русская революция породила убеждение А. Франса в неизбежности победы социализма, которая будет следствием самого хода исторического развития.

В Соединённых Штатах Джек Лондон приветствовал русскую революцию как пролог всемирного социалистического переворота: «Революция пришла, пусть попробует её остановить кто может». Роман Д. Лондона «Железная пята» английская газета «Лейбор лидер» сравнивала тогда со «страшнейшей из историй русской революции». Уверенностью в конечном торжестве рабочего дела исполнены лучшие произведения Д. Лондона.

Рецензируемые работы, несомненно, приносят пользу читателю. Журнал «Вопросы истории» хорошо сделал, что перепечатал ценную статью Жун Мэн-юаня из китайско-

го журнала «Лиши яньцзю» («Исторические исследования»). Статья советского историка М. Домнича была перепечатана во французском журнале «Кайе дю коммунизм».

В заключение несколько замечаний.

На бесспорно нужной работе И. Кривогуза и Р. Мнухиной сказались отсутствие в литературе исследовательских работ по ряду затрагиваемых в брошюре вопросов. Например, авторы приводят известные факты революционного выступления в июле 1905 года матросов германского крейсера «Фрауэнлоб» и попыток восстания на военных кораблях австрийского флота (в сентябре 1905 года — на «Пантере», в январе 1906 года — на броненосце «Габсбург»). Но этим не ограничились волнения на флотах капиталистических государств. Так, в том же январе 1906 года произошло выступление матросов на английском крейсере «Карнарвон».

Очень бегло освещён в брошюре важный вопрос о планах интервенции против русской революции, которые вынашивались правящими кругами ряда капиталистических государств. Чего стоили, например, рассуждения английского поверенного в делах в Петербурге Спринг Райса о том, что «германская армия является бесценным бастионом Европы» против русской революции!

Книжка не свободна от отдельных фактических неточностей. В ней утверждается, что в 1907 году в Англии произошла всеобщая забастовка железнодорожников. В действительности оппортунистическим главам тред-юнионов удалось тогда помешать объявлению забастовки, за которую проголосовали рабочие. Стачка на английских железных дорогах разразилась позднее — в 1911 году. (Обзор непосредственных откликов в Англии на первую русскую революцию содержится в рецензируемой статье У. Адамса.)

Международное значение первой русской революции, оказавшей влияние на судьбы многих народов и явившейся узловым вопросом всемирной истории начала нынешнего века, освещено исторической наукой весьма неполно. Нужно надеяться, что отмечаемое ныне пятидесятилетие революции 1905—1907 годов ускорит появление новых капитальных трудов, посвящённых этому всемирно-историческому событию.

Кандидат исторических наук
Е. ЧЕРНЯК.

Горький в бурях первой русской революции

Люди, принимавшие непосредственное участие в событиях начала нынешнего века, прожили большую, полную незабываемых переживаний жизнь. Ныне они с чувством особого волнения и гордости за свою Родину отмечают пятидесятилетие первой русской революции, первой народной революции эпохи империализма.

Это поколение начало жить сознательной жизнью в ту пору, когда Ленин созидал подлинно марксистскую партию, партию нового типа.

Это поколение с радостной надеждой встретило «Песню о Буревестнике». Горький был признанным властителем дум передового русского общества, имя его было на устах народа, он мужественно, доблестно выдержал суровые испытания борьбы с царским самодержавием. Когда революция потерпела поражение, он не пал духом и продолжал борьбу за рубежом.

Либеральная интеллигенция, поклонники «чистого» искусства, по мнению которых литература должна быть свободной от «партийных догм», резко осуждали Горького за сближение с большевиками.

К большевикам Горький пришёл в 1903 году. Ещё раньше, в одну из своих поездок в Москву, он установил связь с московскими «искровцами». В октябре 1902 года московский представитель «Искры» писал В. И. Ленину о Горьком: «...он произвёл на всех нас чудное впечатление... Единственным органом, заслуживающим уважения, талантливым и интересным, находит лишь «Искру» и нашу организацию — самой крепкой и солидной. Очень хочет познакомиться ближе с нашим направлением, нашими изданиями и практической нашей работой, и так как его сочувствие лишь на нашей стороне, то он и хочет помогать нам чем можно».

Это известие очень обрадовало Ленина. В ответном письме Ленин писал: «Все, что Вы сообщаете о Горьком, очень приятно... Попросите Горького писать для нас...»

Горький не только оказывал материальную поддержку партии, не только помогал профессиональным революционерам укрываться от преследований и превращал свою квартиру в склад оружия. Главная помощь Горького заключалась в революционизиру-

ющем значении его произведений. Так было в дореволюционные годы, когда в тысячах списков распространялась «Песня о Буревестнике» и «Песня о Соколе», когда знаменитые слова «Пусть сильнее грянет буря» не раз упоминались в листовках и прокламациях. О громадном значении повести «Мать», американских очерков, пьес «Мещане», «На дне», «Варвары» и особенно пьесы «Враги» очень подробно и обстоятельно рассказывается в книге И. Новича «М. Горький в эпоху первой русской революции».

В ту пору люди старшего поколения с нетерпением ожидали сборников «Знание», искали новых произведений Горького в каждой вышедшей книжке. Люди этого поколения никогда не забудут потрясающего воздействия пьес Горького на зрителей, жадности, с которой они ловили каждое летевшее со сцены слово писателя.

Ещё в дореволюционные годы крылатыми стали слова: «Прав не дают, прав — берут...» Образ машиниста Нила — передового русского рабочего — вызывал горячие симпатии читателей и зрителей. Помнится потрясающая, свидетельствующая о глубоком волнении тишина, когда в театре раздавался отчаянный вопль Клеща в пьесе «На дне»:

«— Какая — правда? Где — правда?.. Жить... нельзя... вот она — правда!..»

Прошло немного времени, и этот вопль безысходной нужды и отчаяния прозвучал в словах петиции рабочих царю: «Для нас пришёл тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук...»

О том, как воспринял Горький «кровавое воскресенье», о том, что он сам был очевидцем чудовищного злодеяния царизма, о его воззвании «Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств» мы всё же знаем сравнительно немного. Между тем этот период жизни Горького особенно важен потому, что впоследствии литература наша обогатилась двумя замечательными произведениями писателя — очерком «9-е января» и потрясающими по силе и глубине главами эпоса «Жизнь Клима Самгина», где отражены события у Зимнего дворца.

Думается, что, отдавая должное таким произведениям Горького, как «Мать», «Враги», «Варвары», «Дети солнца», а также

произведениям дореволюционных лет, автор книги напрасно не остановился подробнее на очерке «9-е января» и особенно на главах «Жизни Клима Самгина», рисующих «кровавое воскресенье», похороны Баумана и московское вооружённое восстание. В этом, мне кажется, некоторый недостаток в общем полезной книги И. Новича.

Что переживал Горький в те дни, как восторженно, пламенно встретил он революционные события в Москве, видно из его переписки с К. П. Пятницким, из писем, рисующих декабрьское вооружённое восстание в Москве: «...сейчас пришёл с улицы. У Сандунов. бань, у Никол. вокзала, на Смоленском рынке, в Кудрине — идёт бой. Хороший бой!» «Рабочие ведут себя изумительно! Судите сами: на Садовой-Куретной за ночь возведено 8 баррикад... Баррикады за ночь были устроены на Бронных, на Неглинном, Садовой, Смоленском, в районе Грузин — 20 баррикад!.. Превосходное настроение!.. идёт бой по всей Москве!..»

Когда же восстание было зверски подавлено, настроение Горького не упало, он, «рядовой революционной армии», как называл себя сам писатель, верил в победу народа, в победу революции.

Прошло более двух десятилетий с тех дней, когда Горький видел героические битвы московских рабочих-дружинников с отборными царскими войсками, и, работая над эпопеей «Жизнь Клима Самгина», он вновь переживал прежние чувства, вдумчиво, проникновенно, любовно описывая героев восстания.

«Рядовой революционной армии», Горький сумел передать могучий дух московских пролетариев, участников той «генеральной репетиции», без которой Октябрь 1917 года был бы невозможен.

«...Пролетариат не побеждён, хотя и понёс потери», — писал Горький, всем сердцем разделяя твёрдую уверенность Ленина в грядущей победе, и далее: «...Русский пролетариат подвигается вперёд к решительной победе, потому что это единственный класс, морально сильный, сознательный и верящий в своё будущее в России».

Именно в годы революции Горький ощутил могучий прилив творческих сил. Пламенный публицист, он создавал художественные произведения, которые навсегда остались в литературе. Повесть «Мать» бы-

ла написана за границей, в Америке, там же была создана пьеса «Враги» — выдающееся произведение нашей драматургии. Творчество художника слова Горький сочетал с поистине героической общественной деятельностью. Писатель будил общественное мнение всего мира, клеймил кровавые злодеяния царизма.

Беспомощное бормотание царских министров, выпрашивавших займы у иностранных ростовщиков, заглушал могучий голос Горького:

«Не давайте денег русскому правительству!» «Не давайте Романовым денег на убийства...»

Горький писал историку Олару:

«Я уверен, что русский народ не возвратит банкирам Франции займов, уже оплаченных им своей кровью».

В этих гневных словах — вдохновенное и точное предвидение будущего. Такое же предвидение грядущего в замечательном письме Анатолю Франсу о русском народе: «...этот народ может внести в духовную жизнь земли нечто своеобразное и глубокое, нечто важное для всех».

Горький гордо противостоял мерзкому походу, который начала против него буржуазная интеллигенция, оплёвывавшая русскую революцию. Он был первым представителем той свободной литературы, которая служила и служит миллионам и десяткам миллионов трудящихся — цвету страны, её силе, её будущности. О такой литературе говорил Ленин в ноябре 1905 года в статье «Партийная организация и партийная литература». Книга о Горьком в годы первой русской революции не исчерпала ещё эту глубокую и значительную тему.

В приветствии Второму Всесоюзному съезду писателей Центральный Комитет партии призвал писателей создавать монументальные художественные произведения о героизме российского пролетариата и ленинской партии в период первой русской революции и Великой Октябрьской социалистической революции. Думается, что не только в трудах литературоведов, но и в нашей прозе и поэзии можно писать о певце первой русской революции, художнике, воплотившем в своих произведениях образы героических русских пролетариев, — Максиме Горьком.

Л. НИКУЛИН.

Из истории нелегальных библиотек в России

Летом 1905 года началась стачка на Высоковской мануфактуре (б. Клинский уезд Московской губернии). К этому времени на фабрике были уже три нелегальные большевистские библиотеки. Кроме того, каждый член стачечного комитета был снабжён небольшой библиотечкой, куда входили работы В. И. Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции» и «К деревенской бедноте», словарь иностранных слов и другие книги.

Нелегальные большевистские библиотечки, созданные работами библиотекарей-подпольщиков в Высоковской мануфактуре, — лишь один из многих примеров, приведённых в сборнике материалов «Из истории нелегальных библиотек революционных организаций в царской России». Сборник воссоздаёт славную историю распространения нелегальной литературы, начиная с семидесятых годов прошлого века до Великой Октябрьской социалистической революции.

Книга открывается статьями А. Г. Кравченко «Высказывания В. И. Ленина о нелегальной литературе» и Е. Д. Стасовой «Как мы получали и распространяли нелегальную литературу».

Когда В. И. Ленин узнал, как положительно оценены его первые популярные брошюры и листовки, он в 1897 году писал: «Я ничего так не желал бы, ни о чем так много не мечтал, как о возможности писать для рабочих». В статье А. Г. Кравченко даётся краткий обзор популярных работ В. И. Ленина, написанных им до 1917 года, приводятся интересные факты и цифры.

Е. Д. Стасова рассказывает о напряжённой работе Петербургского комитета по доставке марксистской литературы из нелегальных типографий и её распространению. На здании Технологического института в Ленинграде имеется памятная доска Р. С. Землячки — здесь была её явка для разносчиков нелегальной литературы.

Три статьи сборника — «Нелегальные библиотеки с начала 70-х годов до второй половины 90-х годов прошлого столетия», «О деятельности некоторых библиотек накануне и в годы первой русской револю-

ции» и «Революционная работа московских библиотек (1907—1917 гг.)» — являются как бы продолжением одна другой. Автор этих статей, Л. К. Фёдоров, с большой любовью собрал разбросанные в литературе, мемуарах и других источниках немногочисленные сведения о нелегальных библиотеках, начиная с семидесятых годов прошлого века.

«Тайная библиотека самарских кружков (1889—1894 гг.)» — так озаглавлен очерк о библиотеке марксистского кружка В. И. Ленина и А. П. Скляренко в Самаре. Когда девятнадцатилетний Ленин приехал в Самару, то сразу же принял деятельное участие в работе кружка А. П. Скляренко, где вскоре произошёл раскол на народников и марксистов. Это сказалось и на библиотеке кружка. В ней появились «Капитал» К. Маркса, работы Плеханова. Книгами этой библиотеки В. И. Ленин пользовался, когда писал работу «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни». Принимал В. И. Ленин участие и в составлении списка книг для систематического чтения.

В сборнике напечатан каталог подпольной библиотеки Симбирской организации большевиков, датированный 1906 годом. Интересна судьба этого каталога. Он был найден в 1950 году в стене во время сноса дома по улице Радищева в Ульяновске и — через пятьдесят лет! — снова попал в руки бывшего библиотекаря-подпольщика В. В. Рябикова. Каталог этот предназначался для слушателей кружков пропагандистов, с которыми занимались партийные работники Д. И. Ульянов и З. П. Соловьев, впоследствии видные деятели советского здравоохранения.

Рецензируемый сборник даёт наглядное представление о том, что читали передовые рабочие дореволюционной России, как находили своих читателей неутомимые и бесстрашные библиотекари-подпольщики. Уже на заре революционного движения в России рабочие вступали в борьбу с самодержавием, вооружённые книгой. Таким был Степан Халтурин, выбранный своими товарищами библиотекарем. После неудачного взрыва в Зимнем дворце среди вещей скрывшегося стояра Халтурина был обнаружен томик Вольтера! «Халтурин отличался большой начитанностью, — пишет в своих воспоминаниях «Русский рабочий в революционном движении» Г. В. Плеханов. — Это вызывало невольное уважение к нему,

«Из истории нелегальных библиотек революционных организаций в царской России». Сборник материалов. Под редакцией Е. Д. Стасовой, 162 стр. Издание Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени В. И. Ленина, М. 1955.

но и эта черта не могла особенно удивить человека, знавшего заводских рабочих: страстные любители чтения вовсе не были редкостью между ними».

К напечатанным в сборнике воспоминаниям Ф. И. Коротаяева приложен список книг и брошюр, имевшихся в нелегальной библиотеке большевистской организации станции Кунгур в 1912—1917 годах. Мы находим в нём «Капитал» К. Маркса, «Развитие капитализма в России» В. И. Ленина, работы Плеханова, Бебеля, Лассалья, В. Либкнехта, Лафарга. В библиотеке была представлена и художественная литература: «Спартак» Джованьоли, «Овод» Войнич, «Ткачи» Гауптмана. О многом говорит этот скромный список: о политической активности революционных рабочих России в самые тяжкие годы царской реакции, об их тяге к знаниям, любви к пламенной, образной речи художников слова.

В сборнике рассказано о том, какую роль играла нелегальная книга в обучении и воспитании рабочих в вечерних школах за Нарвской заставой Петербурга, где в середине девяностых годов учительствовала Н. К. Крупская.

Главные герои книги — это скромные, малоизвестные партийные библиотекари, отдававшие всю свою жизнь, весь жар своего сердца важнейшему делу — просвещению масс. Едва ли не на каждой странице сборника встречаются имена библиотекарей-подпольщиков. В примечаниях даны краткие характеристики многих коммунистов, занимавшихся библиотечным делом, помещены их фотографии.

Проникновенно написан литературный портрет Ольги Ивановны Чапиной. Это имя ещё мало известно советским читателям. Юной девушкой начала О. И. Чапина свою скромную работу в народническом кружке в Нижнем Новгороде, участвовала в создан-

ном В. И. Лениным «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Неоднократные аресты и ссылки не смогли заставить её свернуть с избранного пути. В первые дни революции 1905—1907 годов О. И. Чапина — секретарь Московского Комитета РСДРП. С 1909 года она возглавляла городскую библиотеку-читальню имени Гоголя в Москве, где без разрешения городской управы открыла детское отделение. После победы Великой Октябрьской социалистической революции О. И. Чапина стала первым заведующим отделом массовых библиотек Народного Комиссариата просвещения. Весной 1919 года сыпной тиф сразил этого замечательного человека.

Сборник меньше всего походит на сводку сухих и бесстрастных справок о том, где и когда существовали в России нелегальные библиотеки. Авторы сборника — те самые люди, которые принимали во всём этом живое личное участие. Это придаёт особый интерес не только мемуарным материалам, но и исследовательским статьям, в которые умело вкраплены личные воспоминания.

В книге хотелось бы видеть больше материалов о деятельности нелегальных библиотек в годы первой русской революции. Мало говорится и о подпольных библиотеках семидесятых годов — им отведено всего две странички. Сборник, несомненно, нуждался в более обстоятельной вводной статье, рисующей историческую эпоху, место и задачи нелегальных библиотек.

Закрывая сборник, испытываешь чувство глубокого уважения к библиотекарям-коммунистам старшего поколения, более полувека назад бесстрашно шедшим с нелегальной большевистской книгой в массы рабочих.

Кандидат исторических наук
Ю. ШАРАПОВ.



Р Е П Л И К И

На Всесоюзном съезде географов он был назван громко и определённо самым скучным из наших журналов.

ПОЭЗИЯ ТРИНАДЦАТИ- ЛЕТНИХ

Зимние вечера.. Школьник торопится домой, жадно прижимая к груди долгожданный библиотечный трофей — тяжёлый комплект «Вокруг света»..

Я говорю не о нынешнем дне, а о днях своего детства.

«Вокруг света», «Природа и люди!» Что же было в них такого, что осталось волнующей памяткой сердца на всю жизнь?

В их редакциях не боги обжигали горшки. На их страницах печатались главным образом произведения авторов, ныне забытых, но самые журналы не забылись.

Поэзия тринадцатилетних!

Обычный формат, крупный и чёткий шрифт, чёткие картинки в тексте. Заглавия романов вроде «Финикиец Хирам» или «К Южному полюсу». А яснее, чётче всего — множество мелких и крупных, кажущихся теперь такими наивными, очерков-заметок... «Птица киви-киви», «Новое извержение Геклы», «В устьях реки Ориноко», «Мёртвый город», «Подземные моря» и т. д. и т. п.

Заветное название «Вокруг света» сопровождает нас до нынешних дней. Теперь это журнал, издаваемый «Молодой гвардией». Тусклая печать. На редкость необаятельные фото. Тусклые, стёртые слова.

Никто не прижимает его к груди.

Было и такое высказывание: «Если хотите отвадить подростков от географической науки и вообще излечить от жажды познания, заставляйте их читать регулярно «Вокруг света».

Верно. Худо обстоит у нас дело с так называемой приключенческой литературой. Но ведь есть у нас и неплохие романы приключений, есть повести о разведчиках, любимые детьми. Случаются и такие радости, как прекрасная повесть Ефремова «На краю Ойкумены» и рассказы того же автора. Издаются, наконец, интересные, вполне достойные внимания книжки о всамделишных кругосветных плаваниях наших советских моряков, дневники, заметки.

Это хорошо. Но... «суть-то в том, что суть не в том!» и то, что кажется второстепенным, оно и есть главное. Роль так называемого познавательного материала всё же недооценивается.

Как скучно, как официально он подаётся! Давно, казалось бы, настала в области советской культуры пора истинного расцвета научной популяризации, но, ради бога, не унылой популяризации в виде тех тёмно-серых или наивно-ярких изданий, что пылятся на прилавках киосков... Из этих брошюрок читаются «нарасхват» далеко не все: иные слишком трудны даже для среднего специалиста, а иные слишком популярны даже для среднего девятиклассника. Зато очень мно-

гие написаны как бы с особым заданием: доказать, что процесс познания якобы тягостен и скучен. А на деле ведь в нём-то, в этом процессе познания, — счастье отрочества.

А мы знаем книжки, проглоченные нашими юношами и подростками с жадностью, с истинно «приключенческой» страстью: Вавилова — о человеческом глазе и солнце, Халифмана — о пчёлах, того же Ефремова — о палеонтологических поисках в Центральной Азии, книги Обручева и Ферсмана. И как бы нарочно для того, чтобы раздразнить и разжечь юную душу, редакция журнала «Юность» «выдала» нам замечательную повесть — дневник норвежца Хейердала о переходе через океан на плоту «Кон-Тики»!.

...Как давно уже пора по-умному взяться за важнейшее, упущенное дело. И пожелание это не на ветер: мы вправе обратиться прямо к хорошо известному адресату — издательству «Молодая гвардия». Не оно ли призвано воспитывать здоровые чувства и благородные пристрастия деятельной, жаждущей знаний молодёжи?

А. АДАЛИС.

★

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Несколько лет тому назад в Москве, на Арбате, в магазине Украинской книги продавали изделия Ужгородского керамического завода. Вещи это были прекрасные. Нельзя сказать, что книжный магазин был именно тем местом, где дол-

жны продаваться глиняные блюда, тарелки и миски, но, тем не менее, распродалась они довольно весело. Потом партия изделий кончилась, и сейчас вы уже нигде, кроме Ужгорода и, может быть, Киева, не найдёте ужгородской керамики.

Это лишь частный пример того, как скверно обстоит дело с продажей предметов прикладного искусства. Ни в Москве, ни в Ленинграде нет настоящих специализированных магазинов подобного рода. Мы не говорим уже о периферии, хотя каждому ясно, что во всех больших городах такие магазины должны быть.

Страна наша богата народными талантами. Стоит зайти в любой областной или районный музей, и вам покажут изделия местных умельцев. Но тут же сотрудник музея может сокрушённо заметить:

— Больше у нас это не производится. Старики, знаете, уже померли, а молодых нет.

— Почему?

— А никто не интересуется... Невыгодно...

К счастью, однако, ещё многое сохранилось. Работают на Украине—на Полтавщине — замечательные ополнинские мастера керамики, в Дымковской слободке, около Кирова, — славный род Кошкиных, в котором по женской линии из поколения в поколение передаётся великолепное

искусство глиняной расписной игрушки, ещё не перенесённое в Литве, в Паланге резчики по янтарию, и есть ещё на Севере резчики по кости. Мы уже не говорим о палешанах и федоскинцах.

Но нужно всюду возрождать прикладные искусства, нужно позаботиться о магазинах, где бы продавалось сделанное золотыми руками народных мастеров.

И чтобы это были не просто магазины и уж во всяком случае не так называемые «художественные салоны», но магазины — географические карты, придя в которые покупатель видел бы, чем, какими искусствами и ремёслами богата великая наша страна.

Если появятся такие магазины, то, несомненно, всюду на местах может пробудиться интерес к народным промыслам, к прикладному искусству. И тогда многие музейные экспонаты перестанут ими быть, они снова превратятся в бытовые предметы, и вам, украшая комнату, не придётся мучительно соображать, где же купить понравившуюся у приятеля глиняную куклу, яркость расцветки которой поразила вас. Вы будете знать, что и куклу из Дымкова, и текинскую тютбетейку, и палангский янтарь, и украинского глиняного барашка, и фасонное каслинское чугунное литьё можно без труда и в достаточном ассортименте купить в мага-

зине, где все эти предметы занимают по праву принадлежащее им место, а не служат, так сказать, довеском к основному контингенту товаров, как было с партией ужгородской керамики, случайно попавшей в магазин Украинской книги на Арбате, в Москве.

И. РАХТАНОВ.

★

РЕПЛИКА УСЛЫШАНА

В четвёртой книге «Нового мира» за текущий год, в заметке «Неуважение к памяти Д. Фурманова», я писал о том, что в Москве, по улице Фурманова, дом № 14, в котором жил и умер писатель, содержится в недопустимо запущенном виде и что это оскорбляет светлую память автора «Чапаева» и «Мятежа».

С удовлетворением надо сказать, что голос журнала был услышан и специальным решением райсовета Киевского района от 5 мая райжилуправление приняло срочные меры по ремонту здания: фасад дома № 14 очищен от грязи, заново оштукатурен и побелен, мемориальная доска приведена в порядок, водосточные трубы покрашены.

Благодарю,

товарищ райсовет:
на мой сигнал
ты славный дал ответ..»

Сергей ВАСИЛЬЕВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

И. В. СПИРИДОНОВ. Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 г. Госполитиздат. М. 1955. 200 стр. Цена 2 р. 40 к.

В годы первой русской революции наиболее распространённой формой борьбы против самодержавия была массовая политическая стачка. Невиданный в истории размах получило стачечное движение в 1905—1907 годах. Даже официальная статистика за эти три года насчитала свыше четырёх миллионов семисот тысяч стачечников среди фабрично-заводских рабочих. Особенно высоко поднялась и прокатилась по всей стране волна протеста после «кровавого воскресенья».

По выражению В. И. Ленина, стачки были главнейшим средством превращения России дремлющей в Россию революционную.

Книга И. В. Спиридонова состоит из четырёх глав, соответствующих основным этапам развития стачечного движения. Автор подробно рассказывает о нарастании революции в июле—сентябре 1905 года, о начале и развитии октябрьской политической стачки, о манифесте 17 октября, вырванном у царя. Последняя глава знакомит с ходом всероссийской политической стачки после 17 октября 1905 года.

Г. КОСТОМАРОВ. Московский Совет в 1905 году. «Московский рабочий». 1955. 200 стр. Цена 2 р. 50 к.

В деятельности Московского Совета рабочих депутатов полнее всего отражается та огромная роль, которую сыграли многие Советы периода первой русской революции.

В августе 1905 года Московский Комитет партии издал листовку, призывающую рабочих организованно провести по всем промышленным предприятиям выборы своих депутатов.

Одним из первых в Москве возник Совет депутатов типографских рабочих. К этому времени уже бастовало свыше ста типографий, где работали десять тысяч человек.

После прекращения октябрьской стачки большевики Москвы широко развернули работу по организационному оформлению общемосковского Совета. 22 ноября 1905 года в жизни рабочих Москвы произошло событие большого исторического значения. В этот день состоялось торжественное от-

крытие первого пленума Московского Совета.

В книге Г. Костомарова рассказывается также о возникновении и практической деятельности районных Советов, о революционной Москве после декабрьского вооружённого восстания.

1905 ГОД В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ, СКУЛЬПТУРЫ. Государственное издательство изобразительного искусства. М. 1955. 113 стр. Цена 22 р. 25 к.

В этом альбоме собрано воедино лучшее из созданного художниками и скульпторами о первой русской революции. Репродукции расположены тематически, в исторической последовательности революционных событий. В предисловии дана краткая оценка важнейших рисунков и картин. В альбоме наряду с такими мастерами русской живописи, как Репин, Серов, Polenov, Маковский, Касаткин, представлены художники, работавшие в 1905—1906 годах в сатирических журналах, — Кардовский, Лансере, Билибин, Сварог. Большинство произведений, репродуцированных в альбоме, принадлежит советским художникам. Представлены работы Кукрыниксов, Савицкого, Кугача, плакатистов Иванова, Кореевского и других. Читатель знакомится со скульптурами Шадра, Манизера, Корольва. Некоторые из картин и скульптур прокомментированы.

Ф. П. ХИТРОВСКИЙ. Страницы из прошлого. По документам и воспоминаниям об А. М. Горьком и каширинском роде. Горьковское книжное издательство. 1955. 192 стр. Цена 3 р.

Автор книги Ф. П. Хитровский, инициатор создания «Домика Каширина», музея детства Алёши Пешкова, был знаком с М. Горьким в течение всего нижегородского периода жизни писателя. Личные воспоминания, тщательно подобранные документы и материалы легли в основу «Страниц из прошлого», рассказывающих о детстве Алёши Пешкова и годах деятельности М. Горького в Нижнем Новгороде.

Г. БЕБУТОВ. Ученические годы Владимира Маяковского (Кутаисская гимназия). Издательство «Заря Востока». Тбилиси. 1955. 148 стр. Цена 5 р. 35 к.

В стенах Кутаисской гимназии В. Маяковский пробыл с 1902 по 1906 год. Книга Бебутова подробно знакомит с обстановкой в Кутаисской гимназии, с преподаватель-

ским составом, воссоздаёт картину взаимоотношений учащихся. В ней рассказано и о том влиянии, какое оказали революционные события 1906 года на формирование мировоззрения юного Маяковского, на созревание его интереса к вопросам политической жизни.

Э. С. ЛИТВИН. Поэзия Исаковского и народное творчество. Смоленское книжное издательство. 1955. 204 стр. Цена 4 р. 65 к.

Михаил Васильевич Исаковский — один из любимейших поэтов советского народа. Свыше тридцати лет продолжается его плодотворная литературная деятельность.

В своей книге Э. С. Литвин стремится проследить истоки, питающие поэзию М. Исаковского. Автора интересует главным образом проблема связей творчества поэта с песенным творчеством народа.

М. ИЛЬИН. Народ-строитель. Рассказы о пятом пятилетнем плане. Детгиз. М. 1955. 184 стр. Цена 5 р. 15 к.

М. Ильин обладал удивительной способностью увлекательно и красочно рассказывать о том, что чаще всего излагается языком цифр, информационных отчётов или научных статей. Всё, что выходило из-под пера писателя, открывало перед юношеством новые горизонты, отвечало на интересующие его вопросы, звало к учению и труду. Такова и эта книга рассказов о пятой пятилетке, книга, которую М. Ильину помешала завершить ранняя смерть.

В послесловии «Об этой книге и её авторе» Лев Кассиль характеризует творчество М. Ильина, рассказывает о его жизни и произведениях.

ИВ ФАРЖ. Рассказы. Издательство «Правда». М. 1955. 56 стр. Цена 70 к.

Имя французского писателя и художника, общественного деятеля и публициста Ива Фаржа знакомо и дорого советским людям. Прочитав его рассказы «Простое слово», «Отзвуки сражений» и другие, вошедшие в сборник, мы получаем ещё более полное представление об этом безвременно погибшем выдающемся борце за мир и дружбу между народами. С мягким и благожелательным юмором пишет Ив Фарж о людях своей страны, с гордостью — об их героической борьбе за свободу, с гневом и презрением — о тех, кто предал Францию.

МУЛК РАДЖ АНАНД. Избранное. Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. 428 стр. Цена 8 р.

Сборник знакомит нас не только с творчеством талантливого индийского писателя, активного борца за мир, но и вводит в круг жизненных интересов различных слоёв современного индийского общества. Напечатанный в сборнике роман «Большое сердце» — один из самых значительных романов Ананда. В нём рассказывается о трагических событиях в жизни ремесленников древнего пенджабского города.

В сборнике помещено более двадцати рассказов. Это картины жизни деревенской и городской бедноты, раджей и махараджей, зарисовки нравов индийской интелли-

генции. Одни из рассказов полны глубокого драматизма («Башмаки», «Колыбельная песня»), другие — добродушного народного юмора («Профсоюз парикмахеров»), но есть среди них и полные гневного обличения сатиры («Махараджа и черепаха», «Кашмирская идиллия», «Бессмертие», «Размышления на ложе из золота»). Читая Ананда, ближе узнаёшь жизнь трудолюбивого и одарённого народа Индии.

АНДОН ЗАКО-ЧАЮПИ. Стихотворения. Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. 110 стр. Цена 3 р.

Выдающийся албанский поэт Андон Зако-Чаюпи (1866—1930) принадлежит к плеяде замечательных деятелей патриотического движения конца XIX века. Стихи Чаюпи, простые, безыскусственные, читались и пелись в самых глухих углах Албании. Они звали к борьбе за национальное освобождение и демократию.

Албанский народ и ныне свято чтит память поэта-патриота. Советскому читателю его стихи открывают целую эпоху жизни албанского народа, лучшие черты албанского национального характера.

А. Ф. ЯКОВЛЕВ. Экономические кризисы в России. Госполитиздат. М. 1955. 404 стр. Цена 6 р. 30 к.

До последнего времени советские экономисты уделяли недостаточно внимания исследованию вопроса об экономических кризисах в России, хотя это имеет большое значение для правильной оценки экономического и политического развития страны. Книга А. Яковлева призвана восполнить этот пробел.

Автор исследует отрезок истории народного хозяйства России, охватывающий восемьдесят лет — с тридцатых годов прошлого века до первой мировой войны. На протяжении этого времени Россия пережила восемь кризисов. Рассмотрение кризисов отдельно в дореформенный период, в эпоху монополистического капитализма, а затем в период империализма позволяет автору более подробно осветить индивидуальные особенности каждого кризиса в отдельности.

В книге приведены таблицы и диаграммы, характеризующие динамику внешней торговли, а также развитие основных отраслей промышленности России.

В. М. КЕЛЬМАН. Электронная оптика. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1955. 166 стр. Цена 2 р. 60 к.

Возможности обычного микроскопа ограничены. Каждая из его линз в какой-то мере искажает изображение. Чем мельче предмет, тем труднее этого избежать и тем более сложной должна быть оптическая система микроскопа.

От этих недостатков свободен микроскоп, в котором обычные линзы заменены электронными. Это специальные устройства, заставляющие поток электронов двигаться по заранее заданному направлению. Электронный микроскоп — одно из величайших достижений современной науки и техники.

С его помощью человек проник в мир мельчайших микроорганизмов, само существование которых ранее оспаривалось.

Движение электронов в электрических и магнитных полях, предназначенных для получения изображений, изучает специальная отрасль науки—электронная оптика. С ней знакомит читателя научно-популярный очерк В. М. Кельмана.

А. БУЯНОВ. Атомная энергия. «Московский рабочий». М. 1955. 152 стр. Цена 3 р. 30 к.

Увлекательна и необъятна тема о возможности использования атомной энергии для прогресса и благополучия человечества. Автор делает попытку широко показать ту практическую пользу, которую может дать вторжение науки в пока что малозведанные области — в микрокосм (атом) и макрокосм (миры звёздных систем). В главе «Атомная энергия — помощница труда» довольно подробно рассказывается о применении «меченых» атомов в различных отраслях науки и техники, о возможностях превращения одних химических элементов в другие и т. д.

Заглядывая в будущее, быть может и не столь уж отдалённое, автор рисует картину внеземных путешествий, описывает возможные конструкции атомных самолётов, звёздных кораблей.

В. А. ЕСАКОВ, Д. Н. Анучин и создание русской университетской географической школы. Издательство Академии наук СССР. М. 1955. 183 стр. Цена 6 р. 45 к.

На одной из фотографий, помещённых в книге, изображён титульный лист первого номера журнала «Землеведение». Журнал начал выходить в Москве в 1894 году. Его основателем и бессменным руководителем был выдающийся деятель русской науки и культуры Д. Н. Анучин (1843—1923).

Журнал, в котором сотрудничали такие учёные, как В. А. Обручев, Л. С. Берг и другие, был не только своеобразной географической энциклопедией. Он способствовал проникновению географических знаний в

широкие массы и объединял вокруг себя демократические научные силы.

Крупнейший русский географ Д. Н. Анучин оставил также глубокий след в антропологии и этнографии. Многие из огромного количества написанных им работ (числом до 600) до сих пор представляют большой научный интерес.

Книга В. А. Есакова посвящена одной из сторон многогранной деятельности учёного — созданию им университетской географической школы. Её передовое направление было определено материалистическими взглядами Д. Н. Анучина. Он был первым профессором географии в Московском университете, где с 1885 года начал читать систематический курс лекций.

Ж. ЯНОВСКАЯ. Академик корабельной науки. Детгиз. Л. 1955. 168 стр. Цена 3 р. 40 к.

Книга Ж. Яновской написана для детей. Беллетризованная биография большого учёного даёт юным читателям представление о его основных работах, о наиболее примечательных событиях жизни и творчества, о той роли, которую сыграл академик Крылов в развитии русского флота.

Название книги — «Академик корабельной науки» — перепевает удачное название другой книги о том же учёном — «Адмирал корабельной науки», написанной несколько лет назад О. Писаржевским. И автору и издательству следовало бы проявить больше изобретательности.

И. БОРИСОВ. О сильных и умелых. «Физкультура и спорт». М. 1955. 64 стр. Цена 90 к.

Год назад в венском зале «Концертхауз» проходило первенство мира по подниманию тяжестей. Советские штангисты завоевали тогда первое командное место, оставив позади сильную команду США. Четыре советских спортсмена — Бакир Фархутдинов, Рафаэль Чимишкян, Дмитрий Иванов и Аркадий Воробьёв — были удостоены титула чемпиона мира. Об этих выдающихся штангистах, о классическом троеборье и о многом другом рассказывается в небольшой книжке И. Борисова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения, т. I. 636 стр. Цена 11 р. 50 к.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения, т. II. 516 стр. Цена 9 р. 50 к.

К. Маркс и Ф. Энгельс. О религии. 304 стр. Цена 5 р. 85 к.

А. В. Арциховский. Основы археологии. 280 стр. Цена 5 р. 50 к.

Большевики во главе всероссийской политической стачки в октябре 1905 года. 920 стр. Цена 14 р.

Л. И. Дракин, М. Ю. Цынков, А. П. Бегучев. Увеличить производство продуктов животноводства. 176 стр. Цена 2 р.

Л. Никитин. Большевицкий журнал «Просвещение». 132 стр. Цена 1 р. 60 к.

В. А. Разумный. Проблема типического в эстетике. 196 стр. Цена 2 р. 50 к.

Революция 1905—1907 гг. в национальных районах России. 832 стр. Цена 13 р. 85 к.

М. Н. Тихомиров. Крестьянские и городские восстания на Руси XI—XIII вв. 280 стр. Цена 4 р. 85 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Андроников. Лермонтов в Грузии в 1837 г. 268 стр. Цена 7 р. 25 к.

П. Антокольский. В переулке за Арбатом. 91 стр. Цена 2 р. 25 к.

Н. Аргунова. Двери открыты настежь. Повесть. 292 стр. Цена 5 р. 25 к.

И. Бауков. В родном краю. Лирика. 192 стр. Цена 2 р. 90 к.

П. Кузнецов. Человек находит счастье. Исторический роман. 480 стр. Цена 7 р. 80 к.

Г. Леберехт. Город на тракте. 228 стр. Цена 4 р. 55 к.

А. Неклюдова. Наш двор. Повесть. 224 стр. Цена 4 р. 25 к.

В. Панова. Серёжа. Повесть. 148 стр. Цена 2 р. 10 к.

К. Сейтлиев. Под высоким солнцем. Стихи и поэмы. Перевод с туркменского. 160 стр. Цена 2 р. 95 к.

Е. Симонойтите. Буше и её сёстры. Роман. Перевод с литовского. 264 стр. Цена 4 р. 80 к.

Н. Флёров. По синим волнам океана. Стихи. 180 стр. Цена 3 р.

М. Шехтер. Дни и годы. Стихи. 132 стр. Цена 2 р. 50 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Ба Цзинь. Рассказы. Перевод с китайского. 166 стр. Цена 2 р. 10 к.

Оноре Бальзак. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Перевод с французского. Том 15. Очерки. Литературно-критические статьи. Избранные письма. 716 стр. Цена 15 р.

И. А. Бунин. Рассказы. 255 стр. Цена 5 р.

Классики туркменской поэзии. Махтум-Кули. Молла-Непес. Кемине. (Сборник стихов). Перевод с туркменского. 328 стр. Цена 4 р. 10 к.

Низами. Хосров и Ширин. Поэма. Перевод с персидского. 548 стр. Цена 10 р.

И. А. Новиков. Избранные сочинения. В трёх томах. Том 1. 416 стр. Цена 8 р. 65 к. Том 2. 367 стр. Цена 7 р. 80 к. Том 3. 480 стр. Цена 9 р. 10 к.

Симадзак-Тосон. Нарушенный завет. Роман. Перевод с японского. 255 стр. Цена 5 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Борис Горбатов. Моё поколение. Алексей Гайдаш. 528 стр. Цена 11 р. 25 к.

Игорь Гуров. Зарезо над предгорьями. Повесть. 215 стр. Цена 4 р. 65 к.

Дорога в народный университет. Сборник. Рассказы и очерки о молодых участниках Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 168 стр. Цена 2 р. 50 к.

Михаил Козаков. Жители этого города. Роман. 296 стр. Цена 7 р. 10 к.

Анатолий Медников. Ведущий стан. Документальная повесть. 152 стр. Цена 2 р. 10 к.

Л. Почивалов. Наши друзья за Бугом. Очерки о молодёжи новой Польши. 168 стр. Цена 2 р. 35 к.

Б. Тарасов. Юность Чехословакии. 168 стр. Цена 1 р. 90 к.

ДЕТГИЗ

А. Авдеенко. Горная весна. Повесть. 184 стр. Цена 4 р.

А. Аренштейн. Подвиг жизни. 224 стр. Цена 4 р. 50 к.

А. Борчев. Рассказы о зелёном друге. 176 стр. Цена 3 р. 95 к.

Г. Борян. Да и нет. Стихи. Перевод с армянского. 64 стр. Цена 2 р. 5 к.

С. Гансовский. Надежда. Рассказы и повесть. 264 стр. Цена 5 р. 15 к.

И. Гринберг. Наше лето. Повесть. 236 стр. Цена 4 р. 40 к.

А. Дюма. Чёрный тюльпан. Перевод с французского. 240 стр. Цена 6 р. 30 к.

М. Жестев. Оленька. Повесть. 228 стр. Цена 4 р. 55 к.

С. Маршак. Сказки, песни, загадки. 656 стр. Цена 10 р. 95 к.

А. Пумпур. Лачплесис. Латышский народный герой. Перевод с латышского. 128 стр. Цена 3 р. 5 к.

В. Юрезанский. Огни на Днепре. Повесть. 448 стр. Цена 8 р. 5 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Высший подъём революции 1905—1907 гг. Ноябрь—декабрь 1905 г. Документы и материалы. 950 стр. Цена 34 р. 90 к.

Леонардо да Винчи. Избранные естественнонаучные произведения. 1026 стр. Цена 39 р.

Лукиан. Избранные атеистические произведения. 333 стр. Цена 12 р. 80 к.

Очерки истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 534 стр. Цена 24 р. 20 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. Берёзко. Мирный город. Роман. 687 стр. Цена 12 р. 70 к.

Л. Горев. Война 1853—1856 гг. и оборона Севастополя. 519 стр. Цена 15 р.

П. К. Казанджан, Л. П. Алексеев и др. Теория реактивных двигателей. 296 стр. Цена 7 р. 40 к.

Крепче брони. Повести и рассказы из жизни Советской Армии и Военно-Морского Флота. 448 стр. Цена 7 р. 70 к.

А. Позднев. Творцы отечественного оружия. 450 стр. Цена 9 р. 40 к.

ГЕОГРАФИЗ

Б. М. Данциг. Ирак. (Краткий географический очерк). 134 стр. Цена 5 р.

Давид Ливингстон. Путешествия и исследования в Южной Африке с 1840 по 1855 г. 392 стр. Цена 8 р. 85 к.

Н. Сергеева. На Вьетнамской земле. Заметки журналиста. 46 стр. Цена 80 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Жоржи Амаду. Бескрайние земли. Роман. Перевод с португальского. 293 стр. Цена 9 р.

Герберт Аптекер. Лауреаты империализма. Перевод с английского. 99 стр. Цена 1 р. 95 к.

Пьетро Ненни. От Атлантического пакта к политике смягчения напряжённости. Сокращённый перевод с итальянского. 333 стр. Цена 12 р. 90 к.

Гарри Поллит. Избранные статьи и речи (1919—1939). Перевод с английского. 358 стр. Цена 9 р.

Прогрессивные деятели США в борьбе за передовую идеологию. 398 стр. Цена 17 р. 10 к.

Рассказы персидских писателей. 243 стр. Цена 6 р. 75 к.

Михаил Садовяну. Никоарэ Подкова. Исторический роман. Перевод с румынского. 342 стр. Цена 11 р. 20 к.

Лион Фейхтвангер. Гойя или тяжкий путь познания. Перевод с немецкого. 566 стр. Цена 17 р. 60 к.

Армас Эйкия. Под северным сиянием. Перевод с финского. 127 стр. Цена 3 р. 60 к.

МЕДГИЗ

А. Н. Зимин и Ю. Д. Лебедев. Алкоголизм. 52 стр. Цена 65 к.

А. А. Лепорский. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания. 164 стр. Цена 5 р. 60 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

1905 год в Москве (Историко-революционный очерк. Ход событий и памятные места). 334 стр. Цена 5 р. 45 к.

И. Флеровский. Первая народная революция в России. 106 стр. Цена 1 р. 30 к.

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Литературная Вологда. Сборник произведений вологодских писателей. 280 стр. Цена 6 р.

С. И. Минц, Н. И. Савушкина. Сказки и песни Вологодской области. 272 стр. Цена 7 р. 50 к.

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Л. Коптелов. Великое кочевье. 432 стр. Цена 7 р. 95 к.

А. Никульков. Достойные счастья. 192 стр. Цена 4 р. 10 к.

Г. Пушкарёв. Реалисты. 240 стр. Цена 5 р. 45 к.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА „НОВЫЙ МИР“

за 1955 год



Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза. I—7.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза. Второму Всесоюзному съезду советских писателей. I—3.

Сергею Николаевичу Сергееву-Ценскому. X—3.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, КИНОКОМЕДИИ, КИНОСЦЕНАРИИ, ДРАМЫ.

И. А. Бунин. Рассказы и очерки: Толстой; Слон; Благоклонное участие; Грибок; Капитал; Первый класс; Канун; До победного конца; Тёмные аллеи; Волки. VI—157.

С. Георгиевская. Серебряное слово. Повесть. IX—38.

Борис Горбатов. Алексей Гайдаш. Повесть. VI—31; VII—111; VIII—91.

Ил. Дубинский. В таёжной деревне. Из записок комбайнера Михаила Бровкина. I—74.

Николай Дубов. Сирота. Повесть. IV—16; V—67; VI—89; VII—49; VIII—169.

О. Дьякова. Угощение. Рассказ. X—165.

Н. Мельников. Клада. Рассказ. V—135.

Павел Нилин. Жучка. Рассказ. XI—53.

В. Панова. Серёжа. Повесть. IX—141.

Константин Паустовский. Бесполойная юность. Повесть. III—3; IV—76; V—96; VI—115.

Евг. Петров, Г. Мунблит. Бесполойный человек. Кинокомедия. II—107.

Юрий Пиляр. Всё это было. X—113; XI—85.

Н. Погодин. Мы втроём поехали на целину. Героическая комедия. XII—44.

Ида Радволина. Рассказы о Юлиусе Фучике. IX—198; X—182.

Анатолий Рыбанов. Екатерина Воронина. Роман. I—11; II—13; III—39; IV—120.

Рытхэу. Пять писем Вали Крамаренковой. Авторизованный перевод с чукотского А. Смоляна. XI—29.

Константин Симонов. Бессмертный гарнизон. Киносценарий. V—26.

Г. Троепольский. Митрич. Рассказ. X—92.

Говард Фаст. Сайлас Тимбермен. Роман. Перевод с английского Е. Гольшевой и Б. Исакова I—126; II—154; III—97.

Константин Финн. Ошибка Анны. Драма. X—55.

ПОЭМЫ И СТИХИ

Иранглий Абашидзе. В Багдади. Стихи. Перевод с грузинского Н. Гребнева. IV—118.

Маргарита Алигер. Из записной книжки. Стихи. IV—68.

Павел Антокольский. Встреча. Стихи. VII—109.

Микола Бажан. Из цикла «Мицкевич в Одессе»: Песня о трёх ножах. Перевод с украинского М. Матусовского. Над морем; Бура. Перевод с украинского Н. Заболоцкого. XI—25.

Мирдза Бендрупе. Из цикла «Осень у Рагацьема». Стихи. Перевод с латышского Вероники Тушновой. XII—89.

Шахер Борджанов. У моря. Стихи. Перевод с туркменского Н. Гребнева. X—159.

А. Вергелис. Ещё вы, дети, не видали? Кружку чаю мне, кружку чаю!.. Стихи. Перевод с еврейского Евг. Евтушенко. IX—139.

Е. Винокуров. Солдатские стихи: Отцы; О красоте; Земля омыта... II—7.

Е. Винокуров. Москвичи; В юности; На вешалке в передней шубка куныя... Стихи. IX—134.

Расул Гамзатов. Лирические стихи (с аварского): Следы на снегу. Перевод Н. Гребнева. Я влюблён в сто девушек. Перевод Елены Николаевской и Ирины Снеговой. Промолвил отец мой... Перевод Н. Гребнева. Стихи он о жене сегодня пишет... Перевод Мих. Луконина. VII—39.

Николай Грибачёв. Два стихотворения: Сын полюбил; Другу. I—122.

Николай Грибачёв. У наших знакомых. Поэма. VI—3.

Сергей Давыдов. Я к ним приполз под вечер... Стихи. XI—76.

Евг. Долматовский. В сорок пятом, в мае...; В новой Германии. Стихи. V—3.

Евг. Евтушенко. Зависть; С усмешкой о тебе иные судят... Стихи. VII—46.

Евг. Евтушенко. В Мичуринске. Стихи (к 100-летию со дня рождения И. В. Мичурина). X—39.

Евг. Евтушенко. Из новой книги. Стихи: Девятьсот пятый; Бабушка; Две любимых. XII—39.

Николай Егоров. Памятник; После дождя. Стихи. XI—76.

Тамара Жирмунская. В пионерском лагере. Стихи. IX—136.

Борис Заходер. Буква Я. Стихи. IV—73.
Людмила Зубкова. Солдат. Стихи. XI—77.
Аветик Исаакян. Два стихотворения: Товарищ, вперёд!.. В бездне бед житейского моря... Перевод с армянского Владимира Державина. Медведь и змея. Басня. Перевод с армянского Сергея Михалкова. XI—74.
Фёдор Исаев. Дуб; Деревце. Стихи. Перевод с украинского Веры Потаповой. XI—77.
Мустай Карим. Из стихов башкирских поэтов: Снег идёт... Перевод К. Симонова. В одном далёком городе; Всегда тревожно и несмело... Перевод М. Дудина. VI—85
Ханиф Карим. Из стихов башкирских поэтов: На пути к большому перевалу. Перевод К. Симонова. VI—87.
Анна Ковусов. Ремесло поэта. Стихи. Перевод с туркменского Н. Гребнева. X—161.
Сайфи Кудаш. Из стихов башкирских поэтов: Зря меня ты за руку берёшь...; Во многих юности делах и фразах... Перевод Ирины Снеговой. VI—87.
Аркадий Кулешов. Грозная Пуща. Повесть в стихах. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского (Вторая повесть хроники «Граница». См. «Новый мир» № 8 за 1953 год). VIII—33.
Якуп Кулмай. Из стихов башкирских поэтов: Каменщик берёт слово. Перевод Льва Пеньковского. VI—88.
Владимир Лазарев. Открытие; Таёт снег... Стихи. XI—78.
Мих. Луконин. Его любовь (Из поэмы). IV—3.
Мих. Луконин. Новые стихи: Зимой; Письмо; Жажда; В лесу; Годы; У памятного дома; Пробуждение. X—176.
Марк Максимов. В армейскую годовщину. Стихи: Письмо ровеснику; Про атом. II—3.
Кубанычбек Малинов. Вся власть Советам! Стихи. Перевод с киргизского Марфа Соболя. I—10.
С. Маршак. Семь стихотворений: Грянул гром неожиданно...; О том, как хороша природа...; Вечерний лес ещё не спит...; Как поработала зима!...; Текла, извивалась...; Сколько раз пытался я ускорить...; Дана лишь минута... II—104
Адам Мицкевич (К столетию со дня смерти). Баллада и стихотворения: Рыбка; Сомнение; В альбом Людвиге Мацкевич. Перевод с польского Семёна Кирсанова. XI—133.
Геннадий Могилевцев. В электричке. Стихи. XI—79.
Л. Мочалов. Сестра. Стихи. IX—137.
Булат Окуджава. Зависть; Сидишь, одета в платье ситцевое... Стихи. XI—80.
Сергей Петрунин. Из колхозного дневника. Стихи: Бойтичская дорога; Тётка Фёкла; Тридцать дней; Письмо другу в Закавказье; Случай в пути. III—34.
Григорий Поженян. Вперёдсмотрящий. Поэма. V—5.
Александр Прокофьев. Юность. Поэма. I—67.
Александр Романов. Домашняя хозяйка. Стихи: XI—81.
Аркадий Рывлин. Обида; В нашем доме; Мальчишка и солнце. Стихи. II—152.
Д. Самойлов. Первый гром; Мост. Стихи. VII—48.

Д. Симанович. Весенняя сказка; Лейтенанты; Товарища встретишь...; О разлуках; Не улыбкой...; Трое. Стихи. X—162.

Б. Слуцкий. Два стихотворения: Итальянец; Телефонный разговор. III—95.

Сергей Смирнов. Гвоздика. Стихи. I—125.

Виктор Урин. Гвоздика. Стихи. VII—44.

Агван Хачатрян. Стихи: Огни Севана. Перевод с армянского Евг. Евтушенко. Ты волосы мои ласкаешь нежно... Перевод с армянского Б. Ахматулиной. XI—82.

Назым Химмет. Новые стихи: Письмо из Польши; Почтальон; Путешествие по Венгрии (Из поэмы); Вступление к поэме. Перевод с турецкого М. Павловой. I—185.

Егише Чаренц. Три поэмы о Ленине: Дедушка Ленин. Перевод с армянского М. Максимова. О Владимире Ильиче, мужике и паре сапог. Перевод с армянского В. Баласаа. Ленин и Али. Перевод с армянского М. Максимова. IV—5.

Екатерина Шевелёва. Девочка из Гонг-Конга. Стихи. III—38.

Л. Шерешевский. Гне пепельно-бурый, как соболь...; Ай-Петри. Стихи. XI—83.

Фридрих Шиллер. Два стихотворения: Мужичья серенада (1781); Вытрезвление Бахуса (1781). Перевод с немецкого Льва Гинзбурга. VI—112.

Ованес Шираз. Памятник Абовяну. Стихи. Перевод с армянского Елены Николаевской. X—54.

Степан Ципачёв. Слезы; Мой стих. Стихи. II—151.

Геннадий Юшков. Кукушка. Стихи. Перевод с коми М. Светлова. XI—84.

Юрий Яковлев. Растут сыновья. Стихи: Старая песня; Часовей; Построение; На пароме. II—9.

Юрий Яковлев. В Гори. Стихи. XII—42.

Александр Яшин. Спокойнее вдвоём. Стихи. I—123.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Уолт Уитмен. Из «Листьев травы» (С английского); О Франции звезда (1870—1871); Нашим штатам; Странную стражу я нёс в поле однажды ночью; Был ребёнок, и он рос с каждым днём; На берегах широкого Потомака. Перевод Ивана Кашкина. VII—152.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Василий Ажаев. Три дня в Кремле. Хозяева страны. VII—3.

А. Безыменский, И. Вайнберг. Заводские будни. X—4.

И. Горелик. В июле этого года. Инженеры. VIII—23.

Д. Гранин. Три дня в Кремле. Беспокойные люди. Листки из блокнота. VII—20.

Н. Девятяров. На подьёме. I—198.

Анатолий Злобин. Три дня в Кремле. После совещания. Корреспонденция. VII—28.

Виталий Калинин, капитан танкера «Туапсе», **Дмитрий Кузнецов,** первый помощник капитана. Мы — советские люди! Литературная запись Анатолия Аграновского. XII—3.

В. Кочетов. Три дня в Кремле. Речь. Глава, которой нет в романе «Журбины». VII—15.

Т. Леонтьева. Сегодня 1 сентября. Экзамен в колхозе. IX—13.

Вадим Лунашевич. В июле этого года. В селе Тарасково. VIII—14.

Юрий Нагибин. В июле этого года. Новый председатель. VIII—3.

О чём говорили учителя. IX—32.

М. Прилежаева. Сегодня 1 сентября. О молодых рабочих. IX—3.

Л. Розанова, секретарь бюро ВЛКСМ биолого-почвенного факультета МГУ. Сегодня 1 сентября. Комсомольцы приходят в университет. IX—22.

ОЧЕРКИ ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ

Октябрь 1917 года...

Павел Арский. Штурм Зимнего. XI—9.

А. Белышев. Исторический выстрел. Литературная запись А. Садовского. XI—3.

А. Блохин. Рассказ солдата революции. Литературная запись Евг. Босняцкого. XI—20.

В. Стригин, А. Кураков, П. Пруссак, Товарищ Андрей (Из воспоминаний арсенальцев). Литературная запись Александра Борщаговского. XI—15.

ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

Ханс Кристиан Андерсен. «Болотные огни в городе!» Сказка. Перевод с датского А. и П. Ганзен. IV—159.

Казимеж Брандыс (Польша). Господин с палкой. Перевод Валериана Арцимовича. V—139.

Векослав Калев (Югославия). Слезы. Перевод В. Радиной. VII—134.

Альберто Моравиа. Римские рассказы: Младенец; Марио; Мысли вслух; Воры в церкви. Перевод с итальянского З. Потаповой. X—206.

Катарина, Сусанна Причард (Австралия). Рождественские деревья. Перевод с английского Т. Озерской. IV—151.

Вильям Сароян. Четыре рассказа: Филиппинец и пьяный; Пианино; Джим Пембертон и его сын Триггер; Поучительные сказочки моей родины. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Исакова. XI—138.

Бранко Чопич (Югославия). Тень и бык. Перевод В. Радиной. VII—149.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Юрий Жуков. Париж, март 1955. Странички из дневника журналиста. VI—240; VII—188.

Д. Мельников, Л. Чёрная. За кулисами войны (К истории одного вероломства). V—165.

С. Образцов. Две поездки в Лондон. VI—186.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

А. Бельская. В сахарной облатке... США. «Сатердей ивнинг пост» («Субботняя вечерняя почта»), еженедельный иллюстрированный литературно-политический журнал. Март—май. 1955. VII—224.

А. Бельская. Американская почта. США. «Сатердей ревью» («Субботнее обозрение»), литературно-политический еженедельник. № 29. 1955. «Форин полиси буллетин» («Бюллетень внешней политики»), политический двухнедельник. № 19. 1955. «Сатердей ивнинг пост» («Субботняя вечерняя почта»), литературно-политический еженедельник. № 228. 1955. XII—112.

И. Бернштейн. Народ не забывает. Чехословакия. «Новы жывот» («Новая жизнь»), литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 2. 1955. V—195.

Ал. Гершкович. Венгерская новь. Венгрия. «Чиллаг» («Звезда»), ежемесячный литературно-художественный журнал. № 3. Март. 1955. VII—231.

И. Глебова. Вместе с народом. Вьетнам. «Ван Нге» («Литература и искусство»), еженедельник. №№ 76—78. Июль. 1955. XII—107.

А. Дирингерова. Первая трибуна. Польша. «Творчость» («Творчество»), ежемесячный литературно-художественный журнал. №№ 1 и 2. 1955. V—182.

М. Живов. Новое о Мицкевиче. Польша. «Паментник литераций» («Литературные записки»), ежеквартальный журнал истории и критики польской литературы. №№ 1, 2. 1955. XII—109.

Ю. Кожевников. Человек — мера всего. Румыния. «Вьяца ромыняскэ» («Румынская жизнь»), ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 12. 1954. IV—205.

Савва Кожевников, Сергей Фролкин. В борьбе с врагами. Китай. «Вэньбао» («Литература и искусство»), двухнедельный литературно-критический журнал. №№ 7—15. 1955. XII—99.

В. Кутейщикова, Л. Осповат. В добрый час! Чили. «Аврора», трёхмесячный литературный и общественно-политический журнал. № 1. Июль. 1954. III—204.

В. Кутейщикова, Л. Осповат. Широкий горизонт. Бразилия. «Оризонт» («Горизонт»), общественно-политический и литературно-художественный журнал. № 28. Август. 1954. IV—196.

И. Литвакова. Познавать новое! Болгария. «Септември» («Сентябрь»), ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. №№ 1, 2. 1955. V—204.

Сергей Львов. Поверх границ. ГДР. «Нейе дейче литератур», ежемесячный литературно-художественный журнал. № 12. Декабрь. 1954. «Зинн унд форм», двухмесячный литературно-теоретический журнал. №№ 5—6. Декабрь. 1954. III—193.

Сергей Львов. Фальшивая вывеска. Западная Германия. «Монат» («Месяц»), ин-

тернациональный журнал. №№ 76 и 77. Январь, февраль. 1955. IV—207.

Д. Мельников. В гуще борьбы. Западная Германия. «Хойте унд морген» («Сегодня и завтра»), ежемесячный журнал по вопросам литературы, искусства и современной политики. №№ 1, 2. 1955. IV—193.

К. Наумов. Новое новое. Франция. «Ну-вель ну-вель ревью франсез» («Новое новое французское обозрение»), ежемесячный литературно-художественный и публицистический журнал. № 25. Январь. 1955. IV—179.

К. Наумов. Де Фокса и другие... Испания. «АБЦ» («Азбука»), ежедневный орган общей информации. Январь—март. 1955. V—186.

В. Новикова. Свежий ветер. Индия. «Пори-чой» («Обозрение»), ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. Февраль. 1955. VII—221.

Л. Остапов. На распутье... Эквадор. «Лет-рас дель Эквадор» («Литература Эквадора»), трёхмесячный журнал литературы и искусства. №№ 96—99. 1954. V—201.

З. Потапова. Дорога надежды. Италия. «Контем поранео» («Современник»), еженедельник, посвящённый вопросам культуры. Январь. 1955. IV—203.

Н. Разговоров. Отчаяние и вера. Франция. «Тан модерн», ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 108. Декабрь. 1954. III—184.

Н. Разговоров. «Основан в 1942 году...» Франция. «Леттр франсез» («Французская литература»), еженедельник, посвящённый вопросам литературы, искусства, культуры. №№ 555, 556. Февраль. 1955. IV—184.

Н. Разговоров. Вопросы Груссару. Франция. «Каррфур» («Перекрёсток»), общественно-политический и литературно-критический еженедельник. № 545. 23 февраля. 1955. V—207.

Б. Розанов. ...Впереди — огни! США. «Мэс-сес энд Мэйнстрим», ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 12. 1954. III—198.

Б. Розанов. Книжный универмаг. Англия. «Букселлер» («Книготорговец»), библиографический и книготорговый еженедельник. Январь. 1955. IV—199.

Б. Розанов. Великие традиции. США. «Мэс-сес энд Мэйнстрим» («Массы и главное течение»), ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 1. 1955. V—190.

Ел. Романова. Мрачные перспективы. США. «Перспективы США», трёхмесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. № 9. 1954. III—200.

Вл. Рубин. Без политики?.. Англия. «Лондон мэгэзин» («Лондонский журнал»), ежемесячный литературный журнал. №№ 1 и 2. Январь, февраль. 1955. IV—187.

Вл. Рубин. Для читателя-друга. США. «Контемпорери ридер» («Современный читатель»), трёхмесячный литературно-публицистический журнал. № 1. 1955. VII—228.

В. Стеженский. Присяга Пехеля. Западная Германия. «Дейче рундшау», ежемесячный

общественно-политический и литературно-художественный журнал. № 12. 1954. III—190.

В. Стеженский. Приговор бессилия. Западная Германия. «Дейче рундшау» («Немецкое обозрение»), ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный журнал. № 1. 1955. V—198.

А. Тишков. Чувство нового. Китай. «Жень-минь вэньсюэ» («Народная литература»), ежемесячный литературно-художественный журнал. № 12. 1954. III—187.

А. Тишков. Ключ к сердцам. Китай. «Шо-шо чанчан» («Рассказ и песня»), ежемесячный литературно-художественный журнал. № 12. 1954. IV—191.

Евг. Трущенко. Спит ли Франция?! Франция. «Ля ну-вель критик» («Новая критика»), журнал воинствующего марксизма. Специальный номер. Июль—август. 1955. № 67. XII—103.

Р. Фиш. Хватит ли оптимизма? Турция. «Варлык» («Бытие»), ежемесячный журнал литературы, искусства и мысли. № 413. Декабрь. 1954. V—179.

Л. Эйдин. Литература и армия. Китай. «Цаефанцзюнь вэньи» («Литература и искусство Освободительной армии»), ежемесячный литературно-художественный журнал. №№ 1, 2, 3, 4. 1955. VII—218.

ПУБЛИЦИСТИКА

Е. Анисимова. Граждане земли русской. XII—91.

Г. Градов, кандидат архитектуры. Проблемы нашей архитектуры. II—198.

П. Лепешинский. Встречи с Владимиром Ильичём (К 85-летию со дня рождения В. И. Ленина). IV—171.

А. Маркин, инженер. Сибирь зовёт. VI—173.

Сабит Муканов. На целине. Перевод с казахского Ф. Моргуну. VII—157.

Вл. Немцов. Интересно об интересном. XI—190.

Л. Розанова, Э. Дубровский. Ленинские горы — Алтай. Дневник студенческой бригады. Е. Успенская — Вместо предисловия. XI—163.

Г. Соколов. Лесосады ждуют хозяев. IX—239.

Геннадий Фиш. Мечта и подвиг (К 100-летию со дня рождения И. В. Мичурина). X—41.

М. Эссен. Великий и простой человек (К 85-летию со дня рождения В. И. Ленина). IV—168.

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

И. Абрамов, кандидат технических наук. Пути развития советской техники. II—206.

И. Артоболевский, академик. Пути новых исканий. V—146.

П. Асташенков, инженер. Первые шаги атомной энергетики (Атом на службе человека). III—176.

А. Буянов, инженер. Покорённый электрон (Атом на службе человека). III—170.

В. Емельянов, член-корреспондент Академии наук СССР. Рассказы об атоме. VIII—219.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Томас Манн. Чехов. Перевод с немецкого Л. Рудной. I—212.

Н. Н. Михайлов. Поэзия науки. II—218.

ИЗ ПИСАТЕЛЬСКОГО АРХИВА

Разговор о мастерстве.

Из писем В. В. Вишневского. XI—196.

Из стенограммы выступления В. Л. Горбатова на совещании писателей в Иркутске. XI—203.

Из писем П. А. Павленко. XI—208.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Из истории создания романа **А. Н. Толстого** «Восемнадцатый год». Комментарий Ю. А. Крестинского, младшего научного сотрудника Института мировой литературы имени А. М. Горького. II—225.

Томас Манн. Моё время. Перевод с немецкого Л. Чёрной и Д. Мельникова. X—223.

Московский университет (1755—1955). V—153.

На Втором съезде советских писателей (Цифры и факты). I—227.

Новое об Александре Блоке. Публикация Вл. Орлова. XI—150.

Ромен Роллан. Дневник военных лет (1914—1919). Фрагменты. Перевод с французского и примечания Л. Лунгиной и К. Наумова. III—208.

Н. Федоренко. Встречи с китайскими писателями (См. «Новый мир» №№ 9, 10 за 1954 год). VIII—203.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

П. Антокольский. Александр Блок (К 75-летию со дня рождения). XI—240.

Г. Бялый. Реализм Гаршина (К 100-летию со дня рождения писателя). II—237.

П. Викторов. Новые главы «Поднятой целины». V—211.

К. Горбунов. Черты жизни. VI—279.

Е. Добин. Заострение в сюжете. III—244.

В. Ермилов. Ф. М. Достоевский. XII—159.

Н. Заболотский. Давид Гурамишвили (К 250-летию со дня рождения поэта). X—237.

А. Караганов. Каноны и творчество. I—235.

Ю. Карасёв. Главная задача. Заметки о прозе в национальных литературах. III—227.

И. Козлов. О сжатости в прозе. VI—263.

Г. Койранская. Альманах «Новая Сибирь». III—260.

Зоя Крахмальникова. Проза альманаха «Советская отчизна». II—229.

М. Кузнецов. Великий принцип. XI—212.

И. Лажнев. Краткость — сестра таланта. V—218.

Сергей Львов. В книжном магазине на улице Горького. X—244.

В. Назаренко. Оригинальность и жизнь. IX—246.

А. Павловский. Письмо из Кузбасса (Литературная жизнь в краях и областях). IV—223.

З. Паперный. Громада-любовь. IV—211.

Б. Рунин. Ветер истории. VIII—256.

Б. Рюриков. Бессмертные мысли Ленина. К выходу книги Клары Цеткин «Воспоминания о Ленине». VII—235.

Н. Толчёнова. В борьбе за нового человека. XI—219.

Геннадий Фиш. На колхозную тему. VIII—235.

Лидия Чуковская. Зеркало, которое не отражает. Заметки о языке критических статей. VII—241.

М. Щеглов. Путь героя (Литературная жизнь в краях и областях). IV—233.

ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

С. Голубов. По поводу романа Н. Волкова «Заре навстречу». IX—267.

Н. Грибачёв. По поводу цикла стихов «Земля и небо». V—234.

Вера Инбер. По поводу стихотворений Юрия Савельева. VI—288.

М. Исаковский. По поводу одного стихотворения. VI—287.

Борис Лавренёв. По поводу пьесы «Сильнее любви». V—231.

Юрий Нагибин. По поводу одного рассказа. VII—250.

Лев Славин. По поводу двух рассказов. X—250.

ТРИБУНА ПИСАТЕЛЯ

Н. Носов. О литмастерстве. Заметки сатирика. XII—146.

Валентин Овечкин. Колхозная жизнь и литература. XII—116.

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Мысли о литературе. IV—238.

О воспитании вкуса. II—247.

КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Анатолий Алексин. На баррикадах Пресни (Ю. Яковлев. «Петрушка». Поэма. «Юность» № 5 за 1955 год). XII—228.

В. Аникин. О новой хрестоматии по фольклору («Устное поэтическое творчество русского народа»). Хрестоматия). IV—257.

П. Антокольский. Новое о Пушкине (И. Фейнберг. «Незавершённые работы Пушкина»). VIII—271.

П. Антокольский. Новое о Лермонтове (С. А. Андреев-Кривич. «Лермонтов. Вопросы творчества и биографии»). X—263.

А. Анфиногенов. Репортаж об Арктике (П. Барашев. «В краю Большой Медведицы. Записки репортёра»). VII—276.

В. Афанасьев. «...Не лишена недостатков» (Н. Зверев. «Русская советская литература. Часть 1»). VII—268.

Б. Брагинина. Повесть о доверии (Н. Атаров. «Повесть о первой любви»). IX—274.

Д. Брегова. Живой образ писателя (Л. Чуковская. «Борис Житков»). X—270.

Константин Ваншенкин. Стихи нашего современника (Владимир Кокляев. Стихи). IV—254.

Сергей Васильев. Боевая книжка (Сергей Швецов. Сатирические стихи). X—261.

Г. Владимов. Спасённое искусство (Юрий Герман. «Хорьковская шуба». Повесть). X—258.

А. Волошин. Доброе слово. VII—253.

Евгений Воробьёв. Ветви зимнего дуба (Ю. Нагибин. «Зимний дуб», «Подлёдний лов», «Сын», «Ночной гость». Рассказы). XI—247.

Е. Городецкая. Була и Волга (Алексей Талвир. «У нас на Буле». Перевод с чувашского Виктора Шкловского). II—260.

О. Грудцова. «Мирный город» (Г. Берёзко. «Мирный город»). V—241.

А. Диригерова. Новая жизнь (К. Брандс. «Граждане»). III—274.

А. Диригерова. Не к лицу. VI—306.

А. Диригерова. Характер и творчество (Б. Галин. «Чудесная сила»). VIII—274.

Евг. Долматовский. С доброй улыбкой (Б. Ласкин. «В жизни так случается»). VIII—269.

Н. Дьяконова. «Весна, которую предали» (Jack Lindsay. «Betrayed Spring». Джек Линдсей. «Весна, которую предали». Jack Lindsay. «Rising Tide». Джек Линдсей. «Растущий прилив»). II—265.

Н. Дьяконова. Книга о прогрессивной зарубежной литературе («Современная прогрессивная литература зарубежных стран в борьбе за мир». Сборник статей). XI—261.

Анна Илупина. Самодеятельности — настоящую помощь! (Н. Горчаков. «Спектакль художественной самодеятельности»). VI—302.

Анна Илупина. Артисты — труженикам целины («Артисты у новосёллов целины. Из опыта участников выездных бригад театров»). X—266.

С. Ильичёва. Свежий голос (Николай Первалов. «Стихи»). III—267.

Ал. Исбах. Живые страницы (Ю. Стрехнин. «Здравствуй, товарищ!»). V—243.

Ал. Исбах. Летопись французского Сопротивления (Жан Лаффит. «Командир Марсо». Роман. Перевод с французского И. Тихомировой). VIII—278.

Ю. Капусто. Органичность героя (Елена Ржевская. «На новом месте». Повесть). VII—263.

Ю. Капусто. «Дорога испытаний» (Борис Ямпольский. «Дорога испытаний»). IX—271.

В. Кардин. Активность очерка («На крутом подъёме. Очерки колхозной жизни»). VI—292.

М. Карпович. Воинское мужество (Владимир Дягилев. «Гвардейцы»). V—240.

Г. Койранская. Человек при деле (Г. Калиновский. «Конец караванной тропы». Рассказы). VII—258.

А. Кондратович. Человек и эталон (В. Озеров. «Образ коммуниста в советской литературе». Литературно-критические очерки). IV—255.

А. Кондратович. Сильные духом. (П. Бляхин. «На рассвете». Повесть). XII—226.

Л. Копелев. Проза Эриха Вайнерта (Erich Wehnert. «Prosa. Szenen. Kleinigkeiten». Эрих Вайнерт. «Проза. Сцены. Мелочи»). XI—264.

В. Кутейщикова, Л. Осповат. Рождение эпоса (Жоржи Амаду. «Подполье свободы»). V—250.

Л. Лазарев. Роман о Москве (Л. Никулин. «Московские зори». Роман). II—255.

Л. Лазарев. Слово и зрелище («Вопросы кинодраматургии». Сборник статей. Выпуск 1). VIII—280.

Л. Лазарев. Рождение драматурга (В. Лаврентьев. Пьесы, В. Лаврентьев. «Светлая»). X—254.

К. Лапин. «Служили два товарища...» (А. Кучеров. «Служили два товарища...»). V—244.

С. Ларин, Д. Николаев. Жизнь Кости Вяземцева (Павел Нилин. «Поездка в Москву»). IV—251.

Н. Леонтьев. Поэзия народа мари («Марийские народные песни». В переводах Сергея Поделкова). X—256.

А. Ложечко. Быть впереди! Проза в альманахе «Молодой Ленинград» («Молодой Ленинград». Альманах. Сборник первый). XI—253.

Ю. Манн. Интересный критический очерк (З. С. Паперный. «А. П. Чехов»). V—252.

Ю. Манн. Высокие чувства (Инна Гофф. «Биение сердца». Повесть). IX—277.

Н. Мацуев. Большое и нужное дело. II—262.

Д. Милютин. Духовный мир простого человека (Е. Горбов. «Фея». Сборник «На родной земле»). IX—279.

Л. Михайлова, А. Турнов. Герои рассказов («Рассказы. 1951—1952»). I—261.

Л. Михайлова. Жанр обаяет (Д. Калашников. «Жизнь зовёт». Рассказы). VII—265.

Ф. Молок. «Бурный 1905 год» (Антонин Запогоцкий. «Бурный 1905 год»). XII—230.

- Н. Муравина.** Несовершенства содержания романа (А. Новиков. «Ты взойдешь, моя заря!»). VI—297.
- М. Мухтасипов.** Поэзия бессмертия (М. Джалиль. «Из моабитской тетради»). IV—248.
- Юрий Нагибин.** Поэзия достоверности (Андрей Упит. Избранные рассказы). VI—295.
- С. Нельс.** Великие уроки («В. И. Качалов». Сборник статей, воспоминаний, писем). IV—260.
- Н. Немиров,** подполковник. Только первый шаг (Подполковник Н. А. Шиманов. «Художественная литература и воинское воспитание»). V—246.
- И. Орнатский, Э. Вартумян.** В борьбе за будущее (J. Aldridge. «Heroes of the Empty view». Дж. Олдридж. «Герои пустынных горизонтов»). X—268.
- А. Отарова.** Сборник статей о Л. Н. Толстом («Творчество Толстого». Сборник статей). III—278.
- Ник. Пияшев.** Публицистика В. Воровского (В. В. Воровский. «Избранные произведения о первой русской революции»). XII—223.
- К. Поздняев.** О военных корреспондентах (Константин Лапин. «Военный корреспондент». Рассказы). III—272.
- П. Сажин.** Талантливые повести (В. Смирнов. Повести). I—268.
- А. Сахалтуев.** Живые страницы истории (Петро Панч. «Гомоніа Україна»). VI—299.
- Л. Светлов.** Творческий путь Фонвизина (К. В. Пигарев. «Творчество Фонвизина»). IV—263.
- В. Сквозников.** Поэма о доверии (Ольга Берггольд. «Верность». Трагедия). VII—261.
- Юрий Смирнов.** Новая книга о Чаплине (R. J. Minney. «Charlin — the Immortal Tramp». Р. Дж. Минни. «Чаплин — бессмертный бродяга»). III—276.
- С. Смирнов.** Герой и автор (Евгений Дырин. «Дело, которому служишь». Повесть). V—238.
- Нат. Соколова.** Портрет современника (Геннадий Фиш. «Открытие Терентия Мальцева». А. Горобова. «В зауральском колхозе»). XI—256.
- Г. Соловьёв.** Горький — организатор передовой литературы (А. М. Горький. Письма к К. П. Пятницкому). I—256.
- Михаил Стельмах, Натан Рыбак, Александр Магуревич.** Великое — в малом (Наталья Коңчаловская. «Наша древняя столица». Книга первая—третья). IV—250.
- В. Тельпугов.** Разведка продолжается (Евг. Евтушенко. «Третий снег»). V—247.
- В. Тельпугов.** Жизненное и надуманное (Василий Фёдоров. «Лесные родники»). VII—260.
- В. Тендряков.** Очерки о колхозных буднях (Михаил Жестев. «Под одной крышей»). VIII—264.
- П. Утевская.** Для маленьких (Наталья Забѣла. «Зайчатко та жак». Наталья Забѣла. «Весела абетка»). IX—281.
- Р. Фаизова.** Поэма о любви и дружбе (Калижан Бенхожин. «Мария — дочь Егора». Поэма на казахском языке). X—260.
- Константин Финн.** Правдивая повесть (А. Эрлих. «Жизнь впереди»). XI—251.
- И. Фрадкин.** Последний роман Бернгарда Келлермана (Бернгард Келлерман. «Девятое ноября.—Пляска смерти»). IX—283.
- Я. Фрид.** Письма Флобера Тургеневу («Oeuvres complètes du Gustave Flaubert. Correspondance. Supplément, t. t. XIX—XXII (1830—1880)». «Полное собрание сочинений Гюстава Флобера. Переписка. Приложения, тт. XIX—XXII (1830—1880)»). VI—304.
- Г. Фридендер.** Книга о Чернышевском-писателе (Гр. Тамарченко. «Романы Н. Г. Чернышевского»). VII—271.
- А. Шагалов.** Морская служба (Г. Соловьёв. «Морская служба». Роман). II—257.
- Б. Шиперович.** Необходимый справочник (Н. Мацуев. «Советская художественная литература и критика 1952—1953». Библиография). V—249.
- А. Штамбок.** Две повести о художниках (Ксения Охупкина. «Повесть о Куинджи». Николай Харджиев. «Судьба художника»). III—269.
- А. Штейн.** Ценная книга о Шекспире (М. М. Морозов. Избранные статьи и переводы). X—265.
- А. Шумский.** Горький — пролетарский интернационалист (М. Юнович. «М. Горький в борьбе за равенство и дружбу народов»). VI—300.
- М. Щеглов.** Приговор народа (Александр Письменный. «Приговор». Роман). VII—255.
- Б. Эйхенбаум.** Сборник воспоминаний или хрестоматия? («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». В двух томах). XI—258.

Политика и наука

А. Аванян, член-корреспондент Академии наук СССР. Мичуринское учение в действии (Журнал «Агробиология» № 4, 1955). X—272.

Л. Архангельский. Увлекательные книги (Б. А. Зенкович. «Вокруг света за Китами». А. Н. Соляник. «Слава в Антарктике»). V—261.

А. Байкова, кандидат исторических наук; **И. Кремер.** Поборник мира и справедливости (Hewlett Jonson. «Eastern Europe in the socialist World». Хьюлетт Джонсон. «Восточная Европа в социалистическом мире»). XI—272.

П. Балданжапов. На пути к социализму (Ш. Цэгмид. «Манай Эх Орон». «Наша Родина»). I—282.

А. Батурин. Богатый богатеет, бедный беднеет... (Н. Lumer. «War economy and crisis» Х. Лумер. «Военная экономика и кризис»). VII—272.

С. Беглов. Опасная политика, её цели и последствия (В. Чепраков. «Милитаризация стран Северо-атлантического блока»). IV—266.

М. Бернштейн, кандидат технических наук. Основоположник учения о стали (И. Пешкин. «Павел Петрович Аносов. 1799—1851»). IV—274.

И. Болотников, Записки натуралистов Арктики (Л. И. Леонов. «В высоких широтах. (Записки натуралиста)». В. М. Сдобников. «По арктической тундре. (Очерки натуралиста)». II—279.

Д. Валентей, кандидат экономических наук. «Да будет хлеб!» (Robert Britain. «Let Ihre Be Bread». Роберт Бриттен. «Да будет хлеб!>). V—264.

С. Воробьёв, кандидат сельскохозяйственных наук. Первые успехи («В борьбе за освоение целинных и залежных земель. Из опыта МТС и колхозов Алтайского края»). I—276.

А. Горин, профессор; **А. Уколов,** доцент. Пути создания новых культурных растений (Н. В. Цицин. «Отдалённая гибридизация растений»). III—292.

Ю. Давыдов. Русские на Средиземном море (Е. В. Тарле. «Экспедиция адмирала Д. Н. Сенявина в Средиземное море (1805—1807)»). II—274.

Ю. Давыдов. Русский флотоводец адмирал Бутаков (А. Лурье, А. Маринин. «Адмирал Г. И. Бутаков»). V—262.

В. Дворцов. Американский империализм и германский вопрос (Н. Иноземцев. «Американский империализм и германский вопрос (1945—1954)»). V—254.

Н. Ерощкин, кандидат исторических наук. Дореформенная Москва («История Москвы. Том третий. Период разложения крепостного строя»). IV—272.

Н. Ерощкин, кандидат исторических наук. Начало первой русской революции («Начало первой русской революции. Январь — март 1905 года»). XI—266.

Александр Жаров. Величие и простота («Воспоминания о В. И. Ленине»). XII—232.

И. Забелин, кандидат географических наук. Измышления буржуазных географов (К. И. Лукашъв. «Буржуазная лженаучная география на службе реакции»). III—296.

И. Зубков, генерал-майор. Военное наследство декабристов (Е. А. Прокофьев. «Борьба декабристов за передовое русское военное искусство»). I—279.

А. Ивич. Сегодня и завтра (Александр Казанцев. «Богатыри полей»), XI—268.

А. Иглицкий. Заслуженные победы («Советские шахматисты в борьбе за первенство мира»). II—282.

И. Иноземцев. Советские натуралисты в пустыне Гоби (А. К. Рождественский. «На поиски динозавров в Гоби»). III—294.

И. Иноземцев. «Химик Земли» (О. Писаржевский. «Александр Евгеньевич Ферсман (1883—1945)»). XI—270.

С. Князева. Страницы скорби и мужества («The Rosenberg Letters». «Письма Розенбергов»). II—269.

А. Козлов. Голос честного художника (Джон Говард Лоусон. «Кинофильмы в борьбе идей»). V—258.

А. Кондратченко, кандидат технических наук. Проектировщики стальных магистралей (М. С. Арлазоров. «В поисках новых дорог»). VII—279.

П. Корзинкин, подполковник. Родина воздухоплавания (Н. Г. Стобровский. «Наша страна — родина воздухоплавания»). VII—277.

И. Крупеников. Малоизвестные труды великого учёного (Д. И. Менделеев. «Работы по сельскому хозяйству и лесоводству»). X—275.

И. Крупченко, кандидат военных наук. Советские танкисты в дни войны и мира (П. Корнюшин, Н. Корольков. «Советские танкисты (Краткий очерк развития и боевого пути бронетанковых и механизированных войск Советской Армии)»). III—282.

О. Кузуб, кандидат военных наук, подполковник. Передовая военная наука («О советской военной науке. Сборник статей»). II—271.

А. Ладыханский, доктор юридических наук. Ценное исследование (М. Н. Гернет. «История царской тюрьмы. Том 4. Петропавловская крепость, 1900—1917»). IV—278.

В. Лейкина-Свирская, кандидат исторических наук. Забытый историк и публицист (П. Кабанов. «Общественно-политические и исторические взгляды А. П. Шапова»). VI—310.

В. Леонтьев. Американский посол об Индии (Chester Bowles. «Ambassador's report». Честер Боулс. «Отчёт посла»). X—282.

Д. Лыдов. Тайвань сегодня (Линь Чу. «Тайвань сегодня», на китайском языке). II—267.

С. Марвич. Никос Велояннис («Nicos Veloyannis, Héros national de Grèce». «Никос Велояннис, национальный герой Греции»), III—288.

Ю. Милёнушкин. Ценное издание («История медицины (Материалы к курсу истории медицины)», Том I). VI—309.

Г. Морозов, кандидат юридических наук. Гангстерские синдикаты в Нью-Йорке (E. Reid. «The Shame of New York». Э. Рейд. «Позор Нью-Йорка»). I—284.

И. Мушкетов. Книги об атомной энергии (С. Петрович, Д. Дивов. «Атомная энергия и её применение». И. А. Науменко. «Атомная энергия и её использование». В. А. Лешковцев. «Атомная энергия». В. А. Мезенцев «Атом и атомная энергия»). IV—270.

Е. Немировский. Новые книги об изобретателе самолёта («Александр Фёдорович Можайский — создатель первого самолёта. Сборник документов». Н. Черемных, И. Шпилев. «А. Ф. Можайский — создатель первого в мире самолёта»). VII—281.

А. Николаева, кандидат исторических наук. Памятники русской культуры («Русская повесть XVII века»). II—277.

А. Николаева, кандидат исторических наук. Посланцы Русского государства («Путешествия русских послов XVI—XVII вв. Статейные списки»). VI—312.

Л. Никулин. Горький в бурях первой русской революции (И. Нович. «М. Горький в эпоху первой русской революции»). XII—236.

Л. Новиков. Американская экспансия в Бразилии (Osny Duarte Pereira. „Desnacionalização da Amazônia“. Осни Дуарте Перейра. «Денационализация Амазонии»). IV—268.

Н. Орлов, инженер-капитан 3-го ранга. Глазами советского моряка (П. Гуцал. «Австралийская трагедия, Записки советского моряка»). III—286.

А. Перемыслов, кандидат архитектуры. За принципиальность в журнале архитекторов (Журнал «Архитектура СССР»). I—272.

Г. Пицхелаури, доктор медицинских наук. Медицина в жизни Чехова (И. М. Гейзер. «Чехов и медицина»). V—259.

Н. Сергеева. Париж наших дней (Александр Чаковский. «Тридцать дней в Париже»). X—280.

П. Синельников, кандидат военных наук. Быть постоянно начеку (Н. Зубов. «Быть бдительным на любом участке и во всякой обстановке»). III—280.

М. Стуруа. Слова и дела колонизаторов (Cheddi Jagan. „What happened in British Gviana“. Чедди Джаяган. «Что произошло в Британской Гвиане»). III—289.

М. Стуруа. Поучительная история (Э. Рассел. «Проклятие свастики»). VII—274.

А. Таланов. По непроложенным путям (С. В. Обручев. «В неизведанные края. Путешествия на Север 1917—1930 гг.»). IV—277.

А. Тимашев. География Югославии. (А. Н. Грацианский. «Природа Югославии»). XI—274.

И. Халифман, кандидат биологических наук. Цветы и пчёлы (К. Фриш. «Пчёлы, их зрение, обоняние, вкус и язык»). X—277.

А. Цейтлин, заслуженный деятель науки, профессор. Как укрепить сердце (В. Ф. Зеленин. «Как укрепить сердце»). X—279.

П. Черкашин, кандидат философских наук. Против невежества и предрассудков (Шарль Эншлен. «Происхождение религии»). IV—275.

Е. Черняк, кандидат исторических наук. Вещания современных мракобесов (Журналы „The New Scholasticism“ („Новая схоластика*), „The Thought!“ („Мысль*), „America“ („Америка*). III—284.

Е. Черняк, кандидат исторических наук. Новые работы о 1905 годе (И. Кривогуз, Р. Мнухина, «Международное значение революции 1905—1907 годов», Статьи М. Домнича, С. Овнаняна, Жун Мэн-юаня («Вопросы истории», №№ 1, 4, 6 за 1955 год). W. S. Adams. „British Reaction to the 1905 Russian Revolution“. У. Адамс. «Британские отклики на русскую революцию 1905 года»). XII—233.

Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. История жизни замечательного революционера (М. Новосёлов. «Иван Васильевич Бабушкин. 1873—1906»). VII—276.

Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. Из истории нелегальных библиотек в России («Из истории нелегальных библиотек революционных организаций в царской России». Сборник материалов). XII—238.

Б. Шведов, «Чёрная книга» о парижских соглашениях („Verschwörung gegen Deutschland. Ein Schwarzbuch“. «Заговор против Германии. Чёрная книга»). V—256.

М. Юрьев, кандидат исторических наук. Молодой Китай (Клод Руа. «Ключи к Китаю»). VI—307.

РЕПЛИКИ

Бор. Агапов. Дисциплина в школе. III—301.

А. Адалис. Поэзия тринадцатилетних. XII—240.

А. Ахметьев, зав. редакцией художественных репродукций и открыток Изогиза. Реплики услышаны. VIII—285.

Сергей Васильев. Неуважение к памяти Д. Фурманова. IV—284.

Сергей Васильев. Реплика услышана. XII—241.

Сергей Герасимов. Да, это реализм! V—266.

Сергей Герасимов, народный художник РСФСР. Сокровища русской древней живописи. XI—276.

Валерия Герасимова. За воспитание хорошего вкуса. VII—283.

Сергей Голубов. Живые следы. IV—280.

Н. Грибачёв. Разговор читателя и писателя. III—300.

И. Гринберг. Драгоценные черты. VII—285.

Георгий Гулиа. В тесноте и обиде. IV—284.

Александр Дейч. Комментарии не излишни!. VI—316.

А. Дикий. О музее нового западного искусства. XI—277.

Евг. Долматовский. Устаревшее издание. III—300.

В. Дулова, заслуженный деятель искусств. Полус и музыка. XI—276.

Александр Жаров. Фильмы-песни. VI—318.

Ю. Завадский. Выставка и производство. VIII—284.

Лев Кассиль. Судьба картин Коли Дмитриева. IV—283.

Сергей Коненков. Всесоюзный театр. VII—283.

Вадим Лукашевич. Художественная открытка. V—268.

С. Манашин. Об архиве Герцена и Огарёва. VIII—283.

Михаил Матусовский. Писатели у колхозников. V—269.

Сергей Михалков. На фоне леса. III—299.

Александр Морозов. О памятниках искусства. VI—315.

Лев Никулин. Книга, прочитанная в одну ночь. III—302.

И. Рахтанов. Золотые руки. XII—240.

Реплики услышаны. VII—286.

Ив. Розанов. О памятнике Грибоедову (К двадцатишестилетию со дня его закладки). VIII—285.

Г. Рыклин, Арн. Васильев, И. Рябов. Одиночество «Крокодила». V—269.

Конст. Симонов. Без принудительного ассортимента! IV—282.

К. Симонов. Реплика на реплику. VII—286.

Сергей Смирнов. Поэтические «кирпичи». III—299.

Елена Успенская, Лев Ошанин. Как готовить журналистов? V—266.

В. Финк. В связи с постановкой «Шуралё». V—267.

Вера Фирсова, заслуженная артистка РСФСР. Смена традиций. VII—284.

Геннадий Фиш. Кукуруза и её пропаганда. IV—280.

Читатели о репликах. Обзор писем. XI—278.

Винтор Шнловский. Рецензии и тиражи. IV—281.

И. Эвентов. Эти книги нужны. VIII—283.

Я. Эльсберг. Опровергнутый предрассудок. VI—316.

Книжные новинки: I—287; II—285; III—303; IV—286; V—271; VI—319; VII—287; VIII—287; IX—286; X—285; XI—287; XII—245.

Коротко о книгах: XI—284; XII—242.



Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**
М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

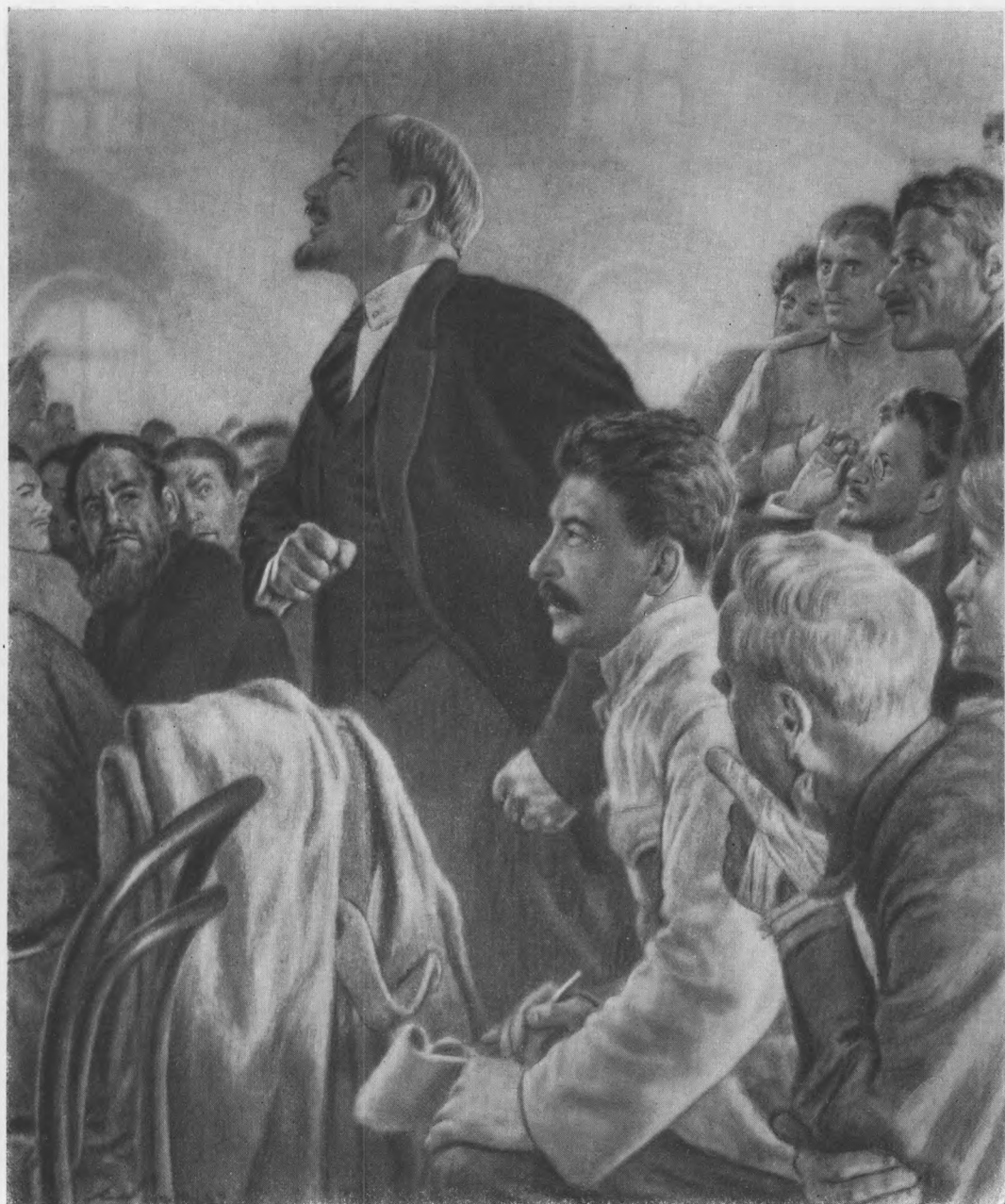
Сдано в набор 21/X-55 г.
А06858.

Подписано к печати 7/XII-55 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 8 бум. л.—21,92 печ. л. Тираж: 140.000. Зак. № 2190.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.



МОСКВА. XX СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Члены Президиума съезда во время перерыва между заседаниями среди делегатов съезда.



«ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ» (ПЕРВЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ).

С рисунка художника Е. Кибрика.



КОЛОННА КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ
1917 г. В ПЕТРОГРАДЕ.

(Редкая фотография)
Государственный Архив Октябрьской революции



ВЕСНА В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Фото А. Жуковского

Цена 7 руб.